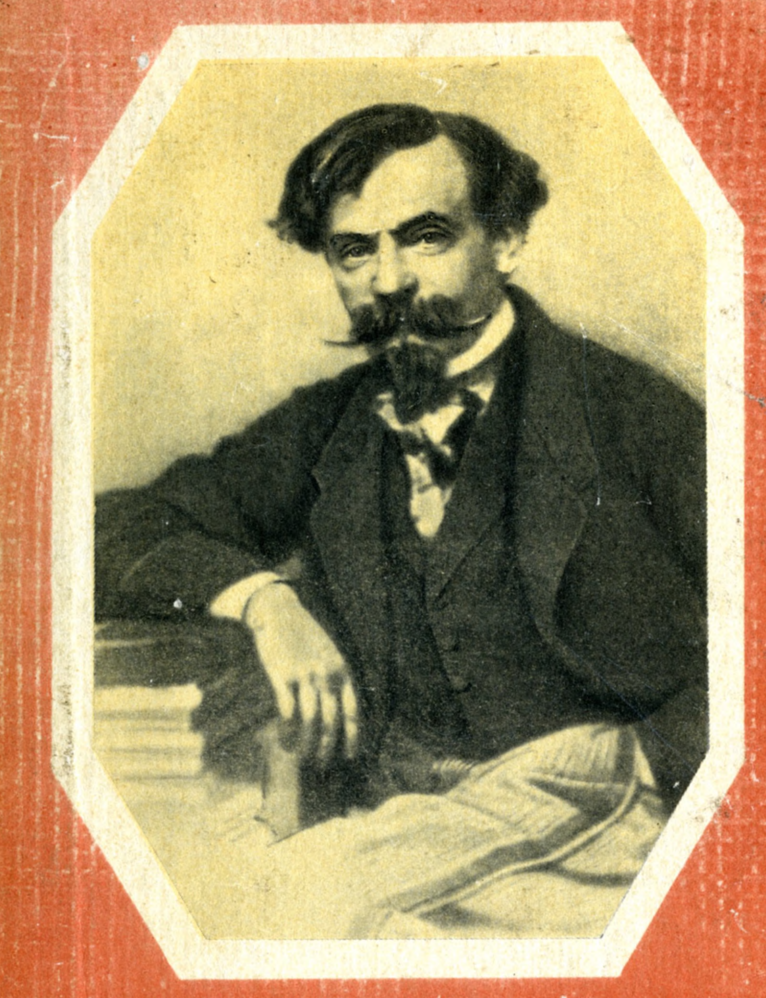
И. И. ПАНАЕВ
ПОВЕСТИ · ОЧЕРКИ



И. И. Панаев

ПОВЕСТИ
ОЧЕРКИ

И. И. ПАНАЕВ

ПОВЕСТИ
ОЧЕРКИ



МОСКВА
«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»
1986

Р1
П16

Составление
А. Л. Осповата и В. А. Туниманова

Вступительная статья
В. А. Туниманова

Примечания
А. Л. Осповата

Рецензент
доктор филологических наук **Б. Ф. Егоров**

Художник
М. З. Шлосберг

Панаев И. И.
П16 Повести. Очерки/Сост. А. Л. Осповата и В. А. Туниманова; Вступ. ст. В. А. Туниманова; Примеч. А. Л. Осповата; Худож. М. З. Шлосберг.— М.: Сов. Россия, 1986.— 368 с.

Иван Иванович Панаев (1812—1862) вписал яркую страницу в историю русской литературы прошлого века. Прозаик, поэт, очеркист, фельетонист, литературный и театральный критик, мемуарист, редактор, он неотделим от общественно-литературной борьбы, от бурной критической полемики 40—60-х годов.

В настоящую книгу вошли произведения, дающие представление о различных периодах и гранях творчества талантливого нраво- и бытописателя и сатирика, произведения, вобравшие лучшие черты Панаева-писателя: демократизм, последовательную приверженность передовым идеям, меткую направленность сатиры, наблюдательность, легкость и увлекательность изложения и живость языка. Этим творчество Панаева снискало уважение Белинского, Чернышевского, Некрасова, этим оно интересно и современному читателю.

П $\frac{4702010100-210}{М-105(03)86}$ 96—86 Р1

ПОВЕСТИ И ОЧЕРКИ ИВАНА ПАНАЕВА

Ивана Ивановича Панаева, популярного русского писателя 1840—1850-х годов, сегодня знают больше как друга Белинского, соратника Некрасова, Добролюбова и Чернышевского по знаменитому «Современнику», автора «Литературных воспоминаний». Время отодвинуло Панаева на второй план, определив ему место рядом с великими, донеся до нас облик плодовитого, но чересчур злободневного фельетонного беллетриста, о котором, возможно, и совсем бы забыли, если б не судьба, щедро наградившая его знаменитыми друзьями и тем самым снабдившая бесценным «материалом» для мемуаров. Все же остальное, созданное Панаевым,— это, так сказать, эфемериды, метеорные явления, интересные лишь узкому цеху историков литературы.

Справедлива ли такая, не сегодня, а давно сложившаяся литературная репутация Панаева? Только отчасти. Многое в его творчестве безусловно устарело, что, кстати, понимал и сам писатель, очищая для отдельных изданий от минутных, хотя и совершенно необходимых, фельетонных напластований свои очерки и рассказы. Но лучшие художественные и публицистические произведения Панаева, литератора остроумного, наблюдательного, обладавшего незаурядным аналитическим даром, нисколько не поблекли со временем. Более того — без них трудно представить себе русскую литературу середины прошлого века. «Литературная тля», «Провинциальный хлыщ», «Актеон», «Петербургский фельетонист» — это вопреки прогнозам бесчисленных литературных врагов Панаева, объявивших его родоначальником «литературы скандалов», «аморальным фельетонистом», промышляющим сомнительными слухами и сплетнями,— в самом прямом и точном смысле слова классика, то есть высокое и вечно живое искусство.

Н. Ф. Щербина в талантливой эпиграмме так зло определил суть сатиры Панаева: «Коленкоровых манишек беспощадный Ювенал». Формула понравилась; охотно подхватил ее, даже (частично) привел текст эпиграммы в своей статье и Панаев, отдавая должное меткой характеристике мелкотравчатого обличительства, которым действительно сам иногда грешил, в чем с улыбкой, как и в других литературных грехах, каялся. Автор блестящих психологических этюдов о «сочинительском самолюбии», Панаев вполне постиг эту распространеннейшую болезнь и сознательно подавлял в себе амбициозные порывы. Слишком долго Панаев наблюдал и изучал литературно-артистические нравы, чтобы сердиться на весьма резкие, грубые выпады. Он, пожалуй, не без своеобразного удовольствия находчивыми ответами поддерживал огонь журнальной полемики, нисколько не смущаясь бранью задетых им литера-

турных «генералов», «промышленников», «зайцев», «гномов». Но злопамятным мстительным Панаев не был. Добрый и отзывчивый от природы, он готов был прийти на помощь даже угрюмо преследовавшему его Щербине, понимая, что гнев помрачает разум, ущемленное самолюбие смешно даже у талантливых художников, и «ничего нет смешнее и приятнее, как бессильная злоба, как пухлое извержение надувшейся бездарности...»[1].

Панаев хорошо знал казовую, парадную и неприглядную, закулисную сторону русского Парнаса. Сам был органической частью этого мира, его хроникером и нравописателем. Он буквально жил литературой и среди писателей. Иной участи, другого общества и не желал. Заключая «литературно-физиологический» очерк «Литературные кумиры, дилетанты и проч.», в котором фигурируют не только Н. В. Кукольник, но и Достоевский с Тургеневым, Панаев чистосердечно признавался: «Литературе я обязан своими лучшими знакомствами, самыми задушевными моими связями (...), моя слабость к литературе не охладела с летами. Это, кажется, самая упорная из всех человеческих слабостей...»[2] Добавим, что это была и спасительная слабость, вырвавшая Панаева из узкого сословного круга, похоронившая честолюбивые надежды родни.

Родился Панаев в 1812 году в богатой и славной культурными традициями дворянской семье. По отцу он внучатый племянник Г. Р. Державина; его дядя, В. А. Панаев, был известным поэтом-идилликом и крупным государственным чиновником. Да и отец, которого Панаев потерял в самом раннем детстве, сотрудничал в «Благонамеренном» А. Е. Измайлова и учился вместе с С. Т. Аксаковым. Отрывочные воспоминания Панаева о детских годах (вошедшие в его произведения) рисуют типичную картину жизни состоятельного дворянства. Колоритен образ деспотичной, властной бабушки — подлинной хозяйки, *барыни*. Напротив, дедушку отличал мягкий нрав, несколько ослаблявший царившую в доме атмосферу самодурства и произвола. Мать, должно быть, мало занималась воспитанием сына, предпочитая жить в свое удовольствие, широко, не обременяя себя заботами и не считая денег. После смерти дедушки она переехала в Петербург, где успешно промотала бóльшую часть наследства сына, как само собой разумеющееся воспринимавшего воззрения на жизнь бабушки и беззаботную, роскошную жизнь матери.

Именно сословные предрассудки, кастовая чванливость побудили Панаева просить о переводе его из С.-Петербургского высшего училища в привилегированный, для детей потомственных дворян Благородный пансион при С.-Петербургском университете. «Я умолял,— вспоминал он, иронизируя над своими детскими предрассудками, находившими

[1] Панаев И. И. Первое полн. собр. соч., т. 2. Спб., 1888, с. 469.
[2] Панаев И. И. Лит. воспоминания. М., 1950, с. 337.

поддержку родни,— чтобы меня взяли оттуда, потому что не хотел учиться вместе с детьми разночинцев и ремесленников. В двенадцать лет, несмотря на совершенное ребячество, я уже был глубоко проникнут чувством касты, сознанием своего дворянского достоинства. Мольбы мои взять меня из Высшего училища нашли не только совершенно основательными, но даже некоторые из близких мне людей рассказывали об этом своим знакомым с гордостию: «Дитя, а какие высокие чувства!» — и я выиграл этим в глазах родных и знакомых»[1]. Впоследствии Панаев будет в повестях, романах, фельетонах неутомимо и сатирически остро анализировать систему, суть и плоды дворянского воспитания, обильно черпая факты и аргументы из собственной жизни, семейной хроники.

В духе новой эпохи, с демократически-обличительных позиций шестидесятников вынесет Панаев строгий приговор и системе преподавания в Благородном пансионе, равно иронически обрисовав педагогов и учеников, сделав исключение отчасти лишь для преподавателя словесности В. И. Кречетова. С горечью подвел Панаев итоги годам учения: «Мы не приобрели никаких, даже элементарных научных сведений (...). Нечего и говорить о чувстве общественном, гражданском О пробуждении его едва ли и думало тогдашнее воспитание. Чинопочитание, покорность до того были вкоренены в нас в родительских домах и потом развиты в пансионе, что мы, вступая в свет, совершенно теряемся и робеем при появлении каждой титулованной особы и при взгляде на всякую блестящую обстановку. При этом у нас только возникает одна мысль: «Как бы поскорей добиться до всего этого?»[2]

Хотя Панаев безусловно во многом прав, обращая сугубое внимание на теневые стороны дворянского воспитания и преподавания, все же он, обобщая, сгущает краски, увлеченный благими целями. Несколько, пожалуй, и противоречит себе, повествуя о культурной жизни в пансионе, о своих первых литературных опытах. В пансионе развилась у Панаева страсть к чтению. Он читал и перечитывал все русские альманахи и журналы. Был в восторге от «Евгения Онегина», которого знал наизусть. Тогда же подросток Панаев знакомится со многими замечательными деятелями русского искусства, в том числе с Михаилом Ивановичем Глинкой. Наконец, в пансионе Панаев приобщается к литературе не только как писатель, но и как «редактор». Его однокашник и друг М. А. Языков существенн дополняет необыкновенно сдержанные, почти неизменно автоироничные воспоминания писателя: «В последних трех классах, кроме каникулярног времени, три года сряду Панаевым редактировался каждую неделю журнал, выходивший по субботам и со ставлявший толстую тетрадь. Содержание было беллетристическим — стихи и проза. Из сотруднико Панаева (...) у меня сохранился в памяти (...) Михайлов, очень талантливый и вскоре по выходе умерший. Наш учитель словесности Кречетов прочитывал усердно еженедельный

---

[1] Панаев И. И. Лит. воспоминания, с. 4.
[2] Там же.

наш журнал, и когда находил что-нибудь достойное внимания, носил для прочтения Подолинскому (...), гораздо ранее нас окончившему курс»[1].

Как видим, были и заботливые, просвещенные учителя, и весьма компетентные литературные консультанты, и товарищи, мало заботившиеся о служебной карьере, подобно Панаеву, горевшие юношеской любовью к высокому, святому искусству.

Профессиональным литератором Панаев, однако, вовсе не собирался быть. Не спешил и с поступлением на службу. По выходе из пансиона в 1830 году он откровенно наслаждался свободой, успешно совмещая светские развлечения с занятиями литературой — не ради, разумеется, заработка, а для собственного удовольствия, от нечего делать. Постепенно Панаев обзаводится знакомыми в свете и полусвете, становится завсегдатаем «Александринки», куда впоследствии являлся в сопровождении свиты клакеров. Описывать подробно образ жизни молодого Панаева, впрочем, нет смысла: исчерпывающее представление о нем дает первая глава «Евгения Онегина». Служить тем не менее было необходимо — лучше военным, чего желала родня и сам Панаев, которого непреодолимое отвращение к учебе и экзаменам спасло от гипнотически смущавшего сердца дам кавалерийского обмундирования. Панаев вспоминал: «Я решился вступить в штатскую службу, вопреки желаниям моих близких, которые утешались мыслию, что я буду камер-юнкером. Мне самому очень хотелось надеть золотой мундир. Я даже несколько раз видел себя во сне в этом мундире и, просыпаясь, всякий раз был огорчен, что это только сон»[2].

До камер-юнкерства дело не дошло. Пришлось, по необходимости, надеть вицмундир, к которому Панаев легкомысленно присовокупил пестрые клетчатые панталоны, вызвавшие сенсацию в департаменте и неудовольствие начальства. Служил Панаев поистине спустя рукава, редко являясь в присутствие и совершенно не беспокоясь о продвижении, теплых местах. А литературные занятия из забавы незаметно превратились в привычку и потребность. Служба тяготила как досадная и скучная помеха. «По происхождению, по родству и связям,— писал Чернышевский в некрологе Панаева,— он мог рассчитывать на блестящую служебную карьеру: понятия среды, в которой он вырос и воспитался, тогдашний взгляд на литературу (...), общее желание родных (...), личный его характер, не чуждый в молодости суетности и тщеславия,— казалось бы, все соединялось, чтоб заставить (...) избрать эту торную дорогу, где ожидал его неизбежный и легкий успех. Однако любовь к литературе пересилила все эти причины, вместе взятые: Панаев (...) оставил службу (...) и не жалел, что пренебрег служебной карьерой для литературы»[3].

Панаев 1830-х годов — романтик и идеалист, восторженный поклон-

---

[1] Панаев И. И. Первое полн. собр. соч., т. 5, с. 3—4.
[2] Панаев И. И. Лит. воспоминания, с. 34.
[3] Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч., в 16-ти т., т. XVI. М., 1953, с. 664.

ник Гюго, Ламартина, Байрона, Бестужева-Марлинского. «После появления «Notre Dame de Paris» я почти готов был идти на плаху за романтизм»,— писал Панаев[1]. Он перевел две последние главы романа Гюго и отослал перевод в «Московский телеграф», где тот, к сожалению, бесследно «сгинул». Сочинил также шесть тетрадей стихотворений в романтическом духе, но лишь немногие решился опубликовать, предав остальное сожжению. Стихи Панаева ничем не выделяются в потоке романтической поэзии тех лет. Удачнее была прозаическая проба пера, хотя первая повесть писателя «Спальня светской женщины. Эпизод из жизни поэта в обществе» (1835), в которой, по собственному признанию, старался «рабски подражать манере изложения и слогу Марлинского»[2], схематична, бледна, сшита из романтических штампов. Тогда Панаев, правда, думал иначе. Окрыленный похвалой Кречетова, он укрепился в мнении, что его настоящее призвание проза, а не поэзия. Вторая светская повесть Панаева «Она будет счастлива. Эпизод из воспоминаний о петербургской жизни» (1836) написана гораздо увереннее, профессиональнее: четче обрисованы характеры героев, чище язык, выразительны картины жизни светского общества. Заметила повесть и критика. А. Ф. Воейков назвал ее «прекрасной», не уступающей «справедливо расхваленным повестям гг. Павлова, Марлинского, Погорельского, Погодина»[3], и почему-то приписал ее Белинскому. Критик, естественно, отверг атрибуцию, но в то же время обнаружил в авторе повести «неподдельный талант, живое чувство и уменье владеть языком»[4].

Далее Панаев создает еще ряд произведений из жизни светского общества и художников. Задумывает и большое произведение, но вступление к нему под заголовком «Как добры люди» (1838) положительно не удалось Панаеву и вызвало резкий, охладивший романтический энтузиазм автора отзыв Белинского. Со временем и сам Панаев уничижительно оценил этюд: «Этот рассказ был до такой степени пошл и плох, что мне стыдно вспомнить о нем»[5]. Ничего «пошлого» в рассказе нет; просто он слаб, надуман, написан на порядком затасканную тему: «Общество в вечной борьбе с поэтом; видно, иначе и быть не может: стараться примирить их — значит не понимать ни того, ни другого. Общество никогда не возвысится до поэта, поэт никогда не унизится до общества»[6]. Абстрактно-романтическая заданность предопределила неудачу писателя, а нелицеприятный, но справедливый приговор Белинского оказался как нельзя более своевременным.

Не следует полагать, что Панаев, послушавшись Белинского, мгновен-

---

[1] Панаев И. И. Лит. воспоминания, с. 32.

[2] Там же, с. 36.

[3] Литературные прибавл. к Русскому инвалиду, 1836, № 59—60.

[4] Белинский В. Г. Собр. соч. в 9-ти т., т. 1. М., 1976, с. 514.

[5] Панаев И. И. Лит. воспоминания, с. 117.

[6] Панаев И. И. Первое полн. собр. соч., т. 1, с. 190.

из пламенного романтика превратился в убежденного реалиста. Романтические настроения Панаева были устойчивы, согласовались с его восторженным отношением к литературе и искусству, с идеальным стремлением к «возвышенному и прекрасному». Очень долго кумиром Панаева был Нестор Кукольник; с трепетом он внимал его напыщенно-торжественным речам, за высшее счастье полагал дружбу с «гениальным» человеком, каждая реплика которого, даже нелепая и несуразная, представлялась пророчеством, откровением. Тем временем, обожая и обливаясь слезами от избытка счастья, Панаев непроизвольно напоминал слова, жесты, детали утрированно-гастрономической обстановки музыкально-литературных вечеров Кукольника с непременной бутылкой красного вина и пьяным лицедейством хозяина. Благоговея перед «жрецом искусства», Панаев закрывал глаза на эти «мелочи», поддавшись общему гипнозу и не осмеливаясь судить «мастера». Когда гипноз прошел и восторги притупились, память прирожденного сатирика, пародиста, пересмешника восстановила фигуру вечно декламирующего, бьющего на эффект «пророка», как-то вдруг оплывшего, опустившегося, из жреца «святого искусства» превратившегося в поденщика, *кующего деньгу*. Но это прозрение произошло значительно позже.

Романтическим образом и женился Панаев на 18-летней Авдотье Яковлевне Брянской, дочери знаменитого актера. Двоюродный брат писателя В. А. Панаев свидетельствует: «Мать Ивана Ивановича не хотела и слышать о женитьбе сына на дочери актера. Два с половиной года Иван Иванович разными путями и всевозможными способами добывал согласие матери, но безуспешно; наконец, он решился обвенчаться тихонько, без согласия матери, и, обвенчавшись, прямо из церкви, сел в экипаж, покатил с молодою женой в Казань. (...) Мать, узнавши, разумеется, в тот же день о случившемся, послала Ивану Ивановичу в Казань письмо с проклятием»[1]. Родня злорадствовала по поводу мезальянса и высокомерно приняла плебейку. Однако мать Панаева злопамятностью не отличалась, вскоре смирилась, и невестке пришлось исполнять обязанности молодой хозяйки дома, напоминавшего, скорее, светско-аристократический салон (в доме Панаевых привыкли жить безалаберно, роскошно, по-барски). Для нее романтика очень скоро обернулась ошеломившей на первых порах, а потом ожесточившей прозой жизни. К тому же Иван Иванович весьма своеобразно понимал супружеский долг, совершенно не собираясь отказываться от давно ставших нормой светско-богемных привычек. Надо сказать, что он явно не оценил сильного, гордого характера Авдотьи Яковлевны, созданной царствовать, повелевать, а не исполнять роль робкой и изящной куклы в салоне светского литератора.

[1] Русская старина. 1893, № 8. с. 344.

Панаев опережает события, рассказывая о перевороте в его сознании, произведенном статьей Белинского «Литературные мечтания»: «После моего детского увлечения Кукольником, после смешного и рабского преклонения перед ним я чувствовал озлобление против всех авторитетов, даже против моего кумира Марлинского. Я с каким-то наслаждением любовался, как Белинский беспощадно разбивал его»[1]. Даже в 1839 году, по словам В. А. Панаева, он все еще преклонялся перед Кукольником. Но вне всякого сомнения сближение с Белинским имело огромное значение в жизни и литературной судьбе Панаева. Первый шаг сделал Панаев, обратившийся с взволнованным письмом к критику. Завязалась переписка, за которой последовали дружески-деловые встречи в Москве. Панаев привлек Белинского к участию в журнале А. А. Краевского «Отечественные записки», способствовал переезду в Петербург, где на первых порах критик поселился в доме его матери. Отчасти журнальные дела и задержали Панаева в Москве. Здесь он наслаждался обществом Белинского и его друзей, был обласкан С. Т. Аксаковым, которому было приятно видеть сына гимназического товарища. Москва очаровала Панаева, что нашло отражение в статьях и повести «Белая горячка» К. С. Аксаков и М. Н. Загоскин чуть было не превратили Панаева в пламенного патриота старой столицы, с энтузиазмом внушая «петербуржцу» любовь к древней русской столице. Внушали талантливо, театрально, радуясь его восторгам, вполне искренним и сердечным,— к встрече с Москвой Панаев был уже подготовлен лирическими признаниями Кольцова.

То была чудесная, поэтическая московская осень 1839 года. Последняя, пожалуй, романтическая осень Панаева, навсегда связавшая его жизненный путь с тернистой дорогой Виссариона Белинского, ставшего другом и непререкаемым критическим авторитетом для писателя. Именно тогда произошел в творчестве Панаева перелом в сторону реализма, ощутимо сказавшийся уже в дилогии о художнике Средневском. Белинский достаточно высоко оценил первую повесть «Дочь чиновного человека» (1839), выделив «мастерскую картину петербургского чиновничества», но одновременно решительно и тактично осудил романтическую концепцию героя, вознесенного над суетным и прозаическим миром. «Впрочем,— добавлял Белинский,— из некоторых мест повести кажется, что автор и хотел изобразить такого жалкого недоноска; это тем яснее, что он подавляется простым и возвышенным в своей простоте характером героини; но в таком случае автору надлежало б быть яснее и определеннее. Впрочем, может быть, он поправит еще это во второй своей повести «Любовь светской девушки», героем которой будет опять этот же художник-недоносок и которую он уже пишет, как то нам известно из достоверного источника»[2].

---

[1] Панаев И. И. Лит. воспоминания, с. 109.

[2] Белинский В. Г Собр. соч., т. 2, с. 443—444.

Несмотря на некоторую резкость, преследующую эстетико-педагогические цели, Белинский метко указал на художественные просчеты автора, в замысел которого явно не входило выставить героя как «жалкого недоноска». Не собирался Панаев и обличать его. Но невольно получилось так, что главный герой оказался самым бледным и невыразительным персонажем повести. Все связанное с линией Средневского до приторности мелодраматично, ходульно, риторично и сильно проигрывает в соседстве с реалистическими картинами жизни чиновничьего семейства, сатирическими страницами: особенно хороша фигура матери Софьи — Надежды Сергеевны, властной, самодурствующей барыни. Вновь повис в воздухе, оставшись чистейшей декларацией, традиционный мотив романтической прозы Панаева: «Грустна и утомительна повесть, в которой действуют два лица: *поэт* и общество; два лица, чуждые и враждебные друг другу, которые никогда не сходились и никогда не сойдутся»[1]. Мотив этот никак не соприкасается с развитием событий и основным конфликтом повести.

Панаева, возможно, несколько задели замечания Белинского. Во всяком случае, он не только изменил название второй части дилогии, отрывки из которой читал критику, но и перевернул сюжет, попытавшись вдохнуть жизнь в схематичную, бледную фигуру главного героя. В «Белой горячке» (1840) Средневский лицо любящее, страдающее, гибнущее. Не потому, однако, что поэт и общество пребывают в неразрешимом конфликте. Причины гибели героя никакого отношения к искусству не имеют: налицо извечная трагедия неразделенной любви, которой сословное неравенство сообщает лишь специфический оттенок. А также трагедия крушения идеалистических иллюзий, романтического миросозерцания, раздавленного реальной, «низкой» действительностью.

Угасает, не развившись, и талант Средневского, потерявшего веру в себя, в свое предназначение. Он терпит досадную художественную неудачу, ясно сознавая, что портрет обожаемой женщины не удался. Реальное знание не приносит облегчения, порождая мизантропические размышления о ненужности (почти невозможности) искусства в обществе, где все определяется культом денег, происхождением и связями. По сути, он сам отвернулся от искусства, чересчур уж ударился в другую крайность, признав правоту циничных рассуждений Рябинина, этого «литературного Мефистофеля, переделанного на русские нравы», соблазнившись, подобно герою гоголевского «Портрета», легким заработком.

Не романтизм и тем более не творения Гофмана, Гюго, Байрона «обличаются» в повести, а крайности романтического миросозерцания, несостоятельность попыток отгородиться от реальной жизни, убежав в область идеально-поэтических грез и мечтаний. Сочувствуя герою повести (отчасти это и исповедь Панаева-романтика), писатель не идеализирует и не оправдывает героя, считая его крах глубоко закономерным.

---

[1] Панаев И. И. Избр. произведения. М., 1962, с. 97.

Вряд ли Белинского всецело удовлетворила и новая, сильно измененная концепция героя в «Белой горячке», хотя он с удовольствием обратил внимание на возмужание Панаева-художника, о чем немедленно сообщил М. А. Языкову: «Панаев исправляется и улучшается видимо, растет не по дням, а по часам. (...) Отрешается от своих предрассудков и излечается от своего прекраснодушия. Он будет человеком, потому что хочет быть им — это доказывает его благородная решимость слышать иногда очень горькие для самолюбия истины и сознаваться в их справедливости. Я замечаю большой прогресс в его стремлении к действительности. Теперь он сидит дома и пишет большую повесть — читал мне отрывки — видна зрелость и очень интересно»[1]. Из письма критика к Боткину ясно, что́ ему особенно пришлось по душе: «Прочти повесть Панаева (...), славная вещь; обрати все свое внимание на лицо Рябинина — это живой, во весь рост, портрет Кукольника»[2].

Образ Рябинина, покровителя и учителя художника,— большая художественная удача Панаева, в значительной степени определившая дальнейшее развитие творчества писателя. В памяти Панаева тогда особенно свежи были впечатления от вечеров у Кукольника, долговязая фигура поэта, витийствующего о «святыне искусства», преимуществах итальянского языка над русским, парадоксальнейшим образом совмещавшего служение музам с гастрономическими излишествами и обожанием денег. От этого реального материала и отталкивался Панаев, создавая образ бездарного сочинителя, претенциозного «Вальтазара», циничного приживальщика, беззастенчиво эксплуатирующего слабости меценатствующего князя, убежденного поклонника «золотого тельца», московской кулебяки и вин. Рябинин обрисован Панаевым так живо и зло, что положительно заслонил прочих героев повести, в том числе Средневского и княжну Б.

«Белая горячка» ознаменовала конец затянувшегося романтического периода Панаева. Немалую роль в этом сыграли советы и критика Белинского. Панаев становится одним из ведущих литераторов так называемой «натуральной школы», подлинным идеологом и пропагандистом которой был Белинский. В том же 1840 году Панаев создает серию памфлетных очерков — «Портретную галерею», состоящую из талантливых карикатур на Ф. В. Булгарина, Н. И. Греча, Н. А. Полевого и других литературных знаменитостей времени. Белинский всячески поощрял новое направление деятельности Панаева и, опираясь на слова сатирика, сообщал читателям, что писатель собирается издать, дополнив новыми портретами, «особую, довольно большую книжку (...) в скором времени...»[3]. Замысел книги не был осуществлен Панаевым, но жанры литературного фельетона и очерка станут постоянными в творчестве

[1] Белинский В. Г. Собр. соч., т. 9, с. 373.
[2] Там же, с. 380.
[3] Там же, т. 3, с. 420.

писателя, создателя таких непревзойденных шедевров, как «Петербургский фельетонист» (1841) и «Литературная тля» (1843). Даже не слишком благоволивший к «натуральной школе» и творчеству Панаева Аполлон Григорьев исключительно высоко оценил «Литературную тлю», как «горькую и ядовитую, несмотря на веселый тон, сатиру (...), которую (столько в ней возвышенности и негодования!) как будто продиктовал сам Белинский»[1]. Любил литературные памфлеты Панаева и Ф. М. Достоевский.

Фельетоны, очерки и повести Панаева печатались на страницах обновленных «Отечественных записок», лучшего русского журнала первой половины 1840-х годов, рядом с произведениями других писателей «натуральной школы» и статьями Белинского. Буквально все произведения Панаева в самом прямом смысле верны действительности, в той или иной степени списаны с «натуры». Иногда это моментальные, увиденные обостренным зрением фельетониста зарисовки нравов, уличных или салонных сцен. Чаще — типизированное, отшлифованное до памфлета, карикатуры художественно-публицистическое изображение жизни разных слоев петербургского и провинциального общества.

«Ужели фельетон есть только перечень животрепещущих городских новостей? — риторически вопрошал Достоевский.— Кажется бы, на все можно взглянуть своим собственным взглядом, скрепить своею собственною мыслию, сказать свое слово, *новое слово* (...). Да разве каждый день можно говорить по новому слову, когда во всю жизнь, пожалуй, его не добьешься, а и услышишь, так еще и не узнаешь. (...) На это надо (...) ума, прозорливости, таланта! (...) фельетон в наш век — это... это почти главное дело»[2].

Труд «присяжного фельетониста» каторжный, срочный, предельно злободневный,— и здесь часто не до красот стиля. Далеко не все фельетоны и очерки Панаева отвечают высочайшим, максималистским требованиям, эмоционально сформулированным Достоевским. Порой им недостает глубины, разнообразия. И все же Панаев — очень яркий фельетонист, равного которому в русской литературе середины века не было. Огромный круг знакомств во всех сферах и слоях петербургского общества, поразительная журналистская мобильность, редчайшее искусство быстро, своевременно схватывать суть новых явлений и типов (и «терминологически» закрепить открытия: писатель ввел в русский язык такие слова-понятия, как «приживалка», «хлыщ», «моншеры») обеспечили произведениям Панаева неизменный, часто со скандальным оттенком успех и с годами возросшую ненависть развенчанных им литературных кумиров, дельцов, драмоделов, продажных фельетонистов.

Пародийные и памфлетно-карикатурные мотивы неотъемлемой частью входят также в повести и романы Панаева. В них предубежденные современники видели обличение конкретных лиц, «пасквиль». Так, повесть

---

[1] Григорьев А. А. Лит. критика. М., 1967, с. 491.

[2] Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. в 30-ти т., т. 19. Л., 1979, с. 67—68.

«Прекрасный человек» (1840) вызвала острое неудовольствие офицеров Измайловского полка, жаловавшихся на сочинителя великому князю; ходили даже слухи, что автора посадили в крепость. Столь же обостренно воспринималось и содержание повестей «Онагр» (1841) и «Актеон» (1842).

В какие-то 2—3 года Панаев создает многоликую галерею столичных «львов» и «онагров», чиновников-карьеристов, барынь, барышень и приживалок, провинциальных помещиков, предвосхищая великие художественные открытия Тургенева, Салтыкова-Щедрина, Достоевского, Писемского. Панаев тогда был у всех на устах. Достоевский, Салтыков-Щедрин, Чернышевский в один голос свидетельствуют об огромной популярности повестей Панаева, которые «читались с жадностью»[1]. Наибольший успех выпал на долю «Актеона». Герцен, покоренный искусством Панаева, писал Краевскому: «Актеон просто chef d'oeuvre (...), я с душевным восхищением читал эту мастерскую повесть...»[2] Взволнованно делился своими чувствами с Белинским московский книгопродавец И. Г. Кольчугин: «Несколько раз перечитывал я эту повесть, какая глубокая ирония, истинно человеческие чувства и душевная теплота дышат в ней. (...) Это не фантазия какого-нибудь князя Одоевского (...), это живая трагическая истина»[3]. Белинскому же сообщал Кольцов о сенсации, произведенной «Актеоном» в провинции.

«Актеон» — одно из немногих произведений Панаева, в котором гармонически объединились очерки провинциальных нравов с экскурсом в трагическую судьбу героини, угасающей средь «барства дикого» под меланхолическую, печально-медленную музыку Шуберта. Другие повести и рассказы Панаева, как правило, написаны в более резкой, утрированной манере. Они, в сущности, большие очерки с преобладанием нравоописательного элемента и социально-педагогических мотивов. Понятно, что Белинский, всячески поддерживавший реалистическое начало в творчестве Панаева, одобрительно отзывавшийся о фельетонах и очерках писателя, не очень высоко оценивал его художественные потенции, как-то сухо, лаконично, с оговорками высказывался о повестях в статьях и нередко очень резко в письмах.

Свое общее отношение к Панаеву-художнику Белинский определеннее всего выразил в статье «Русская литература в 1845 году», мельком коснувшись романа «Маменькин сынок» (1845): «...отличается всеми достоинствами и всеми недостатками таланта этого писателя. Мы не будем распространяться ни о тех, ни о других и скажем коротко, что они связаны с сущностью таланта г. Панаева, который, не рискуя ошибиться, можно назвать *дагерротипическим*»[4] Белинский недооценил новаторский социально-психологический роман Панаева. Писатель здесь ис-

---

[1] Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч., т. XVI, с. 664.
[2] Герцен А. И. Полн. собр. соч. в 30-ти т., т. XXII. М., 1961. с. 127.
[3] В. Г. Белинский и его корреспонденты. М., 1948, с. 288.
[4] Белинский В. Г. Собр. соч., т. 8, с. 24.

следует такие пласты жизни и психологические коллизии, к углубленной азработке которых многократно будет обращаться Салтыков-Щедрин («Благонамеренные речи», «Господа Головлевы», «Пошехонская старина»). Чрезмерно резок отзыв критика и о повести «Родственники» (1847), может быть, неудовлетворенного изображением в ней философского кружка Н. В. Станкевича[1]. Тем не менее по отношению ко многим художественным произведениям Панаева определение «дагерротипический талант» точно и справедливо. Это в устах Белинского, кстати, не похвала, не оценка, а именно определение сути. Дагерротипическое творчество — реализм, но заземленный, слишком приближенный к натуре («копировка с натуры»), фотографическая точность, в значительной степени публицистическое изображение действительности. И то, что хорошо и уместно в очерках и фельетонах, оборачивается художественными просчетами в повестях и романах.

Особенно бросаются в глаза недостатки «дагерротипического» стиля во втором романе Панаева «Львы в провинции» (1852). Критика холодно встретила роман, сожалея, что автор «вышел из области, для которой у него есть талант»[2]. Панаева огорчили отзывы критики. Он расценил их как «странные, не совсем вежливые и противоречащие толки, из которых нельзя вывести никакого заключения»[3]. Это неверно: А. В. Дружинин и другие рецензенты с полным основанием писали о схематизме сюжета, мелодраматизме, карикатурности характеров, механическом объединении физиологических очерков в нравоописательный роман.

Хотя Панаева критики и не убедили, но явно насторожили. К жанру романа он в дальнейшем не обращался. Следующее большое произведение писателя, цикл очерков «Опыт о хлыщах» (1854—1857), в котором дагерротипические зарисовки нравов плавно переходят в повести, обличительный памфлет — в драму, книга во всех отношениях более значительная и художественно отделанная, чем роман «Львы в провинции». Изобретено было Панаевым не только слово «хлыщ», лучше передающее национальное своеобразие типа, чем заимствованные у французов «лев» и у англичан «фешенебль» и «сноб». Исключительно метко, художественно показаны писателем генезис (среда, система воспитания) и сущность типа в различных его вариациях. Современники, даже из стана недоброжелателей «натуральной школы» вообще и «петербургского фельетониста» Панаева в частности, высоко оценили искусство писателя. Д. В. Григорович писал Панаеву о реакции на его очерк «Хлыщ высшей школы»: «Ваш лыщ, по моему крайнему разумению, чуть ли не лучшая ваша повесть. (...) Вот вам самая лучшая похвала (...), встретил я Аксакова Константина; вы знаете, какой он ненавистник всего того, что пишется нами; он положительно мне сказал, что последний

---

[1] Повесть Панаева послужила литературным источником романа Тургенева «Рудин»

[2] Отечественные записки, 1853, № 1, с. 8.

[3] Современник, 1853, № 1, с. 117—118.

Хлыщ — отличная вещь»[1]. Еще раньше, прочитав «Провинциального хлыща», обрадовал Панаева В. П. Боткин: «Это, действительно, настоящие очерки нравов. Рассказ жив, занимателен и даже романтичен к концу, что придает ему поэтический колорит. Словом — хорошая и почтенная вещь...»[2] Достоевский предпослал своему памфлету «Отрывок из романа «Щедродаров» (в статье «Господин Щедрин, или Раскол в нигилистах») знаменательное жанровое пояснение: «Вот несколько глав из этого нового «Опыта о новых хлыщах»[3], подчеркнув тем самым неисчерпаемость, жизненность типа, открытого Панаевым.

Первая часть трилогии о хлыщах, по сути, большой физиологический очерк. Дагерротипичность стиля акцентирована даже названиями глав. Преобладают в «Великосветском хлыще» комическая стихия и комические персонажи. Автор-рассказчик откровенно исполняет роль резонера и сатирика-обличителя. Вторая и третья части больше тяготеют к жанру нравоописательной повести с драматическим сюжетом и углубленной (однако не шаржированной и карикатурной) разработкой характеров героев. В частности, превосходно очерченный образ Alexandrine, «хозяйки дома» хлестаковствующего, внушающего гадливость провинциального хлыща, принадлежит к лучшим созданиям Панаева. Запоминаются в «Провинциальном хлыще» ярко написанные эпизоды учебы Летищева в Благородном пансионе, театральные страницы (колоритна фигура князя Арбатова, «повелителя» в храме искусств и «раздавателя сценической славы»), провинциальные сцены, как обычно у Панаева, сумрачные, тоскливые. Прямолинейней развивается конфликт в «Хлыще высшей школы», в основе которого контрастное противопоставление судеб Виктора и Сонечки. Сатирический очерк здесь постепенно переходит в повесть с драматической (несколько даже мелодраматической) развязкой. Эпилог, впрочем, все ставит на свои места. Преображения героя не произошло. Человеческое чувство, пробудившись на миг, естественно и навсегда угасло в безупречно комильфотной и холодной кукле, нареченной писателем «хлыщом высшей школы».

В апреле 1843 года журнал «Отечественные записки» возвестил о ближайшем появлении на горизонте российской словесности «нового (...) поэтического дарования». Приведены были и два «образца» творчества поэта, «в стихах которого сила и светская щеголеватость, яркость и радужность, внешняя художественность формы и кокетливость выражения доведены до изумительного совершенства»[4],— пародии на стихотворения В. Г. Бенедиктова и Н. М. Языкова. Так состоялось рожде-

---

[1] Ежегодник рукописного отдела Пушкинского дома на 1969 г Л 1971, с. 84.
[2] Тургенев и круг «Современника» М., Л., 1930, с. 370—371.
[3] Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч., т. 20, с. 104.
[4] Отечественные записки, 1843, № 4, с. 53—54.

ние Нового поэта. Под этим псевдонимом Панаев в дальнейшем публикует большую часть своих — не только пародийных и не только поэтических произведений. Его пародии непосредственно перекликаются со статьями Белинского, неутомимо высмеивавшего романтическую, ура-патриотическую и салонно-претенциозную поэзию. Мало преуспевший на заре своей литературной деятельности как поэт-романтик, Панаев оказался талантливым пародистом. Собрание стихотворений Нового поэта, вышедшее в 1855 году,— яркая глава в истории русской стихотворной пародии. По праву Нового поэта называют предтечей Козьмы Пруткова и поэтов-искровцев.

В «Отечественных записках» Новый поэт сделал первые шаги. Расцвет его дарования падает на эпоху «Современника». Зависимое положение Белинского, Некрасова и Панаева от литературного дельца Краевского с каждым днем становилось все более невыносимым. Особенно страдал Белинский, попавший в кабалу к корыстолюбивому, бесцеремонному антрепренеру. Осенью 1846 года Панаев и Некрасов приобретают у П. А. Плетнева влачивший жалкое существование журнал «Современник» (главный вклад внес Панаев, продавший лес). В 1847 году Панаев уже издатель, а с 1848-го и официальный редактор журнала, вокруг которого объединились почти все крупнейшие литераторы, в том числе Герцен, Тургенев, Гончаров, Дружинин, Боткин, Анненков, Григорович и, конечно, Белинский, Некрасов. Возвышение «Современника» нанесло «Отечественным запискам» непоправимый удар. Однако и «Современнику» вскоре пришлось пережить тяжкие испытания и потрясения: эмиграция Герцена в 1847 году, смерть Белинского в 1848-м, жестокая расправа над петрашевцами серьезно сказались на содержании всех отделов журнала, особенно критического. Но и в период «мрачного семилетия» «Современник» стремился оставаться верным демократическому курсу, завещанному статьями «неистового Виссариона».

Резко возрастает объем работы Панаева в журнале. С 1851 по 1855 год Панаев ведет в «Современнике» критическое обозрение «Заметки Нового поэта о русской журналистике», а с декабря 1855-го по 1861-й фельетонное — «Петербургская жизнь. Заметки Нового поэта». Иронизируя над столь многообразной деятельностью Панаева, славянофильский «Москвитянин» писал: «Журнал (...) собственно заключается в Новом поэте. Новый поэт вмещает в себя и науки, и критику, и словесность, и художества»[1]. Вплоть до 1855 года в значительной степени так и было; позднее — после прихода в журнал Чернышевского и Добролюбова — число постоянных рубрик, закрепленных за Панаевым, сильно сокращается. Но тогда, в годы безвременья, Панаев и Некрасов с какой-то непостижимой энергией везли непосильный воз огромной журнальной работы на себе.

Обозрение «Петербургская жизнь» упрочило за Панаевым репутацию ведущего фельетониста. Это, как точно сказал Григорович, были

[1] Москвитянин, 1852, т. 4, с. 125.

«лучшие фельетоны, когда-либо писанные в России»[1]. «Современник» — единственный русский журнал, в котором *все* статьи можно читать с любопытством,— мы всегда разрезываем прежде всего Нового поэта и г-на — бова»,— засвидетельствовал Достоевский популярность пародий, фельетонов, очерков и статей Панаева и Добролюбова[2].

Фельетоны Панаева в согласии с жанровыми канонами содержали обязательные сведения о последних событиях общественно-культурной жизни столицы. Но эта хроника новостей всего лишь узкозлободневное обрамление очерков и рассказов о ростовщиках и праздношатающихся фланерах, литературных дельцах и бродячих актерах, так называемых «порядочных людях» и очень расплодившихся авантюристах разных мастей, прислуге и трактирных гуляках, купчиках, проматывающих миллионные состояния, накопленные дедами и отцами, «львах» и «камелиях». Многослойная и многоцветная панорама жизни столичных обитателей «миражного», «фантастического» города.

Петербург Панаева главным образом город жуирующий, развлекающийся, по последней моде одетый, роскошно обедающий, надменно, через «стеклышко» смотрящий на прочий люд. Мир, погрязший в лицемерии и чванливости, призрачной роскоши и весьма дорогой любви. Это не петербургские «углы» Некрасова, «вершины» Я. П. Буткова, трущобный быт «бедных людей» Достоевского. Здесь не «мрут чижики», не смердит нищета, не плачут тихо иззябшие и голодные дети, не выходят на панель дочери и жены чиновников — опустившихся, спившихся с круга, навсегда потерявших надежду на «вакансию». Герои Панаева живут *истинно по-барски*, в вызывающей роскоши. Одежды *этих дам*, их утопающие в полумраке светло-голубые будуары не поражают, а подавляют воображение. Балы и пикники, устраиваемые мошенником наивысшего разряда, стоят целые состояния. Драгоценнейшая мебель и экипажи, неслыханные рысаки, море цветов в любое время года.

Панаев коснулся таких сторон жизни столицы, о которых до него почти никто не писал. Исследователю и смельчаку пришлось поплатиться. Писателя упрекали в безнравственности, в любовании продажными героинями. Прозвали «певцом камелий». Д. Д. Минаев сочинил даже «Оду петербургских камелий Новому поэту», обличавшую «игривого» фельетониста.

О безнравственности очерков Панаева о камелиях и дамах полусвета сегодня просто смешно говорить. Писатель совершенно избегает натуралистических подробностей, если, конечно, не отнести к ним жеста профессиональной кокетки, демонстрирующей свою «ботинку», специфического будуарного освещения и порой неумеренного употребления дорогих изысканных вин. Вовсе и не воспевает Панаев своих героинь. Напротив, обличает духовную нищету, паразитическое существование дам, их покровителей и непременных *Артюров*. Точнее, исследует новые,

[1] Ежегодник рукописного отдела Пушкинского дома, с. 86.
[2] Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч., т. 19, с. 79.

зловещие явления в жизни Петербурга, который уже невозможно представить себе без *ценных* и *махровых* камелий (не путать с *пропащими* женщинами, «погибшими, но милыми созданьями», наемными рабынями домов терпимости) и всячески подчеркивающих свое отличие от них, но, в сущности, только более жеманных, неискренних дам полусвета.

Нелепо упрекать Панаева и в том, что он почти не коснулся жизни бедных чиновников и мастеровых[1]. Он описывал те слои петербургского общества, которые хорошо знал, досконально изучил. Панаев в последние годы вообще придерживался строго очерченного круга проблем. Не очень доверяя своей художественной фантазии, он почти перестает писать повести; последняя — «Внук русского миллионера» (1858) — выросла из очерков и фельетонов; как главный герой повести, так и Шарлота Федоровна уже были персонажами «Петербургской жизни».

В 1854 году в «Современник» пришел Чернышевский, несколько позже — Добролюбов. Приход новых сотрудников совпал с радикальными переменами в жизни русского общества. Революционно-демократическое направление, провозглашенное Чернышевским и Добролюбовым, которых поддержал Некрасов, испугало и вызвало противодействие либерального крыла «Современника». Все учащавшиеся столкновения неизбежно закончились разрывом отношений, уходом либералов из журнала. Панаев, несмотря на сильное давление Тургенева, Анненкова, Боткина, Дружинина и других старых литературных друзей, остался в «Современнике». Он тяжело переживал резкое охлаждение отношений с близкими и дорогими людьми. К тому же Панаев, вне сомнения, как человек неопределенного и умеренно-демократического мировоззрения, многое не разделял во взглядах новых руководителей журнала. Незадолго до смерти он жаловался А. В. Никитенко «на своих товарищей-литераторов и журналистов, на тех передовых людей, которые так много вредят делу настоящей свободы»[2]. Григорович утверждал, что в последние годы Панаев «из редактора превратился (...) в простого сотрудника, получавшего гонорар за свои ежемесячные фельетоны. Добрейший этот человек, мягкий, как воск, всегда готовый услужить товарищу, когда-то веселый, беспечный, (...) находился теперь постоянно в мрачном, раздраженном до болезненности состоянии духа»[3].

Некоторая доля истины в словах Никитенко и Григоровича есть, но все же это тенденциозная критика, искажающая истинное положение дел, отводящая Панаеву роль «гуляки праздного», попавшего в тиски мрачных радикалов и «желчевиков» по легкомыслию и слабости характера. Выбор действительно дался Панаеву нелегко, но сделал он его совершенно сознательно, обдуманно, движимый любовью к литературе и преданностью «Современнику». Проявил не слабость, а силу характера.

---

[1] Поэтический рассказ «Галерная гавань» одно из немногих исключений.

[2] Никитенко А. В. Дневник в 3-х т., т. II. М., 1955, с. 258.

[3] Григорович Д. В. Лит. воспоминания. М., 1961, с. 158.

Как бы ни коробили Панаева некоторые статьи Добролюбова и Чернышевского своей отчетливой направленностью, он в полемику с ними не вступал. Даже напротив, счел необходимым пояснить в письме к Боткину, почему находит полемику Чернышевского с Дружининым на страницах журнала необходимой и полезной: «Дружинин (...), верно, будет (...) приписывать моей слабости и непониманию то, что я дал волю Чернышевскому. (...) Нет, литературная правда выше всяких приятельских отношений — и я не раскаиваюсь в своем поступке. Я сделал бы подлость, если бы отставил статью Чернышевского»[1]. Свое отношение к деятельности Добролюбова, «благороднейшего и талантливого» критика нового поколения, Панаев ясно выразил в некрологе, появившемся в ноябрьской книжке «Современника» за 1861 год.

Сложные обстоятельства нелепо сложившейся личной жизни, болезнь (порок сердца), журнальная травля, измена друзей, перешедших в лагерь недоброжелателей, сказались на состоянии духа Панаева. Начинала тяготить и роль присяжного фельетониста. Однако активная, изобретательная натура Панаева нашла верный выход из наметившегося было творческого кризиса. И если фельетоны писателя уже порядком приелись и не вызывали прежнего интереса, то «Литературные воспоминания» стали настоящей сенсацией 1861 года. Воспоминания Панаева особого рода. Они именно литературные. Панаев почти ничего не сообщает о своей семье и личной жизни, пунктирно только прочерчен его путь в литературе. С присущим писателю даром иронической наблюдательности обрисованы в воспоминаниях все знаменитые петербургские и московские литературные кружки, вечера и утренники 1830—1840-х годов. Панаев стремился создать точную и реалистическую картину, а не восторженно-экзальтированную поэму о русском Парнасе и его обитателях. Он беспощаден не только к литературным генералам, дилетантам, продажным фельетонистам («эта тля тлей»), но и к себе: посмеивается над прежними молодыми иллюзиями и сочинительскими амбициями, строго судя свои первые литературные опыты. Особняком в мемуарах стоит фигура Белинского, учителя и друга, память о котором была священна для Панаева: опубликованное в январском номере «Современника» за 1860 год «Воспоминание о Белинском» как раз и убедило писателя в необходимости приступить к литературным мемуарам. Сегодня, в перспективе времени, очевидно, что воспоминания Панаева, которого современники упрекали в пристрастности, чрезмерном увлечении мелочами быта, карикатурности, один из самых талантливых и достоверных рассказов о литературно-театральной жизни Петербурга и Москвы 1830—1840-х годов.

Панаев не успел завершить воспоминаний. Неосуществленными остались и другие литературные замыслы: за несколько дней до смерти он говорил, что вскоре «примется писать большую повесть, для которой

[1] Тургенев и круг «Современника», с. 417—418.

у него накопилось много типов из современного общества»[1]. 18 февраля 1862 года Панаев умер от разрыва сердца. Проститься с редактором «Современника», легендарным Новым поэтом пришли многие жители столицы. «Глубокое всеобщее сожаление, с которым встречена была весть о смерти Панаева в Петербурге,— писал Чернышевский,— многочисленные толпы народа, всех званий (...), приходившие поклониться Панаеву, (...) огромное стечение публики, присутствовавшей при отпевании тела, (...) все это показало, что истинные заслуги покойного поняты и оценены, что общество никогда не переставало уважать в нем даровитого, честного деятеля, до последнего дня жизни оставшегося верным своему призванию, по мере сил»[2].

Статья Чернышевского опровергает возникшую в либеральных кругах легенду о зависимом положении Панаева в «Современнике». Видимо, некролог представляет собой вариант речи Чернышевского, которую он (как и Некрасов), согласно донесениям агента, собирался произнести на похоронах, но воздержался, заметив слежку. Смерть Панаева, последовавшая вслед за смертью Добролюбова, нанесла еще один удар журналу. Оснований для мрачных предчувствий у Чернышевского было предостаточно. Вскоре Петербург озарился заревом пожаров, использованных самодержавием для расправы с оппозицией и ее вождем. Близилось к концу героическое время самого знаменитого русского журнала XIX века. Панаев умер в канун этих драматических событий.

Многообразен вклад Панаева в общественно-литературное движение 1830—1860-х годов. Талантливый прозаик и поэт-сатирик, выдающийся фельетонист и памфлетист, прогрессивный критик, активный деятель «Отечественных записок» эпохи Белинского, редактор «Современника», Панаев на протяжении тридцати лет беззаветно служил русскому искусству. Он был великим тружеником, о котором слишком часто снисходительно или пренебрежительно отзывались современники как о поверхностном фельетонисте, легко менявшем убеждения и мнения. Этой возникшей в стане литературных врагов и лукавых «друзей» Панаева репутации противостоят проникновенные и точные слова Чернышевского о добром незаменимом товарище: «Как литератор, он представлял собою нечто особенное: он смотрел на дело, которому посвятил свою жизнь, серьезнее, чем многие думают, и постоянно работал над собою, стараясь о собственном самосовершенствовании,— это факт, известный всем, кто знал его долго и близко. (...) Убеждения его не застывали в неподвижную форму с приближением старости: симпатии его в 50 лет, как и в 25, были на стороне молодого поколения»[3].

В. Туниманов

---

[1] Панаева А. Я. Воспоминания. М., 1972, с. 301.

[2] Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч., т. XVI, с. 665.

[3] Там же.

БЕЛАЯ ГОРЯЧКА



Повесть

«— Повесть! В этих повестях все такие сатиры и ничего нет правдоподобного. Даже, поверите ли, иной раз обидно читать.

Да, они — эти сочинители, не умеют совсем списывать с натуры; все они пишут точно в белой горячке.

— Можно, я вам скажу, и с натуры списывать, но так, чтоб не было обидно и чтобы нельзя было принять на свой счет».

(Разговор в гостиной г-жи Г)*

«С кого они портреты пишут?
Где разговоры эти слышут?..»

(Лермонтов)

I

Несколько лет назад,— и может быть, некоторые из читателей моих вспомнят об этом,— на выставке Академии художеств обратили на себя всеобщее внимание две картины: одна изображала Ревекку у колодца, другая какую-то девушку в белом платье, очень задумчиво и чрезвычайно поэтически сидевшую на крутом берегу какой-то реки, в ту самую минуту, когда вечерняя заря уже потухла и вечерние пары, медленно поднимаясь от земли, покрывали и горы, и лес, и луга, и воду синеватою дымкою. Правда, многие находили, что в лице Ревекки и в лице этой задумчивой девушки одни и те же черты, одно и то же выражение, и приписывали такое странное сходство недостатку творчества в художнике. Но, несмотря на это, всякий день, во все продолжение выставки, около этих картин была давка. Перед этими картинами останавливались — и чиновница в кожаных ботинках со скрипом, и нарумяненная барыня в шляпке с перьями, с удивительными и восклицательными междометиями, и дама большого света, никогда ничему не удивляющаяся, и канцелярский чиновник в черной атласной манишке со складочками, и его редковолосый начальник со Станиславом, развешенным на груди, и fashionable* с лорнетом в глазе, и конноартиллерийский

* светский человек *(англ.)*.

армейский офицер ужасающего роста в очках, и маленький инженер, рассуждающий о науках и танцующий по воскресеньям на вечеринках у статских и других советников, и кавалерист, военный денди — непременное лицо на всех балах и раутах, и вертлявая горничная с Английской набережной, в шляпке, с затянутой талией, воспитанная в магазине г-жи Сихлер, и толстая девка от Знаменья, недавно привезенная из деревни. У этих двух картин толпились все эти лица, фигуры и фигурки, которые вы, я и все мы ежедневно встречаем на Невском проспекте, на этой вечной петербургской выставке.

Отчего же эти две картины привлекли такое лестное, одобрительное внимание целого народонаселения Петербурга? Принадлежали ли они к тем эффектным произведениям живописи, которые невольно поражают с первого взгляда и не знатоков? Была ли это дань удивлению и восторгу истинно-художественным произведениям?

Картины точно были эффектны, и эта эффектность происходила от оригинальности их освещения; к тому же выпуклость фигур, казалось, выходивших из полотна, резко бросалась в глаза всякому, а свежесть зелени, на которую художник, видно, не пощадил краски, приводила большинство в невыразимый восторг. Такие достоинства должны были не шутя выдвинуть эти картины на первый план. Пройдя несколько зал, установленных портретами, ландшафтами, снятыми с довольно плоской и незатейливой местности, да историческими картинами, в которых фигуры группировались с симметрическою точностью, словно размеренные по циркулю, и вместе с тем отличались безукоризненными академическими *позами,* — и бегло обозрев все эти произведения, зритель чувствовал, что в голове его делался престрашный хаос, в глазах у него рябило, а ноги подгибались от усталости... Наконец, запыхавшись, о блаженство! он достигал до последней залы; чтобы перевести дух, садился на окно, и вдруг, вовсе неожиданно, поражала его зрение чудная еврейка, красавица, грациозно стоявшая у колодца, на которую, право, можно было заглядеться и после великолепной картины Горация Вернета... Утомленное внимание зрителя при взгляде на еврейку возбуждалось снова, и он с участием подходил к картине, чтобы хорошенько рассмотреть ее. А рядом с еврейкою — другая картина, девушка на берегу реки в сумраке вечера... Стоило вглядеться в эту картину: в ней открывалось столько таинственного и бесконечного...

Однако не без основания можно положить, что успех этих обеих картин объяснялся еще тем, что они стояли в зале перед самым выходом. Последнее впечатление, каково бы оно ни было, всегда сильнее первого, и память, растерявшаяся во множестве пестрых явлений, мелькавших перед глазами, не сохранившая ни одного штриха, ни одной черты, ни одного образа, радехонька ухватиться за последний предмет, особенно если этот предмет поразил не одни глаза, а хоть сколько-нибудь подействовал на душу. Странное дело! память никогда не верит одним глазам!.. Надобно при этом взять в расчет и то, что прогулка по залам должна была возбудить аппетит у каждого, а от этих двух последних картин сейчас можно было перейти к завтраку или к обеду.

Таким точно образом, после прогулки на выставке, за превосходным завтраком, который был состряпан истинно художнически, при четвертой бутылке шампанского, несколько известных любителей и покровителей искусств решили, что живописец, написавший *Ревекку* и *Девушку на берегу реки,* должен быть талант необыкновенный. Эти господа, светские любители и покровители, пользовавшиеся самою блестящею славою в петербургском большом свете, прожившие много лет и много тысяч в чужих краях, вывезшие оттуда великолепные альбомы, сами сделавшие несколько эскизов карандашом и претендовавшие на звание почетных членов Академии художеств, объявили во всеуслышание о новооткрытом ими таланте. «Талант! А-а! в самом деле талант? — заговорили дамы.— Кто он?» «Ах, боже мой, что за восхитительные картины... этакая прелесть! Как же живо и натурально, ах, ах!— кричали барыни.— Да что он? да где он?..»

«Торжествуйте, г. живописец! счастие обратилось к вам своим лицом и улыбается вам; вы восстаете из мрака неизвестности и выходите на свет божий, а это очень приятно!» — думал я, ходя по залам выставки, останавливаясь порой перед этими двумя картинами, так понравившимися публике, и прислушиваясь к суждениям знатоков и любителей об искусстве вообще и об этих картинах в особенности. Такого рода занятие мне очень понравилось: бывало, только что встану и напьюсь чаю, сейчас же на выставку, и не замечу, как пройдет утро.

Всего более я любил гулять в больших залах, установленных портретами... Сначала, правда, мне показа-

лось странно, каким образом более или менее удачные копии с более или менее известных физиономий удостоились чести быть на выставке художественных произведений? Какое до них дело искусству?.. Но впоследствии я оставил в стороне эти вопросы и с большим любопытством и наслаждением принялся рассматривать выставленные физиономии.

Однажды, когда я стоял перед портретом одного из тех красавцев, которые восхищают барынь и которых они обыкновенно называют *бель-омами**, и любовался его победоносными глазами и цепочкой с супиром, мне пришла в голову мысль, что, должно быть, удивительно весело родиться на свет красавцем и вырасти на славу себе, на украшение мира и на утешение барынь.

— Осип Ильич! слышишь, Осип Ильич! — вдруг раздался женский довольно решительный голос возле моего правого уха,— посмотри сюда, вот на этот портрет... Да куда ты смотришь? Налево... ну, вот. Уж красота, можно сказать, что красота! да и цепочка какая дорогая! должен быть миллионер!

— Славная цепочка! — возразил мужской нерешительный голос,— и с каким вкусом жилетка... Заметьте жилетку, Аграфена Петровна...

Я обернулся, чтобы посмотреть, кто делал эти остроумные замечания, и увидел подле себя толстую и низенькую женщину в чепце, в персидском платке, с кожаным ридикюлем, и ее кавалера, также небольшого роста, седенького, в вицмундире.

Эта барыня продолжала, обращаясь к своему кавалеру:

— Что, Осип Ильич, ведь работа-то почище Алексашенькиной? бархатец на жилетке каково сделан?

— Бесподобно, бесподобно! нечего говорить! Однако слышал я большие похвалы и его картинам, и слышал от людей солидных.

— Не верится что-то; да где же они, мы еще до сих пор их и не видали?

— Видно, подальше, в других залах. Пойдемте.

И они отправились далее. Я вслед за ними. Что это за Алексашенька? Мне также захотелось посмотреть его картины...

Я проходил залу за залой и должен был беспрестанно останавливаться перед различными картинами, выслу-

---

* красавцами-мужчинами (от. *фр.* bel homme).

шивать критические рассуждения барыни о достоинствах и недостатках этих картин и подобострастные, осторожные замечания ее кавалера. Мне уж стала надоедать прогулка за этими господами; барыня также начала изъявлять громогласно свое нетерпение, не видя Алексашенькиных картин, и явно сердилась на своего спутника... «Ну, да где же *его-то* картины? — вскрикивала она.— Видно, тебя обманули: их совсем нет, да куда ему и соваться с свой работой...»

Наконец мы достигли до последней залы. В этой зале, как и во все продолжение выставки, была страшная теснота. Барыня с ридикюлем отважно продиралась сквозь толпу, кавалер ее следовал за нею, а я за кавалером. Она впереди всех остановилась перед «Ревеккою», почти у самой рамы, и посмотрела вниз на бумажку с надписью. На этой бумажке было написано большими буквами: *Г. Средневского*. Барыня прочла надпись и замахала рукой своему кавалеру: «Сюда, сюда, поближе! ну, да пробирайся же!» Кавалер с большими усилиями подошел к ней. Я остановился немного в стороне, так, что мог их видеть и слышать их разговор. Минуты три пристально разглядывали он и она эту картину; потом она обернулась к нему, на лице ее заметно было волнение; и он обернулся к ней: его желтое и сморщенное личико остолбенело, в его мутных глазках и выразилось что-то похожее на недоумение...

Она воскликнула: «Осип Ильич?»

Он прошептал: «Аграфена Петровна?»

Она указала пальцем на Ревекку:

— Ведь это покойница?

Он покачал головой:

— Покойница.

— Каков, сударь, Алексашенька-то?

Он все покачивал головой:

— Да, да, да! две капли воды.

Так вот кто Алексашенька! Я стал еще внимательнее прислушиваться к этому странному разговору, но в эту минуту толстый и высокий господин с лысиной очутился возле Аграфены Петровны.

— Аграфена Петровна, Осип Ильич! — воскликнул он басом, немного в нос...

— Семен Федорыч! приятная встреча.

— Что, как вам нравятся картины? Есть, я вам скажу, дорогие, просто дорогие, но лучше всех вот эти две, они одним живописцем написаны. Прелесть, просто прелесть!

Кисть этакая мягкая, так все соблюдено; видно, что списывал с натуры...

— И, батюшка Семен Федорыч! да что в них особенно хорошего? Я и живописца этого знаю; такой дрянненький... Разве и другая-то его же картина?

— Его,— а славная вещь, просто славная!

Аграфена Петровна начала рассматривать «Девушку на берегу реки» и чрез минуту, указав на нее пальцем, закричала:

— Осип Ильич, знаешь ли что? Ведь и это покойница.

— Хм! — произнес Осип Ильич,— покойница! только та,— он указал на «Ревекку»,— больше похожа на покойницу.

— Все единственно...

— Какая покойница? — с удивлением спросил господин с лысиной и, посмотрев вниз на Осипа Ильича, продолжал:— Не хотите ли табачку? у меня отличный, просто отличный табак-рапе.

Он вынул из бокового кармана табакерку золотую с эмалью.

— Разве я не рассказывала вам этой истории?.. Ах, Семен Федорыч, какая у вас табакерка!.. дорога, я думаю?

— Да, ценная вещичка; эмаль какая, посмотрите: тончайшая отделка, просто тончайшая. Я купил ее на аукционе, она принадлежала князю Л.; у меня их и не одна, правду сказать; я собираю коллекцию.

— Весело носить этакую табакерку! — вздыхая, промолвила Аграфена Петровна.

— А про какую это историю вы говорите?.. Какая покойница? Тут на картинах нет никакой покойницы.

— Ах, батюшка Семен Федорыч! все мы смертные: придет и наш час. И ее уж нет, сердечной. Вот больше двух лет, как умерла.

— Да про кого это вы рассказываете, Аграфена Петровна?

— Про дочку нашего генерала. Славная была девушка, умница, обо всем знала. Бывало, как сидишь с ней, чего она не порасскажет... да, видно, лукавый попутал: сбилась, совсем-таки сбилась, ни за что пропала!.. Уж он за нее на том свете поплатится.

— То есть кто он?

— Да вот этот живописишка. Ведь хотя он мне и родственник причитается, да бог с ним, я давно на него и рукой махнула и знать не хочу. Пропадай он совсем!

Как лукавый-то попутал ее, она и влюбилась в него...

Осип Ильич в продолжение этого рассказа боязливо озирался вокруг, чтобы кто-нибудь не подслушал речей Аграфены Петровны.

— Влюбилась! Знаем мы эту любовишку, была и я молода, все мы были молоды, да спасибо родителям: дурь из головы как раз выколачивали. Вот видите ли, тогда жива была старушка, его мать; с полгода назад она умерла. Бог-таки наказал его!.. Жили они в бедности: сами знаете, в этом звании скоро ли наживешь копейку! А она, Софья-то Николаевна, дочка-то генеральская, под видом добродетели и ходила всякий день навещать старушку,— вишь хитрость какая! Тут они и сошлись покороче, а он и списал с нее эти портреты, и ведь потрафил, просто как на живую смотришь, да еще и теперь не посовестился выставить в публичное место,— бессовестная душа!.. Я проведала тогда об их шашнях, все и порассказала генеральше,— она так и ахнула! Что же, батюшка Семен Федорыч? все поздно было: Софья-то Николаевна вскоре и отдала богу душу.

— Ах, какая история! — воскликнул господин с лысиной.— Чего не бывает, подумаешь, на свете!

В эту минуту чья-то рука опустилась на мое плечо. Я посмотрел назад: то был мой старый приятель и товарищ.

— Хочешь познакомиться с Средневским?

«Как нельзя кстати»,— подумал я.— Разумеется, хочу.

— Пойдем же со мной.

Живописец, эпизод из жизни которого — верный или неверный — я так нечаянно выслушал, стоял в соседней зале в амбразуре окна и благоговейно внимал рассказам длинного человека в предлинном сюртуке. Подходя к окну, я слышал только несколько слов, дидакторски произнесенных:

— Художник! великое слово... В этом слове вся эссенция человеческой мудрости. Страшно шутить этим словом. Вот, посмотри хоть бы эту картину — хорошо, а нет *этого,*— и длинный человек сжал пальцы правой руки и выставил эту руку вперед, вероятно, чтобы яснее показать, чего нет и что такое — *это.*

Я познакомился с Средневским. Он застенчиво поклонился мне и, заговорив со мной, закраснелся... Лицо его было довольно полно, черты неправильны, но приятны, белокурые волосы его вились от природы. Его черный

сюртук был довольно поношен и, казалось, сшит не по нем, а куплен готовый; он держал в руке шляпу, порыжелую и истертую, и смотрел на длинного человека, как ученик смотрит на учителя.

Длинный человек продолжал:

— Ты талант, торжественно тебе объявляю — и публика уже оценила твои картины. Твой успех несомненен. Иди смело вперед. Ты будешь ближе всех к Доминикино, а Доминикино великий мастер. Дай бог только быть тебе счастливее его в жизни.

И длинный человек, проговоря это, взял руку молодого живописца и многозначительно пожал ее.

Живописец покраснел до ушей и несвязно лепетал что-то, повертывая в руке свою истертую и порыжелую шляпу.

II

Во время оно я посещал литературные общества. Вы, невинный читатель мой, верно, не подозреваете, что у нас в России это самые приятнейшие из всех обществ. Соберутся шесть или семь человек стихотворцев и прозаиков; несколько любителей, офицеров и статских, в том числе один или два артиста. Офицеры — по большей части пехотные и морские, особенно морские: они невообразимые охотники до литературы. Статские все в очках, глубокомысленной наружности. Комната не слишком большая, не слишком маленькая. Все эти господа пускают изо рта страшные тучи дыма и пьют чай в стаканах с лимоном. Литераторы первого разряда и статские в очках курят сигареты, литераторы второго разряда и пехотные офицеры — жуковский табак... Облака дыма носятся по комнате и застилают две лампы, без того довольно тускло горящие. Все физиономии в тумане; дым придает этой картине что-то неопределенное и до слез щиплет глаза. Разговоры чудо как занимательны:

— Тебя разругали в таком-то журнале.

— Да и черт знает за что, братец! Я ничего *его* не сделал. *Он* задирает первый.

— А тебя расхвалили?

— Ты счастлив, тебя вечно гладят по головке!

— Твои последние стихи — прелесть, братец!

— Ваша повесть мне очень понравилась.

— По двести рублей за лист.— Сколько мы вчера пили!

— Скажите, кого выставили вы в вашей повести?—

Никого; это лица вымышленные.— Неужели? а я думал, что вы с кого-нибудь списали...— Я придерживаюсь напитков слабых, как-то мадеры, портвейна...

В таких разнообразных и поучительных разговорах время проходит незаметно; посмотришь на часы — и уж далеко-далеко за полночь.

И вот, в один прекрасный вечер, недели три после закрытия выставки, я попал в такое сборище. Там между прочими нашел я и нового знакомца моего, живописца. Он, несмотря на огромный успех своих картин, о которых говорили и кричали повсюду, сидел еще скромно в уголку и смиренно покуривал вакштаф из длинного деревянного чубука.

Я подсел к нему.

Он протянул мне руку очень искренно и дружески, будто век был знаком со мной.

— Я все сбирался к вам в мастерскую. Ваши картины, которые были на выставке, еще у вас..

— Да, они еще у меня,— отвечал он, посмотрев на меня,— многие желают приобресть их и дают мне такую цену, которой они вовсе не стоят, но мне жаль расстаться с ними.

«Это очень понятно, и мне более, чем кому-нибудь»,— подумал я. Я вспомнил невольно рассказ барыни о генеральской дочке, подслушанный мною на выставке. Мне хотелось узнать, до какой степени этот рассказ вероятен.

— Не покажется ли вам странным и нескромным мое замечание? — начал я этою истертою фразою.— Меня, и, впрочем, не одного меня, поразило сходство лица вашей «Ревекки» с лицом девушки на другой картине.— И, сказав это, я пристально посмотрел на него.

Он вспыхнул и смешался.

— Да, это правда, это большой недостаток... Это...— И он не мог ничего сказать более.

— «Э-ге! да, видно, барыня-то не совсем солгала...» — Его смущение мне, однако, очень понравилось. Он, кажется, еще слишком молод и, по-видимому, жил в большой бедности. Что же? это ничего: года через два разбогатеет да пооботрется в обществе, понасмотрится и поприслушается, а там и перестанет краснеть... Не вечно же кутаться и прятаться в детских пеленках; право, чем скорей, тем лучше сбросить с себя все эти забавные украшения и сойтись лицом к лицу с действительностию...

— Так вы решительно не хотите расставаться с вашими картинами?

— Может быть, я нехотя должен буду расстаться с ними. Не знаете ли вы князя Б*?

— Нет, не знаю.

— Он приехал сюда на время, а живет постоянно в Москве... Князь так добр и так расположен ко мне: он раза два или три в неделю посещает мою бедную мастерскую и непременно хочет иметь мои картины,— а ему, которому я, в короткое время знакомства, обязан многим, ему отказать мне совестно...

В эту минуту один из морских офицеров подошел к художнику.

— Чем изволите заниматься теперь? — спросил он его.

— Оканчиваю два портрета.

— Чьи-с?

— Генерал-адъютанта Ф* и графини К*.

«Прекрасно! — подумал я, в добрый час! он начал славно». Я еще что-то хотел подумать, но вдруг в передней раздался звонок с такою силою, что многие вздрогнули. Дверь отворилась, и в комнату вошел мерными шагами тот длинный человек, которого я видел на выставке. Бегло взглянув на всех и еще не кланяясь никому, он подошел к молодому художнику.

— Очень рад, что нашел тебя здесь. Мы только сейчас говорили о тебе в большом обществе, где были почти все дамы. Ты их с ума свел своими картинами. У дам тонкий, эстетический вкус. Я восторгу дам верю более, нежели рассуждению иного ученого критика. Да!..

Произнеся это, длинный человек обратился ко всем.— Здравствуйте, господа! — Здравствуй, душа моя! здоров ли ты? — Здравствуйте! — раздавалось со всех сторон, и все подходили к длинному человеку и протягивали ему руки, и он всем приветливо улыбался. Три офицера и один статский молча поклонились ему. Четвертый офицер подошел к статскому в очках и, толкнув его под бок, таинственно шепнул ему, указывая глазами на длинного человека: «Вот, mon cher*, ум-то и талант! У, у, у! У него обо всем такие оригинальные суждения; послушай его... А сведения какие! Он, кажется, всю ученость проглотил».

— Хозяин дома, поди сюда! продолжал длинный человек, нахмурив брови и между тем улыбаясь едва заметно.— Ну, прежде всего поцелуемся. Вот так: а потом я всем скажу слово. Присядьте-ка, господа.

* дорогой мой *(фр.)*.

Мы все сели.

— Между нами есть человек, которого имя со временем станет наряду с именами первых художников, если он будет умен. Мы все будем им гордиться и его чествовать. Вы догадались, о ком я веду речь?..— И оратор посмотрел на бедного живописца, который потупил глаза в стол и, казалось, боялся пошевельнуться.

— Да, его произведения, которыми вы все любовались — диво! Надо уметь оценить их вполне; в них бездна того, о чем и рассказать нельзя, но что доступно только посвященным в таинства искусства...

Офицер и статский при этих словах перемигнулись друг с другом. Этим миганьем они хотели сообщить друг другу то удивление и тот восторг, который проникал их насквозь от обаятельной силы красноречия длинного человека.

— Дело в том, что ты, хозяин дома, во славу и дальнейшее преуспеяние русских художеств, должен непременно угостить нас шампанским! Сегодня экстренный случай. Мы еще не поздравляли его. Итак, первый тост за его успехи! — И он указал пальцем на бедного живописца, который все еще не поднимал глаз.

— Браво, браво! превосходная мысль! — раздалось несколько голосов. И увы! хозяин, волею или неволею, должен был повиноваться.

Скоро раздался гармонический звон стаканов, и первая бутылка очутилась перед носом длинного человека. Он любовно посмотрел на нее, ласково погладил ее благородную шею и занялся ее откупориванием.

С страшным залпом вылетела пробка, и шипучая, звездистая влага вырвалась на свободу. Стаканы были наполнены. Все обратились к художнику при неистовых криках. Он старался, и очень заметно, скрыть свое удовольствие, но не мог. В порыве этого удовольствия он схватил за руку длинного человека и крепко пожал ее; но длиный человек отдернул свою руку и протянул к нему свои объятия. «Поцелуемся!» — сказал он, и они наклонились друг к другу и поцеловались через стол.

Потом длинный человек начал декламировать о том, что такое Шекспир, что такое Гете и Шиллер, что такое Москва и Петербург, Микель-Анджело и Рафаэль, какая судьба ожидает художества в России...

Все слушали его, и дивились ему, и пили. Морские офицеры были вне себя от его речей. Он был оракулом этого маленького литературного кружка, а потому пил

больше всех и поил художника. Шампанское потоком лилось в уста оратора, вдохновение потоком изливалось из уст его. Опорожненные бутылки начинали вытягиваться строем; лица собеседников ярко горели; в краткие минуты отдыхов оратора уже литераторы второго разряда смелее начинали подавать свой голос.

Вдруг длинный человек приподнялся со стула, облокотился обеими руками на стол и торжественно обвел глазами все общество. Литераторы второго разряда тотчас смолкли, тишина воцарилась в комнате.

— Еще слово, и это слово опять-таки к виновнику нашего пира, к творцу *Ревекки!* От лица русских художеств обращаюсь я к нему и даю следующий совет...

— Говори же скорей и чокнемся! — воскликнул творец «Ревекки»...

— Молчи... Совет мой будет тебе полезен, и да не изгладится он из памяти твоей во всю жизнь. Ты еще молод, неопытен, выступаешь на поприще скользкое. Тебе бог дал талант, и зависть обовьет тебя и сдавит, как змеи Лаокоона,— и тысячи змеиных голов устремятся и будут шипеть и изливать яд свой. Да, я знаю это по собственному опыту,— но не бойся. Трусость хуже всего; иди смело вперед и не кланяйся на пути прохожим. Надобно, чтобы они тебе первые кланялись. Не пренебрегай деньгами из пустого идеализма. Деньги — все: они и любовь, и дружба, и счастие, и слава! Не морщись,— поживи с мое, узнаешь, прав ли я. Деньги имеют силу сверхъестественную. С деньгами тебе неопасны будут и змеи, которые обовьют тебя; покажи им горсть золота, они сейчас же потеряют свою силу и отпадут от тебя... Итак, прежде всего наживи деньги. Искусство искусством, деньги деньгами; одно не только не помешает другому, а еще пособит. Без денег нет внутреннего спокойствия, а без внутреннего спокойствия творчество не придет к тебе. Деньги и деньги! Наживешь деньги — поезжай в Италию, подыши тем воздухом, которым дышали Торквато, Рафаэль, Данте, Тициан и Доминикино... Открой в Риме большую и богатую мастерскую, возьми кисть — и пиши... вдохновение при таких обстоятельствах явится к твоим услугам, об этом не заботься — и к тебе в мастерскую нахлынет вечный город и будет тебе аплодировать. Праздные путешественники съедутся со всех концов земли смотреть твои картины; журнальные листки прогремят о тебе... И тогда, тогда только вздохни свободно и легко и скажи самому себе: слава моя упрочена, теперь мне за

нее трепетать нечего. Потом, если вздумаешь, возвращайся в Россию, живи и наслаждайся жизнию, пиши даже дурные картины, если художественные силы твои истощатся,— ничего: и дурными твоими картинами будут все восхищаться, потому что имя твое уже освящено. Но, не заставив кричать о себе в чужой земле, ты ничего не выиграешь в своей. Теперь ты понравился, тебя хвалят, ты входишь в моду; все это непрочно: мода пройдет и тебя забудут, деньги ты проживешь, а вновь будет взять неоткуда. Dixi!*

И длинный человек тяжело опустился на свой стул. Опять раздалось громкое *браво,* но художник молчал, он немного попризадумался... однако через минуту налил себе стакан вина, выпил вино до капли и закричал:

— Что будет, то будет, а теперь станем пить!

— Хорошо сказано! — проворчал длинный человек. И снова стаканы наполнились.

Через два дня после этой попойки, в одном петербургском журнале объявили самыми громкими, вычурными и бестолковыми фразами, с маленькою примесью чего-то вроде остроумия, что молодой художник, г. Средневский — кандидат в гении, и что две его картины, восхищавшие всю петербургскую публику на выставке, могут смело соперничать с лучшими картинами Тициана и Рубенса!

III

Осень, скучная и грязная осень, наступила, и говорили, будто ранее обыкновенного, хотя в тот год в Петербурге совсем не было лета. Я переехал с дачи в начале сентября; дождь лил ливмя, наводя уныние; мутное серенькое небо оскорбляло зрение; я решился никуда не выходить из дома. В это время очень кстати вздумал довольно часто посещать меня мой живописец. Мы постепенно привыкали друг к другу; он становился со мною непринужденнее, открытее, и меня очень занимали его разговоры. Дождь стучал в окна, а нам у камина было так тепло и покойно! Он сделался, как я заметил, вообще гораздо развязнее, он мог даже спокойно лежать на кушетке, протянув ноги, и не вскакивать, если кто-нибудь входил в комнату. Картины свои он продал князю Б* за большие деньги: это можно было тотчас заметить, потому что на нем был ко-

---

* Я сказал! *(лат.)*

ротенький сюртук, дивное произведение одного великого и дорогого петербургского артиста, славно выказывавший его прекрасную талию; черный атласный платок с длинными концами, небрежно завязанный узлом и зашпиленный маленькой золотой булавкой; тонкое белье. Все это преобразило его. И как шли к этому его длинные белокурые волосы, его голубые глаза. Я любовался, глядя на него; я был уверен, что женщины на него заглядывались. И он был весел как дитя, забавляющееся новыми игрушками. Первые два портрета удались как нельзя лучше; об этих портретах заговорил весь аристократический люд и удостоил его чести быть своим привилегированным портретистом. Позолоченные двери салонов отворились перед ним; мир чудный, роскошный, неведомый открылся перед ним: и ковры, и бронзы, и шелк, и бархат, и мрамор, и вся эта сказочная роскошь тысячи одной ночи. Он, очарованный, вдохнул в себя эту негу, эту тончайшую амбру, которая так непостижимо-усладительно щекочет обоняние бедняка, сыздетства более привыкшего к гераням и ноготкам, чем к пышным, махровым розам, гелиотропам и гиацинтам... Ярко и живо описывал он мне свою робость, которую так мучительно ощутил он в первый раз при взгляде на расточительность богатства, на наружный блеск, на этих женщин, так непостижимо-грациозных, так страшно-соблазнительных. Когда он говорил об них, он весь дрожал, на глазах его блестели слезы. Я понимал его юношеский жар, но, слушая его, смеялся от всей души. Ни разу, однако, в разговорах со мною он не касался своего прошедшего, даже мне показалось — избегал этого, несмотря на то, что иногда откровенно высказывал мне свои задушевные мысли. Случилось как-то, что он засиделся у меня часа до второго; я уж начинал зевать — он увлекся моим примером и наконец взялся за шляпу; вдруг мне пришел в голову рассказ барыни на выставке, я остановил его и передал ему этот рассказ от слова до слова и в лицах.

Когда я кончил, он положил свою шляпу на стол и бросился на диван в заметном волнении.

— Проклятая чиновница! — сказал он,— никак не может оставить меня в покое. Но за себя я прощаю ей; меня возмущает только то, что она осмеливается тревожить память этой девушки, которую я точно любил. Она была чудная, редкая девушка! Воспоминание о ней — самое святое воспоминание моей жизни. На моих картинах точно она...— Он до рассвета просидел у меня, рас-

сказывая историю этой бедной девушки, *дочери чиновного человека,* и свое знакомство с нею.

— Я бы готов был,— сказал он, уходя от меня,— жить снова в бедности и неизвестности, переносить всевозможные лишения, только бы увидеть ее хоть один раз еще, услышать ее голос. Верите ли, я иногда не сплю по целым ночам: мне представляется, что я должен увидеть ее, и я жду этого чудесного явления с сладким трепетом сердца — но все напрасно! Мне часто слышится ее походка, и я вздрагиваю.

Этой последней эффектной выходкой, этими таинственными фразами он хотел, казалось, произвести на меня впечатление, хотел придать своей прежней любви интерес поэтический,— уверить меня, что эта любовь была так глубока, так велика, что на нее не могло иметь влияние даже время всесокрушительное и всеохлаждающее; он хотел обмануть меня и, сам не подозревая, обманывал вместе с тем самого себя. Не шутя пораздумав, верно он не принес бы ничего в жертву для возвращения своего прошлого. Настоящее всегда несравненно существеннее, увлекательнее и заманчивее, несмотря на все красноречивые доводы милых мечтателей... Жизнь внешняя впервые явилась перед ним фантастически-разубранная, страстная, как вакханка в венке из сочных и продолговатых гроздиев, с соблазном на устах... и она манила его в свои роскошные объятия, звала на свою пламенеющую грудь и то небрежно раскидывалась перед ним, то окружала себя мгновенным, ослепительным блеском...

О, прочь все благоразумные советы и предостережения людей опытных, и высокие примеры самообладания и самоотречения! Молодой человек жаждет жизни; у него страшно кипит кровь, радостно бьется сердце надеждами, взор светлеет любовью и верою, кудри прихотливо и живописно вьются до плеч — и он без размышления предается лукавой чаровнице, и он, как у Шиллера, бросается в мрачную и страшную бездну за драгоценным золотым кубком.

Жизни, жизни ему! Он упивается настоящей минутой, для него прошедшее — мертвая развалина, будущее — туман непроницаемый... Он, переполненный силами, хочет действовать, а не сидеть сложа руки, не болезненно мечтать и пресмыкаться в кругу фантомов, выходцев с того света, и бесцветных идеалов, насильственно вымученных у бедного воображения.

Моего живописца, слава богу, занимало все, потому

что для него все было ново — и он не успел выучиться скрывать своего девственного восторга. Правда, по странности, свойственной многим людям, он нередко употреблял старание казаться не тем, чем был, прикидываться недовольным, идеальничать, говорить разочарованным, элегическим тоном русских стихотворений,— но это было ненадолго: он тотчас же выходил из своей неприличной роли, сбрасывал с себя смешную маску и являлся в настоящем своем виде.

И в эти идеальные минуты он был чудо как хорош!.. Он требовал от жизни такого, чего и сам не мог растолковать себе; он хотел пересоздать всех и все, приделать к себе крылья — и, вроде Амура, летать в облаках и упиваться небесным ароматом, и свысока смотреть на презренное человечество, ползающее внизу. Он рассуждал о предметах совершенно новых, как-то: о созвучии двух душ, о счастии быть любимым не по-здешнему, не поземному; о высшем блаженстве найти себе девушку, облеченную в ризы ангельские, и слиться с нею в полной гармонии, а потом умереть,— и проч. и проч., о чем прекрасно рассуждает всякий герой какого-нибудь романа или повести в высоком роде, написанной для разрешения нравственно-философического вопроса. Иногда же он толковал о том, что любить никого не может, даже и в таком случае, если бы «неземная», которую он хотел отыскать, вдруг откуда-нибудь прилетела сама и чистосердечно объявила, что она сгорает к нему самою страстною и вместе с тем самою небесною любовью. «Любят один раз в жизни,— говорил он.— Нет той, которую любил я,— и для меня не может существовать другая любовь!»

Эти слова доказывали, однако, что он непреодолимо желает любить — и при первом удобном случае готов влюбиться до полусмерти. Так прошло два месяца,— и он до того приучил меня к себе, что когда не являлся в условленное время,— а это случалось редко,— мне становилось без него неловко, скучно. Привычка великое дело; к тому же я необыкновенно люблю и уважаю тех людей, которые отвлекают меня от моих занятий и дают мне предлог оправдываться в бездействии перед самим собою. Мой юноша говорил много об искусстве, и говорил с жаром, с увлечением. У него было глубокое чувство — и чувством он понимал то, чего другие никогда не поймут умом. Не одно искусство, которому он посвятил себя, исключительно занимало его, исключительно было доступ-

но ему: он много читал, он был в восторге от Гете; «Вильгельм Мейстер» был его настольною книгою: бесконечный поэтический мир открывался перед ним в этой чудной книге; его любимою мыслию было изобразить на картине Миньону; он наизусть декламировал многие места из трагедий Шиллера и, декламируя, горячился и размахивал руками. Надобно было его видеть в ту минуту, когда он прибежал ко мне с известием, что прочел «Мейстера Фло» Гофмана. «Гофман великий поэт, великий! — кричал он, бегая из одного конца комнаты в другой.— Эти господа, которые кричат, что он с талантом, но чудак, что у него немного расстроено воображение,— они не понимают его,— они, эти не-чудаки, эти умники, читая его, видят только перед своими глазами одни нелепые и безобразные фигуры и не подозревают, что под этими нелепыми фигурами скрываются дивные, глубокие идеи идеи, доступные только поэтической душе, живому сердцу, а не их мертвым и засушенным умам!» Воздушная красавица, незаметно скрывавшаяся некогда в чашечке роскошного тюльпана и снова вышедшая оттуда во всем прихотливом убранстве своем, эта непостижимо-пленительная принцесса Гамагег долго повсюду носилась за моим живописцем и приводила его в такой восторг, которого, вероятно, при взгляде на нее не чувствовал и сам великолепный царек блох, удивительный мейстер Фло. Шекспир... но Шекспира мой живописец читал мало, благоговея перед ним более понаслышке, и если говорил о нем, то с очень заметною умеренностью. Душа его требовала образов идеальных, звуков гармонических, мыслей отвлеченных; он искал в поэзии удовлетворения своим личным ощущениям. Ему страшна была эта неумолимая истина, эта наружная холодность, эта могучая полнота жизни в созданиях великого; он еще не приготовился, чтобы войти в этот мир без всяких украшений, в мир как он есть, во всем своем возмутительном безобразии и во всей увлекательной, божественной красоте своей; форма этих созданий пугала его, останавливала на каждом шагу, была ему недоступна, удерживала его юношеский восторг, не давала разыграться его чувству, не возвысившемуся до сознания; ему еще дико казалось это творчество — громадное, бессознательное и бесстрастное. И я не удивлялся этому, не противоречил ему, но всегда с участием слушал его восторженные речи; только, бывало, когда он заговорит о небесной «любви» и погрузится в мечтания, я преспокойно начинал дремать. Он заметит действие,

произведенное на меня его фантазиями, и сам расхохочется над собою...

Но вместе с осенью кончились наши частые свидания, он почти перестал бывать у меня, несмотря на то, что зимние пути сообщения несравненно легче. Сначала это меня удивило; я думал, не сердится ли он на меня за что-нибудь, и однажды, встретив его на улице, шутя заметил ему, что он совсем разлюбил меня. Он извинялся, говорил, что не имеет минуты свободного времени, что завален работой и еще что-то в этом роде.

Это была явная отговорка, обыкновенные фразы, употребляемые для того, чтобы не совсем оставлять без ответа того, кто нас спрашивает о чем-нибудь. Я уже начинал забывать о моем живописце, но вдруг общие слухи о нем дошли и до меня. Загадка, почему он перестал ходить ко мне, объяснилась: он находился под влиянием длинного человека! Меня это нисколько не удивило: я знал, что длинный человек стоит на ловле возникающих талантов, заманивает к себе неопытных и опутывает их своими сетями с большим искусством.

IV

Теперь позвольте мне познакомить вас покороче с длинным человеком. Он средних лет, ходит мерными шагами, говорит с расстановкой, важно, уверительно, иногда поднимая глаза к потолку, иногда опуская их к полу; речам своим он старается всегда придавать таинственность, относятся ли эти речи к сатаническому поэту Байрону или просто к погоде. В первые годы молодости он искал себе славы — и славу свою хотел основать на трех, сочиненных им, длинных поэмах, в 2500 стихов каждая. Тогда еще у нас была мода на поэмы. Этими тремя поэмами он возымел дерзкое намерение сокрушить всю предшествовавшую русскую литературу от Ломоносова до Пушкина включительно. А для того, чтобы о его гении трубили заранее повсюду, чтобы везде прославляли его и удивлялись ему,— он, еще до напечатания своих длинных поэм, собирал около себя юношей безвестных, невинных и пылких, которых так легко приводить в восторг, так легко заставлять удивляться. И невинные и пылкие от всей души аплодировали ему и кричали о нем, где только могли кричать. Но вот появились наконец в печати длинные поэмы — и заговорили сами за себя, и произвели эффект. Тогда длинный человек отпустил от себя невинных

и пылких: в них уже не было ему никакой надобности. Его длинные поэмы все читали, хоть, может быть, никто не дочел их конца, все хвалили и все говорили· «Да посмотрите, как они длинны, огромны!» На всех нас, русских читателей,— это истина неоспоримая,— действует еще до сих пор гораздо более *количество*, нежели *качество*, и потому наши сочинители, как люди умные и сметливые, основывают всегда свою известность на количестве томов, и потому мы, например, говорим: «Пушкин — сочинитель «Цыган», Херасков — творец «Россиады»!..

Длинный человек вполне уразумел эту великую истину, и общий голос включил его в почетную шеренгу *литераторов первого разряда.* Но он не удовольствовался этим и возжаждал — славы! Слава издалека улыбнулась ему, но он, при всем своем уме, не понял ее двусмысленной улыбки и бросился к ней,— а она дальше и дальше, а он все за ней. Шли годы, его никто не видел; в эти годы он все гонялся за славой; между тем люди неблагодарные и жестокие стали помаленьку забывать и его, и его длинные поэмы. Эгоисты! они требуют, чтобы беспрестанно забавлять их и вертеться у них перед глазами! Он наконец возвратился утомленный, не догнав ее, этой соблазнительной славы. Тогда, с болью в сердце, увидел он свою ошибку. Остаться в забвении он не мог; надобно было придумать средства к поддержанию своей известности. Какие же средства? Длинный человек хитер и изобретателен: чувствуя, что его недостанет более и на 300 стихов, он перестал писать стихи и снизошел до прозы. Прозой писать, говорят, ничего не стоит, необыкновенно легко. Итак, он снова бросил имя свое неблагодарным людям под какою-то прозаическою статьею. Люди вспомнили о своем прежнем забавнике, и хоть не с прежним энтузиазмом, но заговорили о нем. Журналисты — души добрые и неподкупные, страдальцы, подвергающиеся разным клеветам и наветам своих бесталанных завистников, они, приятели длинного человека, объявили благосклонной публике, что длинный человек пишет мало и прозой оттого, что не хочет писать много и стихами; а стоит ему захотеть — и появится удивительная не только поэма, но целая эпопея в шесть раз больше виргилиевой «Энеиды».

Между тем длинный человек уединился в собственное величие, понял тщету земного; он исподтишка лукаво улыбается и думает: «Ждите, ждите моей поэмы, друзья мои, и смотрите на меня с надеждою, я проведу всех

вас! Я буду жить теперь не для вашего удовольствия, а для своего; я окружу себя молодыми поэтами, музыкантами, живописцами, всеми возможными талантами, на которых только обращено внимание: из них я составлю блестящую рамку для своего собственного портрета, и мной вы будете любоваться и говорить про меня: он друг такому-то первому художнику, такому-то первому композитору, он все знается с «первыми»!.. Художники, особенно молодые, доверчивый и недогадливый народ: они не поймут, что мне они необходимы для собственного моего украшения... Человек совестливый — за услугу, которую они, сами не подозревая, оказывают мне,— я научу их философии жизни; я разверну перед ними биографии гениев и докажу им, как дважды два — четыре, что все великое и прекрасное не оценяется современниками и терпит на земле горькую участь. Если они испугаются этой мысли, я скажу им: вздор, пугаться нечего; хорошее прячьте от людей, давайте им посредственное и берите за это с них денег, как можно больше денег. С деньгами же и веселитесь, и пейте. Недаром пили и веселились гениальные художники: стало быть, вино хорошо!»

И вот, благодаря своему успеху, мой живописец записался в несметное число друзей его и поступил на вакансию какого-то старого друга, который, изучив вполне «философию жизни», поблагодарил длинного человека за его уроки и удалился.

Я не знал, что этот литературный Мефистофель, переделанный на русские нравы, этот длинный человек давно уже заманивал к себе моего юношу. Правда, на том литературном вечере, где был я, куда и вас осмелился ввести, читатель мой, и я и вы заметили, что он, не шутя, за ним ухаживал; что, подавая ему советы, он тогда же, кажется, намеревался мало-помалу посвящать его в свои таинства. И должно отдать ему справедливость: он так мастерски растревоживал самолюбие своей жертвы, так приятно льстил этому неугомонному самолюбию! Он на себе изведал, что самолюбие есть вернейший проводник к человеческому сердцу.

Длинный человек любил публичную жизнь. Он был повсюду: и в театрах, и в концертах, и в ресторациях, и на улицах. Юноша мой всегда рядом с ним; он сделался его неразлучным спутником... Не вините моего юношу: праздная и разгульная жизнь кому не была в свое время по сердцу?

Сколько знакомств доставил ему длинный человек,

и каких знакомств! В Петербурге, как и во всех европейских столицах, есть особенный класс молодых людей, которых вы не встретите никогда и ни в каком обществе. Они составляют свое отдельное братство и равно подсмеиваются над фешенеблями большого света и над любезными кавалерами среднего сословия. Это молодежь веселая и беспечная, для которой жизнь ровно ничего не стоит, для которой в жизни нет ничего такого, над чем бы стоило призадуматься, для которой всякий день — столы, уставленные жирными устрицами, и трюфелями, и кровавыми ростбифами, и бутылками разных форм и величин: с звездистым замороженным шампанским, которое действует так скоро, с бархатным, подогретым лафитом, который действует так медленно, и с сокрушительной темноцветной мадерой, и с густым пенистым портером, и с этою ароматною влагою в золотых бутылках с берегов Рейна...

Эти господа молодые люди родятся и воспитываются для того, чтобы одеваться по последней картинке, спать до первого часа, пить кофе и курить сигару до трех часов, а с трех до пяти гулять по Невскому проспекту для возбуждения аппетита, а с пятого до восьмого обедать и пить у Дюме или в других ресторациях, а с восьми до пяти утра пить и... вообще веселиться.

Корифеями этого разгульного братства всегда бывает несколько человек, носящих старинные аристократические фамилии и имеющих довольно значительное состояние; около них-то собираются остальные — люди разных сословий, и легонькие дворяне, проматывающие свое крошечное состояньице, и купчики-франты, разрушающие немилосердно капиталы, скопленные многолетними трудами и усилиями бородатых отцов их, — и всё из высокой чести, из одного высшего наслаждения участвовать в княжеских или графских забавах и прохаживаться с известным и знатным человеком по Невскому проспекту, так, чтобы все видели. К ним присоединяются иногда французские артисты, изредка даже русские художники. За бокалами шампанского сближаются скоро; эта влага производит действие чудное. она располагает сердца к искренности, она усмиряет барскую спесь, заставляя забывать и великолепных предков, и полосатые гербы с коронами...

Длинный человек был давно в приязни с некоторыми членами этого братства, и он познакомил с ними моего живописца...

И для него начались пиры за пирами, дни в чаду, во сне и ночи без сна — нескончаемая вереница безобразных вакханалий, от которых претяжелое похмелье и престрашная пустота в сердце. Новые товарищи его были довольны им; они не понимали только одного, почему он, *добрый малый,* часто скучен сидит в громе общего веселья и задумывается, тогда как они ни о чем не думают. «Он пьет довольно для новичка,— восклицали многие,— он подает блистательные надежды, он молодец, ему скоро прискучит шампанское — вино детей, он перейдет к винам зрелого возраста».

— Умно замечено! — восклицал длинный человек.— Это верный взгляд на вина! Но нельзя с таким пренебрежением отзываться и о шампанском. В шампанском нет солидности,— так; зато в нем есть поэтичность, которой нет в других винах.

— Вино вещь хорошая, господа,— заметил мой юноша, у которого голова начинала кружиться,— но всякий день одно и то же, пиры за пирами...

— Какие пиры? — раздалось несколько удивленных голосов.

О, невинность! он не знал, что эта буйная жизнь только ему представлялась в виде пиров, а для прочих окружающих его была обыкновенное препровождение времени, существенная, крайняя необходимость, как для нас обед, чай...

Деньги становились для него очень важны, он начинал понимать цену деньгам. Вино, платье, извозчики — все это так дорого, а женщины... о, в тумане винных паров мелькали перед ним головки темно-русые, и белокурые, и черные; из них некоторые, право, были очень недурны; эти головки улыбались ему, иные, впрочем, ужасно отвратительно, а вот эта с длинною черною косой, с влажными глазами...

Денег, денег! И он с заспанными глазами, полудремлющий, для добывания денег принимался за портреты. Писать портреты чрезвычайно прибыльно, и вся мастерская его была загромождена портретами.

— Что, деньги — вещь хорошая? — спрашивал его длинный человек.

— Да, но без денег нет соблазнов, без денег я был покойнее. У меня теперь голова без мыслей, и такая тяжелая! Ни за что не хочется приняться; только и могу малевать физиономии. Чем же все это кончится?

Длинный человек медленно покачал головой.

— Не то! — с важностью произнес он.— Я люблю искусство или нет? Отвечай мне.

— Любишь.

— Так знай же, что тобой я дорожу более, чем... ну чем бы? более, чем самим собою,— и при этом он поднял указательный перст.— Следовательно, если бы тебе могла повредить теперешняя жизнь твоя, тогда я первый вывел бы тебя неволею из этого содома и сказал бы: «Не обращайся назад, а не то беда». Да! кого я полюбил, с тем я всегда действую деспотически. Но успокойся, не думай ни о чем, продолжай веселиться; товарищи наши, конечно, люди ограниченные,— да и они пригодятся, и ими можно со временем воспользоваться; они богаты и глупы. Пиши теперь портреты,— ничего, так должно! Не кручинься о том, что у тебя в голове нет мыслей. Погоди: внутренняя твоя художническая сила, что там, во глубине-то, в свое время, когда надобно, пробудится в тебе и заговорит громко, резко, повелительно: поди в свою келью, запрись, не пускай к себе никого, твори — и без твоего усилия все пойдет, как следует. Настанет это время, и сам я наклонюсь к твоему уху и шепну тебе: брось всех этих безумцев, гуляк; не теряй минуты, не пренебрегай внутренним голосом и помни, что искусство — святыня!

Время шло, а длинный человек не наклонялся к уху своего друга и не шептал ему ничего; внутренний голос живописца также молчал. Ему становилась в тягость вся эта праздношатающаяся ватага его приятелей. Однако он еще прогуливался с ними по Невскому проспекту; ему опротивело вино, однако он пил так же много, только поморщиваясь; ему надоели петербургские улицы, прямые и однообразные, с высокими и гладкими каменными стенами, а он только по утрам сидел дома. Болезненное равнодушие овладело им; он похудел и пожелтел; ему ни с кем не хотелось говорить; ему ни о чем не хотелось думать...

— Добрый знак! — утешал его длинный человек,— от этой апатии ты скоро перейдешь к сильной деятельности. Поверь мне: приготовляй теперь краски, палитру и кисти; закупай полотна, а я между тем объявлю в газете, что ты замышляешь огромную картину, которая превзойдет все, что мы доселе имели в живописи.

— Ради бога, не делай этого! — вскричал живописец, пробужденный от своей дремоты,— можно ли так гнусно

обманывать! Я не могу писать и решительно ничего не напишу.

— Когда тебя не спрашивают, молчи. Я лучше тебя знаю все, даже и тебя-то самого. Картину ты напишешь, а если и не напишешь, так не велико горе. Людей морочить позволительно; это им полезно. О тебе давно не говорили в печати, надо рассеять бессмысленные городские толки, что ты пьешь и ведешь жизнь праздную. Эти тупые головы думают, что художник, как чиновник с знаком отличия беспорочной службы, должен исправно ходить к своей должности, умеренно пить и есть, чтобы не отягощать желудка, ложиться вовремя да по воскресеньям в белом галстухе прогуливаться до обеда на Невском или в Летнем саду.

— А обо мне говорят, что я веду буйную жизнь?

— Вот уж и испугался! Не хочешь ли ты в самом деле, в угоду им, сделаться чиновником? Да избавит тебя от этого Рафаэль!..

V

В первых числах апреля месяца, в одно сияющее утро, когда в Петербурге благоухание весны смешивалось с запахом грязи, которую счищали с улиц, мне очень захотелось пройтись и подышать этим свежим воздухом. Я было взялся за шляпу, как дверь комнаты моей с шумом отворилась, и передо мною, вообразите мое изумление, стоял живописец. Более полугода он не был у меня, и я думал, что мы совершенно раззнакомились, но он так радушно и крепко пожал мою руку, как будто мы с ним всё по-прежнему были коротко знакомы; он, казалось, так рад был меня видеть; он, слава богу, не извинялся и не оправдывался передо мною: эти извинения и оправдания всегда нестерпимо пошлы. Откровенно рассказал он мне о своей разгульной жизни, смеялся над своими беспутными приятелями и с восторгом выхвалял мне ум и таланты длинного человека. «Я слышал, о нем многие отзываются дурно,— прибавил он, будто предвидя возражение с моей стороны на эту похвалу,— но совершенно напрасно; надобно знать его так близко, как я знаю, чтобы иметь право судить о нем».

Я еще ничего не успел сказать, а все слушал его и все смотрел на него и убеждался, что он быстрыми шагами шел к совершенству. В эти полгода он уж мастерски развернулся и с успехом изучил небрежную манеру светских

щеголей. Ему недоставало только их милых, но немного диких привычек да еще их благовоспитанной дерзости. Увы! последнее качество дается рождением, совершенствуется воспитанием. Кстати, я припомнил, что аристократическая манера, эта неограниченная свобода во всяком обществе со всеми и везде, не изменяя себе, обращаться одинаково, быть всегда как у себя дома, соблазняла многих людей среднего сословия. Они, люди, впрочем, очень хорошие и добрые, захотели вести себя так же свободно и равнодушно и, не подозревая того, сделались невероятно смешны, непозволительно карикатурны: светская дерзость и развязность у них превратились в оскорбительную наглость, в пошлую провинциальную грубость. На них нельзя было смотреть без сожаления, а бедных никто не предостерег, и они, не подозревая своей нелепости, были очень довольны собой, воображали, что необыкновенно милы и удивительно как всех собой озадачивают.

Мой живописец никогда не мог быть пошлым, разве — и то изредка — немножко смешным, может быть. Он имел верный глаз и чудное искусство усвоивать себе то, что мельком успел увидеть в молодых людях большого света.

Он в короткое время дошел в своей наружности до того, что, если бы какими-нибудь неисповедимыми судьбами ему удалось попасть в толпу блистательного бала или пышного раута, на него никто не указал бы пальцем, от его прикосновения никто бы не поморщился. А это уж много! Перед ним его собратия, русские художники, казались чудаками, дикарями, готентотами. Они чувствовали это и преостроумно подсмеивались над его франтовством.

— Вы принимали во мне некогда участие,— сказал он мне,— и я к вам пришел с доброю вестию о себе. За четыре дня перед этим я не знал, что с собой делать, мне было так грустно, я надоел самому себе, а теперь я снова ожил, и так неожиданно... Лучшие надежды мои могут осуществиться,— то, о чем я всегда бредил и наяву и во сне!

Он вынул из бокового кармана письмо и отдал его мне.

— Прочтите. Что вы об этом думаете?

Это письмо было от князя Б*, который купил его картины. Князь чрезвычайно ласково и убедительно приглашал его приехать в Москву прожить там до осени. «Мой московский дом,— писал он,— к вашим услугам. Я велю все приготовить в комнатах, что нужно для вашей художнической деятельности и для вашего спокойствия, но вы

сделали бы мне еще более удовольствия, если бы согласились провести лето в моем подмосковном селе вместе со мною». Осенью же князь с своею дочерью отправлялся в Италию и приглашал его ехать вместе с собою. Князь просил как можно скорейшего ответа на его предложение и прибавлял ко всему этому, что каждому русскому, особенно художнику, перед отъездом в чужие края необходимо надобно прежде побывать в Москве и покороче познакомиться с этим истинно русским городом.

— И вы, верно, воспользуетесь таким прекрасным случаем? — спросил я моего живописца, возвращая ему письмо.

— Да, я решился, совершенно решился, тем более что князь человек благородный, вовсе не тщеславный, не желающий корчить мецената. Он совсем непохож на этих князей, которых всегда изображали нам в русских повестях.

Молодой человек в заметном волнении начал прохаживаться по комнате.

— Я решился; да, я поеду,— говорил он,— сегодня же я напишу ответ к князю. Петербург мне смертельно наскучил, я здесь ничего не могу делать... Так вы советуете мне воспользоваться этим предложением?.. И я наконец увижу Италию... Мне что-то не верится. Я буду в Риме и в Неаполе, я буду ходить по той земле, по которой ходили все *они*! Да сбудется ли это?

Он вдруг оборотился ко мне: на глазах его дрожали слезы; в эту минуту он нисколько уже не был похож на светских щеголей. Некоторые из них, с которыми он обедал и пил, расхохотались бы над ним при этом детском восторге и после таких с его стороны поступков смотрели бы на него немного с сожалением.

Через полторы недели живописец давал прощальный ужин для своих коротких знакомых. Я был в числе приглашенных. Тут присутствовало между прочими несколько литераторов первого и второго разрядов, и, разумеется, во главе их длинный человек. Литераторы, по обыкновению, очень много пили и, по обыкновению, с большим чувством рассуждали о предметах, близких их сердцу: о том, как один журналист поссорился с другим, какие они теперь смертельные враги и как остроумно издеваются друг над другом, как литератора одной партии переманили в другую партию за *лишних в год пятьсот рублей*, и проч. Да еще один, судя по физиономии, сочинитель с большим талантом, восставал против повестей, где свирепствуют

чиновники. «Стоит ли того,— заметил он,— чтобы ими заниматься, чтобы до них дотрагиваться? Разверните историю, и перед вами восстанут громадные, гигантские, колоссальные образы, умейте только эти образы заключить в тесную, сжатую рамку повести...»

— В самом деле, господа,— воскликнул кто-то не из литераторов,— оставьте в покое чиновников. Они очень сердятся на вас за то, что вы их *критикуете в своей литературе.* Я слышал даже, что они хотят когда-нибудь собраться да общими усилиями написать на вас презлую сатиру в форме *отношения* к вам.

Длинный человек пил и ораторствовал по привычке более всех. Голос его покрывал все голоса.

За ужином он обратился к отъезжающему.

— Смотри,— произнес он, подняв вверх указательный перст,— не раскаивайся после, что не послушал меня. К чему тебе ехать так рано? Что тебе до осени делать в Москве? Москва, конечно, город большой, но не европейский. К тому же в Москве можно только проживать деньги, а не наживать. Москва отстала на столетие от Петербурга. Впрочем, там едят хорошо и народ гостеприимный. Занимаются там также философией, так называемой «московской», ну, да бог с ними! (Он махнул рукой.)... Настоящего кремана там и за 20 руб. не найдешь,— а почем ты покупал это вино? вино доброе... Я предпочитаю бургонь-муссё — клико, кто что ни говори!

Все литераторы второго разряда, никогда не выезжавшие из Петербурга, были восхищены замечаниями длинного человека о Москве. Град остроумия и каламбуров посыпался из уст их на Москву и на бедных московских жителей. Из этих острот и каламбуров был даже впоследствии слеплен водевильчик, который, говорят, не принят театральною дирекцией.

Первые лучи восходящего солнца озарили бледных и расстроенных гостей, которые толпою возвращались с ужина живописца домой, но длинного человека не было среди их: он не узрел великолепного светила дня, в нетленном убранстве своем восходившего на горизонт,— его отвезли домой уснувшего.

На другой день после этого ужина, в исходе десятого часа утра, дилижанс первого заведения отправился из Петербурга в Москву. Один из пассажиров, белокурый молодой человек, грустно сидел или дремал, прислонясь головою к подушке и закрыв лицо воротником шинели. При повороте с Царскосельской дороги на Московскую

он вскочил, будто разбуженный кем-нибудь, высунулся в окно, посмотрел на петропавловский шпиц, который блестел золотой иглой на бледно-сером небе, и опять прислонился к подушке, и опять закрыл лицо воротником шинели. То был мой живописец.— «Прощай, Петербург! — думал он,— может быть, я тебя и не увижу более. Прощай! Только в минуту расставанья с тобой я понял, что мне может взгрустнуться по тебе».

Теперь, о читатель мой! позвольте мне отдохнуть. Я, вместо собственного рассказа, могу вам представить несколько выдержек из журнала моего живописца, который он посылал в Италию к своему товарищу. Эта выдержка послужит продолжением его приключений... Журнал его доставлен мне тем, к кому он был адресован.

VI

26 мая 183... Москва.

...Я уж более месяца в Москве и до сих пор не могу к ней приглядеться. Правда, всякий небольшой городок, только раскинувшийся на горе, поразил бы меня, меня, варвара, никогда не выезжавшего из Петербурга, но ты все-таки не можешь представить себе того бесконечно-глубокого впечатления, которое произвел на меня этот дивный, семисотлетний, бесконечный город божиих храмов. Знаешь ли ты, счастливчик, перелетевший из Петербурга в Рим, что ты слишком много потерял, не видав нашей родной Москвы? Ты не имеешь понятия о настоящем русском городе. Не смейся над истертым выражением: Москва — сердце России, в полном и высоком значении этих слов. Она живая, величественная летопись нашей славы народной. Вот ее святой Кремль с золотыми, сердцеобразными куполами, с бесчисленными крестами, между которыми красуются старинные двуглавые орлы, почерневшие от времени; с пестрыми теремами и башнями; с Иваном Великим, который господствует надо всеми громадами зданий. Эти столетние камни производят эффект поразительный. Войди в эти мрачные и узкие соборы, взгляни на темные иконы в тяжеловесных, драгоценных окладах и кивотах, перед которыми горят неугасаемые лампады; на царственные гробы, на мощи святых чудотворцев... Здесь является наша Русь, облеченная

торжественно в свои древние ризы, во всем очаровании поэтическом.

И как живописно раскинулась Москва по горам и пригоркам, с совершенно барским привольем и прихотями, с истинно русскою нерасчетливостью, и как роскошно утонула она в зелени садов и бульваров своих! Сколько переулков и закоулков в Москве! и все эти переулки зигзагами: нет ни одной улицы прямой,— Москва ненавидит прямых линий. И какая она пестрая, узорчатая! Как она любит украшать домы свои гербами, балконы позолотою, а вороты львами! Поверишь ли, я каждый день, гуляя, открываю новые виды, новые картины, и всегда неожиданно. Мне необыкновенно нравятся эти отдельные, красивые деревянные дома на скатах гор, в тени душистых сиреней и лип, а на берегу Москвы-реки деревянные лачужки, одна к другой прилепленные, нищета которых прикрывается роскошью зелени густо разросшихся берез и рябин. К этим лачужкам ведут переулочки, превращающиеся в тропинки, исчезающие под горой. Здесь, недалеко от Драгомиловского моста, я часто стою по вечерам и смотрю на противоположный берег реки: вон виднеются две каменные пирамиды с двуглавыми орлами,— это Драгомиловская застава, а за нею Поклонная гора и даль, сливающаяся с горизонтом. Кстати, я набросал в своем дорожном портфеле виды Москвы от Симонова монастыря и с Поклонной горы. С этой-то горы величаво, во всем протяжении своем, предстала она орлиным очам Наполеона, и он ждал ее, коленопреклоненную

...с ключами старого Кремля;

а она, для спасения своей Руси, уготовляла себе костер, сама зажигала его и, страшно восставая из дыма и пламени, прорицательно указывала владыке полмира на померкавшую звезду его!..

Если бы мог я передать тебе, как нравится мне Москва! Сколько отрадных, светлых минут она доставила мне! На днях вечером, именно накануне праздника вознесения, я отправился в Кремль. Вечер был теплый, летний. Долго бродил я по Царской площади, зашел в Чудов монастырь и вспомнил «Бориса Годунова» Пушкина, эту келью, в которой отец Пимен перед лампадой дописывал свое *последнее сказанье*, и Григория, который в минуту, когда кровь бунтовала в нем и когда его покой «бесовское мечтанье тревожило», любовался величавым спокойствием отжившего старца... Когда я вышел из соборной монастыр-

ской церкви, начинало темнеть; на площади никого не было; городской шум замирал в отдалении; тихий звон колоколов торжественно и гармонически разливался в воздухе; огни нигде еще не зажигались, но Замоскворечье уже облекалось в синий туман, уже Воробьевы горы исчезли; но на темнеющем небе горели в двух или в трех местах облитые светом пирамидальные колокольни праздничных церквей... Я с полчаса простоял на одном месте; замоскворецкие здания стали сливаться в одну неопределенную массу — и скоро на всем этом пространстве, опоясывавшем подножие Кремля, огоньки засветились в окнах, мелькая и перебегая, и то потухали, то снова вспыхивали. В эту минуту я ни о чем не думал, я смотрел, мне было хорошо и весело... Весь вечер я чувствовал такую полноту, силу и такое спокойствие...

Поверишь ли, что даже московские гулянья мне нравятся несравненно больше петербургских?.. Кремлевский сад необыкновенно хорош. Несмотря на то, высшее общество не удостоивает его своим посещением: в этом саду гулянье народное — и я иногда сижу здесь в вечерний час, в большой аллее, любуясь движущимися передо мной фигурами. Какое разнообразие! Среди различных особ женского пола медленно прохаживаются молодые и старые купчики с бородками и без бородок; бегают студенты, ищущие случая полюбезничать; ходят армейские офицеры с густо нафабренными усами и блестят своими эполетами (увы! в Москве эполеты большая редкость), и гремят своими саблями, и озадачивают публику своими султанами, и кушают шоколад в садовой кондитерской при восхитительных звуках тирольской песенки, сопровождаемой очаровательным брянчаньем на арфе, — кушают шоколад и бросают победоносные взгляды на худощавую, малинового цвета певицу, на эту Хлою в пастушеской шляпке, удивительно закатывающую глаза под лоб. Сколько здесь венгерок и синих, и зеленых, и с кистями, и с аграмантами! Я не знаю, к какому классу людей принадлежат эти господа в венгерках, но они прелестны. Все они носят предлинные волосы, от которых в Петербурге пришли бы в ужас, и небольшие усики, завитые в кольца. Ходят они — локти вперед, покачиваясь и напевая. Портреты этих господ можно видеть на московских цирюльных и других вывесках... Я, как живописец, не могу смотреть без особенного чувства на здешние вывески: они мне доставляют неисчерпаемое удовольствие. Дамы, изображенные на них в подвенечных платьях и

вуалях, а кавалеры в венгерках с эспаньолками, во фраках с блестящими пуговицами, даже в чулках и башмаках,— могли бы красоваться на нашей выставке и пленять зрителей, любящих более всего в картинах яркость колорита. В Петербурге нет таких вывесок. В Москве столько же венгерок, сколько в Петербурге вицмундиров, столько же толстых франтов, сколько в Петербурге тоненьких. Московские толстые франты с неимоверно дикими прическами медленно, важно, с одышкою прохаживаются по Тверскому бульвару, а петербургские, ты знаешь, стригут волосы гораздо короче, ходят по Невскому довольно скоро, а иные, уж очень тоненькие, просто бегают. Москва, сколько я мог заметить, живет или для потребности желудка и спокойствия тела, или для внутренних, духовных потребностей, а Петербург — весь во внешней жизни. Ему некогда мыслить; он вечно в движении, вечно занят: бегает по Невскому, сочиняет дорогой проекты, танцует, кланяется, изгибается — и все для выгод; набирает акции, перепродает их, забегает на публичные лекции — с желанием мимоходом проникнуть в таинства языка, для усовершенствования своего канцелярского слога; дает обеды, вечера, балы, рауты, и все это для угождения тому-то или для получения того-то. Москва веселится просто из желания веселиться, дает обеды и балы единственно по неограниченному добродушию своему и гостеприимству... Я не выдаю всего этого за непреложную истину, но мне так кажется и так рассказывают многие люди знающие. Москва, патриархальная и ленивая, никогда не достигнет этого блестящего развития практической стороны жизни, до которой изволил возвыситься Петербург... Только на берегах Невы можно набивать свои карманы. Вот и я, по милости Петербурга, теперь с деньгами! Да здравствует Петербург! о, милая моя родина, на которую я так неблагодарно нападаю!..

Ах, чуть было не забыл тебе сказать, что в Москве есть невиданные дивы: кареты и коляски, ровесники Ноеву ковчегу, издающие страшный свист, скрип и брянчание, да еще казачки сзади этих полуковчегов, а у казачков на головах шапки в виде пополам разрезанной дыни, красные суконные, с золотыми и серебряными шнурочками и с кистью на маковке. Это очень мило!..

Я познакомился со многими здешними литераторами. Они о своих сочинениях толкуют меньше, чем наши петербургские, и уверяют, будто пишут совсем не для денег. Это мне показалось дико. «Вот бескорыстные чудаки!» —

подумал я и невольно вспомнил нашего умного и милого Рябинина[1]. Я к нему непременно напишу об этом,— да не поверит, злодей! Напрасно он предрекал мне, что я соскучусь в Москве; на этот раз он, мудрый прорицатель, ошибся. Несмотря на мою дружбу с ним, я не могу до сих пор понять в нем многого, и между прочим, каким образом ему могла не понравиться Москва, которую он торжественно называет Азиею, да еще зачем он допускает в наши приятельские беседы людей ограниченных и посредственных. Неужели с его проницательным умом, с его опытом он может восхищаться тем, что они бессмысленно удивляются речам его и восторгаются от каждого его слова? неужели их нелепые похвалы могут льстить ему?

Я чуть было не забыл сказать тебе, что живу на Тверской, в княжеских чертогах. Перед ними обширный двор и красивая решетка, а над воротами ее преизрядной величины герб. Комнаты отведены мне внизу и с отдельным подъездом. А как меблированы они! мебель вся из Петербурга, и пате, и кушетки, и кресла с разными вычурными спинками. Мастерская моя довольно обширна и устроена с роскошью. Князь — добрейший и благороднейший человек в мире. Его внимание ко мне заставляет краснеть меня. Дочери его я еще не видал, потому что князь переехал до приезда моего в подмосковное село свое за 20 верст от города, и я в огромном доме один. Прекрасная коляска к моим услугам; однако я мало пользуюсь ею: ты знаешь, что я большой охотник ходить пешком. Я хотел было тотчас после приезда отправиться в деревню к князю, но случилось так, что он приехал в это время в Москву по делам и прожил в ней три дня. Он дал мне месяц срока на знакомство с Москвою и взял с меня честное слово переехать к нему в подмосковную...

Срок этот кончается; через два дня я еду туда. Говорят, будто дочь князя красавица, что от нее вся Москва в очаровании. Посмотрим...

VII

30 мая. Село Богородское.

По обеим сторонам большой*** дороги, почти на версту, протягиваются красивые крестьянские домики села Богородского, принадлежащего князю Б*. За ними, нем-

---

* Фамилия длинного человека. *(Примеч. автора.)*

ного в стороне от этой дороги, на значительном возвышении, из-за густой зелени выходит обширный княжеский дом и пятиглавая церковь. Темная дубовая аллея ведет к дому — массивному зданию времен екатерининских и оканчивается круглой лужайкой против главного фасада; в середине ее, на высокой клумбе, растет несколько кустов сирени. У парадного подъезда покоятся два льва, смотрят друг на друга и придерживают лапами шары. Кадки с апельсинными и померанцевыми деревьями стоят по обе стороны подъезда, над которым балкон, поддерживаемый кариатидами. Два флигеля, выдавшиеся вперед, соединяются с большим домом полукруглыми галереями.

Все это я разглядел после, а в ту минуту, когда подъезжал к княжеским хоромам, я вовсе был не в таком расположении духа, чтобы спокойно заняться рассматриванием местности. Я попризадумался немного о самом себе и от нечего делать сравнивал мое прошедшее с настоящим, дивился своим незаслуженным успехам, вспомнил о тебе и о всех вас, товарищах моего детства, близких мне по сердцу, которых судьба разметала в разные стороны. Качка коляски расположила бы меня, вероятно, еще к каким-нибудь думам, но вдруг лакей, сидевший на козлах, обратился ко мне и сказал:

— Вот, сударь, княжна изволят прогуливаться верхом...

— Где? — спросил я, вздрогнув и осматриваясь.

В конце дубовой аллеи, в которую только что повернула моя коляска, увидел я двух всадниц, возвращавшихся домой с гулянья, в сопровождении жокея. Ты будешь смеяться надо мной, если скажу тебе, что я смутился не на шутку от такой нечаянности. Встретиться с княжною, еще не зная ее, показалось мне очень неловко: поклониться ли ей или проехать мимо, как будто не замечая ее? что делать?.. Я сказал кучеру, чтобы он ехал тише, чтобы не обгонял дам, но кучер не слыхал моих слов: четверня моя неслась, а дамы ехали шагом... У меня забилось сердце от какой-то глупой боязни обратить на себя насмешливые взоры княжны. Мне почему-то представлялось, что она непременно должна посмотреть на меня насмешливо... Коляска уже нагнала их... Тут только одна из всадниц, в синем амазонском платье и в черной круглой шляпе, откинула от лица вуаль, повернула свою голову, посмотрела на знакомый ей экипаж, на меня, незнакомого ей,— и сказала два слова своей спутнице, которая тоже обернулась. В глазах у меня рябило. Я мог

заметить только, промчавшись мимо всадниц, что у одной из них темные волосы, у другой рыжеватые, что одна очень стройна, другая безобразно худощава. Коляска остановилась у одного из боковых подъездов...

У двери этого подъезда стоял белокурый мальчик лет десяти, в красной рубашке с золотым поясом и с цветком в руке, точно на картинке. Когда я выскочил из коляски и вошел в длинный коридор, мальчик побежал за мною.

— Это вы тот гость, которого ждал папенька? — спросил он, нахмурясь и осматривая меня.

— А кто твой папенька?

— Разве вы его не знаете? Папенька, Демид Петрович.

Лакей, провожавший меня, объяснил мне, что Демид Петрович — главный управляющий и дворецкий князя.

— Папенька велел,— продолжал мальчик,— приготовить вам комнаты туда, окнами в сад. Князь ему приказал... Да куда же вы идете? надо направо.

Так же богато убранные комнаты, как в московском доме, ожидали меня и здесь. Только в этом убранстве слишком заметны претензии на деревенскую простоту. Окна точно выходят в сад, и в комнате, назначенной мне для спальни, кусты жимолости, прислонившиеся к самым стеклам, могут заменять шторы.

Чемоданы мои тотчас были принесены, и я начал переодеваться. Мальчик, положив руки на стол и опершись на нем своим подбородком, все пристально смотрел на меня...

— А что, миленький, ты не знаешь, князь дома? — спросил я его.

— Может быть, дома, а может быть, и в саду,— и вдруг он подбежал ко мне и сказал, показывая цветок:— А этот цветок мне подарила сегодня княжна.

— Она тебя любит?

— Она все целует меня и дает мне конфекты... Хотите, я вам подарю леденец? А вот и папенька пришел...

В самом деле, в дверях показался низенький, толстенький человек с редкими на голове волосами, с круглым лицом и в белом накрахмаленном галстухе.

— Прикажете ли к вам велеть принести завтрак,— сказал он, поклонясь мне с чувством собственного достоинства,— или вы пожалуете завтракать к князю? Он сейчас только узнал от княжны о вашем приезде и прислал меня к вам.

Княжна сказала ему о моем приезде! Это немного удивило меня.

— Потрудитесь доложить князю, что я иду к нему.

— Хорошо, сударь... А ты, Ванюша, что здесь изволишь делать? — И управляющий полустрого, полуласково обратился к своему сыну.

— Не сердитесь на него,— сказал я,— он со мной познакомился и, кажется, полюбил меня. Он все до вашего прихода занимал меня разговорами. Я ему очень благодарен.

— Что касается до этого, он у меня, я вам скажу, мальчик неглупый, и все бы, изволите видеть, как следовало, да ее сиятельство княжна изволит нас немножко побалывать. Ваня! пойди-ко к маменьке домой, а я сейчас к князю доложить о вашей воле...

Князь прохаживался по большой зале, украшенной сверху донизу картинами, заложив руки назад. Увидя меня входящего, он пошел ко мне навстречу.

— Очень, очень рад вашему приезду,— говорил он, взяв меня за руку...— Ну что? вы насмотрелись на нашу пеструю Москву? Теперь вы совсем к нам в деревню, не правда ли?

— Да, князь, совсем. Какое у вас чудесное собрание картин! — заметил я, с любопытством смотря на стены.

— Здесь еще не все, не все,— и лицо князя заметно просияло, он оживился.— Мой дед был большой любитель живописи и знаток. Вам известно, что и я немножко знаю толк в картинах. У меня есть славные вещи из школы Карачча, оригиналы Гвидо и Альбани. Погодите, мы с вами...

Он не договорил, потому что вдруг в соседней комнате кто-то с силою ударил по клавишам, так что мы оба вздрогнули, и вслед за этим раздался женский голос, сильный, звучный и страстный, доходящий до сокровенной глубины души.

— Это, кажется, последняя сцена из глюковой «Армиды». Дочь моя с некоторого времени, к сожалению, пристрастилась к немецкой музыке,— сказал с улыбкою князь, подходя к двери комнаты, откуда раздавались звуки. Я следовал за ним.

В этой комнате за роялем сидела она. Ее темные волосы длинны и густы, ее локоны опущены до плеч, ее белое, немного продолговатое лицо едва-едва оттеняется легким румянцем; круглые брови немножко приподняты; длинные ресницы вполовину закрывают бледно-

голубые глаза, которые иногда кажутся серыми; все это вместе так хорошо, так легко и воздушно, что на нее нельзя насмотреться. Я недавно прочел шекспиров *Сон в летнюю ночь,* и мне кажется, что Титания должна непременно походить на княжну... Но все это — *слова, слова...* они не дадут тебе и приблизительного понятия о ней, об этой княжне. К тому же все описания красоты, как бы ни были красноречивы, до невероятности надоели и прискучили... Недаром же в Москве ее величают красавицей. Она, должно быть точно,

Как величавая луна,
Средь жен и дев блестит одна.

Она поразила меня с первой минуты; я остановился перед нею, проникнутый благоговейным трепетом, как перед дивной картиной великого мастера, и не мог отвести от нее глаз; сердце мое сильно билось в груди... Боже, боже, как хороша она!

Она не заметила, как я и князь вошли в комнату. Мы остановились у окна. Она продолжала петь... глаза ее горели, она, казалось, вся была проникнута вдохновительною силою композитора. Вдруг, вообрази мое удивление, на половине сцены княжна смолкла. Раза два зевнула, впрочем, с большою грацией, потом перевернула ноты, лежавшие на пюпитре, еще зевнула и наконец оборотилась к окну.

Она нимало не удивилась, увидев князя, и посмотрела на меня с ужасающим равнодушием.

— Браво, браво, Lise! — воскликнул князь, когда она подходила к нему.— Зачем же ты не продолжала? Мы тебя расположились слушать. Однако лучше, если бы ты спела нам что-нибудь из Россини.

— Как я устала! — сказала княжна,— как мне жарко! Если бы вы могли вообразить, как я устала! Мы с мисс Дженни ездили верхом и, верно, сделали верст десять. Бедная Дженни теперь лежит.

Князь представил меня дочери.

Она сделала едва заметное движение головою, мельком взглянув на меня.

«О, какая она важная!» — подумал я.

— Что же? мы будем сегодня завтракать? — продолжала княжна, обращаясь к отцу,— я ужасно проголодалась...

— Завтрак готов.

Мы отправились в залу. Удовлетворив свой аппетит,

княжна, утомленная, села в кресла и прислонилась головой к высокой подушке этих кресел.

— Зачем же ты ездишь так далеко? — спросил ее князь.— Не дурно ли тебе? ты так бледна!

— О, нисколько!..— И она вскочила с кресел и с быстротою изумительною очутилась у балкона, заставленного цветами, позабыв об усталости, на которую жаловалась за минуту перед тем.

— Зачем здесь так много наставили тюбероз? от них всегда такой сильный запах, от них у меня болит голова.

— Не правда ли, в этом старике есть что-то рембрандтовское? — сказал мне князь, не обращая внимания на капризы дочери и показывая на одну из картин, изображавшую старика за книгой.

Я подошел поближе к картине. Картина точно была недурна, и я распространился в похвалах ей, к немалому удовольствию князя, который, сколько я замечаю, ужасно высоко ценит свою небольшую галерею.

Княжна подошла к нам. Она посмотрела на меня в этот раз довольно милостиво и довольно пристально.

— Не правда ли, Москва очень скучна? — спросила она меня.

— Я еще не успел в ней соскучиться; для меня в Москве все так ново...

— Да!.. вы любовались видами.

— Кстати, где эти московские виды, которые ты сделала карандашом на память?

— Я разорвала их.

— Можно ли это?..— Князь пожал плечами.

— Княжна любит заниматься рисованием? — осмелился спросить я, не обращая, однако, вопрос мой прямо к ней.

— О, я большая артистка! — отвечала она очень серьезно.

Целый день, возвратясь от князя, я устраивал свои комнаты и обедал у себя. Вечером, часу в десятом, он прислал меня звать к чаю. Тут я увидел, кроме рыжей и молчаливой англичанки, новое лицо — тетушку князя и бабушку княжны, девицу лет 65-ти, в морщинах, с маленькими усиками, с блестящими перстнями на сухощавых руках, ненавистницу всего нового, без умолку воркующую про блаженные времена Екатерины и Павла. Чай был приготовлен в комнате, отделанной во вкусе помпейском. Это любимая комната князя. Княжна сама разливала чай; мы все уселись около круглого стола, на

котором блестел великолепный серебряный самовар... Руки княжны точно изваяны из мрамора, пальцы продолговатые, тонкие и белые. Она подала чашку своей бабушке, потом мне. Бабушка отведала чай и поморщилась.

— Ты, странное дело,— ворчала она,— до сих пор не можешь выучиться приготовлять как следует чай: или слишком сладко, или совсем без сахара. Я в твои лета, Lise, была такая мастерица делать и разливать чай, что, бывало, светлейший князь Борис Дмитриевич, который езжал к нам всякий божий день, выпивал чашек по пяти моего чая и не мог им нахвалиться, а он был знаток в чае!

Княжна улыбнулась.

— На вас не угодишь. Не правда ли, мой чай не так дурен, как уверяет бабушка? — сказала она, обращаясь ко мне.

Не знаю отчего, но я смешался, покраснел и несвязно пробормотал что-то.

Старушка с усиками престрашно посмотрела на меня.

Княжна не могла не заметить моего смущения. Может, оттого, что ей стало жаль меня, она снова обратилась ко мне.

— И вы, верно, будете пить еще? Я не устану наливать вам. Мне только хочется доказать бабушке, что и моего чая можно выпить до пяти чашек.

Дрожащею рукою подал я княжне выпитую чашку и поблагодарил ее.

Князь позвонил и велел подать сигар.

— Вы курите? — спросил он меня.

— Очень мало и редко...— А ты знаешь, какой я охотник курить, и в эту минуту я стал бы курить с большею приятностью, но пускать дым при дамах и в такой великолепной комнате мне показалось невежливо.

Княжна, в то время как бабушка подозвала к себе зачем-то лакея, взяла со стула сигару и подала ее мне и сказала вполголоса: «Пожалуйста, курите».

— В деревне смело можно курить и при дамах,— прибавил князь.

Старушка с усиками, увидев меня с сигарою во рту, еще страшнее посмотрела на меня.

— Курить при дамах,— заворчала она, относясь к князю,— на даче, в деревне или в городе в наше время считалось величайшим невежеством. Я помню, как молодой граф, сын графа Александра Кирилловича, однажды на блистательном бале у покойной матушки,— на бале, который удостоила своим посещением блаженной памяти

императрица,— сказал при дамах, что он охотник до трубки. Что ж вы думали, князь? Да мы, девицы, перестали смотреть на него, все от него стали бегать, как от чумы.

— Времена не те, бабушка!

— Знаю, княжна, знаю. Вы теперь ни за что не в претензии: при вас мужчины лежат, а вас это нимало не оскорбляет.

Вчера утром я гулял по саду и встретился с княжною, которая довольно приветливо отвечала на мой поклон. Она шла с своей рыжей англичанкой, мисс Дженни. На ней было темное платье и полосатая мантилья. Как все, что ни наденет она, к лицу ей! Долго провожал я ее глазами, покуда она совсем исчезла за деревьями... Друг! такую девушку я вижу первый раз в жизни. В ее походке, в ее малейшем движении необъяснимая грация, в ее взгляде сила и очарование, от которого тщетно стараешься высвободиться; в голосе ее звучность и мягкость, так могущественно действующая на душу... Не брани меня за мои восторженные речи. Слышишь ли? я никогда не видал такой девушки, решительно никогда... Прежняя любовь моя кажется мне смешною и жалкою. Это было желание любви, а не любовь: это был первый ребяческий лепет сердца... Но полно; я что-то хотел сказать тебе о княжеском саде... Да, этот сад, несмотря на свою огромность, содержится в величайшем порядке. Местоположение его красиво, потому что гористо. От дома до большого озера прямые, классические, подстриженные аллеи, установленные мраморными бюстами Гераклита, Демокрита и других шутов древности, точно как в Летнем саду. За озером же мастерски распланированный английский сад.

Вечером мы катались в линейке, князь и я, княжна и англичанка. Окрестности здешние удивительно живописны; жаль, что мало воды. Княжна два раза была в чужих краях и с энтузиазмом говорила мне о Неаполе и его окрестностях. Прости мне! по ее отрывочному рассказу я составил себе гораздо яснейшее понятие об этом чудном городе, чем по твоим подробным письмам... Я начинаю обращаться с нею свободнее, я перестаю бояться ее... Она совсем не так горда, как показалось мне в первый раз. Сколько я мог до сих пор заметить, она глубокая девушка, с душою полною и прекрасною... а наружность ее, наружность!

О, теперь вижу я, что только блестящее воспитание

большого света дает женщине эту волшебно-поэтическую, художественную форму. Против этого нечего спорить. Мне становятся отвратительны, гадки и глупы все выходки против большого света наших и других сочинителей, особенно наших. Я всем бы им сказал: *«Зелен виноград,* милостивые государи! Неужели, в самом деле, общество генеральши Поволокиной лучше?»

Если умному человеку непременно надобно толкаться в обществе, так пусть он толкается там, где по крайней мере хоть внешность ослепительна, а не оскорбительна. Я думаю, ни ты, друг мой сердечный, ни я не в состоянии идти теперь на *балок* к г-же Липрандиной, где мы некогда, воспитанники академии, в синих мундирах с золотыми галунами, так от души выплясывали по воскресеньям с барышнями и восхищали их своею любезностью?..

VIII

8 июня.

С половины апреля до сей минуты мы пользуемся такой неоцененной погодой, что, право, не завидуем вам, живущим в странах, благословенных богом и дивно изукрашенных его щедротами. Я каждый день вижусь с княжной, часто гуляю с ней; в две недели я сделался человеком домашним в доме князя. Она показывала мне рисунки свои: в этих рисунках много таланта, но всего более я люблю ее за роялем. Музыка просветляет ее. Едва проникнется она гармонией любимца своего, Моцарта,— обыкновенно веселое и беспечное лицо ее вдруг делается задумчивым; глаза принимают выражение неясное, туманное, но за этой туманностью неизмеримый мир любви и блаженства!

В ноябре князь располагает быть в Риме, и я наконец обниму тебя после бесконечной разлуки,— и ты увидишь ее. Тогда решишь, прав ли я, прибавил ли я хоть одно лишнее слово, говоря об ней... Я до того счастлив теперь, что иногда сдается мне, будто такое полное счастье не может быть продолжительным, и мне становится страшно за себя... Я начинаю совершенно мириться с жизнию. Друг, она прекрасна, эта жизнь! Я убеждаюсь, что в ней-то, цветущей и могучей, а не в собственных грезах должны мы искать собственного удовлетворения... И люди, право, не так гадки, как говорят и пишут об них... Я тебе должен передать две занимательные новости.

Третьего дня я получил два письма из Петербурга: одно от Осипа Ильича Теребенина и его достопочтенной супруги Аграфены Петровны, которые из всех сил и самым отборным канцелярским слогом стараются уверить меня, что всегда принимали во мне нежнейшее участие, считали меня ближайшим своим родственником, благодарят теперь бога за мое счастие и проч. и проч. Все это предисловие ведет к тому, что Аграфене Петровне очень хочется к следующему новому году быть статской советницей, и она с чего-то изволила вообразить, что князь возьмется хлопотать об этом. Какова?

Другое письмо от нашего приятеля Рябинина. Оно удивило и обрадовало меня. Я тебе выпишу несколько строк из этого письма, и ты увидишь, в чем дело:

«Знаешь ли что? не улыбайся, я говорю не шутя. С охотою поехал бы я с князем Б*** в чужие края, если у него будет лишнее место, для того только, чтобы не расставаться с тобой. Ты сделался необходим моему духовному бытию. Да! часто в голове моей блеснет мысль яркая, лучезарная... но с кем разделить ее? людей много вокруг, людей со смыслом и с чувством, но они не так глубоко поймут меня, как ты. В стране любви и искусств мы вместе преклонили бы колени перед творениями избранников божиих, и в одно время в душах наших затеплилась бы молитва!.. К тому же я могу быть полезен князю, как писатель; пожалуй, я вел бы путевые записки; ты, верно, взялся бы сделать к моему тексту несколько рисунков; все это князь издал бы великолепно, как прилично меценату. Похлопочи-ка об этом, да подъезжай к князю половче, похитрее. Если это удастся, то я скоро обниму тебя и крепко прижму к груди моей... А ведь, ей-богу, славно бы мы прокатились, да еще и на чужой счет...»

Чудак! он не может обойтись без всяких фраз ни в письмах, ни в разговоре; он беспрестанно твердит о деньгах, и оттого о нем многие думают как о человеке, для которого нет другого кумира кроме денег, о нем, так пламенно и бескорыстно преданном искусству!

Я тотчас же пошел к князю.

Князь был в своем кабинете. Кабинет этот весь завален английскими гравюрами и заставлен избранными картинами, особенно нравящимися князю... Этой чести удостоилась и моя «Ревекка», недостатки которой начинают только теперь выясняться мне...

— Читали ли вы, мой милый,— начал князь, увидя меня,— читали ли вы рассуждение о живописи Леонарда

да Винчи? Эту книгу не везде можно достать; впрочем, она переведена на французский язык. К ней приложены рисунки, сделанные Пуссеном. Сколько тут мыслей, сколько верности во взгляде! Прочтите, она у меня есть; я только сейчас все думал о ней. У меня библиотека полная, старинная, что хотите найдете в ней; есть сочинения очень редкие. Пожалуйста, пользуйтесь ею.

Я поклонился князю.

— Полноте; я вам говорю это не для того, чтобы вы благодарили меня. Мы с вами познакомились так, что церемонии можно в сторону... Знаете ли, что Леонардо да Винчи, между прочим, был и поэт, как и Микель-Анджело? Он написал сонеты и один, совсем недурной по тогдашнему времени, дошел до нас...

— Я не знал этого, князь.

— Да, да; это известно... О, сколько наслаждений в Италии готовится вам, молодой человек!.. Верите ли, что я завидую вам? Для меня уже там нет ничего нового: мне известен каждый сокровенный уголок в самом незначительном монастыре. У меня, надо сказать вам, есть инстинкт угадывать, где хорошее; иногда по этому инстинкту я отыскивал удивительные картины, о которых,— князь взял меня за руку и наклонился ко мне,— о которых не подозревают и сами итальянцы. Хотите ли меня иметь своим чичероне?

— Мне это будет очень лестно, князь,— отвечал я.

— Вам должно непременно, и поскорей, прежде всего познакомиться с флорентинской школой, с этой матерью всех школ, которая произвела Леонарда да Винчи и Микель-Анджело. А венецианская школа? а великий Тициан? Правда, в его исторических картинах вы не найдете исторической верности: он не заботился об изучении древностей; но, несмотря на это, он великий живописец. Ведь и в шекспировых исторических драмах история часто прихрамывает, а все-таки Шекспир гениальный поэт!

Сказав это, князь начал прохаживаться по комнате, потом остановился передо мною и посмотрел на меня.— Знаете ли вы,— сказал он мне, указывая на картины,— моя жизнь в этом. С детских лет во мне родилась страсть к живописи. Я мог бы служить и выслуживаться; но я предпочитаю свободную и независимую жизнь всему на свете. Вот отчего я живу в Москве и только заглядываю в Петербург.

Добрый князь никогда не был так расположен к откровенности, как в сию минуту. Это ясно увидел я по

выражению лица его, по резким движениям, которых прежде не замечал в нем. Мне показалось удобным воспользоваться этой минутой, и я, намекнув ему сначала о том, что во время наших странствований по Италии недурно было бы вести путевые записки, которые можно посвятить особенно предметам, относящимся до художеств,— указал ему на Рябинина, как на литератора опытного, известного и — главное — занимающегося издавна изучением художеств.

Сильно подействовало на князя мое предложение.

— Превосходно, превосходно! — восклицал он.— Как прежде мне не приходило это в голову?.. Превосходно!.. Я благодарен вам за этот намек. Да! путевые записки, посвященные на описание всех сокровищ, которыми обладает Италия... Превосходно! Но согласится ли ехать с нами г. Рябинин?

— Он мой хороший знакомый; я напишу к нему и заранее уверен в его согласии.

— У нас, кажется, ничего не было до сих пор в этом роде! — продолжал воспламененный князь.— Превосходно!.. Вы берете на себя живописную часть, не правда ли?.. Я ничего не пожалею на это издание, оно сделается известным всей Европе... мне знакомы лучшие лондонские граверы... А г. Рябинин точно с талантом писатель?

— С большим талантом, князь. Вы не читали ли его поэмы «Вальтазар»?

— «Вальтазар»!..— Князь задумался...— Позвольте, «Вальтазар»... Да, я слышал, кажется, про нее; ее очень хвалят, она произвела впечатление, да.. Если она у вас здесь, пришлите ее мне, я непременно прочту. Пожалуйста, напишите же к г. Рябинину с этой почтой...

Я сказал князю, что тотчас же пойду за поэмой, но он удержал меня.

— После; вы ее пришлите ко мне. Я что-то хотел спросить у вас. А! заметили ли вы в большой зале над дверьми в голубую гостиную небольшой портрет?

— Не помню, князь.

— Славная вещь! Кажется, можно утвердительно сказать, что это работа Иоанна Гольбейна. Внизу стоит 1548 год. Пойдемте-ка посмотреть.

И князь потащил меня за собою.

В зале встретили мы старушку с усиками, которая сильно не благоволит ко мне; я раскланялся с ней и принялся рассматривать картину мнимого или настоящего Гольбейна, который мне совсем не понравился.

Старушка с усиками, разряженная, ходила по зале и ворчала:

— Картины хорошо иметь для украшения комнат, для того, чтобы при случае сказать: у меня картинная галерея. Но прилично ли заниматься ими с утра до ночи, не знаю, — и не понимаю такой страсти. Другое дело, собирать драгоценные камни и антики...

И она перебирала, говоря это, перстни на своей худощавой руке.

От Гольбейна мы перешли к старушке с усиками. Князь, посмотрев на меня с улыбкою, обратился к ней:

— Хотите ли, тетушка, я подарю вам мой античный перстень с ромуловой головой?

Маленькие глазки разряженной старушки засветились при этом вопросе, голова ее затряслась, ленты на чепце заколебались.

— Вы шутите, князь! — сказала она, приподняв голову и посмотрев на своего племянника.

— Нисколько, и в доказательство я вам сейчас принесу его.

Князь вышел и скоро возвратился с перстнем.

— Вот он, тетушка...

Дрожащею рукой взяла она знакомый ей перстень и начала его вертеть в руке, рассматривая...

— Дорогой, чудесный перстень,— ворчала она, надевая его на указательный палец и поднося руку к глазам.— Вы не умеете ценить его. Благодарю вас, князь.— Она старалась улыбнуться и пожала князю руку.

— Вообще старые девы необыкновенно забавны,— сказал князь,— но моя тетушка уморительна. У нее такие претензии и причуды!

Я чуть не вздохнул, подумав, как все мы умеем замечать странности других, а о своих собственных и не подозреваем. Страсть князя к живописи и желание показать себя знатоком в ней — тоже маленькая странность. Впрочем, он так добр, в нем столько человечности, что ему от всего сердца прощаешь этот грешок!.. Он чрезвычайно начитан, много видел, знает миллионы анекдотов и с необыкновенною приятностью рассказывает их. Его иногда можно заслушаться. В Москве он пользуется величайшим уважением, потому что имеет огромное состояние, дает великолепные вечера, во всех парадных процессиях выступает первый в своем камергерском мундире и, главное, имеет дочь-красавицу, к которой перейдут все его богатства. Говорят, что княжна наследо-

вала красоту своей матери. Прошло уже более пяти лет от смерти княгини, но князь не может до сих пор равнодушно слушать, когда зайдет речь о ней. После ее смерти он, говорят, полтора года не ездил в Английский клуб! Теперь вся любовь его перешла к дочери. Он, кажется, исполняет все ее желания и беспрекословно повинуется ее воле...

Письмо к Рябинину отослано. Он, верно, получил его.

Князь читал «Вальтазара» со вниманием. Стихи ему нравятся, два стиха он даже запомнил наизусть, но вообще поэму он находит растянутой. Едва ли он не прав в этом случае. Я недавно, перелистывая ее, тоже заметил.

IX

13 июня.

Скоро два месяца, как я не брал в руки кисть. И меня это не беспокоит. В Италии примусь я работать... О, поскорей бы в Италию! Если меня никто не выведет из того блаженного и бездейственного состояния, в котором нахожусь, я долго не проведу ни одного штриха, ни одной черты... У меня недостает сил самому вырваться из этого обаятельного мира. Признаться ли тебе... о, тебе я признаюсь, друг моего детства! что моя жизнь так, как она есть теперь, вполне удовлетворяет меня. Мой неподкупный судия, неужели, основываясь на том, что чувство художника так долго молчит во мне, ты станешь отрицать во мне призвание? Будь снисходительнее к твоему другу!.. Мне надобно оправдать общий голос, поддержать собственные успехи,— все это я знаю... Но еще впереди много, много дней; я еще молод. Ты говоришь мне в последнем письме своем, что минута творчества есть минута высшего наслаждения для художника, что перед этой минутой все наши наслаждения жалки, бедны и ничтожны. Я понимаю тебя, совершенно понимаю, хотя сам покуда не испытал этого. Когда мысль проникала меня и я брался за кисть, во мне не было того спокойствия, которое необходимо для творящего... Голова моя горела; образы, вызванные моим воображением, являлись передо мною в тумане, кисть дрожала в руке моей. И при всем этом, уверяю тебя, надежда быть истинным художником не оставляет меня,— я не отчаиваюсь, нет! Зачем же мне бог дал душу, способную понимать все прекрасное, сочувствовать всему великому? Отчего же природа не мертва для меня?

Отчего благоговейный, священный трепет проникал меня, когда я в тихий час вечера стоял на берегу моря и смотрел, как на легкой зыби его отражались огненные полосы догорающей зари? Слушай, слушай, друг мой! Сегодняшний вечер еще более незабвен в моей жизни: сегодня я ощутил в себе еще полнее то неизмеримое, бесконечное блаженство, которое чувствовал некогда там, на берегу моря...

Я сидел в саду на скамейке, стоящей на высоком холме, с которого виднеется вся синеватая гладь озера. У его берега чуть заметно колебался небольшой пестрый ялик. Цветы, посаженные на холме, оживали, утомленные, после дневного жара и приподнимали свои лучезарные, радужные головки, и сильнее начинали дышать ароматом. Солнце, медленно заходящее, просвечивало сквозь темную и густую зелень дерев, и каждый листок становился прозрачным; светлые кружочки обозначались на желтой песчаной дорожке; вдали раздавался пастуший рожок... Не знаю, долго ли я просидел на этой скамейке до той минуты, когда услышал вблизи себя шорох женского платья. Я обернулся на этот шорох — и увидел в двух шагах от себя княжну с рыжею мисс.

— Вы мечтаете? — спросила меня княжна насмешливо.

— Отсюда вид очень хорош, так я смотрел на вид, княжна,— отвечал я как мог равнодушно. Насмешка ее была мне досадна.

— Это моя скамейка, я здесь велела поставить ее: отсюда видно мое озеро, мое любимое озеро.

Голос и лицо княжны совсем изменились, когда она произносила это. Можно было поклясться, что ни этот голос, ни это лицо неспособны к насмешке.

— А вы умеете грести?

— Умею.

— Вы не боитесь воды? — И, предложив мне последний вопрос, княжна, смеясь, посмотрела на меня.

— Нет, не боюсь.

— Это вам делает честь. Хотите кататься с нами в лодке?

— Если вы позволите, княжна.

— Я прошу вас.— И она с важностью неизобразимою присела, как приседала ее бабушка во времена Екатерины Великой. После того, улыбаясь, она обернулась к своей англичанке и сказала ей что-то по-английски. Рыжая мисс значительно кивнула головой, и мы отправились к ялику.

Вскочив в ялик и отцепив его, я подал руку княжне. Ее рука была без перчатки, и ею она крепко сжала мою для того, чтобы не поскользнуться, входя в ялик. За нею неловко прыгнула мисс, пребольно упершись костлявыми пальцами в мою ладонь. Я взял оба весла, но княжна отняла у меня одно, еще раз коснувшись своей рукой моей руки.

— И я хочу грести, только нам надо грести ровнее... Постойте: раз, два, три... ну, теперь начинайте...— Рыжая мисс взялась управлять рулем, и ялик разрезал зеркальное пространство и пошел, оставляя за собою струю.

Мы дружно ударили веслами; ялик двигался все быстрее; княжна была необыкновенно довольна общею нашею ловкостью.

— Ах, как весело, как весело! — повторяла она.

— Не устали ли вы, княжна?

— Нисколько. Какой чудесный вечер!.. Для меня гораздо веселее здесь на озере, нежели в бальной зале.

Она взглянула на меня, полная внутренней тревоги,— это я видел в глазах ее.

Солнце скрылось в облако и раскалило его своим прикосновением, и облило пламенем весь запад. Мы плыли молча; только слышались однообразные всплески воды, возмущаемой веслами. Заря бледнела, ее пурпур сменялся кротким розовым светом, который отражался в воде. Лицо княжны разгорелось, локоны развились, маленькая ножка ее в черном шелковом башмаке упиралась в перекладину ялика.

— Погодите грести, отдохните,— сказала она:— я устала...

— Разве я не могу грести один, княжна? позвольте мне ваше весло.

— Нет, не позволю,— произнесла она рассеянно.

Ялик остановился на средине озера.

— Как бы мне хотелось быть теперь на море,— говорила она,— на корабле — и плыть долго, долго... Хоть я люблю это озеро, но оно слишком мало: его по-настоящему нельзя даже величать громким титлом озера... Мне всегда было так легко, когда я смотрела на морскую даль, сливающуюся с горизонтом...

Княжна задумалась и чрез минуту продолжала:

— Я увижу опять Средиземное море... Неаполь. У меня так много воспоминаний в Италии! Видите ли, и я иногда мечтаю... А вы поедете вместе с нами?

— Я думаю.

— Вы только еще думаете?

— Я еду наверное, княжна. К вашим услугам будет и живописец, и поэт.

— Какой поэт?

Я рассказал ей о предложении вести путевые записки, о Рябинине и о прочем.

— До сих пор я ничего не слышала об этом... Поэт! а скоро будет сюда поэт?

— Может быть, скоро.

— Это прелюбопытно. Я знала только одного поэта, но его теперь нет в Москве. В Италии я видела импровизатора, страшного, с черными, сверкающими глазами, с длинными, всклокоченными волосами. Он ужасно кричал и размахивал руками.

— Поэт, который поедет с нами, совсем не так свиреп.

— Право?.. Сказать ли вам, о чем я теперь думаю? Я думаю о вас... то есть о том, как вы умели хорошо передать на вашей картине вечер. Я часто смотрю на вашу картину. Она стоит в моей гостиной.

Княжна опустила свои длинные ресницы и потом, как будто ожидая, что я заговорю, посмотрела на меня младенчески-простодушно.

Я молчал...

— Вы думаете,— начала она, продолжая смотреть на меня,— вы думаете, что светская девушка не в состоянии чувствовать красоту в искусстве, не может оценить вдохновения художника?.. У нее есть и восторг, и молитвы, и слезы,— поверьте мне. Если найдется человек, достойный ее доверенности, она ищет только минуты, ищет только случая, чтобы высказать ему душу свою... и ей так же, как и другим, нужно сочувствие...

— Княжна, я не знаю светских девушек, я видел их издалека и не мог делать о них никаких заключений; но с первой минуты, как я увидел вас...

Англичанка, о которой я было забыл, вдруг пошевельнулась в лодке, и я остановился.

— Ах, мои бедные перчатки! — воскликнула княжна жалобным голосом, смотря на них.— Посмотрите, как я их изорвала! — И княжна протянула ко мне свою руку, потом сняла перчатки и бросила их в воду.

Я посмотрел на безмолвную мисс. Она была нехороша, но в эту минуту показалась мне отвратительною.

— Начинает смеркаться,— сказала княжна.— Посмотрите, вот зажглась звезда... Мне так хорошо, что я

готова бы встретить восхождение солнца на этом ялике К тому же я никогда не видела восхождения солнца,— прибавила она печально.— Однако пора домой. Теперь вы должны взять оба весла, потому что мои перчатки в воде и я очень устала.

Княжна пересела к англичанке. Она совсем протянула свои ножки, опустила голову на грудь, руки ее лежали на коленях без движения.

Месяц уже серебряным столбом отражался в озере, когда я причалил к пристани... Она выходила из ялика, рука ее опять была в моей руке — и она стояла на дорожке сада, с минуту еще не отнимая ее у меня...

Подходя к дому, мы увидели, что помпейская комната ярко освещена.

— Бабушка, верно, очень сердится на меня в ожидании чая.

Княжна кивнула мне головой, схватила под руку англичанку — и они исчезли...

Я люблю ее, ты это видишь,— люблю страстно, безумно; чувствую, что она и жизнь для меня одно и то же. Без нее мне нет жизни и нет счастья... Ты спросишь меня: к чему поведет эта любовь? — Я не знаю. Ты скажешь мне, что я не имею никакого благоразумия, что я легкомыслен,— может быть; но, ради бога, не читай мне наставлений, я не буду слушать их; брось советы... Друг, предоставь меня судьбе моей!

X

15 июня.

Ваня, сын дворецкого, часто ходит ко мне и иногда своим болтаньем забавляет меня. Он пребойкий и преумный мальчик. Сегодня он мне принес от княжны «Feuilles d'automne»* Виктора Гюго. Вчера у нас был страшный спор с нею о французской литературе. Жаль, что она взлелеяна французскими книгами,— Гюго и Ламартина считает величайшими гениями и ставит их чуть не наряду с Байроном, хотя из Гюго она ничего не читала, кроме его лирических стихотворений. Я истратил все мое красноречие, желая убедить княжну, что этим господам до Байрона, как до *звезды небесной, далеко...* Увы! все мои убеждения были напрасны. Она чуть не рассердилась на

* «Осенние листья» *(фр.)*.

меня за них и взяла с меня слово перечесть хоть одну книгу стихотворений Гюго.

Вот почему она прислала мне «Feuilles d'automne». Я расцеловал ее посланника и спросил его, любит ли он княжну?

— После папеньки,— отвечал он,— я люблю больше всех княжну, а потом маменьку.

— Отчего же маменьку-то после?

— Она сердитая, и папенька ее боится...

Я подарил ему картинку, и он в полном восхищении убежал от меня. Развернув книгу,— вообрази мою радость, мою бешеную радость,— я нашел в ней небольшую цветную бумажку вроде закладки, на которой было написано мелко рукою княжны по-русски: *«Прочтите стихи:* Oh! pourquoi te cacher? Tu pleurais seule ici*, *и согласитесь, что* Hugo *истинный поэт...»*

Не правда ли, это очень мило? Разумеется, я прочел тогда же стихи, указанные ею, и они мне в самом деле показались лучше других.

17 июня.

Получил ответ от Рябинина на мое письмо к нему. Он хочет приехать сюда немедля. «Ну, так и быть,— пишет он,— для того, чтобы поскорей увидеть тебя, я решаюсь проскучать несколько месяцев в Москве. Жертва великая!.. Да нельзя ли мне будет жить вместе с тобою в подмосковной князя? Это, кроме других выгод, имеет и ту, что я заранее ознакомлюсь с его сиятельством. Отпиши мне, будет ли такая штука политична?»

Я сказал об этом князю — и он тотчас же велел приготовить комнаты для Рябинина против моих. Мысль, что он будет окружен артистами, ему, кажется, удивительно нравится.

Ту же секунду уведомил я нашего приятеля о княжеских распоряжениях и с нетерпением жду его сюда с минуты на минуту...

30 июня.

Он здесь, он приехал! Можешь себе представить мою радость!.. Вчера я было совсем собрался спать, вдруг слышу необыкновенный шум и страшную возню в кори-

---

* О! зачем таиться? Ты плакала здесь в одиночестве *(фр.)*.

доре: двери передней моей комнаты отворяются с эффектным треском; раздаются шаги мерные, тяжелые, знакомые мне, и две длинные руки протягиваются ко мне для заключения меня в объятия. Я обнял Рябинина от всего сердца.

После объятий он отошел от меня шага на два.

— Постой, ни слова! Дай мне сначала обозреть тебя с ног до головы, — сказал он и с обыкновенною своею важностью, нахмурив брови, начал меня рассматривать.

— Похудел! что бы это значило? в Москве толстеют... а где же твоя мастерская?..

— Я и кисть не брал в руки с тех пор, как мы с тобой расстались.

— Гм! Хорошо. В Москве так и следует. Здесь только все много говорят, а никто ничего не делает. Теперь я посмотрю твою комнату. Ба! что это? Виктор Гюго! у тебя Гюго? Ведь ты прежде сходил с ума от немцев?..

— Я и теперь схожу от них с ума.

— А эта книга зачем?

— Меня заставила прочесть несколько стихотворений княжна и хотела, чтобы я непременно ими восхищался.

— Заставила?.. княжна? а что, у нее смазливенькое личико?

— Она чудо как хороша!

— И читает стихи?

— Французские и английские, а твоих стихов она не читала.

— Моих? Я и пишу не для этих княжен, а для той, которая... Ну, да что говорить об этом? Скажи-ка, какое впечатление произвела на тебя Москва?

— Для той, которая... Поздравляю тебя, ты влюблен.

— Ни слова об этом. Что, в Москве скучно?

— Нет, ты не угадал. Эти месяцы для меня прошли, как один день. Я очень полюбил Москву.

Рябинин качал головой.

— Молодость, молодость! Что же ты нашел здесь? Местоположение, правда, недурное, довольно гористое, церкви с позолоченными главами...

— И тебе эти шутки не наскучили?

— Какие шутки? я говорю от души. Истинно-то хорошего ты, верно, здесь и не заметил...

— Чего это?

— Да что в Москве всего лучше?

При этом вопросе я призадумался.

— Так и есть — не знает!

— Что же такое? Кремль?

— Вот куда зашел: Кремль!

— Калачи?

— Не то! — Английский клуб, и в нем кулебяка. Славная кулебяка! тесто сдобное, рассыпчатое, куски большие...

Узнаешь ли ты его? Вспоминаешь ли то время, когда мы сиживали вместе, с таким удовольствием внимая речам его и дивясь его способности мешать шутки с делом?

— Впрочем, я не прочь пожить в Москве,— продолжал он. — Я отдохну здесь. В Петербурге надоели мне и приятели и враги. Все значительные петербургские журналисты меня хвалили и хвалят, хотя их похвалы глупы, но все-таки похвалы. А вот недавно,— говорят, я сам не читал,— появились в журналистике какие-то проклятые насекомые, шмели — и точно слышу, жужжит что-то над самым ухом, того и гляди, что укусит. Я давно бы раздавил этих шмелей, но руку лень приподнять...

До трех часов утра просидели мы с ним, разговаривая о будущей нашей поездке в чужие края, о князе, его семействе и о прочем.

17 июля.

Князь с каждым днем начинает чувствовать более и более расположение к Рябинину. Резкая, немного странная манера, вечно-таинственный вид знатока, уменье действовать незаметно на самолюбие, придавая речам сухость и даже грубость, порою истинно-поэтическое одушевление — все это вместе, чем вполне обладает наш приятель, действует необычайно на князя...

Рябинин ходит с ним по залам и останавливается беспрерывно перед картинами. восхищается ими и уверяет, что таких драгоценностей, как у него, нет даже и в петербургском Эрмитаже. Однажды мы втроем ходили в большой зале. Рябинин посмотрел на одну картину, остановился, поднял руки вверх и с жаром воскликнул:

— Это оригинал, князь, поверьте мне, оригинал! я узнаю в этой картине Франциска Альбани. У него вся манера Анибала Карачча, так что иные произведения Альбани невглядевшийся глаз может смешать с созданиями Карачча. Хотя в Альбани нет своего, типического, но он замечательный мастер. Позвольте, дайте вглядеться в эту фигуру. Ба! да это редкость... Вене-

цианской школы... Тинторет! настоящий Тинторет!.. Славная у вас галерея, князь... И знаете ли, что я скажу вам? я рад, что у вас мало картин немецкой школы... Хороши они, эти Дюреры, но можно обойтись и без них. Не люблю немцев, откровенно признаюсь вам,— народ отвлеченный... Один Шиллер, да и тот не немец, а итальянец...

— Как итальянец? — спросил удивленный князь.

— Натура южная; здесь вот, в левом-то боку, горячо, пламенно... С каким омерзением смотрел он на своих злодеев, вызванных им на божий свет из глубины поэтического духа, и с какою любовию на свои чистейшие создания, на маркиза Позу, на Телля! Его драмы — это вдохновенные импровизации. Итальянец! настоящий итальянец!

— А Гете? разве вы Гете ставите ниже? — Князь пристально посмотрел на Рябинина.

— Гете — великий гений, так; но в нем есть душок этой немецкой философии, которая больно мне не по сердцу.

— Да, правда,— заметил князь,— вся эта философия — заносчивость, бред; однако Гете... Но растолкуйте мне, откуда вы набрались таких сведений в живописи, ни раза не ездив в чужие края? У вас глаз необыкновенно меткий и верный.

Рябинин улыбнулся.

— Откуда набрался? Читал, и читал много и долго, не пугался книг in folio*; глядел, и глядел пристально на то, что было у меня перед глазами; проводил недели и месяцы в Эрмитаже; ловил художников прямо с парохода, только что из Италии, и расспрашивал их о чудесах искусства, соображал с тем, что вычитал, и помаленьку входил в мир художественный. Мои друзья, князь, вот они,— и Рябинин положил руку на мое плечо,— живописцы, музыканты, все артисты... Люди с дарованием как-то любят меня и бегут ко мне, а я благодарю за это бога!

— Жаль,— сказал князь,— право, жаль, что я не имел удовольствия прежде познакомиться с вами...

— А я вас знал и прежде, князь, по слухам, и уважал вас за вашу любовь к искусствам и за внимание к нам, бедным артистам. Спасибо вам за то, что хотите меня ввести в самый храм, где священнодействовали великие

* Здесь: большого формата *(лат.)*.

художники, в эту благословенную Италию. Без вас у меня не было средств войти в этот храм.

Князь с большою приятностью посмотрел на Рябинина.

— Я уже говорил г. Средневскому, что мне известен каждый уголок этого храма. И мы будем вместе ходить везде... Наши путевые записки могут быть очень интересны, не правда ли?

— Это будут не простые записки... (Рябинин подошел к князю и взял его за руку), а монументальная книга для художеств!

Глаза князя заблистали от удовольствия.

— Хочется мне посмотреть в Болонии на св. Петра Гвидо Рени,— продолжал Рябинин, задумываясь,— разные толки об нем: иные его превозносят до небес, другие умеренно отзываются о нем...

— Как? кто же из видевших эту картину может без восторга говорить о ней? — произнес князь.— Это chef-d'oeuvre. Голова апостола Петра и другого апостола, который утешает его, это такие головы! в них столько выражения! К тому же нежность колорита, отчетливость в отделке... Помилуйте, да эта картина — чудо!

— Так, я заранее знал, что вы это скажете. Все истинные знатоки художеств, а не самозванцы, отзываются о св. Петре, как вы. Уж эти мне самозванцы-любители! Я человек простой и откровенный, князь,— вы это видите,— и этих господ отделываю по-своему, без жалости, кто бы они таковы ни были...

— Так и должно; вы делаете очень хорошо,— подхватил князь,— обман надобно всегда изобличать!

— Неужели,— сказал я Рябинину, когда мы остались с ним вдвоем,— неужели тебе не жаль морочить князя и так недобросовестно льстить его слабости к художествам? Мне всегда досадно, когда ты так говоришь с ним, как говорил сейчас. Знаешь ли? в нем столько хорошего, что, будь какая-нибудь возможность, я открыл бы ему глаза, я показал бы ему смешную его сторону...

— Долго ли ты будешь ребячиться? — отвечал мне чудак наш,— пора перестать! Брось нелепую мысль исправлять людей. Невинное дитя мое, если ты вздумаешь выводить их, по своему добродушию, из заблуждений, в которых они погрязли, как в тине, горе тебе! они нападут на тебя и растерзают тебя... И что за дело тебе до других? Пусть тешатся своими погремушками; бренчи и ты перед ними, а исподтишка улыбайся. Тогда они

будут хвалить и превозносить тебя. Я уверен, что князь теперь от меня в восторге, а заговори-ка я с ним другим языком, он посмотрел бы на меня с презрением и, встречаясь со мною, отворачивался бы от меня... Не забудь, что он нужен нам. Мы его станем водить за нос; он будет нами доволен, мы им, а русская публика всеми нами за дешевое, но великолепное издание путевых записок с гравюрами, на веленевой бумаге...

И Рябинин прав. На днях князь сказал мне, пожимая мою руку: «Я благодарен вам за знакомство с Рябининым. Он имеет глубокие познания в художествах. Правда, наружность его несколько странна, но зато он так умен и так оригинально обо всем судит!»

При княжне Рябинин чувствует себя как бы неловким. Ты знаешь, что его смутить трудно, а перед нею он явно смущается.

Один раз, князю и мне, рассказывал он содержание своего нового романа, который давно намеревается писать. Мы слушали его с большим вниманием, потому что он говорил с увлечением; вдруг в дверях появилась княжна... Рябинин увидел ее и остановился на самом интересном месте своего рассказа. Через минуту он продолжал, но одушевление его исчезло, он старался кончить рассказ свой как можно короче.

В другой раз в присутствии княжны зашел разговор о музыке. Князь человек совершенно артистический и меломан, между прочим. Для него итальянская опера — верх возможного совершенства.

— Выше Россини,— говорил князь,— выше его я никого не знаю в музыкальном мире. Моцарт и Бетховен прекрасны, слова нет, да в них много, если так можно выразиться, дикости. Правда, моцартовский «Дон-Жуан» создание колоссальное... но в Россини все: и сила, и грация, и нежность,— это музыкальный Рафаэль. Его «Танкред», «Семирамида», «Donna del lago»*...

— Да, князь, люблю и я Россини. Звуки этого итальянского чародея полны и роскошны, как морские волны, и в них сладко нежиться... Средиземное море, купол св. Петра, звуки Россини и торкватовы октавы — вот поэзия жизни. Впрочем, что касается до музыки, то мы должны обратиться к княжне. Все наши мнения уничтожатся перед ее музыкальным авторитетом...

И с низким поклоном он обратился к княжне.

---

* «Женщина с озера» *(ит.)*.

Княжна взглянула на него и этим взглядом молча спросила у него, зачем он беспокоит ее?

— Я летом не занимаюсь музыкой: я гуляю по саду и езжу верхом,— сказала она по-французски, не обращаясь ни к кому.

Князь и Рябинин вскоре после этих слов вышли из комнаты, а я подошел к ней.

— Вы бываете очень немилосердны, княжна.

— Немилосердна?

— Он, право, заслуживает, чтобы вы обращались с ним снисходительнее...

— Кто же это *он*?

— Рябинин, княжна.

— Как он смешно говорит и какая у него страшная и большая запонка на галстухе, точно фермуар!..— произнесла она протяжно и пресерьезно.

— Я не думал, чтобы вы обращали внимание на одну только наружность. Он, может быть, одет, княжна, не так, как одеваются светские люди, не имеет их ловкости, но он человек вовсе не дюжинный, он...

— Ах, боже мой! — воскликнула княжна в нетерпении,— что мне за дело до всего этого?..

— Отчего же такое оскорбительное невнимание к человеку, который...

— К человеку, который мне кажется скучным... Неужели все ваши поэты так же милы, как он?

Я ничего не отвечал на этот вопрос.

— Вы хотите,— продолжала она,— вы хотите, чтобы я со всеми была одинакова, чтобы я всем равно с пошлою доверчивостью, с детским простодушием высказывала мой образ мыслей? Я могу быть доверчива, я буду откровенна, но с тем, кого уважаю, кого... А ваш господин Рябинин, хотя он и пишет стихи, по вашему мнению, верно лучше Ламартина, все-таки смешон. И как он страшно поднимает указательный палец, когда заговорит, и как забавно хмурит свои брови. Скажите ему, что это совсем нехорошо...— И с этим словом она вышла из комнаты, оставив меня одного.

Слышишь ли ты? княжна только с тем откровенна, кого она уважает, кого... Она не договорила... Растолкуй мне, ради всего на свете, что это значит? что она хотела мне сказать этим? Я не смею думать, чтобы я мог заслужить ее уважение; я был бы дерзок, если бы мне вошла в голову мысль, что она любит меня... По крайней мере, со мной она часто говорит довольно серьезно, она не

считает меня недостойным своего общества, на меня она не смотрит с такою гордою недоступностью, как на Рябинина. Чему же приписать все это? Тысячи сомнений и надежд попеременно раздирают и волнуют меня. Я похож на утопающего, который то видит берег и спасение и одушевляется на минуту, рвется к нему, к этому берегу, напрягая последние силы; то, отчаянный, предается гибельным волнам, влекущим его в бездну... Мне и горько, и весело... Я, право, не знаю, что со мной...

Я забыл сказать тебе, что старушка с усиками к Рябинину питает еще большее неблаговоление, чем ко мне.

— Что, князь, этот длинный человек, который приехал к вам недавно, стихотворец, что ли? — ворчала она, искоса посмотрев на меня.

— Он теперь один из первых наших поэтов,— отвечал князь.

— Из первых? а какой имеет чин?

— Не знаю; он нигде не служит.

— Не служит? Что ж, он баклуши бьет да стишки пишет?.. Первый стихотворец! Да в наше время первые стихотворцы были и первыми государственными людьми... Покойник Гавриил Романович был министр и действительный тайный советник, человек, пользовавшийся милостью в продолжение трех царствований. Императрица особенно изволила его отличать от всех других: он был любимым ее статс-секретарем. Вот будто сейчас вижу, как он у княгини М* читает свои стихи на смерть графини Румянцевой. Когда он продекламировал:

Румянцев молньи дхнет сугубы,
Екатерина — тишину... —

он, как теперь помню, посмотрел на меня, а у меня слезы так и лились...

Не правда ли, старушка забавна?

XI

25 июля.

На днях княжна опять завела со мною речь о французской литературе. Гюго она уже пожертвовала мне, но Ламартина сильно отстаивает. Я решительно объявил ей, что она в музыке гораздо далее, чем в поэзии. «Но я не могу вам передать на словах всего, что я думаю о его таланте, я вам напишу...— сказала она мне,— я постараюсь вам изложить все мои мысли о нем, не знаю только,

сумею ли. Впрочем, чувствую, что я буду дурная его защитница».

Я принял эти слова за шутку, но вчера ко мне пришел Ваня и принес от княжны «Méditations Poétiques»* с заметками карандашом. В книге я нашел листок почтовой бумажки, сложенный в виде письма и весь исписанный рукою ее по-французски... Так она не шутила? О, великий, гениальный Ламартин! без тебя она не стала бы писать ко мне! Жадно пробежал я этот листок — и потом положил его в карман, взял книжку Ламартина, присланную ею, и отправился ходить... Мне захотелось еще перечесть ее строки где-нибудь подальше от дома, на свободе... В версте от княжеского дома, живописно извиваясь, протекает небольшая речка; один берег ее довольно холмист и покрыт мелким березовым кустарником, между которым растет шиповник и дикая малина. Среди кустарника возвышается одинокая береза, пощаженная топором и на свободе широко разросшаяся. От нее идут тропинки в разных направлениях вниз к реке. Здесь деревенские мальчики и девочки собирают малину. Береза эта видна издалека, и, гуляя, я часто отдыхаю в тени ее развесистых ветвей и смотрю на противоположный берег, где желтеют поля, засеянные овсом и рожью, да вдали чернеет деревня...

И в этот раз я отправился к привычному месту моего отдохновения, к этой березе. День был сероватый. Солнце на минуту выглядывало из-за облаков и потом тотчас пряталось. Я расположился под березою, вынул из кармана листок княжны и в таком уединении принялся читать его. Я не сомневался, нет, — у нее глубокая душа, я говорил тебе об этом и прежде... Что за беда, что она увлекается французскими фразами: ведь и мы с тобой эти фразы не различали некогда от истинной поэзии!

Я читал и перечитывал ее строки; в голове моей опять забродили странные мысли, несбыточные картины... И все это было для меня правдоподобно. Теперь я краснею, вспоминая о странном состоянии, в котором находился тогда. Друг! не суди меня строго холодным рассудком, не морщись, читая журнал мой с ледяною важностью мудреца, не сожалей обо мне, как о заблуждающемся мальчике. Мне нужно теперь твое сочувствие, мне необходим в эту минуту ты, с твоею бесконечно-любящею душою!..

Вдруг вблизи меня кусты зашевелились, я привстал

---

* «Поэтические раздумья» *(фр.)*.

и увидел любимца княжны, Ваню, который за час перед этим принес мне от нее книгу. Он, сбегая по тропинке к реке, нисколько, кажется, не подозревал, чтобы кто-нибудь за ним подсматривал. Меня удивило, что он так далеко от дома и один. Сбежа в подгору, Ваня стал на колени и наклонился к воде, чтобы спустить кораблик, склеенный искусно из картонной бумаги,— свою новую игрушку, которую он показывал мне в восторге накануне... Спущенный на воду кораблик заколыхался и скоро остановился без движения... Ваня стал поправлять его палочкой, но кораблик его не слушался и не двигался с места. Он бросил палочку в воду и лег на песок, облокотясь на руку. Я спустился тихонько вниз и из-за куста смотрел на него. Он лежал серьезно, будто думал о чем-то, не спуская глаз с речной поверхности. Наконец вскочил, поднял камень и с досадою бросил его прямо в середину кораблика — и кораблик вместе с камнем пошел ко дну. Ваня засмеялся, бросил еще камень в воду и хотел бежать на гору,— но я вышел к нему навстречу — и он, удивленный, остановился.

— Ваня, как ты это очутился так далеко от дома? — спросил я его.

— Я ушел тихонько. Маменька все велит мне гулять в палисаднике, а палисадник такой узенький, так скучно. Маменька велит мне спускать мой кораблик в пруде, а пруд зарос травой...

— Зачем же ты утопил свой кораблик?

— А затем, что он стоял на одном месте. Мне хотелось, чтобы он плавал.

— Он не мог плавать, потому что нет ветра...

— Коли не мог плавать, так и не нужно его. Когда вы поедете с княжной кататься по озеру, вы возьмете меня с собой?

— Как с княжной? Отчего же ты думаешь, что я непременно поеду с нею?

— Она вас любит, так вы с нею и поедете.

— Разве она меня любит? Кто тебе сказал?

— Она меня про вас все спрашивает, я ей рассказываю, как у вас бываю. И меня она любит, и про меня все расспрашивает у папеньки.

Я расцеловал Ваню, я почти готов был поверить словам его... Он дитя? да ведь иногда дети видят лучше взрослых... Ваня вырвался от меня: ему надоели мои жаркие ласки — и он убежал.

Было около четырех часов, когда я возвратился домой,

и пошел в комнаты к Рябинину, но он уехал в Москву. Жизнь деревенская, кажется, не по нем. Он не шутя полюбил Английский клуб и иногда возвращается оттуда часу в восьмом утра, проиграв целую ночь в палки.

«Палки игра занимательная,— говорит он.— Почему изредка не позволить себе подурачиться? Это мой отдых от занятий мысленных. Когда голова отягчится от напора идей, я беру в руки карты, и голове станет сейчас легче».

Не найдя Рябинина, я отправился к князю, и у большого подъезда встретил дворецкого. Он шел с свойственною ему важностью в белом накрахмаленном галстухе.

— Александр Игнатьевич, мое почтение,— сказал он, кланяясь мне.— Где, сударь, гулять изволили? Правда, вы домосед, не то, что г. Рябинин: по его милости так четверню за четверней и гоняют в город. Сами знаете, теперь жар; лошади хорошие, непривычные к такой гоньбе; да и, по-моему, деликатность надо знать... И что такое в нем князь находит? Удивляюсь и вам тоже, Александр Игнатьевич, ведь это вы, сударь, его выписали?

— Есть кто-нибудь наверху? — перебил я его.

— Г. Анастасьев. Он на днях только приехал в Москву, и то, говорят, ненадолго. Живет он более в чужих краях. Я знавал его покойного родителя; и его видел такого маленького, с моего Ванюшу, не больше, а посмотрите-ка теперь: молодчик, я вам скажу. Покойный старик жил барином, открыто, но при всем том расчетливо, хоть у него стояли сундуки, битком набитые золотом и серебром, хоть у него денег-то куры не клевали, зато теперь у сынка несметные суммы, между нами сказать.

Кто не знает про чудовищное богатство Анастасьева? Странную историю о том, какими средствами разжился его дедушка в начале царствования Екатерины, как потом он стал счастливо торговать и хитро ворочал огромными капиталами, слышал и я несколько раз от матушки да от старушек, ее приятельниц. В этих рассказах быль простодушно перемешивалась с самыми смешными небылицами. Богатство всетворящее и всепокоряющее доставило отцу Анастасьева в молодых летах мальтийское командорство и с ним великолепный красный мундир. Он сделался человеком знатным, и все позабыли о его происхождении и о том, что дворянский герб его так недавно вышел из герольдии, что на нем еще не успели обсохнуть краски.

Человек сметливый, пользуясь благоприятными обстоятельствами, для придания себе еще большего величия,

он породнился с одним несостоятельным графом, и таким образом сын его сделался неотъемлемою принадлежностью большого света.

В последнее время, в Петербурге, когда я вел, как тебе известно, от внутренней пустоты жизнь бродячую и безумно разгульную, среди самых свирепых петербургских людей,— я составил себе по словам их какое-то странное и фантастическое понятие о молодом Анастасьеве. Они все, даже и старшины их, питали к нему большое уважение; они говорили, что он наделен всеми блистательными и неоцененными качествами героев проходящего поколения, нимало не походя на них, то есть что может выпить бутылку шампанского, не отнимая ее от губ и не поморщиваясь; согнуть полуимпериал без всякого усилия; выстрелить в сердце туза из пистолета на ужасном расстоянии; иметь в одно время десять любовниц в обществе и по крайней мере пять на сцене, которые бы все вместе и каждая порознь, тайно или явно, были от него в восторге; но что он не пользуется ни одним из этих неоцененных качеств: к сожалению, пьет без особенной охоты, силой своей никогда не хвастает, напротив, даже кажется слабым, изнеженным; на женщин смотрит с изумительным хладнокровием, без всякого, однако, желания корчить разочарованного, и вот чего, несмотря на все его достоинства, они не прощали ему — выезжает в общества!

Ко всему этому прибавляли, отдавая ему заслуженную дань удивления, что он одевается с таким вкусом, как никто, да еще хвалили его за то, что в продолжение года он никак не более двух месяцев проводит в России.

Ты поймешь, как после таких описаний мне любопытно было увидеть Анастасьева.

И я увидел его, и он, как это всегда случается, когда мы заранее составляем в голове идеал человека, почему-либо интересующего нас, вовсе не похож на этот идеал. В нем нет ничего такого, что бы поразило с первого взгляда. Среднего роста, более худощавый, чем полный, бледный, с темными коротко подстриженными волосами, он не отличается своею наружностью ничем от других: взглянув на него, никак не представить себе, чтобы он мог совершать те исполинские подвиги, о которых я слышал. У него, как и у многих, на тоненьком шнурке висит тоненький черепаховый лорнет; только, надо отдать ему справедливость, он действует им с особенною ловкостью: вставляет его в глаз без всяких усилий и смотрит в него

без малейшей гримасы; в покрое его черного сюртука нет ничего нового, но, правда, он сидит на нем с изумительною ловкостью; в его движениях, в его разговоре непринужденность доведена до небрежности, как у многих, но эта небрежность в других неприятна, а в нем ничего. Я думаю, это оттого, что он не желает казаться чем-нибудь, а кажется тем, чем есть в самом деле. На княжну смотрит он так спокойно, так равнодушно, как на самую обыкновенную девушку,— на нее-то, боже мой! перед которой

...остановишься невольно...

После обеда князь, княжна и Анастасьев пошли в сад, а я, стоя на балконе, смотрел на них, то есть смотрел на нее. Она взглянула вверх, увидела меня и, улыбаясь, кивнула мне головою... Что ты скажешь о ее внимательности ко мне? Может быть, она... но нет, ты назовешь меня *мечтателем*, а для меня это слово ужасно противно, особенно с тех пор, как княжна спросила меня насмешливо: не мечтаю ли я? Мне кажется, что между мечтанием и сантиментальничаньем нет никакой разницы. И в том, и в другом слове заключена идея возмутительного бессилия и растления, и то, и другое слово отзывается беспутностью XVIII века и его кощунством, соединенным с нежными ощущеньицами...

Однако она обернулась назад и улыбнулась мне: это я видел не в мечте, а наяву. Она знала, что я буду смотреть на нее, иначе для чего бы ей было обертываться, для чего бы ей глядеть наверх?.. И я точно смотрел на нее, тихо идущую по темной аллее, в белом платье. Хорошо белое платье на всякой девушке в саду, в зелени, а на ней...

Но вот эта несносная старушонка притащилась на балкон.

— Где князь? — проворчала она, смотря на меня.

— Князь в саду,— отвечал я.

— И княжна в саду?

— Да, вон они идут по аллее.

Старушка приставила свою руку в перстнях к глазам и смотрела в сад.

— А третий-то кто?

— Анастасьев...

— А-а-а! Что это он и идти-то прямо не может, весь раскис. Это молодые люди! Господи боже мой!.. Потрудитесь-ка мне поставить большие кресла сюда.

Нечего делать, я должен был подставлять ей кресла.

— Поближе к перилам, так, хорошо; покорно вас благодарю, батюшка.— И, рассевшись в креслах, она начала мыслить вслух:— Отчего же это в наше время молодые люди были вытянутые, как струночки, сидели прямо, говорили, обращаясь к каждому с аттенцией, перед старшими показывали особенное уважение и свое мнение произносили после всех, скромно, с приличием, с боязнью не проговориться, не сказать что-нибудь лишнее?..

Действие летнего теплого ветерка прекратило ворчанье старушки; она сначала потупила глаза в свои перстни и начала произносить тише, тише какие-то невнятные слова, потом совсем закрыла глаза, но еще губы и подбородок ее долго шевелились.

Я оставил балкон, пройдя на цыпочках мимо дремлющей старушки.

Скоро приехал Рябинин. Он на этот раз после обеда не хотел оставаться в клубе, потому что дня три перед этим порядочно проигрался.

— Сегодня в клубе,— сказал он мне,— обед посредственный...— (Я нарочно от слова до слова передаю тебе его разговоры со мною, чтобы ты мог живее и во всей подробности представить его) — весьма посредственный; хорошо еще, что у меня аппетита не было, спросил себе бутылку мадеры и один провозился с нею. Рюмка за рюмкой, и раздумался я о тебе.

— Что же ты думал обо мне?

— Много и очень много! Ты мне кажешься подозрительным,— и он погрозил мне.

— Подозрительным? — спросил я.

— Не притворяйся! Ты понимаешь, в чем дело. Ты разлюбил меня, а иначе был бы со мною откровеннее.

— Растолкуй же мне, что ты хочешь сказать?

— Гм! растолковать!..— Рябинин положил руки на мои плечи и сказал мне протяжно: «Посмотри на меня прямо, открыто».

Я не мог не рассмеяться, смотря на него.

— Смеешься, плут?.. На твоем лице я читаю все, все; от меня не укроешься. И зачем бы, казалось, укрываться от меня? Я передаю тебе то, что еще и не выработалось в моей внутренней лаборатории, сокровенное сердца моего тебе известно, а ты себе на уме... Но предисловия все в сторону. Я знаю, ты любишь. Так ли?

— Да напрасно ты думал, что я стану перед тобой скрываться.

Рябинин задумался и опустил голову.

— Кого любишь, спрашивать мне нечего — я знаю. И мне это горько, потому что любовь твоя не такая, как бы должна быть... Не возражай мне... Морали я тебе читать не буду, не бойся, а объявить тебе должен, что ты затеял игру опасную. Эти княжны по большей части отличные куколки, нарядные, красивые. Их поставить бы под стеклянный колпачок, да и любоваться ими. Издалека, в театре, в экипаже, на балконе, на гулянье смотри на них сколько душе угодно. Пожалуй, люби их, но чистою любовью художника, как любишь отличные картины в богатой галерее. Влюбляться же в них, как влюбляются молодые и пылкие люди, сохрани боже и помилуй! Притворяться влюбленным, для какой-либо цели, почему не так,— против этого я ни слова.

Эта длинная тирада взбесила меня.

— Притворяться для какой-нибудь цели? — закричал я,— это подло и низко! ты сам не знаешь, что говоришь...

— В жару не может и шутки понять! Молодая кровь!

— Уверять,— продолжал я,— что все княжны не более, как нарядные куклы — старо и нелепо. И почему ты их знаешь? разве ты был в большом свете? разве только одно среднее сословие, по-твоему, пользуется привилегиями на глубокость души, на истинное чувство?..

— Погоди! — с дьявольским хладнокровием отвечал мне Рябинин,— ты забросал меня словами. Я далек от такой нелепости; положим, что я говорю неправду, что все эти княжны, без исключения, так же хороши внутренно, как и наружно; уверен, что твоя княжна выше и глубже их всех, но я тебя только спрошу одно: если любовь твоя не очищена от земного сора, к чему поведет тебя она? Отвечай.

Вопрос этот я предвидел, и на него я отвечал то же, что некогда писал к тебе: «Не знаю».

— От *не знаю* происходят все беды и несчастия наши. На *авось* жить нельзя: надобно заранее обдумывать каждый шаг вперед — что, и почему, и для чего? Тогда только и будешь пользоваться спокойствием и счастием...

— Когда любишь, тут не до расчетов, любезный! только люди бездушные и ограниченные...

— Главное, не горячись — и выслушай меня, поусмирив свое волнение. До сих пор я молчал; но ты вынуждаешь меня выговорить то, чего я доселе никому не выговаривал и что бы унес с собою в могилу. Сердце мое давно

указало мне на предмет высокий и недоступный для меня и, сильно забившись, сказало: вот мой выбор, повинуйся мне! И я повиновался ему, и полюбил избранницу моего сердца; моя любовь к ней изливается в песне, в молитве, в благоговейном созерцании красоты ее; этою любовью я невольно служу искусству. Бывало, идешь, она повстречается, взглянешь на нее, и от этого взгляда рождается стихотворение. Сила воли сняла с любви моей земную, чувственную кору и улетучила ее, одухотворила. Такая любовь светла и возвышенна, ее прячу я от людей. Это моя святыня, а остальное все в жизни моей — математика, расчет. Стало быть, видишь ли, не одни люди ограниченные рассчитывают. Люби свою княжну такою любовью, таи это чувство от всех, даже от нее самой, и живи им, и просветляйся им. Такая любовь поведет тебя ко благу, а всякая другая к погибели. Но, лелея в душе небесное, не пренебрегай земным: земное само по себе. Посмотри на меня: я умею сочетать одно с другим. За доброе же слово не сердись. Обнимемся и поцелуемся.

Мы поцеловались.

Речь Рябинина очень красноречива; только в ней больше фраз, чем истины, оттого она не произвела на меня надлежащего действия. Я сам некогда, в спокойном состоянии, рассуждал о неземной любви, но теперь ясно для меня, как божий день, что любовь, о которой толковал Рябинин, не любовь живая и действительная, а просто мечта смешная и ребяческая. Мне кажется, он меня мистифицировал. Желал бы я узнать предмет его вдохновений, на который указало ему сердце. Но, статься может, этот предмет не существует, и, как новый Петрарка, он создал себе свою Лауру для придания себе еще большей таинственности, которою он так любит окружать себя...

XII

7 августа.

Трудно передать тебе то состояние духа, в котором я нахожусь последнее время. Я сделался ко всему нестерпимо равнодушен; книги ужасно надоели мне, я не могу ничего читать. Даже если бы кто-нибудь пришел и сказал мне: «Вот произведение Гете, недавно найденное; оно выше всех известных его произведений, вся литературная Европа от него в страшном волнении, о нем

только и говорят и пишут»,— я выслушал бы все и не взял бы труда взглянуть на такое поэтическое чудо. Мало того, если бы дрезденская Мадонна очутилась сейчас перед моими глазами, я взглянул бы на нее без всякого участия, как на те масляные картины в рамах, которые носят в Москве по Тверскому бульвару, а в Петербурге по Невскому проспекту. Если бы ты вдруг предстал передо мною, перенесенный из Рима в подмосковную какими-нибудь чародейскими силами,— я и на тебя, кажется, бесценное сокровище мое, не обратил бы ни малейшего внимания... Я только и живу ею, только и перечитываю ее листки, и смотрю на нее, и слушаю ее; для меня только одно искусство вполне существует в эту минуту — музыка. Музыка наполняет душу мою стремлением необъяснимым и бесконечным. И чем более вслушиваюсь я в ее пение, тем более расширяется во мне это отрадное чувство любви, и грудь, иногда стесняемая боязливым предчувствием, начинает дышать свободно... Я жажду звуков, божественных звуков... таинственный мир окружает меня, когда раздаются эти звуки... я блаженствую.

Бедная кисть моя! Лежи в бездействии, покрытая пылью: я долго не прикоснусь к тебе. Бог с тобою! ты ни разу ни доставила мне таких благодатных минут!

Князь несколько раз шутя замечал мне, что во мне он находит все признаки истинных художников и между прочим необыкновенное рассеяние.

— У кого беспрестанно носятся в голове различные мысли и образы, тому немудрено быть рассеянным,— сказал он мне.— Я это совершенно понимаю.

У меня мысли и образы! Если бы он знал, что у меня нет другой мысли, кроме мысли о ней, о его дочери; что передо мною нет другого образа, кроме ее...

Рябинин исподтишка, кажется, посмеивается надо мною; сидя же со мною наедине, он уже не читает мне проповедей, но молча помахает головой и порой, грозя пальцем, произносит с расстановкою:

— Странно! тебя и узнать нельзя; ты стал ни на что непохож.

В Английском клубе он свел знакомство с одним из самых толстых московских франтов, который замечателен своим париком à la moujik*, отлично сделанным, и своим необычайным знанием в гастрономии. Этот господин — толстый франт, у себя дома обедает от пятого до девя-

* в мужицком духе *(фр.)*.

того часа, а в клуб приезжает обедать, когда все выходят из-за стола, и полвечера остается в столовой зале.

— Люблю его,— говорит Рябинин,— ест славно, с аппетитом; на него смотреть любо. Какой у него ростбиф! а ви́на, ви́на — каких нет в целой Москве! Чудесный человек!.. Такими людьми пренебрегать не должно: еда — не последнее в жизни...

Привычка мистифицировать у Рябинина дошла до такой степени, что он, забываясь, говорит и со мной так же, как с людьми малознакомыми, которых он хочет удивлять и поражать.

Он ничего не знает о нашей литературной переписке с княжною. На первый листок ее ко мне о Ламартине я отвечал ей предлинным посланием и после того получил от нее три письма. Я могу назвать эти листки ее, адресованные ко мне, письмами. Не так ли? В них идет речь не об одной литературе. Она так добра, что делает часто отступления от главного предмета, и сколько прекрасного, поэтического в этих отступлениях... В них виден ее свободный, самостоятельный дух, ее независимость от пошлых светских мнений. Некоторые строчки заставляют меня крепко задумываться; я вчитываюсь в них — и то, что живет во мне, как предчувствие, как возможность, начинает будто осуществляться, переходит в явление действительное. Я не убежден, что она любит меня, но не сомневаюсь в том, что она отличает меня от других. Я счастлив, слишком счастлив, и в самые страшные минуты недоумения я все счастлив... она отличает меня от других!..

Теперь не нужна мне эта известность, которой добивался я изо всех сил, не нужна мне и слава, некогда в жарких юношеских грезах являвшаяся мне во всей лучезарности. Все это так бедно, жалко и ничтожно! Если бы она сказала мне: «Брось свое искусство, я не хочу, чтобы ты был живописец, иди за мною»,— я бросил бы все и пошел за нею. Любить — высшее назначение в жизни... Да... Но я слышу твой голос, ты мне произносишь свой тяжкий приговор, ты изгоняешь меня из светлой храмины искусств... Погоди, друг... Может быть, я еще не в состоянии отказаться от искусства; может быть, все, что я сказал тебе сию минуту, ложь,— не верь мне. Расстанусь ли я навсегда с моею кистью? Нет! В Италии, обновленный, примусь я за нее снова и не обману тех надежд, которые ты, друг, возлагал на меня, помнишь ли? давно, давно... Обо мне опять заговорят...

Что ты не пришлешь о себе никакой вести? Не сердит ли ты на меня? Подвигается ли твоя картина? Окончишь ли ты ее к моему приезду? Последнее письмо твое и первое, полученное мною здесь, произвело на меня самое приятное впечатление. Спасибо тебе за славные рассказы о твоем чужеземном житье... Ты требуешь от меня подробностей о моей жизни?.. Журнал мой, который я веду довольно беспорядочно и отсылаю к тебе аккуратно, нельзя, я думаю, упрекнуть в недостатке подробностей, а скорее в излишней словоохотливости... Что делать? Мне хочется передать тебе все; ты вызвался слушать, так слушай же, добровольный мученик мой!

...Она отличает меня от других; но меня беспокоит Анастасьев. Он приезжает сюда всякий день... Не называй беспокойство мое ревностью. Могу ли и смею ли я ревновать ее? К тому же этот Анастасьев, по-видимому, холоден, как лед; он сидит возле нее, он говорит с ней, но так нехотя, будто для того, что надобно же говорить с кем-нибудь и о чем-нибудь. Равнодушие его ко всем, ко всему изумительно, как будто для него нет в жизни ничего нового, как будто он все видел, все испытал,— и все надоело ему. Однажды зашла речь о чьих-то стихах, он улыбнулся и, протягиваясь на диване, сказал точно сквозь сон: «Неужели находятся люди в наше время, которые читают стихи?.. Стихи — это пустые погремушки; стоит переложить хоть Байрона в прозу, чтобы убедиться в этом». В другой раз князь спросил его, знает ли он остроумное замечание Леписье о Корреджио?

Он покачал головой.

— Превосходное замечание,— продолжал князь: — *«Корреджио,—* говорит Леписье,— *не хотел подражать никому, а Корреджио никто не мог подражать».*

— Может быть, это остроумно,— отвечал Анастасьев,— только не знаю, справедливо ли? Я никогда не брал на себя труда изучать ни Рафаэлей, ни Корреджей; это очень скучно, да к тому же и отнимает много времени.

Князь немножко нахмурился, а Рябинин наклонился к моему уху и шепнул:

— Иностранные-то журналисты, видно, не лучше наших. Этого господина нарекли они просвещенным любителем художеств. Видишь ли, как важны деньги? С деньгами дадут тебе какой хочешь титул.

Нет, Анастасьев не может нравиться княжне,— ей, полной жизни, для которой нужна и радость, и грусть, и нега. У нее нет с ним ничего общего, но вопрос, для

чего же он беспокоит себя, делая ежедневно сорок верст сюда и назад — не разрешился для меня.

Впрочем, у меня начинает рождаться подозрение, что он в иных случаях бывает не так хладнокровен, как всегда, и посещает дом князя так часто не без цели. Дней десять тому, часу в девятом вечера, возвращаясь из сада, где мы ходили с Рябининым, я вошел в ту комнату, в которой первый раз увидел ее. Она сидела за роялем, как и тогда; одна рука ее лежала неподвижно на клавишах, голова ее была обращена к нему, а он, развалясь, по своему обыкновению, в креслах, что-то изволил рассказывать ей. Увидев меня, он приставил к глазу свой лорнет и посмотрел на меня довольно выразительно. Ему было явно досадно, что я вошел в комнату. Княжна заговорила со мной, и он еще раз приставил к глазу лорнет, обернувшись ко мне. В первый раз он удостоил меня своим вниманием, и то неблагосклонным.

Третьего дня после обеда я рассматривал с княжной виды Швейцарии; она поясняла мне гравюры, указывала на те места, которые более всех ей нравились; она чрезвычайно поэтически перенеслась в прошедшее... Я, упоенный, внимал ей. И ты можешь представить себе, как мне было неприятно в такую минуту услышать голос Анастасьева, который подошел к княжне.

— Вы занимаетесь воспоминаниями?

— Да,— отвечала она холодно.

— Швейцария была бы страной довольно сносною, если бы не отзывалась первобытною невинностью, которая так нелепо отражается в пастушеских костюмах ее обитателей.

Княжна молчала.

— Я сегодня чувствую большое расположение к верховой езде,— продолжал он,— и вы не чувствуете ли того же, княжна?

— В самом деле, я поеду,— отвечала она.

— Что ж, прекрасно! мы составим кавалькаду... Где ваша мисс Дженни? надобно ее выписать... А вы поедете? — спросил он, обращаясь ко мне.

— Я не езжу верхом,— отвечал я...

Через четверть часа три оседланные лошади стояли у подъезда: около них хлопотали княжеские жокеи и конюхи; между ними прохаживался и дворецкий князя в белом накрахмаленном галстухе, в качестве величайшего охотника до лошадей.

Княжна скоро вышла в своем синем амазонском платье;

манишка на груди ее была застегнута тремя бирюзовыми запонками, она держала в руке небольшой хлыстик с бирюзовой головкой; синий вуаль ее, откинутый назад, развевался, когда она шла... Ты простил бы мне мою безумную любовь к ней, увидев ее в эту минуту!

Она подошла ко мне и спросила, отчего я не хочу ехать? и ожидала ответа моего, приложив свой хлыстик к губам.

О, чего бы не отдал я, чтобы уметь только ездить верхом, только бы сидеть на лошади, не боясь свалиться с нее!

Я отвечал ей, что не умею ездить верхом.

— Вы шутите? — сказала она, удивленная.

— Я нисколько не шучу, княжна.

— Право? это жаль! вы не имеете понятия об одном из величайших удовольствий в жизни.

И она обратилась к Анастасьеву:

— Я готова.

— Так скоро? А я думал, что вы уже раздумали ехать. Поедемте, и я готов.— Он взял свою шляпу.

Тут только я в первый раз вполне понял, какая разница между мною и истинно-светским человеком и какая пропасть разделяет меня от нее. Я показался гадок и жалок самому себе; я стоял уничтоженный, подавленный мыслию, что она только из одного приличия не смеется явно надо мною; что наверно Анастасьев бросит ей какую-нибудь остроумную фразу на мой счет — и она улыбнется этой фразе... И холодный пот выступал у меня на лице при такой мысли.

Вслед за князем, за старушкой с усиками и Рябининым потащился я любоваться на княжну и на него. Мы, зрители, остановились у подъезда. Княжна садилась на свою лошадь, и он поддерживал ее, он поправлял ее стремя и, кажется, коснулся ноги ее. Около мисс Дженни он совсем не так ухаживал. Потом подвели и ему лошадь, которая была гораздо бойчее дамских лошадей. Она давно копытом рыла песок и ржала нетерпеливо. Дворецкий гладил ее шею с самодовольным лицом и сказал Анастасьеву таинственно, когда тот поставил ногу в стремя: «Лошадка славная, сударь, дорогая; только сердита, не приведи бог, как сердита и боится щекотки. Извольте поостеречься».

Не слушая этих предостережений, он с ловкостью и смелостью вскочил на лошадь, но та, почувствовав на себе незнакомого всадника, стала на дыбы, замотала го-

ловой, отряхивая гриву и намереваясь сбросить с себя дерзкого. Испуганный князь закричал что-то своим конюхам; старушка затряслась от страха; княжна побледнела и поворотила свою лошадь в сторону; англичанка завизжала, и жокей схватил ее лошадь за узду; дворецкий кричал в отчаянии: «Говорил вам, сударь, что эта лошадь боится щекотки!»

Я посмотрел на Анастасьева. Лицо его не выражало не только страха, даже ни малейшего беспокойства,— точно будто он лежал на диване. Конюхи хотели подбежать к нему, но он сделал знак головой, чтобы они остались на месте. Будто прикованный, не шевелясь в седле, сдавил он бешеную лошадь своими ногами и каким-то способом, не умею сказать тебе, осадил ее, а она попятилась назад и, вероятно, почувствовав уважение к своему всаднику, остановилась как вкопанная. Тогда он тихо проехал кругом зеленой площадки. Я убедился, что слухи о его силе имеют основание. Княжна с заметным удовольствием посмотрела на него; князь прошептал: «Славный ездок»; старушка с усиками пошевелила губами; дворецкий поднял голову вверх от удивления и поправил свой накрахмаленный галстух.

Княжна кланялась Ване, который прибежал к концу общей тревоги, и погрозила ему хлыстиком. Кавалькада двинулась. Старушка с усиками заговорила:

— Не знаю, князь, как это вы позволяете своей дочери ездить верхом; мне это удивительно. Ну, долго ли до беды? пример был сейчас перед вами. Да и женское ли это дело? позвольте спросить вас. Отчего я не имела этой глупой охоты, да и никто из моих сверстниц — ни дочь князя Ивана Григорьевича, ни графиня Анна Александровна, никто!

С этим словом она с важностью подала князю свою руку, и он повел ее наверх. Анастасьев ехал рядом с княжной, немного наклонясь к ней, как человек говорящий.

— О чем задумался? — сказал мне Рябинин.— Посмотри на сего молодого человека.— Он взял Ваню на руки и поднес его ко мне.— Видишь ли, какой умница: он ни о чем не думает. Поцелуй меня... ну...

— Как вы страшно протягиваете губы! — закричал Ваня, вырываясь из его рук,— меня княжна целует; вас я не хочу целовать.

Рябинин опустил его на землю и обратился ко мне:

— Он счастливее, братец, нас с тобою. Его целуют княжны, а нас с тобой княжны не поцелуют.

XIII

27 августа.

Анастасьев ездит сюда часто, как и прежде, и все так же зевает, лежит, произносит слова нехотя, приставляет к глазу лорнет; княжна, по всем моим замечаниям, решительно равнодушна к нему; обращение же ее со мною становится дружеским: она сказала мне, что ответы мои на ее литературные письма ко мне будет всегда хранить у себя... Правда ли это? для чего она говорит это? к чему мучительно раздражает во мне непреодолимое чувство любви, которая начинает страшить меня, когда я решаюсь заглядывать в себя?..

...Дурную весть я сообщу тебе: третьего дня князь поразил меня и Рябинина, и, признаюсь, удар этот обоим нам был очень чувствителен, потому что совершенно неожидан. Он прислал просить нас к себе утром ранее обыкновенного и объявил нам, что, по непредвиденным домашним обстоятельствам, он должен отложить свою поездку в чужие края до следующей весны. «Не пугайтесь этого,— сказал он в заключение,— прошу вас, не пугайтесь. Наши планы остаются неизменными; мы должны их привести в исполнение, и приведем. Осень и зиму, нечего делать, мы вместе поскучаем в Москве; однако я постараюсь употребить все средства, чтобы вам это время показалось как можно короче; а там, господа, на вашу родину... Италия ваша родина, не правда ли? потому что она колыбель искусств».

Вышед от князя, мы посмотрели друг на друга очень плачевно.

— Что? как ты думаешь об этом? — спросил я Рябинина.

— А ты?

— Я, право, не знаю, что и думать.

— И я тоже. Недоумеваю, что это заставляет его откладывать поездку. Домашние непредвиденные обстоятельства? *Непредвиденные обстоятельства* случаются только с русскими журналистами, а я не знал, чтобы таковые оказии случались и с русскими князьями.

— Ты, верно, не останешься здесь до весны?.. Тебе Москва не нравится.

Я спрашивал это с маленькою боязнию получить ответ утвердительный. Оставаться одному в доме князя мне казалось неловко; расстаться же с этим домом у меня

недостало бы сил. И как я обрадовался, когда Рябинин произнес:

— Правда, что Москву я не люблю, но необходимость и собственная моя... то есть общая наша выгода предписывает остаться нам здесь. Мы должны играть роль весталок, а именно, сторожить в князе тот пламень, который зажгли в нем к превосходному литературному и художественному предприятию, к изданию путевых записок. От этих записок предвидятся нам большие выгоды. К тому же, я говорю тебе все откровенно, нынешний год в Петербурге для меня был бы неурожайный. Я перед отъездом сюда поссорился с книгопродавцами. Ты не имеешь понятия об них: это торгаши. Я начал было вразумлять их, что книги не товар, а авторы не поставщики, что особенно поэты — конечно, не все — люди, призванные на землю для свершения высшей воли, что они окружены ореолом вдохновения, а поэтому торговаться с ними нельзя. Они слушали меня, разинув рты, ничего не поняли, и опять понесли свое: «Помилуйте-с, да как же не торговаться-с; господа-писатели-с очень-с запрашивают, а у нас также свой расчет-с» и прочее. Я плюнул и не захотел иметь с ними дела до времени, пусть узнают, что я могу жить и без них, а впоследствии я возвышу еще на себя цену, и они, видя, что нечего делать, дадут мне то, что я захочу.

— Эге! да я не подозревал, чтобы ты доходил до таких тонкостей.

— Так надобно,— и тебе тоже советовал и советую не пренебрегать тонкостями. Впрочем, вам, художникам, наживать деньгу легче, да и художники народ-то славный, не то, что наша братья литераторы — мелочь-то вся. С ними я решился не вести компании, потому что завистники и сплетники эти за добро платят злом и, пожалуй, оклевещут тебя самым бессовестным образом. Иные из них обнимают тебя, целуют, уверяют в любви и дружбе, а отвернись только от них — они ту же секунду начинают тебя чернить и поносить, и даже предпринимать против тебя различные злоухищрения... И в голове-то у них ничего нет: начнешь читать им не стишки, а вещь солидную, например поэму или другое что — дремлют. Художники не таковы... А! кстати, я еще не читал тебе отрывка из новой моей поэмы. Пойдем-ка домой.

От двенадцати до половины пятого слушал я Рябинина, не промолвив слова. И это только отрывок! Местами много поэтического, но все вместе утомительно. Не знаю,

я ли переменился или его сочинения, только они на меня не производят такого действия, как во время оно; увы! не приводят меня в такой неописанный восторг!

Вечером я сидел в саду, на любимой скамейке княжны, стоящей на холме, откуда видно озеро. Листья начинают желтеть и опадать; заносимые ветром, они колеблются на поверхности озера; свинцовые волны его лениво движутся; рыболовы, ныряя, с криком летают над самою водою. Небо застилается серыми облаками; трава потеряла свою изумрудную яркость... Грустно на сердце!

Долго, долго мы еще не увидимся с тобой, а может быть, и совсем не увидимся.

XIV

3 сентября.

Перед отъездом в город князь дает всякую осень бал в своей подмосковной, и, говорят, несмотря на такое невыгодное время, когда большая часть Москвы в разъезде, на этих балах всегда бывает очень много. В этом я убедился вчера, потому что вчера был этот прощальный бал с деревнею,— деревенский бал, bal champêtre, как называет его князь. Хлопотливый дворецкий за полторы недели объявил мне об этом высокоторжественном дне, и, признаюсь, сам не знаю отчего, я ждал этого дня с большим нетерпением.

Наконец он наступил. Я проснулся ранее обыкновенного и вышел на крыльцо. Утро было холодное, но светлое; солнце еще не успело обогреть землю, и в тени на траве белел иней. В доме и около дома заметно было необыкновенное движение: в кухнях неумолкаемо и мерно стучали ножи; повара и поваренки мелькали взад и вперед по аллее в белых куртках; лакеи перебегали из одного отделения дома в другое... Дворецкий прохаживался с большою торжественностью и подзывал к себе лакеев, отдавая им приказания с нахмуренным челом, и чаще обыкновенного поправлял свой белый накрахмаленный галстух. Увидев меня, он подошел ко мне и, приподняв свою фуражку, сказал:

— Доброе утро, Александр Игнатьич! Хлопот сегодня, хлопот, боже ты мой, полны руки! Благодаря бога, погода благоприятствует нам, и я вам скажу, это всегда так: князь изволит назначить бал еще за две недели, говорит «в такой-то день», и в этот день всегда благорастворенная и прекрасная погода.

— Это уже особенное счастье,— заметил я.

— Точно особенное счастье. Могло случиться, что и дурная была бы погода: у бога все возможно.

— Разумеется; а скажите, любезный Демид Петрович, не знаете ли, отчего князь отложил поездку в чужие края?

Дворецкий потер лоб.

— Сам я удивляюсь: причины особенной нет; если бы, например, что-нибудь, я знал бы: князь, я вам скажу, от меня ничего не скрывает; но на этот раз, лгать нечего, такого греха я не беру на душу, не знаю. Эй, Владимир! — закричал он бежавшему лакею,— расставьте канделабры в столовой — сейчас же. Я иду вслед за тобою... До свидания, Александр Игнатьич! де́ла, де́ла, я вам скажу, не оберешься сегодня! Дорога каждая минута...

В общих утренних приготовлениях одна княжна не принимала никакого участия. Она сказала мне, что ей совсем не нравятся московские балы с тех пор, как она провела одну зиму в Петербурге, а другую в Вене...

В девять часов дом и сад князя горели огнями, и, верно, далеко в окружности виднелось зарево, пылавшее в этот вечер над селом Богородским...

Долго толкался я в танцевальной зале; мне хотелось ангажировать княжну, но я не решался, боясь обратить на себя общее внимание; я думал, что живописец, танцующий на аристократическом бале,— это что-то смешное и нелепое, бросающееся в глаза. Рябинин ходил вслед за мною и все твердил мне, «что ему душно, что он ненавидит этикет, что все эти движущиеся куклы, мужские и женские, ему противны»; однако на княжну он поглядывал с особенным чувством. «Хороша, соблазнительна, пышна, на нее и я загляделся,— говорил он,— и как эстетично одета! Она царица бала». Рябинин, восхищающийся княжною и передающий мне свое восхищение, с указательным перстом перед длинным носом, в широких белых лайковых перчатках, был очень забавен среди этой чопорной бальной толпы; но еще забавнее его показалась мне старушка с усиками: она, разукрашенная и подрумяненная, сидела с огромным веером, на котором изображены были Венера и Адонис, и с важностью обвевала им свое личико; в ее тусклых глазах, будто покрытых слюдою, выражалось неудовольствие,— бал явно не удостоился чести ей нравиться, и я только того и ждал, что она без церемонии, при всех, начнет свое ворчание.

— Анастасьев танцует с одной княжной и ни с кем более,— сказал мне Рябинин.— У него вкус недурен.

Я вздрогнул и сейчас же опомнился.

— А где же Анастасьев? — спросил я,— его я и не заметил.

— Вон направо-то: он сидит возле нее и наклонился к плечу ее. А какие у нее плечи! это белизна млечная, роскошь!

Я оставил Рябинина, продрался сквозь толпу и стал сзади нее.

Княжна беспрестанно улыбалась, нюхая свой букет: видно, Анастасьев нашептывал ей что-нибудь смешное; голова его в самом деле была наклонена к самому плечу ее, и она не думала отодвинуться от него. У меня пробежал мороз по коже, мне было досадно на нее, я готов был нагрубить ему. Вдруг вижу я, что он преспокойно протягивает руку к ее букету, вырывает из него один цветок и с своим отвратительным хладнокровием продевает его в петлицу своего фрака. Я думал, что княжна рассердится на него за эту дерзость, что же? — нисколько: она после этого была так же спокойна, так же приветливо смотрела на него.

Я уже не мог долее оставаться в зале; куда шел и зачем — не знал, только очутился в саду. Шкалики ярко горели в прямых аллеях, освещая расставленные там симметрически мраморные рожи; горничные бегали и пищали по этим аллеям, да в разных местах стояли крестьянки, смотря вверх на освещенные окна. Мне хотелось быть одному, и я пошел к озеру. Озеро окружено было гирляндою разноцветных фонарей, отражавшихся в спокойных водах его, а за озером господствовала страшная тьма: там уж не заблагорассудили поставить ни одного шкалика. Я отправился было туда, но чуть не стукнулся лбом о дерево и возвратился, усевшись на скамейке в трех шагах от пристани, возле которой стоял ялик. Звуки бальной музыки слышались здесь едва внятно, и мне стало лучше.

«Чем объяснить дерзкое поведение Анастасьева с княжною? — думал я.— Какое он имеет право так самовольствовать, вырывать из рук ее цветы? Неужели все светские люди такие грубияны и так невежливо обращаются с девушками?.. Неужели все девушки большого света позволяют им это?»

— Насилу нашел тебя! — раздался возле меня голос Рябинина.— Где это ты пропадаешь? Я скажу тебе новость:

от нечего делать поймал я какого-то барина, сел с ним играть в экарте и выиграл пятьсот рублей: вот и деньги... Да что с тобой? неужто все время ты просидел в саду, и в такой холод? а там уж и мазурку кончают...

— Поздравляю тебя с выигрышем; да с какими же деньгами играл ты? Ведь у тебя не было денег.

— Не было ни гроша, да зато было предчувствие выиграть, а с таким предчувствием можно всегда играть смело без денег. Полно,— продолжал он, ударяя меня по плечу,— поразвеселись. Не хорошо быть пасмурным. Дай мне твою руку, и пойдем ускоренным шагом; авось пляски скоро кончатся, и нам дадут ужинать.

— Я ужинать не буду: у меня болит голова.

— С тобой каши не сваришь. Прощай; иди куда знаешь, а я прозяб и отправляюсь в буфет предохранить себя от сырости.

Я пришел к себе в комнату, бросился на кресла и в каком-то бесчувственном состоянии просидел там, кажется, около часа, потом вскочил с кресел, как испуганный, и, сам не зная зачем, потащился опять в бальную залу, где танцевали. Ужин кончился. Половина гостей разъехалась, многие уезжали, иные сбирались ехать; а в зале была чрезвычайная суматоха. Я искал ее и не находил. Вдруг услышал голос ее, произнесший мое имя... Она стояла в трех шагах от меня, в глубокой амбразуре окна, прислонясь к стене, утомленная, жарко дышащая, с пылающими щеками, с совершенно повисшими локонами, с поблекшим букетом в руке.

— Где вы были? — спросила она меня.

— Я был в своей комнате, княжна.

— Что это значит?

— То, что мне здесь нечего было делать.

— А я вас везде искала, я хотела сама ангажировать вас...

— Я вам благодарен за внимание, но вы и без того слишком устали от танцев.

— Да, это правда, я много танцевала.

— Так вам было весело?

— Очень весело.

Она выронила букет из руки. Я его поднял и отдал ей.

— В этом букете недостает одного цветка, княжна.

— Какого цветка?

— Я видел этот цветок в петле чьего-то фрака...

— А! у меня отнял его Анастасьев: теперь я вспомнила. Так что же?

— Вы уже забыли об этом?

Княжна засмеялась.

— Разве это такое важное событие, чтобы о нем помнить целую вечность?

Я понял всю глупость моего вопроса и смутился.

В этот раз княжна не уронила, а бросила букет на пол и еще оттолкнула его от себя ногой.

Я опять поднял его и положил в свой боковой карман.

Она посмотрела на меня с величайшим изумлением.

— Для чего вам эти завянувшие цветы?

— Я буду беречь их, как воспоминание об вас.

— Воспоминание? — Она изменилась в лице.— Что это? вы оставляете нас?

— Я должен был бы оставить ваш дом, но я не могу,— у меня недостанет столько твердости.

— Посмотрите, светает,— сказала она, прерывая меня,— как хорош нерешительный свет зачинающегося дня и как неприятно смотреть теперь на эти догорающие свечи, на жалкие остатки бального блеска!.. Ах, вот мисс Дженни! она, верно, ищет меня. До завтра...

Я поклонился ей, долго смотрел на нее удаляющуюся и думал: «Если б она знала, как я люблю ее!»

— Суета сует и всяческая суета! — произнес Рябинин, ухватив меня за руку...— Я подкрепил себя ужином, ты это видишь, ну, а теперь пойдем спать; остальное же все — суета сует!

XV

8 октября.

Вот месяц, как не принимался я за перо, да и писать не о чем. Три недели, как мы живем в Москве,— говорю *мы*, потому что я с Рябининым принадлежу также к семейной свите князя. Князь в последнее время сделался к нам еще внимательнее: он так привык к нашим фигурам, что без нас, я уверен, ему было бы скучно; расположение его к нам совершенно искреннее, но оно тяготит меня, мне совестно жить на чужой счет, бог знает для чего; есть чужой хлеб даром. Я списал, по просьбе князя, небольшой акварельный портрет с княжны и ужасно недоволен им, а князь от него в полном восторге. Он показывает его всем знакомым своим — и они, по крайней мере при мне, также приходят в восхищение от моей работы, от моего вкуса и от поразительного сходства это-

го портрета с оригиналом. В самом деле, сходство есть, но я вовсе не уловил поэзии ее выражения; правда, это и нелегко. Как передать, например, ее глаза, то глубокие и томные, то светящиеся детскою, простодушною радостию? Разумеется, где же этим господам входить в такие тонкости! Отделка хороша, черты лица схвачены — и портрет чудесный. Рябинин тотчас, однако, заметил мне, когда я принес к нему оконченный портрет: «Превосходно! мастерский штрих! но нет *этого*». Именно, нет «этого»! Он прав.

Портрет не мог быть удачным, потому что, когда я писал его, у меня все вертелся в голове Анастасьев. Кстати о нем: по Москве ходят темные слухи, что *он* жених ее, что покуда это хранится в тайне и что будто бы такие-то обстоятельства заставили князя отложить поездку в чужие края. Я готов был бы, пожалуй, поверить этим сплетням праздношатающихся светских особ обоего пола, но княжна не выйдет же замуж не любя — она, созданная для любви пылкой и бесконечной? К Анастасьеву она просто ничего не чувствует: это увидел я из ее отзывов о нем. Он, если ему угодно, может иметь на нее виды, да ведь ему не удивить и не соблазнить ее своим богатством? Нет, слухам этим верить смешно и глупо! Зачем же *он* не выходит у меня из головы? Зачем же всякий раз, когда заговорят о княжне и о нем, у меня сжимается сердце? Другой, на моем месте, назвал бы это предчувствием... Скажи мне, друг, не правда ли, верить предчувствиям нелепо? Только люди с раздраженными нервами да женщины верят предчувствиям...

С ней я вижусь теперь не так часто; деревенская жизнь не воротится. Мое счастие и спокойствие, кажется, исчезли также невозвратно. Здесь она должна беспрестанно выезжать то в театр, то к своим кузинам и тетушкам, показывать им *свою рассеянную лень*. Она редко дома. Уже перед нею открывается длинный ряд балов и различных празднеств... И он будет везде перед нею: каждый час, каждую минуту. Не отходя от глаз ее, он может ее приучить к себе, даже сделаться ее необходимостью, как сделались мы для князя.

И в те минуты, когда он глядит на нее, говорит с ней, наклоняется к ее плечу, как, помнишь, на бале, в те минуты я один лежу на своем диване в мучительном состоянии; тоска медленно, расчетливо впускает в меня свое жало и незаметно высасывает кровь мою. Мне ни за что не хочется приняться, все лежал бы на диване

и не глядел бы на свет божий. Только по утрам я учу Ваню рисованию, по ее просьбе. У этого мальчика славные способности. Но я не желаю, чтобы он сделался художником в каком-нибудь роде, да не только художником, хоть сколько-нибудь глубоким человеком. Что за охота страдать и терзаться напрасно страданьями и терзаньями, которые неизвестны другим счастливчикам, людям умным и практическим?.. Две светлые, отрадные минуты, в которые готов обнять целый мир,— и потом непрерывные годы тьмы, мучений, и жалоб, и проклятий...

Я начинаю опять ссориться с жизнью. Тяжела жизнь!..

Я завидую Рябинину, никогда не унывающему,— или он умеет скрывать свою внутреннюю боль, так что не морщится от нее? Дома его и не ищи: он или проповедует князю о святыне искусства, или играет в карты в Английском клубе и пьет портер, потому что с недавнего времени портер предпочитает другим напиткам. Всякий день также он уверяет меня, что скоро засядет дома и примется за основательное изучение древностей, и в особенности древнегреческого языка...

Вчера княжна ехала куда-то на вечер и перед отъездом прислала за мной Ваню. Ей хотелось, чтобы я посмотрел на нее в полном блеске. Стало быть, она помнит же обо мне, думает обо мне?

XVI

20 октября.

Она помолвлена. Все поздравляют ее и князя... И мне надобно идти поздравлять их? И я пришел поздравить его. Он спросил меня, не болен ли я? «Нет, я чувствую себя очень хорошо»,— отвечал я. Потом он стал говорить мне, что я, верно, вполне извиню его теперь, зная настоящую причину, заставившую отложить его поездку в чужие края; что его будущий зять хотя по наружности кажется человеком холодным, но, несмотря на это, любит искусства и тратит большие деньги в Париже, помогая тамошним художникам и поощряя их деятельность. Мне это необыкновенно приятно; к тому же, очень полезно знать... Я поздравлял и ее, она молча поблагодарила меня с тою приветливостью и грацией, которою удостоивают светские девушки людей простого сословия...

Как же она, созданная для любви пылкой и бесконечной, решилась выйти замуж за человека, которого не любила? Верно, она пожертвовала собой?.. Да зачем ей

приносить такие жертвы? У нее была свободная воля, отец — ее покорный слуга: она могла сделать свободный выбор. Она и сделала свободный выбор. Анастасьев предложил ей себя, и она подала ему свою руку, без всякого размышления, оттого, что пренебречь таким женихом было бы безрассудно, одержать же победу над миллионами славно! Теперь не только московские грации, но и петербургские, и все даже европейские грации большого света безгрешно могут позавидовать ее участи... Одна только бабушка с усиками, говорят, ворчит и сердится на свою внучку за то, что она не будет ни графиней, ни княгиней: да кто же станет смотреть на эту брюзгливую развалину? Она отстала от всего на тысячелетие, она не знает, что в наше время аристократия в деньгах, а не в титлах. Люди нашего времени сделались поумнее того блаженного времени, в которое она расцвела; нам нужна звонкая монета, а не пустозвонные величанья. Деньги и деньги! Рябинин понял жизнь.

Но что же ей, этой княжне, этой глубокой девушке, до общего мнения, до денег, до богатства? Она говорила, что ей нужно море, сливающееся с горизонтом, восхождение солнца; она говорила, что ей вечером на озере с бедным живописцем лучше, нежели в бальной зале: что у нее есть и восторг, и слезы, и молитвы! А бедный, бессмысленный живописец слушал благоговейно ее сладкие речи и малодушно верил этим речам; поставил ее на драгоценный пьедестал и молился ей, и любовь к ней сделалась для него жизнию, необходимостью, высшим счастьем! Вольно же ему было дурачиться, ее благосклонное внимание счесть за любовь, ее рассуждения о литературе, писанные от нечего делать, за средство выказать свою душу, обнаружить стыдливое чувство любви! вольно же ему было жить в несбыточной мечте, окружить себя призраками, таять и блаженствовать от собственных фантазий!..

Ведь не замуж же в самом деле идти за него княжне!..

Да, я, презирая имя мечтателя, мечтал, как сахарный пастушок; я грезил, как помешанный; я окружал себя обманом и ложью до последней минуты; называл догадливость милых и рассудительных людей сплетнями; не внимал благоразумным советам; шел ощупью, закрыв глаза, не зная куда и зачем, и вот — остановился в раздумье на самом краю бездны... Возврата нет. Ну, теперь, без ребяческого трепета, без бабьего ропота кинься в эту бездну!..

А искусство, ты спросишь? а жизнь для искусства?.. Надо сбросить с себя все обманы, отогнать от себя все *призраки,* разоблачить себя донага, по крайней мере хоть в последние минуты явиться действительным человеком, без всяких пошлых претензий... Друг! если бы я любил искусство, если бы во мне было истинное призвание, я не променял бы его, это святое искусство, на женщину или, забывшись, тотчас бы опомнился и, выйдя с торжеством из заблуждения, обновленный, принялся бы творить, а для меня, ты видишь, искусство — дело второстепенное. Теперь ясно мне, что она была для меня выше искусства, иначе я не был бы убит... Да, я убит! Я не хочу жить, и мне не для чего жить. Если бы я так любил искусство, как ее, я был бы великим творцом.

«Что умирать? я мнил: быть может, жизнь
Мне принесет незапные дары;
Быть может, посетит меня восторг
И творческая ночь и вдохновенье...»

Нет, полно!.. Ни творческих ночей, ни вдохновенья у меня не могло быть... Я становился на ходули, чтобы казаться чем-нибудь; две картины мои удались и понравились — довольно... Бросай кисти и палитру. Мне ничего не нужно, ничего!..

22 октября.

Остается десять дней до ее свадьбы. Я сказался больным и никуда не выхожу... Рябинин приходит ко мне и говорит много, кажется, все в утешение мне; я ничего не могу слушать. Пусть будет она счастлива. О, я желаю ей счастья от всего моего сердца!.. Обними меня и прости меня. Мы уж с тобой не увидимся!

XVII

Однажды утром, в те часы, когда в доме князя обыкновенно все покоится сном сладчайшим, горничная княжны, бледная как смерть, вошла на цыпочках в ее спальню, едва прикасаясь ногами к ковру. Там, в этой спальне, еще не рассветало: темно-зеленые шелковые шторы были опущены. Княжна, разумеется, почивала. С осторожностью подошла горничная к ее постели, отдернула шелковую занавеску и тихонько, не вдруг разбудила ее, чтобы не испугать...

Княжна полураскрыла глаза и, не отнимая головы от подушки, в полусне невнятно спросила у нее:

— Что тебе надобно? который час?

— Еще очень рано, сударыня,— отвечала горничная,— но я беспокою вас, потому что у нас в доме случилось несчастие...

— Какое несчастие?

Княжна отняла от подушки свою голову...

— Сегодня ночью г. Средневский, живописец...

Княжна совсем открыла глаза...

— Что такое? что с ним?

— Он застрелился, сударыня.

Княжна, дрожа всем телом, вскочила с постели, схватила горничную за руку и посмотрела ей пристально в лицо.

— Ты с ума сошла? застрелился? Кто тебе сказал это?

— Мне, ваше сиятельство, сказал человек Григорий, который ходил за ним,— отвечала горничная, немного смешавшись.— Еще об этом не знают, сударыня. Еще все спят в доме, кроме этого человека.

— Точно ли ты уверена, Маша? Поди, беги скорей, скажи, чтобы он не делал покуда никакой тревоги в доме...

Горничная произнесла «слушаю», повернулась и хотела бежать, но княжна остановила ее.

— Маша, могу ли я так пройти в его комнаты, чтобы никто не мог меня видеть, никто не знал, что я была там? Слышишь ли, никто?..

— Я сию секунду узнаю об этом, княжна.

— Беги же, беги, Маша, скорей, ради бога, скорей!..

Когда горничная выбежала, княжна оперлась рукою о стол; глаза ее остановились; казалось, она замерла, холодная, как мрамор.

Минут через десять горничная вернулась...

— Ваше сиятельство, все готово: я взяла ключ от горниц живописца и крепко-накрепко заказала Григорью молчать об этом несчастии (она вздохнула); только вам надобно идти, сударыня, по черной лестнице и пройти темным коридором внизу...

Княжна ожила.

— Все равно; пожалуй, я надену твое платье, чтобы меня не узнали...

— Нет-с, этого не нужно, помилуйте-с; вас никто не увидит, я провожу вас.

— Ты проводи меня только до дверей его комнат и

подожди в коридоре... Да слышишь ли, Маша, чтоб об этом никто не знал!..

— Ах, помилуйте, сударыня! да за кого же вы меня принимаете?..

Княжна кой-как надела свой пеньюар, кой-как пригладила свои волосы, накинула на голову старую шаль и сказала горничной: «Я готова, я иду за тобою...» Голос и губы ее дрожали.

По узкой лестнице спустились они вниз, прошли длинный и темный коридор... В конце его горничная остановилась у двери...

— Ключ! — прошептала княжна.

Она едва могла вложить его в замочную скважину,— так руки ее дрожали; дверь отперлась; горничная осталась у двери...

Страшно было посмотреть на княжну в эту минуту. Едва дыша, полумертвая, с посинелыми губами, она прошла мастерскую и остановилась в его кабинете у бюро... Схватив связку ключей, лежавших на этом бюро, она отворила ящик,— в ящике ничего не было; она отворила другой — и в другом ничего; вдруг схватила она с жадностью связку почтовых листков, мелко исписанных, на которых лежал засохший букет цветов. И букет, и бумажки она спрятала к себе на грудь и повернулась, чтобы выйти... Он лежал перед нею на кушетке. Она застонала, схватила себя за грудь, но сила воли спасла ее, победила боль и изнеможение — и она, шатаясь, вышла в коридор.

Возвратясь в свою спальню, она сказала горничной едва слышно:

— Разведи огонь в камине, в той комнате... Мне холодно.

Огонь был разведен.

— Теперь ты не нужна мне; я позвоню...

— Как же мне выйти? вам дурно, сударыня.

— Нет, ничего, поди.

Княжна бросилась на пате, против камина, потом приподнялась, обвела головой вокруг, вынула письма и засохшие цветы и начала их рассматривать.

— Да, это мои письма...— прошептала она,— это мой букет... *Неужели так любят?*

Княжна привстала еще раз, посмотрела на эти письма и на этот букет и бросила их в огонь... Пламя в минуту охватило их; она вздрогнула, закричала, закрыла лицо руками и упала без чувств...

Около полудня началась тревога в доме князя. Князь был сильно поражен самоубийством живописца. Такое необычайное происшествие привело его в ужасное расстройство. В волнении, в беспокойстве ходил он по комнате, а старушка с усиками ворчала:

— Моя правда, князь! Разве я не твердила вам, что вы принимаете к себе бог знает каких людей и откуда? не по-моему вышло, что ли? Слыхано ли, нанести такое оскорбление благородному дому за хлеб-соль и ласку!.. Неблагодарный мальчишка! И я всегда видела в его лице что-то неестественное, дикое... Безбожник какой! застрелиться! Видишь ли что вздумал!.. Да хоть бы где-нибудь в поле, а то в княжеском доме, покорно прошу!

Рябинин, сидя в своей комнате с нахмуренным челом, поднимал глаза в потолок и твердил: «Странно!..»

Один Ваня, сын дворецкого, плакал горько и неутешно, узнав о смерти своего рисовального учителя...

Между тем полиция и доктора хлопотали внизу. Осмотрев труп и рану, доктора решили, что живописец лишил себя жизни в припадке *белой горячки* (delirium).

Через неделю после этой тревоги, часу в девятом вечера, несколько экипажей стояло близ ярко освещенного подъезда княжеского дома. Двери подъезда были отворены, в дверях стоял изукрашенный швейцар с огромною булавою. На тротуаре у ворот и около решетки толпились в каком-то ожидании различные женщины в шляпках и без шляпок и с платками на голове. Около них, при таком удобном случае, увивались господа с усиками и в венгерках... Карета, запряженная превосходными серыми рысаками, двинулась к подъезду... «Вот невеста поедет в этой карете»,— говорили женщины, стоявшие на тротуаре. «Ах, как бы ее увидать! Вот, я думаю, нарядная-то!» — «Позвольте, сударыня, я приподниму вас, когда она поедет, чтобы вы ее могли обозреть»,— сказал один франт в венгерке, расправляя свои усики и обратясь к той, которая была помиловиднее прочих. «Не просят вас беспокоиться...»

В это время по широкому ковру лестницы, уставленной деревьями, тянулась блестящая свадебная процессия... Впереди бежали шаферы в раззолоченных мундирах; за ними шел маленький паж, двоюродный брат княжны, с образом в руках... За ним она, прекрасная как всегда, вся в белом, вся в цветах померанца, с длинным блондо-

вым вуалем на голове, который живописно спускался назад; с блестящим шифром на левом плече... За нею шла бабушка с усиками, нарумяненная, с шевелящимися губами... А там вся эта великолепная и раздушенная толпа девиц и дам... Рябинин стоял в стороне на последних ступенях лестницы. Когда княжна проходила мимо его, он приподнял свои длинные руки, поклонился ей и сказал: «Княжна, сегодня вы ослепительны!» И княжна приветливо улыбнулась на это восторженное поэтическое приветствие.

Поезд двинулся...

В одно утро, несколько дней спустя после свадьбы дочери, князь разговаривал с Рябининым в своем кабинете.

— Надобно,— говорил князь,— чтобы рисунки, которые приложатся к нашим путевым запискам, были превосходны, а для этого требуется художник в полном смысле слова.

— Об этом не беспокойтесь, князь,— я друг со всеми лучшими нашими художниками; я сыщу вам человека. Он будет понадежнее этого Средневского.

— Но скажите,— спросил князь, подходя к Рябинину,— отчего же у него вдруг сделалась белая горячка?

— Позволите ли вы мне говорить с вами откровенно, просто, без чинов?

— Пожалуйста, я прошу вас.

— В нем эта горячка таилась давно... Он, сумасброд, вздумал влюбиться — шутка ли? в дочь вашу!

— В мою дочь? — Князь вытаращил глаза от удивления.

— Именно в нее!

Минуты через две, придя в себя, князь произнес:

— Если это и так, мне все-таки жаль его!

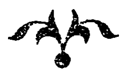
— Да, жаль; жаль как человека, но не жаль как художника. Если бы он был умен и слушался моих советов, правда, он пошел бы в гору, но до самой вершины, где облака, он никогда бы не дошел. Вначале я ободрял его сильно, давал ему ход, кричал о нем, как о великой надежде... У меня метода, князь, только что увижу искру таланта в человеке, я начну холить и лелеять этого человека и раздувать в нем эту божию искру. Не удалось мне возжечь в груди его пламя,— не моя вина. Я не люблю немцев, вы это знаете, а немец Гофман сказал верно, «что живое, внешнее побуждение многие принимают за истинное призвание к искусству». Наш живописец был из числа этих многих...



ОПЫТ О ХЛЫЩАХ



ВЕЛИКОСВЕТСКИЙ ХЛЫЩ



Глава I

Дагерротип с артистического семейства и о том, как приятно проводить время в таких семействах

Я знаю лет двадцать Грибановых. Отличнейшее семейство и притом с артистическими наклонностями. Музыка, скульптура, живопись, литература составляют жизнь этого семейства. Оно совсем погружено в изящное. Всякий артист, какой бы маленький талантик ни имел, в какой бы крошечной сфере ни действовал, хотя бы только искусно играл на балалайке, наверно будет принят в этом почтенном семействе с распростертыми объятиями. Литератор бежит туда читать свое новое произведение, еще не оконченное; художник показать свои эскизы, только что набросанные небрежно карандашом, и в которых ровно ничего разобрать нельзя,— и тот и другой уверены, что найдут глубочайшее сочувствие. Хозяин дома, с большим искусством вырезывающий из бумаги силуэты; его свояченица, заменившая в доме умершую хозяйку, превосходно лепящая цветы из воска; сын, пишущий стихи; дочь, занимающаяся живописью и музыкой,— все ахают и восхищаются, слушая новое произведение литератора и рассматривая новые эскизы художника, и потом повторяют своим знакомым в течение по крайней мере месяца, каждому по очереди: «Ах! какую повесть читал нам NN!..» «Ах! какие эскизы показывал нам Д. Д.!..» «Ах, сколько у них таланта!..» и проч. Доброта этих людей простирается до того, что они приходят

в восторг от всякого, даже плохого произведения, если только оно в первый раз прочитано или показано в их доме. Правда, о произведениях замечательных и талантливых, которые не были им читаны или показаны, отзываются они хладнокровно, но это вследствие искреннего убеждения, что ни одно замечательное произведение не может не быть предварительно им известно, что все художники, поэты, музыканты, скульпторы, литераторы, певцы и певицы, знакомые им,— люди, непременно обладающие высокими талантами, и что те, которые не имеют этой чести, едва ли могут иметь и дарование. Нежная привязанность друг к другу, соединяющая членов этого семейства, поистине замечательна. Отец обожает своих детей, дети обожают отца, тетка обожает племянника, племянник тетку... В этом доме все обожают друг друга. Если отец вырежет какой-нибудь новенький силуэтик, сын немедля приходит от него в восхищение и бежит к тетке.

— Посмотрите,— говорит он,— какую удивительную вещицу вырезал папенька, с каким вкусом, с каким изяществом, это просто художественно!

— Ах, какая прелесть! — восклицает восхищенная тетка.

Если сын напишет стихотворение и прочтет его отцу и тетке, отец, пожимая плечами от удивления, со слезой на реснице восклицает:

— У, как это хорошо! Какой стих! Какая мысль! Я никогда ничего не слыхал лучше этого!

И при этом голос отца задребезжит, умиленный, как порванная струна.

— Это маленький chef-d'oeuvre! — восклицает тетка, всплеснув руками.

Затем оба они, отец и тетка, закричат:

— Пелагея Петровна! Пелагея Петровна!

Приживалка, вроде ключницы, прибежит на этот крик, запыхавшись, но с приятной и подобострастной улыбкой, которая замерла на лице ее и которая не оставляет ее даже в самые горькие минуты ее жизни.

— Что прикажете-с?

— Послушайте-ка, матушка,— скажет отец, прищелкнув языком,— какие новые стихи написал Иван... лучше ничего не было написано на русском!

— Ах, какие стихи! — повторит тетка.— Пожалуйста, друг мой, не поленись, прочти еще раз.

И она нежно взглянет на племянника. Племянник

мгновенно повинуется и начнет читать; отец между тем качает в такт головой во время чтения и, смотря на Пелагею Петровну, говорит:

— Слушайте, слушайте! (хотя та и без того благоговейно слушает, даже разиня рот от излишнего внимания). Каков стих-то! Каков стих-то. Замечаете, а?

И ударит по плечу Пелагею Петровну, а сам так и зальется слезами, хоть бы стихи были комического содержания.

Вечером, когда явятся гости, сначала приживалка, разливая чай, шепнет непременно каждому на ушко: «Иван Алексеич написал новое бесподобное стихотворение!» Потом отец, не более как через четверть часа после приживалки, барабаня по столу, не утерпит и вдруг брякнет среди разговора вовсе некстати:

— Что, Иван ничего вам не показывал?

— Нет-с,— ответит гость.

— Заставьте его прочесть: он написал новое стихотворение... Это вещь капитальная, необыкновенно хороша! Из него вырабатывается что-то очень серьезное!

И открытое, добродушное лицо старика выразит столько счастья при мысли, что он произвел на свет такое гениальное дитя, что и гость, даже самый нечувствительный, невольно расчувствуется.

Тетка, в свою очередь, с свойственною ей любезностию и приятностию занимая гостей, не упустит ввернуть словцо:

— Я знаю, m-r такой-то, что вы любите поэзию или интересуетесь литературой (что-нибудь вроде этого). Ах! если бы вы знали, какое Иван Алексеич написал стихотворение! Мне, как родной, совестно хвалить, но вы сами услышите. Погодите, я его упрошу прочесть.

И она начнет искать глазами племянника. Но племянник вдруг как из-под полу выскочит перед теткой, сладко улыбнется гостям, посмотрит на них заискивающими глазами и скажет:

— Нет, тетушка, это, право, не стоит того, довольно слабая вещица, когда-нибудь после, не теперь.

Но тогда гости начинают приставать к нему:

— Пожалуйста, прочтите, сделайте одолжение, мы так много слышали...

— Ну прочти же, братец, прочти,— вскрикнет вдруг откуда-то появившийся отец.

Около поэта составится кружок, и он начнет декламировать, изредка прерываемый восклицаниями: «Пре-

восходно, прекрасно!» После декламации тетка отведет одного или двух гостей в сторону и произнесет шепотом: «Не правда ли, какой талант?» На что гостям ничего более не остается, как отвечать: «О, удивительный!»

Иногда сын потащит гостей в кабинет отца и скажет им:

— Позвольте-ка, господа, я вам покажу чудную вещицу. Папенька вырезал недавно целый пейзаж.

И, входя в кабинет, он начнет рыться в портфеле отца, приговаривая:

— Куда это старик зарыл его? Не любит, чтобы смотрели... Чудак!.. да мы отыщем... погодите... Вот, вот, вот!.. Взгляните, как хорошо задумано, рассмотрите эту фигуру, сколько в ней выражения, а это дерево? Ведь это дуб, настоящий дуб!.. Вглядитесь хорошенько... Какое искусство!

И гости рассматривают и удивляются. В такие минуты всегда нечаянно входит отец:

— Иван, Иван,— говорит он, грозя ему пальцем,— что это, полно, братец: ну стоит ли это смотреть... Это так я, шалю на старости, от нечего делать.

— Помилуйте,— восклицают гости,— какая это шалость! Это чистейшее искусство!

— Оно-таки точно недурно,— заметит старик, постепенно увлекаясь, и продолжает уже голосом, дрожащим от умиления,— вот обратите внимание особенно на эту коровку, что наклонилась к водопою... Поль-потеровская, коровка-то! Сколько жизни в этом движении, заметьте, заметьте... Ах, кабы не лета, глаза уж служить отказываются, не то бы я еще сделал!

И у старика закапают слезы...

В квартире Грибановых, за исключением будуара и гостиной, устройством которых занимается Лидия Ивановна (так зовут тетку), совершенно артистический беспорядок: на столах валяются старые рукописи, исписанные стихами, клочки бумаги с различными вырезками, краски, книги, рисунки, и все это покрыто постоянно слоем пыли; но зато будуар и гостиная, это, так сказать, небольшие храмы изящного: занавесочки, этажерочки, куколки, деланный и настоящий плющ, гравированные картинки, коврики, вышитые подушки с кисточками, цветные фонарики, пресс-папье, бронзовые ручки, ножи для разрезывания книг, печатки — все это размещено с замечательным искусством на весьма малом пространстве. В одном только углу будуара груда воску и краски;

этот угол Лидия Ивановна называет своим *ателье*. Лидии Ивановне лет под пятьдесят, но при вечернем освещении она кажется несравненно моложе своих лет, чему немало способствуют различные украшения ее туалета: пукольки, бантики, кружевца, цветочки, употребляемые в большом количестве. Она говорит обыкновенно голосом тихим, более походящим на шепот, и недосказанное или недослышанное договаривает глазами, на которые, кажется, значительно рассчитывает, потому что эти глаза, по замечанию старожилов, производили большое впечатление... В выражении лица и во всех ее движениях необыкновенная мягкость, которую только злые языки называют лицемерной сладостью.

Алексей Афанасьич (так зовут г. Грибанова) отличается простотою обращения, искренностью в речах и в манерах, совершенною бесцеремонностью, способностью от всего умиляться и постоянно слезящимися глазами. Он весь нараспашку для всех вхожих в его дом... Ему и в голову не приходит, чтобы человек дурной, насмешливый или подозрительный мог перешагнуть через порог его квартиры. Со всеми одинаково простодушен и приветлив,— он при всех, даже при посторонних дамах, является всегда по-домашнему: в затасканном сюртуке и в старых плисовых туфлях, с листом бумаги и с ножницами. Ему лет под шестьдесят; но он кажется старее своих лет, потому что не имеет ни малейшего поползновения бодриться и молодиться. В чертах его лица много приятности, которая невольно располагает к нему с первого взгляда. Он не вмешивается ни во что в доме, и если у него о чем-нибудь спрашивают, то обыкновенно отвечает: «Я не знаю, спросите у Лидии Ивановны». Он не распоряжается ничем, не располагает ни одною копейкою; все, что приобретает, он несет к Лидии Ивановне. Состояние их маленькое; но чтобы «прилично поддерживать себя», как выражается Лидия Ивановна, Алексей Афанасьич очень усердно трудится и служит, не имея ни малейшего расположения к службе и труду. Будь он один, он и не подумал бы о службе; зимой лежал бы себе целый день на боку да вырезывал бы свои силуэтики, а летом бродил бы по лесу за грибами. Свои служебные занятия он считает пустяками, а делом — вырезывание фигурок из бумаги, и хотя служебные занятия очень тяготят его, но он никогда на это не жалуется и никому не говорит, как это ему не по сердцу, для того чтобы не огорчать Лидию Ивановну. Разве иногда только,

когда уж придется невмочь, когда его завалят делами, он вздохнет и промолвится приятелю: «Ах, если бы побольше средств, бросил бы все это и посвятил бы себя исключительно одному искусству. Ведь у меня все наклонности артистические, ведь я рожден артистом!»

Для Алексея Афанасьича все знакомые равны; у Лидии Ивановны есть фавориты между знакомыми и между домашнею прислугой: она не может существовать без фаворитов.

Сыну Алексея Афанасьича, Ивану Алексеичу, двадцать четыре года, но ему кажется лет под тридцать. Он не заботится о своей внешности, потому что весь погружен в свой внутренний мир, весь проникнут своим призванием. И Лидия Ивановна, вовсе не пренебрегающая внешностью, не только прощает ему его небрежность, но находит, что в нем это иначе и быть не может, потому что все люди высших талантов, как известно, мало занимались своим туалетом... Она в этом случае совершенно справедливо рассуждает про племянника: «Он чудак, потому что все поэты немножко чудаки!» — и при этом с чувством родственной гордости прибавляет: «Поверите ли, он и галстуха даже повязать не умеет, я всегда сама ему повязываю галстух».

На этом молодом стихотворце, не умеющем повязывать галстух, основано все счастье, все надежды, вся гордость артистического семейства. Это блестящий талант, разливающий свой блеск на все его окружающее; центр, около которого группируются остальные семейные талантики. Он дает тон и направление всему семейству... Отец и тетка, заменившая мать, только отражают и распространяют его мысли. Те из знакомых, которые не безусловно разделяют этот образ мыслей и имеют неосторожность обнаружить некоторое противоречие, утрачивают обыкновенно доброе расположение почтенного семейства и причисляются к людям остановившимся, не способным идти вперед — просто к отсталым. Чтобы пользоваться его постоянною благосклонностью и радушием, чтобы прослыть в семействе за человека замечательного и умного, необходимо в каждый данный момент стоять в уровень с Иваном Алексеичем: останавливаться вместе с ним, идти вперед или отодвигаться назад. Но и отодвигаясь назад, уверять и себя и других, что двигаешься вперед и что те, которые в самом деле идут вперед, останавливаются или отодвигаются назад.

Приговор сына есть приговор окончательный для отца

и для тетки. Он решил, что у сестры Наденьки недостает чувства (может быть, потому, что она не так восторгается его стихами, как остальные члены семейства), и они безусловно приняли этот строгий приговор, и никакие факты не разуверят их в противном. Отец, узнав об этом в первый раз, глубоко огорчился... «Ах, жаль,— думал он,— Наденька, моя девочка, славная и добрая, если бы у нее только чувства-то побольше, вот ее недостаток!» — «Но отчего же недостает у нее чувства? — робко в то же время шептал ему внутренний голос,— когда ты, например, болен, она и днем и ночью ни на шаг не отходит от твоей постели, она так заботливо ухаживает за тобою...» Старик задумывается. У него слезы навертываются на глазах при воспоминании о том, что шептал ему внутренний голос. «Нет, что бы ни говорили, а у нее много чувства!» — продолжает смелее внутренний голос. Старику очень хочется поверить внутреннему голосу; но в эту минуту, как нарочно, подвертывается сын и начинает с большим красноречием и убедительностию доказывать, *что такое чувство* и почему именно у сестры недостает его. Старик мгновенно колеблется, слушая эти красноречивые речи; он заглушает внутренний голос и снова повторяет про себя: «Жаль мне, очень жаль бедную Наденьку!»

Наденьке девятнадцать лет. В лице ее много приятности и много выражения в небольших серых глазах. У нее есть голосок, и она недурно поет различные романсы, как-то: *Я видел деву на скале, Цветок, Сто красавиц чернооких, Любила я,* и проч. Она хорошо сложена и отличается от всех своих подруг простотою обращения и совершенным отсутствием тех *прекрасных манер,* которые в сущности не что иное, как жеманство и ломанье...

Все это я говорю в настоящем, хотя этому прошло много лет, но я как будто теперь вижу перед собою девятнадцатилетнюю Наденьку в белом кисейном платье с клетчатым шотландским поясом, беспечную и веселую, срисовывающую букет цветов с натуры, а против нее облокотившегося на стол молодого человека очень приятной наружности, внимательно следящего за движением ее кисти. Она по временам взглядывает на него, улыбаясь, и в эти минуты лицо молодого человека сияет счастьем. Мне всегда казалось, глядя на них, что они созданы друг для друга...

Я езжал в дом Грибановых раза два в месяц, по чет-

вергам. Это были их дни. По четвергам сходились к ним самые близкие их знакомые, по большей части артисты и литераторы. Невозможно передать, какое радушие и гостеприимство царствовало в этом доме, сколько искренности расточалось со стороны хозяина, сколько любезности со стороны хозяйки, сколько предупредительности, глубокомыслия и сладких улыбок со стороны сына. На этих четвергах всякий этикет был изгнан; каждый чувствовал себя как бы дома: гости являлись запросто в сюртуках, приводили с собой своих знакомых, не предупреждая даже об этом хозяев, и вновь представленные не более как через полчаса ощущали, будто они век знакомы в доме... Все засядут, бывало, за круглый стол, на котором дымится исполинский самовар, закурят трубки и папиросы, и пойдут толки об искусствах и литературе. Кто-нибудь из присутствующих коснется поэзии, и при этом знаток русской словесности и отчасти литератор, по фамилии Пруденский, имевший в семействе репутацию отличного декламатора, вскочит со стула и с угрожающим жестом и густым басом продекламирует новое стихотворение Ивана Алексеича, к несказанному удовольствию его папеньки и тетеньки, и, окончив декламацию, с тупою улыбкою обведет глазами собрание, сядет, и вслед за тем посыплется град восклицаний: «Превосходно! чудо! какие стихи и как вы декламируете!»

— Удивительно! — заметит Лидия Ивановна, подкатывая глазки под лоб,— а вот наш Иван Алексеич совсем не умеет читать своих стихов.

— Нечего сказать, таки не мастер,— возразит Иван Алексеич, приятно усмехаясь.

— Зато уж писать мастер! — прибавит непременно Пруденский.

— Пишет-то недурно, нечего сказать, недурно,— промолвит с самодовольствием отец, взглянув на сына с чувством, и потреплет его по плечу.

А между тем приживалка Пелагея Петровна то и дело что наливает стакан за стаканом, так что пот градом льется из-под чепца ее; пар от самовара и дым от трубок и сигар гуще и гуще расстилаются по комнате, и в этом чаду трудно уже наконец разбирать лица. Между чаем и ужином Наденька сядет за фортепьяно, пропоет «Сто красавиц чернооких», а молодой человек, влюбленный в нее, станет сзади ее стула и дрожащей рукой начнет перевертывать ноты. Когда она кончит, Лидия Ивановна скажет ей, бывало: «Ну, довольно», кивнет головой и

обратится к одной из постоянных посетительниц этих вечеров, барыне лет под тридцать, одетой с необыкновенной изысканностью и беспрестанно поводящей плечами и передергивающейся:

— Аменаида Александровна, душечка, спойте нам что-нибудь... У вас такой прелестный голос. Je vous prie...*

— Pour rien au monde, ma chère**, я не в голосе,— обыкновенно возразит на это Аменаида Александровна,— я не могу.

— Полноте, полноте, матушка, вы всегда в голосе,— заметит Алексей Афанасьич,— садитесь-ка, садитесь-ка, что тут много толковать...

— Я вам говорю, что я не могу. Comme c'est drôle!..***

Тогда сын подойдет к Аменаиде Александровне и начнет упрашивать ее... Наконец барыня решится, встанет, сбросит с себя мантилью, обнажит свои плечи, обдернется и подойдет к фортепьяно. Здесь, впрочем, начнется опять: «Ей-богу, я не могу, у меня болит горло; я не знаю, сколько времени я не пела», и тому подобное... Но дело всегда кончится тем, что барыня затянет:

Цветок засохший, безуханный...

Или:

Коварный друг, но сердцу милый, и проч.

И с последней ноткой обратится к гостям: «Вот видите ли, я совсем не могу петь!» и коснется рукою до горла, как будто желая показать, что ей там мешает что-то.— «Браво, браво»,— воскликнет Алексей Афанасьич и захлопает в ладоши, посматривая на гостей и поощряя их к тому же. Тогда раздастся гром рукоплесканий, после которых Лидия Ивановна подойдет к Аменаиде Александровне, промолвит: «Восхитительно, ma chère!» и поцелует ее.

Время между тем движется понемногу. Вот уж и половина двенадцатого.

— А что,— заметит Алексей Афанасьич, потирая свой желудок и поглядывая на Лидию Ивановну,— не пора ли и закусить, что-то есть смертельно захотелось.

---

* Прошу вас... *(фр.)*

** Ни за что на свете, дорогая *(фр.)*.

*** Как смешно! *(фр.)*.

— Ну что ж? прикажите,— заметит Лидия Ивановна.

И тогда послышится гармонический для гостей стук тарелок и ножей. На круглом столе, на котором за три часа перед тем дымился чудовищный самовар, появится добрый кусок солонины, сыр, масло, груда вареного картофеля, а на другом столике — водка и тарелка с солеными грибами.

— Ну-ка, господа, водочки... без этого нельзя, да закусите грибком-то, чудные грибки! Я сам собирал их! — воскликнет добродушный Алексей Афанасьич, наливая себе рюмку водки.— Садитесь, господа, садитесь... чем бог послал, не взыщите...

И все разместятся, теснясь друг к другу, за столом: дамы и более почтенные из мужчин ближе к тому краю, где Лидия Ивановна, а остальные около Алексея Афанасьича.

— Ах, какая солонина-то! — непременно заметит Алексей Афанасьич, приступая к ее разрезыванию,— посмотрите, посмотрите, сок так и льет, а жир-то какой, настоящий янтарь!

— Из мира фантазии перейдемте-ка, господа, к действительности, к существенному,— заметит Иван Алексеич, глядя с приятностью на гостей, указывая с жадностью на солонину и кладя себе на тарелку два огромных куска.

И в ответ на это домашнее остроумие всегда, бывало, раздастся добродушный смех.

Всякий четверг повторялось то же самое с небольшими изменениями. Иногда только вдруг, ненароком появится какая-нибудь неслыханная певица и прокричит какую-нибудь итальянскую арию или невиданный дотоле сочинитель с какою-нибудь ассирийскою драмою...

Но раза три или четыре в год у Грибановых бывали большие собрания в день чьих-нибудь именин или рожденья. Тогда зажигались лишние лампы, гости мужского пола надевали фрак, наезжало большое количество девиц и дам, одетых по-бальному; также показывались два штатских генерала со звездами и один военный. В эти торжественные вечера, на которых даже сам хозяин являлся не в туфлях, а в сапогах, артистические занятия отлагались в сторону: молодежь танцевала под фортепьяно, а люди пожилые и чиновные и толстые барыни в беретах садились за карточные столы... Но и тут не обходилось без поэзии. В какой-нибудь дальней комнате, в конце коридора, куда танцоры изредка забегали затянуться, Иван Алексеич собирал вокруг себя небольшой кружок мо-

лодых людей, не танцующих, самых горячих любителей искусства, и декламировал им свои стихи. Молодые люди благоговейно слушали его, и если в комнату входил лакей Макар с подносом или забегала за чем-нибудь горничная, скрипя башмаками и дверью, молодые люди махали на них обыкновенно руками, шикали и потом на ключ запирали двери, чтобы уже никто не мог помешать их эстетическим наслаждениям.

На этих вечерах разносили обыкновенно мороженое, конфекты, яблоки и варенья, и увеселения оканчивались праздничным ужином. Ужин приготовлялся человек на тридцать, но гостей обыкновенно являлось человек пятьдесят. Добрые и гостеприимные хозяева приходили в некоторое беспокойство и всё надеялись, не уйдет ли авось кто-либо из бездействовавших кавалеров до ужина, но эти кавалеры упорно держались в своих позициях, и на лице их можно было прочитать, что они именно только и ожидают ужина, что они явились единственно для ужина, что они в тоске по ужине и внутренне проклинают всю эту нескончаемую мазурку, мучимые страшным аппетитом.

Дело оканчивалось, однако, всегда благополучно, и все возвращались домой, накушавшись досыта. Этому немало способствовала закуска перед ужином. В небольшой комнатке, примыкавшей к столовой, ставились, минут за десять до ужина, на двух ломберных столах, сдвинутых вместе, водка и закуска, состоявшая из груд нарезанной икры, ветчины и сыра. Когда мазурка оканчивалась, все кавалеры под предводительством отца и сына с некоторою дикостию бросались обыкновенно в эту комнату и разом осаждали стол с закуской. Натиск бывал так силен, что многим в эту минуту отдавливали ноги или зашибали руки, и три перемены этих груд икры, ветчины и сыра каждый раз при новом натиске исчезали в одно мгновение ока. Успокоенные таким образом, кавалеры приступали к ужину с гораздо меньшею алчностию.

Я чуть было не забыл еще замечательный факт. Грибановых нередко посещал между прочими один знаменитый литературный авторитет, которому все семейство изъявляло подобострастное уважение. Авторитет поощрял стихотворные занятия Ивана Алексеича, признавая в нем *несомненный* талант. И в благодарность за это авторитета сейчас же нарекли в семействе высочайшим гением, и горе было тому, кто осмеливался обнаружить сомнение в том, что он ниже Шекспира или Гомера. На такого

смельчака смотрели как на слабоумного или сумасшедшего. Если авторитет обедал в семействе, перед его прибором ставили граненый хрусталь розового цвета и большие мягкие кресла; ему подавали особые кушанья. Когда он делал вид, что желает заговорить, все смолкало, а когда после обеда он закрывал глаза, развалившись в покойных креслах, то мухе не позволялось пролететь мимо него: все на цыпочках выходили вон, и сын, махая рукой отцу, имевшему иногда привычку напевать себе под нос: «Томтороро-мтом-том» или что-нибудь вроде этого, шептал с сердцем:

— Тсс! Папенька, бога ради не шумите. Ведь Григорий Петрович начинает засыпать.

— Ай-яй-яй! — прошепчет, бывало, старик,— виноват, виноват!

И, затаив дыхание, едва касаясь носком своих туфель пола, удалится по стенке в свой кабинет.

У Лидии Ивановны всякий раз, когда она взглядывала на авторитет, захватывало дыхание, и что бы ни сказал он, хотя бы просто: «Какая сегодня скверная погода!» или что-нибудь подобное, члены семейства значительно переглядывались между собою, как бы желая сказать этим взглядом: «У! как глубоко!»

Так, впрочем, всегда в жизни: стоит только раз приобрести себе репутацию гениального, необыкновенно умного, ученого или остроумного господина, и потом смело, хоть целый век, говори дичь — все будут слушать эту дичь, разиня рот, подозревая, что под нею кроется что-нибудь необыкновенно глубокое. В одном доме, очень средней руки, какой-то тупоумный шут прослыл почему-то за остроумнейшего господина, и я сам был однажды свидетелем, как он, вбегая в гостиную, закричал хозяйке дома: «Холодновато, холодновато, чайку бы, сударыня, чайку бы выпить», и все общество, к моему величайшему изумлению, так и покатилось от смеха; а хозяин дома, ухватив себя за бока, закричал ему: «Полно, братец, полно! Бога ради, не смеши!» и продолжал заливаться самым искренним смехом.

Над подобострастным уважением семейства Грибановых перед авторитетом многие подтрунивали, но мне всегда казалось, что авторитет, допускавший с собою такое обращение, был гораздо смешнее самого семейства.

Грибановых нельзя было не любить. Их добродушие и гостеприимство действовали на всех обаятельно. Бывало, часто становится смешно, глядя на них, но в ту

же минуту внутренне говоришь себе: «Однако все-таки какие добрые и славные люди!»

Это был общий голос.

— Елейное семейство! — прибавлял обыкновенно Пруденский, один из самых ревностных посетителей Грибановых, отличавшийся особенною ловкостью и смелостью при осадах на закуски в именинные дни.

Глава II

О том, каким образом великосветские хлыщи пускают пыль в глаза перед людьми простыми и как простые люди робеют и делаются неловкими перед великосветскими хлыщами

Вечером в один из четвергов я проезжал мимо квартиры Грибановых и заметил в их окнах необыкновенное освещение. «Что бы это могло значить? — подумал я,— сегодня, кажется, нет ни именин, ни рожденья». Эти огни подстрекнули мое любопытство, и я велел кучеру остановиться у подъезда. Вхожу на лестницу — лестница освещена двумя стеариновыми свечами в фонарях; это озадачило меня еще более, потому что даже в торжественные дни рожденья и именин в этих фонарях обыкновенно горели сальные свечи. Звоню с некоторым нетерпением. Двери отворяются тотчас, что также случалось весьма редко. В передней поражает меня лампа вместо свечки и сильное благовоние от герковских бумажек. «Эге! да тут в самом деле совершается что-нибудь необыкновенное»,— подумал я. Удивление и любопытство мое возрастали с каждым шагом вперед. В зале, вместо одной, зажжено было четыре лампы; в гостиной сиял карсель, зажигавшийся раз в год и служивший более для украшения, нежели для освещения комнаты; в будуаре теплились все фонарики, разливая красноватый и неприятный полусвет, и во всех комнатах было так накурено духами, что делалась даже небольшая тошнота и головокружение. Лидия Ивановна была вся усыпана цветочками, бантиками и пукольками, цвет лица ее был необыкновенно ярок; дочка была одета также по-праздничному; сын все улыбался и ходил, потирая себе руки; но что всего удивительнее — на хозяине дома были сапоги; волосы его, постоянно растрепанные, были приглажены, новый атласный галстух подпирал его подбородок. Он, видимо, чувствовал какое-то беспокойство и нелов-

кость, два раза хотел закурить сигару и, поднося к свечке, бросал ее и морщился.

— Да что с вами, Алексей Афанасьич? — спросил я его, осматриваясь кругом и на замечая в числе гостей никакой особенности, ни даже авторитета,— вы как будто ждете, что ли, кого-нибудь? У вас что-то сегодня необыкновенное...

— Уж не говорите! — возразил он, махнув рукой и улыбнувшись,— я не знаю, собственно, для чего все это (он указал головою на лампы), и меня заставили прифрантиться, как видите. К нам хотел сегодня приехать барон Щелкалов... вы, я думаю, слыхали про него? Ну, прекрасно... да что ж он за такая важная птица, чтобы для него и сапоги натягивать, и галстух новый надевать, да и сигары, наконец, не кури! Что мне за дело там, что он принадлежит к высшему кругу, ведь не я к нему лезу, а он ко мне, следовательно, он должен соображаться с моими привычками... Ну, да женщины, знаете, они на это смотрят иначе... А мы с вами все-таки сигарочку выкурим... я вас угощу отличной сигарочкой, по случаю достал, пойдемте-ка ко мне.

Мы хотели уже идти, как вдруг раздался голос Лидии Ивановны:

— Куда это, Алексей Афанасьич, полноте, останьтесь, после накуритесь сколько угодно. Барон скоро приедет, ведь вы хозяин дома... кто же его встретит?

В мягком голосе, с которым произнесены были эти слова, звучала, однако, какая-то писклива и раздражительная нота. Алексей Афанасьич едва заметно поморщился, но вслед за тем тотчас же приятно улыбнулся, взглянув на Лидию Ивановну, и произнес:

— Ну, извольте, матушка, извольте. Быть по-вашему, никуда не уйду отсюда.

И потом, обратясь ко мне, заметил шепотом:

— Делать нечего... будем сидеть у моря и ждать погоды.

Начался общий разговор, но он как-то не клеился. Лидия Ивановна и Иван Алексеич слушали рассеянно, беспрестанно посматривая на часы. Лидия Ивановна несколько даже вздрагивала при звонке, и когда в комнату входил обыкновенный четверговый гость, она с равнодушием кивала ему головой, протягивала руку и говорила: «А-а-а! Это вы? Здравствуйте».

Стеснение и неловкость сообщились от хозяев к гостям, которым к тому же хотелось ужасно курнуть, и в душах многих из них, постоянно воспевавших Лидии Ивановне

гимны и мадригалы, зашевелились в эту минуту на ее счет ядовитые эпиграммы, а самолюбие еще подстрекало к этим эпиграммам, нашептывая: «Да чем же вы хуже г. Щелкалова? Отчего же для г. Щелкалова вы должны себя подвергать стеснениям и лишениям? Вам-то что за дело до него?.. Пусть Лидия Ивановна, если угодно, ходит перед ним хоть на четвереньках, да не стесняет для него вас...», и тому подобное.

Пруденский, наклоняясь к своему соседу и поправляя глубокомысленно золотые очки, шепнул ему с выражением глубочайшей иронии:

— Что же этот *достолюбезный* гость заставляет так долго ждать себя! И зачем нас не предупредили? Мы уж облеклись бы в мундиры и с треуголками пошли бы к нему во сретенье.

Внутренний ропот и неудовольствие против хозяев накипали в груди гостей с каждой минутой, а к барону Щелкалову они начинали чувствовать просто неприязненное расположение и ожидали его, как врага.

Уже было половина десятого, но никаких признаков приготовлений к чаю. Пелагея Петровна, в чепце с голубыми бантами, по временам появлялась на минуту в залу взглянуть на часы и потом снова исчезала.

Один из гостей поймал приживалку:

— Послушайте, Пелагея Петровна,— сказал он,— ужасно пить хочется. Что, у вас будет нынче чай или нет?

— Уж не говорите! — отвечала Пелагея Петровна,— помилуйте, два часа все приготовлено. Самовар уже давно кипит, да вот вишь, ждут этого князя, что ли, какого. Слыхано ли, в самом деле, до десятого часа эдак маяться без чаю!

— Да где же приготовлено,— возразил гость,— еще и круглый стол не поставлен.

— Нынче у нас все ведь по моде, так, как в знатных домах,— заметила не без иронии Пелагея Петровна,— чай будут разносить на подносе, а я разливаю в задней комнате.

Пелагея Петровна полагала, что в знатных домах наливают всегда чай в задних комнатах.

Прошло еще четверть часа мучительных для хозяев ожиданий. Вдруг в исходе десятого часа, в ту минуту, как Лидия Ивановна смотрела на часы, стоявшие на камине, раздался из передней резкий звонок. Она быстро взглянула в зеркало, поправила свои пукольки, прищури-

ла несколько глаза и, обратившись к Алексею Афанасьичу, сделала ему головой значительный знак, указывая на переднюю.

Старик пошел навстречу новоприбывшему.

Пруденский, глубокомысленно поправляя золотые очки, и другие гости, в том числе и я, с любопытством обратились к двери, которая вела из залы в переднюю.

В этих дверях сначала показался господин лет за сорок, одетый щегольски, с большими, туго накрахмаленными воротничками и с развязными манерами,— *литературный дилетант,* по фамилии Веретенников, изредка появлявшийся по четвергам и более или менее уже знакомый всем нам.

Он принадлежал к тому петербургскому кружку, который немного повыше среднего и очень пониже высшего. Двоюродная сестра этого господина была замужем за каким-то князем, двоюродным братом одного значительного лица. Это было известно всем, кому хоть сколько-нибудь был известен Веретенников, беспрестанно употреблявший в разговоре такие фразы: ma cousine princesse N*, мой зять князь N, граф С* — двоюродный брат моего зятя князя N, и так далее.

Желая чем-нибудь обратить на себя особенное внимание своего кружка, Веретенников пустился в литературу, написал небольшой рассказ из светской жизни и прочел его в одном салоне средней руки. Рассказ был найден дамами *прелестным,* и они в особенности были поражены тем, что на русском языке можно делать недурные каламбуры: у Веретенникова было несколько довольно удачных. Рассказ этот появился впоследствии в каком-то журнале, после чего Веретенников уже вообразил, что русская литература без него обойтись никак не может и что деньги так и посыплются к нему. Ободренный этой фантазией, он начал замышлять роман, приступил к делу и через несколько времени явился с началом романа к журналисту с тем, чтобы запродать свое произведение за какую-то баснословную сумму, заметив, впрочем, что эта сумма назначается им в помощь одному бедному семейству, а что сам он вовсе не нуждается в деньгах, что ему нет необходимости жить собственными трудами, и проч. Начало оказалось, впрочем, так плохо, что его и даром напечатать не было никакой возможности. С этих пор дилетант несколько охладел к литературе, не писал ничего

* моя кузина княгиня N* *(фр.).*

более, а на вопросы своих приятелей: «Что ж, братец, твой роман-то? скоро ли он будет печататься?» — отвечал обыкновенно: «Я, право, не знаю, мне не хочется связываться с этими журналистами... я напечатаю его отдельно... у них там свои какие-то партии... Я хочу как можно подальше держать себя от этого мира. Ведь не литератором же сделаться мне, в самом деле!..»

Знакомство его с Грибановыми совпадает с эпохою печатания его знаменитого рассказа. Много лет прошло после того; все, разумеется, давно забыли о его существовании, а Веретенников до сей минуты еще повторяет при всяком случае: *в моей повести, моя повесть,* и пр.

Литераторы не любят Веретенникова, потому что перед ними он корчит светского человека и все толкует о своих приятелях князьях, графах и баронах; а светская молодежь смеется над ним, потому что в кругу ее он корчит литератора.

— Имею честь представить... Барон Щелкалов! — сказал Веретенников хозяину дома, указав на господина, следовавшего за ним, поправив свои воротнички и выставив одну ножку в лакированном сапоге вперед.

Щелкалову казалось лет под тридцать. Он был высокого роста и недурен собой: черные и волнистые густые волосы, черные довольно выразительные глаза, небольшой, немного приподнятый кверху нос и в глазу стеклышко, с которым он как будто бы родился. Одет он был с тою щегольскою небрежностью, к которой тщетно стремятся некоторые франты всю жизнь и так и умирают, не достигая ее; сложен был очень недурно, но держался странно, как будто бы все члены его ослабли, завяли или развинтились: голова, казалось, едва держалась на плечах, руки болтались, опущенные, спина была несколько сгорблена. С первого раза можно, пожалуй, было принять его за больного, но стоило только попристальнее взглянуть на него, чтобы совершенно разубедиться в этом. Смуглое лицо его выражало, напротив, цветущее здоровье и несомненную силу. Человек простой призадумался бы при этом странном явлении, а для человека светского оно не казалось нисколько странным и объяснялось очень легко и просто довольно странным словом — *шик* (du chic). В самом деле, эта слабость, завялость или развинченность, как хотите, была — *шик.*

Веретенников сиял от удовольствия, представляя барона Щелкалова. В глубине своей он благоговел перед Щелкаловым и смотрел на него как низший на высшего,

потому что Щелкалов посещал такие дома, которые были недосягаемы для Веретенникова, и говорил свободно, зевая, заложив пальцы за жилет, с такими дамами, при одной мысли о которых у Веретенникова захватывало дыхание; но свое благоговение, свою внутреннюю подчиненность перед Щелкаловым он скрывал усильно: смертельно боялся, чтобы какой-нибудь наблюдательный глаз не подметил ее, и поэтому обращался с ним неестественно фамильярно.

Хозяин дома крепко пожал руку Веретенникова и протянул ее к барону, не без чувства. Барон слегка и рассеянно пожал ее и начал смотреть на стены в свое стеклышко.

— Милости просим, пожалуйте в гостиную,— говорил старик в некотором замешательстве,— сделайте одолжение.

— Что это? — спросил Щелкалов, не слушая приглашений старика и остановя свое стеклышко на картине, изображавшей какую-то детскую головку.— Копия с Грёза, что ли?

— С Грёза,— воскликнул обрадованный старик.— Ведь прекрасная вещь, не правда ли?

Он растрогался и начал смотреть на картину слезящимися глазами.

— Недурная копия,— продолжал Щелкалов с видом знатока, закладывая руку за жилет и слегка искривив в сторону нижнюю губу, как бы желая зевнуть.— Вы охотник, что ли, до картин?.. Заходите когда-нибудь ко мне. У меня есть настоящий Грёз... Ты знаешь, Веретенников, князь Чамбаров мне давал за женскую головку три тысячи рублей, но я ее не отдам и за десять.

Лидия Ивановна, выглядывавшая из дверей гостиной, следила с любопытством за движениями гостя и прислушивалась к его речам, стараясь, впрочем, скрыть это от других гостей и казаться совершенно равнодушною.

— У моего приятеля есть настоящий портрет Грёза,- писанный им самим... Удивительный портрет... Ты знаешь, Веретенников,— у Левушки?

Проговорив это, как будто бы кто-нибудь заставлял говорить его насильно, Щелкалов, лениво волоча ноги, сделал несколько шагов вперед и очутился в самых дверях гостиной.

Веретенников юркнул вперед и представил его Лидии Ивановне.

Щелкалов, не выпуская из глаз стеклышка, слегка наклонил голову в ответ на ее французское приветствие.

— Вот, барон, моя дочь,— сказал Алексей Афанасьич,— а вот и сын, вы с ним, кажется, уже знакомы; милости прошу садиться,— и старик подставил ему кресла.— Теперь пора бы и чайку,— продолжал он, взглянув на Лидию Ивановну.

Лидия Ивановна бросила косвенный взгляд на Алексея Афанасьича и чуть-чуть пожала плечами, как бы желая сказать этим: «Да когда же вы будете уметь себя вести при чужих как следует?»

Между тем Щелкалов протянул руку сыну и заговорил, не обращаясь, впрочем, ни к кому и все посматривая на потолок в свое стеклышко, хотя потолок не представлял ничего особенного.

— Как же, мы старые знакомые... Ну что, батюшка, не написали ли вы чего-нибудь новенького?.. У вас славный стих!

Стеклышко барона с потолка перешло на хозяев и потом на гостей... Он начал всех нас рассматривать с такою беззастенчивостью, с какою обыкновенно рассматривают неодушевленные предметы. В это время Веретенников заливался, как соловей: рассказывал анекдоты, цитировал известные рукописные эпиграммы и вообще блистал любезностью. Зашла, между прочим, речь о странностях покойного Крылова. Лидия Ивановна ловко этим воспользовалась, обратилась к барону с приятнейшею улыбкою и сказала по-французски:

— Я слышала, барон, что вы также занимаетесь поэзией?

— Да, так иногда, от нечего делать,— отвечал барон по-русски.— У меня есть маленькая способность писать стихи... ваш сын находит тоже.

Щелкалов писал стихи в альбомы разным дамам и был, говорят, совершенно убежден, что ему стоило только небольшого усилия, маленького труда для того, чтобы стать наряду с Пушкиным и Лермонтовым. Этим отчасти объяснялось его внезапное появление в литературном и артистическом семействе Грибановых.

— Я надеюсь, барон, что вы будете так добры, прочтете нам что-нибудь,— продолжала Лидия Ивановна, заиграв глазами, как во время оно, и устремляя их на Щелкалова.

— Пожалуй,— произнес небрежно Щелкалов; не смот-

ря на нее и закинув голову назад, продолжал, как будто про себя: — У меня много стихов... что бы вам прочесть?.. постойте... постойте...

— Прочти, братец,— возразил Веретенников,— последние твои стихи в альбоме графини Воротынцевой... C'est charmant! c'est charmant!*

— Да, как бишь они начинаются?.. У меня такая плохая память...

Я вам скажу, я вам скажу...

— О нет, не так,— перебил Веретенников,— ты врешь.

Сказать, графиня, что вы милы...

— Ах, да, да, да!

Сказать, графиня, что вы милы,
Что вами наш гордится круг;
Что вы как солнце; что светилы
Все остальные меркнут вдруг,
Поглощены огнем и светом
Чудесной вашей красоты,
Что ароматом вы и цветом
Затмили лучшие цветы,—
Цветок роскошный и прелестный!
Но это всем давно известно.
Нет, лучше это позабыть
И с безмятежностию чинной
Любовью кроткой и невинной
Любовью братской вас любить!

Продекламировав эти стихи с сильными ударениями и с некоторою торжественностию, Щелкалов обвел взором все собрание с таким самодовольствием, как будто бы хотел сказать: «Ведь вот вы здесь, верно, все литераторы, а попробуйте написать так!»

— Ах, как это грациозно! — воскликнула Лидия Ивановна, обращаясь ко всем нам.

Иван Алексеич смотрел в глаза Щелкалову во время декламации с большою приятностью, покачивая в такт головою, что не помешало ему, однако же, заметить соседу шепотом:

— Пошлые стишонки... И ведь вот чем забавны эти господа: напишут какой-нибудь мадригальчик, думают, что сделали дело, и счастливы.

---

* очаровательно! очаровательно! *(фр.)*

Все мы, за исключением Веретенникова и дам, присутствовавших тут, разделяли, кажется, о стихах Щелкалова мнение, сообщенное на ушко Иваном Алексеичем. Все мы с некоторым внутренним негодованием и отчасти даже со злобою, смотря на него, думали: «Вот пустейший-то господин!», но если Щелкалов обращался во время разговора к кому-нибудь из нас, он встречал и приветливый ответ, и привлекательную улыбку... Признаться, мы несколько завидовали его смелости. Мы, которые были чуть не с детства знакомы в доме, чувствовали себя не совсем свободными с Надеждой Алексеевной и даже иногда не находили предмета для разговора с нею; а он, в первый раз в жизни видевший ее, уже сидел возле нее, наклонясь к самому ее плечу, приняв живописно небрежную позу, и так свободно разговаривал, как будто бы век был знаком с нею, так смело и дерзко глядел на нее, что бедная девушка должна была даже вспыхивать и потуплять глаза.

— У вас, говорят, очень приятный голос. Правда это? — спросил он ее.

— Нет,— отвечала Наденька,— я пою дурно.

— О! Будто?.. Ну спойте что-нибудь; я вам скажу правду.

— Ни за что.

— Вы капризничаете. А вот я пожалуюсь на вас папеньке или тетеньке... Это ваша тетенька?.. Что! вы, я думаю, боитесь ее?.. Хотите, я буду вам аккомпанировать?

И Щелкалов подошел к роялю, взял несколько аккордов, сам что-то такое промурлыкал и между тем смотрел на Наденьку, как бы вызывая ее.

Лидия Ивановна начала упрашивать барона, чтобы он спел, говоря, что она очень много наслышана об его удивительном голосе; Алексей Афанасьич присоединил к этому свою просьбу.

— Пожалуй, но с условием,— возразил Щелкалов, обратясь к старику,— чтобы потом нам спела что-нибудь ваша дочь... Иначе я не пою.

— Слышишь, Наденька? — сказал старик, обращаясь к ней с улыбкою...

— Я надеюсь, Nadine, что ты исполнишь просьбу барона?— прибавила Лидия Ивановна.

Наденька была в замешательстве и молчала.

— Она будет петь, я вам даю за нее слово,— произнесла Лидия Ивановна.

— Ну, в таком случае, хорошо... Видите ли, я не так капризен, как вы,— прибавил он, обращаясь к Наденьке, и, пробежав руками по клавишам, запел:

Я видел деву на скале...

У Щелкалова был не столько приятный, сколько сильный голос, и пропел он не без эффекта.

Как водится, раздался гром рукоплесканий, когда он кончил, и даже Пруденский, все время искоса смотревший на него в свои очки, воскликнул: «Превосходно!» и заметил мне шепотом: «Хотя пустой человек, но несомненно обладающий светскими талантами...», и при этом глубокомысленно поправил свои золотые очки.

Наденька пропела какой-то романсик дрожащим голосом, Щелкалов перевертывал ноты и говорил ей вполголоса одобрительным тоном: «Brawo! Brawo! Charmant... только посмелее!» А молодой человек, влюбленный в нее, стоял как убитый, прислонившись к печке, и от времени до времени бросал сердитые взгляды на Щелкалова. Другой романс Наденька спела уже гораздо лучше. Щелкалов торжественно объявил, что у нее голос превосходный, чистейший soprano, и что ему недостает только методы и обработки... В заключение он спел с ней дуэт, не помню из какой-то итальянской оперы, и сказал, пристально взглянув на нее в свое стеклышко, взяв ее руку и крепко пожав ее:

— Право, недурно!.. Учитесь,— продолжал Щелкалов,— у вас отличные музыкальные способности. Хотите взять меня в учители?— прибавил он, улыбаясь и нимало не обращая внимания на ее замешательство.

Лидия Ивановна была в восторге от барона; он был героем этого вечера; Веретенников — его наперсником, а все мы остальные — статистами.

Этот вечер живо врезался мне в память со всеми мелкими подробностями. У меня как теперь перед глазами Макар, единственный лакей Грибановых,— рослый, неуклюжий, нечистый, всегда ходивший в длинном сюртуке и с голыми руками,— вдруг появившийся во фраке, в нитяных перчатках, с серебряным подносом и с особенною торжественностью на лице, прямо направлявший шаги свои мимо дам к Щелкалову, и невиданный до тех пор в доме казачок, также в нитяных огромнейших перчатках, следовавший за Макаром с другим подносом, усыпанным различными хитрыми сухариками, крендель-

ками и печеньями. Я никогда не забуду удивления Макара, когда Щелкалов отказался от чая, и его вопросительных взглядов, переходивших от барона к Лидии Ивановне и обратно; трех безмолвных барышень, сидевших рядом и как две капли воды похожих одна на другую, переглядывавшихся между собою при каждом слове и движении Щелкалова, и четвертую, постарше первых трех, пребойкую особу с двойным золотым лорнетом на цепочке, с взбитыми спереди и закинутыми назад волосами, которая после *Девы на скале*, пропетой Щелкаловым, шепнула первым трем так, что я мог ясно слышать: «Ах, mesdames, просто чудо, душка!..»

Щелкалов, разлегшись в креслах, начал что-то рассказывать, и все слушали его, затаив дыхание; потом он встал, рассеянно подошел опять к роялю, заиграл польку и вдруг остановился, не кончив ее; стал посреди залы, осмотрел барышень в свое стеклышко с ног до головы и, обращаясь к Лидии Ивановне, сказал:

— А что, из них кто-нибудь полькирует?

Все мы были поражены этим странным вопросом, особенно тоном, с которым он был предложен, а Пруденский, поправив свои очки, заметил:

— Это уже, кажется, переходит за ту черту, которая разделяет светскость от наглости...— И при этом прибавил с ироническою улыбкою: — От великого до смешного один шаг.

Даже восхищенные Щелкаловым барышни, по-видимому, несколько оскорбились этим вопросом, и бойкая барышня с двойным лорнетом, ловко играя им, заметила по-французски, несколько прищурив глаза и не обращаясь к барону:

— Да что ж за новость танцевать польку? (Хотя полька, надобно заметить, была точно в то время еще новостью).

— А вы танцуете? — спросил Щелкалов, обратясь к ней.

Барышня засмеялась громко и не без аффектации обвела взором все собрание, как бы желая обратить внимание на свою смелость, и сказала очень резким тоном:

— Ну да. Что же из этого?

— Ничего особенного,— возразил Щелкалов,— кроме того, что в таком случае я желал бы сделать с вами один тур.

И он, без дальнейших объяснений, обвил одною рукою стан барышни и, повернув голову назад, спросил:

— Кто ж будет играть?

— Nadine, сыграй ты! — воскликнула Лидия Ивановна.

Наденька села за рояль. Все отодвинули свои стулья к стене. Раздались звуки польки, и Щелкалов, не выбрасывая из глаза стеклышка, начал извиваться по комнате со своею дамою. Это продолжалось довольно долго, потом он несколько раз перевернул ее и почти бросил на стул.

— С вами полькировать очень ловко,— сказал он,— после графини Высоцкой вы полькируете лучше всех, с кем я танцевал.

Бойкая барышня замерла от восторга при этом замечании. Она подошла к своим безмолвным и робким подругам и что-то шепнула им, закатив зрачки под лоб от умиления, и потом нахмурила брови и с презрительною гримасой кивнула головой в нашу сторону.

Я угадал этот шепот.

Барышня шептала:

«От него (т. е. от барона) можно с ума сойти, это уж не то, что ваши неуклюжие-то ученые (т. е. мы)».

Часу в первом в исходе, в то время, когда уже в зале накрывали на стол и Пелагея Петровна бегала впопыхах за кулисами, бранясь с Макаром и подирая за уши казачка, Щелкалов взялся было за шляпу. У Лидии Ивановны выступил холодный пот ужаса.

— Барон, что это вы? куда вы? — воскликнула она.— Сейчас подадут ужин... Не угодно ли вам будет чего-нибудь закусить, так, запросто, по-домашнему?

— Я никогда не ужинаю,— отвечал барон,— и к тому же что-то нехорошо себя чувствую... да и пора уже.

Барон взглянул на часы и зевнул.

— Я прошу вас, останьтесь, барон,— продолжала Лидия Ивановна,— может быть, вам придет аппетит и вы чего-нибудь скушаете. М-г Веретенников, я вас ни за что не пущу.

И Лидия Ивановна с любезностью отняла у него шляпу.

— Попросите барона, чтобы он остался,— прибавила она самым сладким и вкрадчивым голосом.

— Послушай,— сказал Веретенников барону, отведя его несколько в сторону,— в самом деле, останься, неловко... Они ведь для тебя, я думаю, состряпали неслыханный ужин, разорились!.. Ты, если не хочешь есть, то хоть посмотри на него. Все же им будет легче. Зачем этих бедных людей приводить в отчаяние?.. Останься...

— Ты думаешь? — возразил Щелкалов, зевая,— пожалуй.

И он бросил свою шляпу, к несказанному удовольствию Лидии Ивановны.

— А знаете,— произнес Пруденский, обращаясь к сидевшим возле него, в том числе и ко мне, и понюхивая табак с расстановкой и глубокомысленно, потому что Пруденский делал все, даже и нюхал табак, глубокомысленно,— знаете, что нет худа без добра. Пословицы всегда верны, это практические выводы народной жизни. Если бы здесь не было сегодня этого ловкого светского фата, мы не имели бы такого ужина, который нас ожидает. Я предвижу, что это будет нечто вроде фестеня.

Ужин был действительно необыкновенный: четыре блюда под различными, весьма хитрыми украшениями, из которых некоторые представляли вид бастионов, а другие походили на готические башни; нога ветчины была завернута в султан, искусно вырезанный из цветной бумаги, а желе было иллюминовано стеариновым огарком, вставленным внутрь его дрожащих стенок. Повар обнаружил если не поварской, то по крайней мере архитектурный талант. Первое почетное место по правую руку от Лидии Ивановны приготовлено было для барона. Лидия Ивановна указала ему рукой на это место, приглашая его сесть; но он искусно отделался от этого, посадив вместо себя Веретенникова, а сам сел между Наденькой и смелой барышней с двойным лорнетом. Он не ел почти ничего и даже не снимал салфетки с своего прибора, к великому огорчению Лидии Ивановны, которая беспрестанно обращалась к нему:

— Отведайте этого, барон... Вот это блюдо самое легкое... выкушайте вот этого вина... и прочее.

Но барон не слушал этих любезных приглашений; он что-то такое нашептывал в это время своим соседкам, из которых одна все краснела, а другая все фыркала от смеха. Несмотря на это, Лидия Ивановна беспрестанно мигала Алексею Афанасьичу, чтобы тот наливал вино барону. Все рюмки и стаканы, стоявшие перед Щелкаловым, уже были полны, и Алексей Афанасьич принужден был наливать ему в стаканы барышень.

— Что это за батарея?— вдруг воскликнул Щелкалов, улыбаясь и взглянув в свое стеклышко на стоявшие перед ним стаканы и рюмки, наполненные разноцветным вином.— Это все мне?.. Вы полагаете, что я все это выпью?

— Отведайте вот хоть красненького, отличный ла-

фитец,— отвечал добродушно Алексей Афанасьич,— тончайшее винцо!

И как бы соблазняя барона, старик отпил из своего стакана, чмокая губами.

Щелкалов поднес свой стакан ко рту и только помочил губы... Зато Пруденский, не угощаемый никем особенно, ел и пил с величайшим аппетитом, придерживаясь из вин в особенности мадеры.

«Это вино здоровое, укрепляющее, полезное для желудка,— замечал он,— способствующее пищеварению»; хотя укреплять Пруденского и способствовать пищеварению его желудка было совершенно излишне, потому что этот желудок мог переварить камни.

К концу ужина Лидия Ивановна значительно взглянула на Макара; Макар утвердительно кивнул ей головой в ответ и явился через минуту с бутылкой, обернутой в салфетку. Ему было настрого приказано от Лидии Ивановны откупорить бутылку без шума, но Макар не выдержал искушения: пробка выстрелила и взлетела к потолку с таким эффектом, что все гости, не искючая даже Пруденского, вздрогнули, а Лидия Ивановна помертвела, бросив глубоко значительный взгляд на Алексея Афанасьича и пожав плечами.

Щелкалов чокнулся своим бокалом с бокалом Наденьки, а молодой человек, влюбленный в нее, сидевший напротив и следивший за малейшим ее движением, беспрестанно изменялся в лице от внутренней тревоги. Он видел, что Наденька перестала дичиться Щелкалова, что она свободно и непринужденно разговаривает с ним, что его общество даже приятно ей. Он видел, что Щелкалов особенно ухаживает за Наденькой; но он не видел того, что в добавление всего этого видел я, хладнокровный наблюдатель: досады, выражавшейся на лице смелой барышни с двойным лорнетом, оттого что Щелкалов более оказывал внимания Наденьке, нежели ей, и тех иронических взглядов, которые барышня иногда бросала на Наденьку.

После ужина Щелкалов, с шляпой в руке, вдруг сказал, обращаясь к Наденьке:

— Ах, да! я вам говорил давеча о романсе, который я положил на музыку. Хотите иметь понятие о моем музыкальном даровании?

И не дожидая ответа, снял перчатку, бросил шляпу, сел к роялю, остановился на минуту, задумался и запел:

Любил твой голос кроткий, нежный,
Задумчивый, туманный взгляд,
Твой локон, вившийся небрежно,
И твой обдуманный наряд...
Тебя любил, тебя любил!

Любил я слушать твои речи,
Твои движенья подмечать,
Смотреть на стан твой и на плечи
И взгляд твой пламенный встречать...
Тебя любил, тебя любил!

Любил, когда в разгаре бала,
По скользким лаковым полам,
Ты, упоенная, летала,
Взгляд посылая гордый нам...
Тебя любил, тебя любил!

Любил, когда в уединеньи,
В таинственный полночи час,
Ты говорила мне в смятеньи:
«Скажи, кто счастливее нас?»
Тебя любил, тебя любил!

Всегда, везде — и в зале шумной,
В карете, в ложе, на коне,
И наяву и в сладком сне,
Любовью страстной и безумной
Тебя любил, тебя любил!

При последнем повторении *тебя любил!* — голос Щелкалова обратился в неистовый крик и вопль, который, однако, произвел невообразимое впечатление на слушателей.

— Brawo! brawo! — раздалось со всех сторон.

— Ravissant!* — шепнула бойкая барышня с лорнетом.

— Bravissimo! — прибавил многозначительно Пруденский.— И в словах много страсти. Позвольте, это ваши собственные слова? — сказал он, обратясь к Щелкалову.

Щелкалов не заметил этого вопроса.

— Этот романс,— произнес он как будто про себя,— напоминает мне очень многое!

И он провел рукою по лицу, встал со стула, схватил шляпу, с нетерпеливым волнением начал натягивать перчатку, разорвал ее и бросил, взглянул на часы, проговорил себе под нос: «Пора!», раскланялся Лидии Ивановне, пожал руку Наденьке и, кивнув остальным головою, обратился к Веретенникову:

* Восхитительно! *(фр.)*

— Едем... Ты ведь меня везешь в своем экипаже?

— Я надеюсь, барон, что это не в последний раз, сделайте одолжение, мы всегда рады,— раздавалось вслед за ним.

Алексей Афанасьич, проводив почетных гостей, возвратился из передней, неся в руке галстух и дыша как будто свободнее. Нам всем также стало полегче.

Наступила минута молчания.

— Вот нападают на светских людей,— произнесла, наконец, Лидия Ивановна в раздумье,— а нельзя не сознаться, что в них много ума и талантов!

— Да, это правда,— возразил Алексей Афанасьич,— только все-таки эти господа хороши изредка.

— Это почему?— спросила Лидия Ивановна недовольным голосом.

— Потому, матушка, что хорошенького понемножку,— отвечал он, улыбнувшись.

Глава III

Биографический очерк барона Щелкалова, из которого наблюдательный читатель может догадаться, что такое подразумевается под словом «хлыщ»

У меня есть знакомый — человек очень богатый, светский и умный. В свете его не любят и говорят, что у него злой язык, но свет за ним ухаживает именно потому, что он богат и зол. Свет его боится. Имеет ли он злой язык действительно — я не знаю; он просто видит вещи в настоящем их свете, владеет юмором и высказывает свое мнение обо всем и обо всех прямо, не входя ни в какие соображения и расчеты.

Через несколько времени после знаменитого вечера у Грибановых я встретился у него с бароном Щелкаловым. Это было утром.

Щелкалов лежал, развалясь в креслах, с сигарой в зубах и с стеклышком в глазу. Хозяин назвал нас друг другу по имени.

Барон слегка приподнялся, сделал движение головою и потом снова упал в кресло и начал меня рассматривать в свое стеклышко с ног до головы.

— Я, кажется, имел удовольствие видеть вас недавно,— сказал я.

Он сначала вопросительно и с недоумением посмотрел на меня, потом сказал сквозь зубы:

— Очень может быть... где же это?

— У Грибановых,— продолжал я.

Он сделал вид, как будто припоминает, что это такое Грибановы.

— Ах, да,— проговорил он через минуту,— я был там.

В этот раз Щелкалов показался мне проще. Он ломался несравненно менее; все, что говорил, говорил неглупо, но хотя разговор был общий, он редко обращался ко мне, и то всякий раз как будто нехотя.

В третий раз я почти нечаянно натолкнулся на него в театре, в тесноте, во время антракта, и поклонился. Он едва кивнул мне в ответ головой, потом взглянул на меня так, как будто хотел спросить:

«Что ты за человек и каким образом я могу быть знаком с тобой? и зачем ты беспокоишь меня?»

После этого я часто встречался с ним в театре, на улице, у нашего общего знакомого, но я уже не кланялся ему и не говорил с ним. Он также не обращал на меня ни малейшего внимания.

Так прошло месяца два. В один вечер, в фойе Большого театра, кто-то положил мне руку на плечо. Я обернулся и увидел перед собою Щелкалова.

— Ну что, как вы поживаете? Вас что-то не видно... А вы любите музыку?

И прежде, нежели я успел удивиться, он продел свою руку в мою, потащил меня за собою по залам и начал рассказывать мне о частной жизни примадонны, которая производила тогда фурор в Петербурге, об ее уме, образовании, о его дружбе с нею, о том, как она ценит его музыкальные познания и как слушается его замечаний. Надобно заметить, что это было при самом начале антракта, когда в залах почти еще не было никого. Вдруг в самом жару его рассказа появился в конце залы какой-то молодой человек в мундире с аксельбантами. Щелкалов, увидев его, остановился на полслове, бросил мою руку, как будто испуганный чем-то, и пошел к нему навстречу, делая приветливые знаки рукою.

Он прошелся с ним раза два по зале, и когда молодой человек с аксельбантами оставил его, Щелкалов, остановившись среди залы, обозрел ее кругом в свое стеклышко, опять подошел ко мне и сказал:

— Ужасно душно... пить хочется... У вас есть мелочь, дайте мне... я забыл.

Я молча подал барону четвертак, и он направил шаги к буфету.

Такое поведение барона Щелкалова казалось мне в то

время, по неопытности, необъяснимым. Я мало тогда видал такого рода господ, и его личность казалась мне даже оригинальною. Впоследствии я коротко уже познакомился с этою личностью, в разных экземплярах.

Вот кое-какие сведения, собранные мною от разных лиц о Щелкалове, перемешанные с тем, что я сам видел собственными глазами и слышал собственными ушами.

Каким образом, когда и почему к фамилии Щелкаловых присоединен баронский титул,— этого я не знаю; дело в том, что его дедушка нажил вдруг огромное состояние. Говорят, большие богатства никогда не наживают правдой; но это говорят те, у которых ничего нет. Отец Щелкалова прожил почти все, что нажил дед. Отец задавал неслыханные обеды и ужины, с персиками, сливами, земляниками и клубниками середи зимы в лесу из померанцевых деревьев; мифологические празднества, о которых до сих пор рассказывают старики молодому поколению как о седьмом чуде. Щелкалов был счастлив мыслию, что ни одна из известностей и знаменитостей того времени не миновала его порога, что даже сам князь N, не удостоивший посещать никого в течение по крайней мере тридцати лет, изволил посетить один из его праздников, ко всеобщему изумлению, и, уезжая, приложил руку к губам, сказав ему:

— Прекрасно, очень хорошо: ты человек со вкусом.

Причем у Щелкалова брызнули слезы из глаз... В городе в течение по крайней мере месяца только и разговоров было, что о празднике барона Щелкалова, на котором присутствовал сам князь N, да о словах, сказанных барону князем N. Барон после этого начал пользоваться еще большим уважением: на него стали слаще глядеть, ему стали крепче жать руку и говорили, значительно покачивая головою:

— С ним, батюшка, шутить нечего. К нему ездит сам князь N!

Барон до конца жизни с умилением рассказывал об этом необыкновенном событии. Еле движущийся от паралича, полузабытый всеми, старик повторял со вздохом:

— Ну, по крайней мере пожил! сам князь N удостоил однажды мой праздник!

Единственный сын барона Щелкалова воспитан был в баловстве и роскоши. Из кружевов и из блонд он уж в колыбели смотрел гордо. С четырех лет начали ему втолковывать нянюшки, мамушки, приживалки и дядьки, что отец его лицо необыкновенно важное, что к нему

ездит сам князь N, что у них несметное богатство, что он единственный наследник, и прочее, и прочее... Его предполагали воспитывать не иначе, как за границей: по крайней мере баронесса-мать непременно требовала этого. За границу уехали, но по прошествии трех лет должны были воротиться в отечество, потому что дела барона пришли в расстройство. В это время малютке было лет десять. Щелкаловы продолжали жить, хотя не с прежнею роскошью, но еще довольно открыто. Между тем имение за имением продавалось.

Десятилетний наследник этих незаметно таявших богатств был очень хорошенький мальчик. Ему всякий день завивали волосы пуклями, которые спускались до плеч; водили его в шелку, в батисте, в бархате, в перьях и в соболях по Невскому проспекту. Он обнаруживал притом значительные таланты: болтал на нескольких языках, прекрасно танцевал и на детских балах производил фурор: влюблялся, волочился и во всем очень искусно передразнивал больших. От него все были в восторге.

Лет шестнадцати он поступил в высшее учебное заведение; это было после смерти его матери, которая, говорят, не могла перенести расстройства состояния. Товарищи не полюбили барона, потому что он не умел обращаться ровно: то подделывался к ним неизвестно для чего, то вдруг начинал важничать и принимать гордые позы. Средства у него в то время были небольшие, но он всегда терся около тех, которые побогаче и позначительнее, и начал прибегать к займам у мелких ростовщиков за огромные проценты. Окончив воспитание, он появился в свете и был замечен. Нашли, что он воспитан недурно. В самом деле, он говорил по-французски, как француз, играл на фортепьяно и пел, сочинял русские и французские стишки, отличался во всех спортах: ездил верхом, стрелял, плавал; был вообще очень смел и развязен, умел одеваться с шиком и без гроша в кармане казаться богачом. Все эти достоинства и молодежь, которою он был окружен, доставили ему кредит, который он первое время после смерти отца несколько поддерживал продажею пятисот заложенных душ из восьмисот, доставшихся ему.

Эта продажа дала ему еще возможность блеснуть в Петербурге на короткое время — орловскими рысаками, английскою кобылой, гамбсовскими мебелями, своим старинным серебром, лакеем в ливрее с гербами и в плюшевых красных панталонах с штиблетами.

Он носился по Невскому на рысаках, которые бросали молнии из-под копыт, подпрыгивал на английской кобыле как истый спортсмен; играл на вечерах и в клубе в карты *по большой* с людьми значительными или с известными игроками и вел жизнь такого рода до тех пор, покуда средства его почти совсем истощились. Тогда он начал закладывать вещи.

Заложив свое старинное серебро и кубки, барон в первый раз встревожился, но его прежде всего обеспокоило то, что в столовой опустели этажерки; он долго думал, чем бы установить их, и отправился наконец к Нигри, купил дюжину японских тарелок, севрское блюдо и несколько китайских кукол на деньги, отложенные для уплаты какого-то долга. На минуту позабавив себя этими игрушками и полюбовавшись эффектом, который они производили на этажерках, Щелкалов повесил голову и призадумался о своем положении. Он думал довольно долго, потом вскочил со стула, махнул рукой и сказал самому себе:

— Э! да, впрочем, что ж такое? все как-нибудь обойдется. Люди с такими связями и с таким именем, как у меня, не погибают!

Несмотря, однако, на эту счастливую мысль, он решился вести жизнь порасчетливее и поумереннее, поддерживая, разумеется, насколько можно свое достоинство, то есть те аксессуары, без которых нельзя же существовать *порядочному человеку*. Он дал себе слово не играть в карты и определил в голове очень благоразумно не только вообще свой бюджет, но даже и свои дневные издержки. Барон не держал у себя стола и почти постоянно обедал у Леграна, который тогда только что появился. Осуществление своих экономических планов он решился тотчас же начать с Леграна и отправился обедать с намерением спросить обыкновенный обед с полубутылкой столового вина.

Войдя в первую комнату, барон приостановился на минуту; не снимая шляпы, кивнул небрежно хозяину ресторана и с своим стеклышком в глазу, медленно и раскачиваясь, направил шаги свои в следующую комнату, где обыкновенно обедал. В этой комнате, как нарочно, сидели два господина, да еще знакомые ему. При виде их экономические планы барона разлетелись мгновенно, как дым. Щелкалов почувствовал неудержимое желание во что бы то ни стало блеснуть перед этими господами и озадачить их. Он прикинулся, будто не узнает их, и,

остановясь посреди комнаты и не снимая шляпы, стал рассматривать их в свое стеклышко; потом промычал длинное *Аа!* сбросил с себя пальто и, все-таки еще не снимая шляпы, подсел к их столу.

— Я могу обедать за этим столом? — произнес он небрежно и потягиваясь.

— Сделайте одолжение,— отвечали знакомые.

Человек принес ему карту, но он с презрением оттолкнул ее и закричал:

— Позвать Леграна. Что ты мне суешь карту?.. Разве ты не знаешь, что я никогда не обедаю по этой глупой карте?

Легран явился перед бароном с не совсем, впрочем, довольной физиономией.

— Ну, что у вас есть сегодня? — спросил его Щелкалов по-французски.

Легран начал ему пересчитывать различные блюда. Он слушал его рассеянно, делая по временам гримасы, а между тем глубокомысленно обдумывал обед. Это продолжалось по крайней мере минут десять. Наконец, изобретя обед идеальной тонкости, он велел подать лафит рублей в восемь, поставить на лед бутылку шампанского и закричал на людей:

— Что с вами? вы сегодня как сумасшедшие... Разве вы не знаете, что я не пью из этого стекла? Принести тонкое стекло.

И, завернув рукава своего сюртука, из-за которого выглядывало тончайшее белье с драгоценными запонками, принялся кушать.

Встреча с знакомыми обошлась ему рублей в двадцать... Когда после ликера ему подали счет, он вынул из кармана своих панталон пук смятых ассигнаций, бросил на стол сторублевую бумажку и, наливая бокалы знакомым, сказал:

— Я здесь всегда плачу чистыми деньгами... Эти счеты преопасная вещь... Мне раз подали счет и приписали рублей пятьсот лишних.

Когда барону принесли сдачи, он дал человеку целковый на водку.

Потом, увидев других знакомых, более приятных, т. е. более значительных, тех, которых барон обыкновенно звал уменьшительными именами, он отправился в их компанию, спросил еще бутылки две шампанского, приказал эти уже записать на счет, потом заехал на минутку, по дороге в театр, к одному из них, сел играть в карты и

остался до глубокой ночи: проигрывал, бесился, прокли нал свою слабость и продолжал играть в надежде отыграться, забыв все свои благоразумные планы, оперу и все на свете.

У Щелкалова были еще тогда абонированные кресла во втором ряду. Я особенно любил его в театре. Он никогда не входил в театральную залу прежде половины первого акта. Со своим вечным стеклышком, всегда во фраке, а иногда в белом галстухе, в такие вечера, когда были большие балы, он волочит, бывало, ноги, несколько раскачиваясь, и посматривает беспечно кругом на ложи и на кресла в свое стеклышко. Дорогою поклонится какой-нибудь великолепной даме, дружески кивнет головой в пух разряженной m-lle Камилль, улыбнется с едва заметною гримасой также в пух разряженной Дарье Александровне, скажет приятелю, сидящему в креслах, довольно громко, так, чтобы все слышали: «А ты сегодня на бале? Едем отсюда вместе...» И, довольный произведенным им эффектом, разляжется в кресла. Во время спектакля он еще непременно начнет разговор знаками с m-lle Камилль или с Дарьей Александровной, так, чтобы это все заметили и все видели его отношения этим дамам. Щелкалов в каждую данную минуту рисовался и усиливался обращать на себя внимание. У него было рассчитано каждое движение, каждое слово, каждый взгляд; он как будто беспрестанно боялся, чтобы его хоть на мгновение не смешали со всеми, и, казалось, говорил толпе: «Между мною и вами нет ничего общего. Не подходите ко мне близко, но, если хотите, любуйтесь мною издали!» Он в то же время добивался из всех сил, чтобы казаться совершенно равнодушным ко всему и несколько утомленным жизнию, боялся обнаружить какое-нибудь внутреннее движение или чему-нибудь удивиться... Но увы! никак не мог постоянно выдерживать такой роли и, сознавая это, мучительно завидовал одному тупому господину, который, вследствие неусыпного стремления к хорошему тону, достиг наконец до того, что превратился в совершенную куклу, в автомата, едва удостоившего своим взглядом людей и природу, едва говорившего, едва слушавшего, недоступного ни к каким человеческим движениям и ощущениям и не позволившего бы себе, из уважения к хорошему тону, моргнуть лишний раз даже и в таком случае, если б мир вдруг стал разрушаться...

Щелкалов понимал всю нелепость этого господина, весь его комизм, всю смешную сторону так называемого

хорошего тона. Он очень остроумно смеялся над светом, над его обыкновениями и приличиями, даже изредка над самим собою и между тем боялся на шаг отступить от этих условий и беспрекословно подчинялся им: запутывался, разорялся, лгал, обманывал, и все из одной мысли не быть смешным в глазах этого света, над которым сам смеялся. Благоразумные намерения его вести жизнь поскромнее и поумереннее, заняться каким-нибудь делом, служить — откладывались со дня на день. Ни один из его опытов не удавался. Один раз он более месяца занимался службой очень усердно. Это заметили, и ему поручили какое-то дело, но, как нарочно, в это самое время m-lle Камилль потребовала, сама не зная зачем, чтоб он каждое утро непременно являлся к ней... Щелкалов бросил дело и ездил к ней каждое утро, сам не зная зачем, хотя всем и каждому говорил, что эта Камилла до того надоела ему, что он не знает, куда от нее деваться. По мере того, как обстоятельства его делались хуже и стеснительнее, его манеры и тон становились важнее и нестерпимее. Они доходили даже до некоторого цинизма и наглости, под которыми барон хотел скрыть свои плохие обстоятельства. Он продал своих лошадей и экипажи, говоря одному, что хочет ехать в чужие края, другому — что едет в свои деревни, третьему — что ему досталось имение от какого-то небывалого родственника и он отправляется за получением этого имения. Он путался на каждом шагу и занимал уже без всякой застенчивости и совести у кого ни попало, по большей части у молодых и богатых людей, только что вышедших из-за школьной скамейки. Он променял общество своих сверстников, которые начинали смотреть на него не совсем приветливо, на ватагу шумной молодежи, которая приняла его с распростертыми объятиями и перед которой он хвастал и ломался немилосердно, не прибегая даже к хитростям для закрытия этого хвастовства. Он приобрел между ними значительный авторитет, потому что представил их ко всем возможным Камиллам и Дарьям Александровнам, где был как дома. Под тридцать лет сделался для этих господ театралом и не пропускал ни одного балета, неразлучно обедал и ужинал с ними в ресторанах и для укрепления своего авторитета даже пил вместе с ними, хотя не чувствовал никогда к вину ни малейшего расположения.

Иногда во время обеда или ужина он вдруг обращался к приятелям:

— Господа, нет ли у кого из вас денег? Дайте мне.

Приятели никак не могли подозревать, чтобы барон нуждался и чтобы он был способен прибегать к таким опошлившимся и устарелым проделкам, и наивно спрашивали:

— Сколько?

— Разумеется, чем больше, тем лучше. Давайте сколько у вас есть,— отвечал Щелкалов.— Мне не хочется заезжать домой, а я вам после скажу, на что мне нужны деньги.

Все бумажники вынимались, и всякий наперерыв спешил удовлетворить его желание. Щелкалов без церемонии забирал деньги, с величайшим презрением и небрежностью засовывая их в карман, как будто какую-нибудь дрянь, вовсе бесполезную ему.

— Я сейчас съезжу только на минутку,— говорил он,— а вы подождите меня здесь.

— Нет, не езди... Останься... после...— раздавалось со всех сторон.

И барон оставался, не возвращая, однако, взятых им денег.

Потом, месяца два или три после этого, он повторял им от времени до времени:

— Господа, я вам что-то должен, кажется?.. сколько? Пожалуйста, напомните мне когда-нибудь у меня...

Сколько раз, бывало, это уж я видел и слышал сам: он в маскарадах, не находя своей обычной компании, без гроша и без кредита, только с одним аппетитом, шляется, бывало, наверху, там, где ужинают, со своим стеклышком и высматривает в него знакомых, тех, которые позастенчивее. Высмотрит таких и подойдет к их столу.

— Что, господа,— произнесет он с необыкновенною важностью и еще искривит несколько рот для улыбки,— кто из вас хочет меня угостить ужином? а?..

— Очень рады, барон, садитесь,— ответят ему несколько застенчивых голосов.

— Ведь я вам обойдусь дорого, господа, я предупреждаю...— прибавит он с обязательною и приятною улыбкою, рассаживаясь важно, выбирая блюда по карте и морщась, как будто делая одолжение позволением себя угощать. А начав есть, непременно еще заметит:

— Какая гадость! здесь нельзя ужинать... и черт знает, что за вино!..

В общих обедах или пикниках Щелкалов участвовал постоянно, требовал еще обыкновенно увеличения цены, а когда дело приближалось к расчету, уезжал, говоря,

что чувствует себя не совсем здоровым, или, обращаясь небрежно к кому-нибудь из присутствующих, говорил:

— Федя, или Саша, или Коля (кто случится), заплати за меня. Я отдам после.

Новички, робкие и неопытные, были всегда у барона в запасе.

Однажды он поймал одного из таких в коридоре при разъезде из театра. Новичок, перестав быть новичком, сам рассказывал мне об этом.

— Саша,— сказал он ему,— ты куда едешь?

— Да я, право, не знаю,— отвечал новичок.

У барона постоянно был прекрасный аппетит. Он не ел из важности только у таких людей, как Грибановы.

— Поедем ужинать к Леграну. Хочешь?

— Да мне что-то есть не хочется,— сказал Саша.

— Вздор, братец, еще захочется,— возразил Щелкалов уверительно,— я тебе дам самый тонкий ужин (и он приложил пальцы к губам), чудо какой! ты увидишь. Едем.

Молодые люди сговорчивы. Саша подумал с минуту и отвечал:

— Ну, пожалуй.

— У тебя есть здесь экипаж?

— Есть.

— Ну, так едем вместе.

Щелкалов сел с Сашей в его коляску и приказал кучеру ехать к Леграну.

Барон заказал в самом деле великолепный ужин: с устрицами, с трюфелями, с замороженным шампанским, поил Сашу, рассказывал ему анекдоты, не умолкал ни на минуту и все становился любезнее и остроумнее. Был уже час третий в исходе. Саше захотелось спать.

— Подай счет, что следует с меня? — сказал он лакею, полагая, что барон, пригласивший его, не допустит его платить, но Щелкалов молчал.

Счет был принесен. Саше следовало отдать за себя рублей около пятнадцати. Саша взглянул на счет, отдал его лакею и сказал, чтоб этот ужин записали, потому что у него нет с собой денег.

А барон все рассказывал какое-то презабавное происшествие и вдруг остановился в ту минуту, когда Саша возвращал счет лакею, сказав очень спокойно:

— Вели и мой ужин записать на свой счет. Мы с тобою после сочтемся.

И тотчас же продолжал прерванный рассказ, как ни в чем не бывало...

Тот, кто не знал Щелкалова коротко, а видал его только в обществах издали и слышал его рассуждения, ни за что не поверил бы всем этим фактам,— столько ненависти, столько желчи, столько презрения обнаруживал он, когда речь шла о каком-нибудь низком поступке.

Как понимал он назначение человека и дворянина, как клеймил недостойных потомков знаменитых родов, как превосходно рассуждал о том, в какой чистоте и неприкосновенности должно хранить имя, переданное от предков, и прочее, и прочее.

В это время я уже довольно хорошо знал его, но, несмотря на это, он приводил меня иногда в недоумение.

С тех пор, как он узнал о моих знакомствах с различными господами, которых он звал, как я уже заметил, уменьшительными именами, Щелкалов совершенно переменился со мною, сделался очень любезен и прост. Раз как-то я его встретил на Невском.

— Куда вы? пойдемте вместе,— сказал он, продевая свою руку в мою.

Расхаживая довольно долго рука об руку, мы разговаривали о разных предметах. Я не раз сомневался в его уме, но в этот раз должен был сознаться, что мои сомнения были несправедливы, что он точно умен; что у него только слово и дело были в постоянном разладе — и даже не имели ничего общего между собою. Барон остроумно и очень ядовито преследовал иногда в других то, чего сам в себе не видел или не умел видеть и в чем самого его можно было поймать на каждом шагу.

Навстречу нам попался какой-то господин, полный, высокий, с правильными чертами лица, с орлиным носом, с важною поступью, с самодовольною улыбкой, по-видимому, один из самых гордых и недоступных на вид. Он сделал Щелкалову на воздухе какие-то знаки рукою и чуть-чуть шевельнул головою, слегка улыбнувшись.

Щелкалов спросил у меня, знаю ли я этого господина? Я сказал, что нет.

— Как, неужели? — возразил он, лицо его подернулось иронией.— Это, батюшка, лицо замечательное... у нас в свете, в нашем муравейнике... Это такой-то (он назвал мне его имя со всеми принадлежащими к нему украшениями), видите ли, первое — bel homme*, второе — богат, третье — глуп и скучен,— и совершенно в равной степени. От важности и довольства самим собою он как

* красавец мужчина *(фр.)*.

будто не идет по земле, а плывет по воздуху. Он очень хитер на различные изобретения; он долго занимался теорией поклонов и дошел в этом до высочайшей тонкости, надо сознаться. Он кланяется с удивительным разнообразием, смотря по степени важности и значения человека в свете. В Китае он был бы великим человеком. Ему бы надо родиться в Пекине, а не в Петербурге. Самым значительным кланяется он, наклоня голову в пояс и потом медленно приподнимая ее и смотря им прямо в глаза с выражением в зрачке умиления, смешанного с безграничною преданностью; перед менее значительными он наклоняет голову до ложечки, а на лице у него в это время изображается улыбка, выражающая глубочайшее почтение; равным себе он только трясет головою, приятно улыбается и в то же время прикладывает руку к губам; для низших и малозначительных у него тысячи оттенков в поклоне; иным он кланяется, прикасаясь рукою к полям шляпы и сохраняя строгую важность в физиономии; другим — только до половины приподнимая руку; а при встрече с самыми последними, с самыми маленькими, по его мнению, он только делает вид, что желает пошевельнуть руку для поднесения ее к шляпе. У него, впрочем, еще больше этих подразделений; я вам говорю только о самых характеристических! Мне он поклонился как человеку, которого он знает с детства, с которым встречается в свете,— это выражается у него болтаньем руки на воздухе и легкою улыбкой. Хитрый ведь господин!.. Не правда ли?

Произнеся это, барон вдруг поднял голову и начал смотреть на вывески.

— Зайдемте вот в этот магазин на одну минуту,— сказал он мне, оставив мою руку и поднимаясь на ступеньки.

Я пошел за ним.

Простота Щелкалова и его ум внезапно оставили его у порога магазина. Передо мною очутился уже совсем другой человек, или, вернее, передо мною опять был настоящий барон, не имевший ничего общего с тем человеком, который разговаривал со мною за минуту перед тем.

Он начал с того, что толкнул дверь магазина ногою, так что она с силой хлопнула о прилавок и чуть не разбила стекла ящика, за которым хранились вещи.

— Пару перчаток... мой номер! — закричал он по-французски и, засунув руку за жилет, начал зевать при-

нужденно и вслух, небрежно рассматривая разные вещи в свое стеклышко.

— Какого цвета перчатки, господин барон? — спросил магазинщик.

— Gris-perle...* А ведь это недурно! — пробормотал он, обращаясь ко мне и ткнув своей палкой какую-то черепаховую шкатулку с бронзой.— Сколько стоит?

— Сто рублей серебром, господин барон,— отвечал магазинщик.

— Это дорого... Ну, что ж перчатки?

— Вот, господин барон!

И магазинщик подал ему перчатки, завернутые в бумажку.

Барон взял их, положил к себе в карман, проговорил: «На счет», опять зевнул вслух и, едва передвигая ноги, как-то еще особенно шаркая ногами, направился к выходу, потом остановился, полуобернулся и сказал магазинщику, провожавшему его:

— На днях... я зайду... меня просили... Я у вас куплю рублей на пятьсот.

И с этими словами вышел, захлопнув дверь и чуть не прихлопнув еще меня.

Когда барон перестал абонироваться на оперу, он сделался в театре еще заметнее. Он не пропускал ни одного представления, хотя уж потом никогда не покупал кресел. Он знал почти все абонированные кресла первых рядов, потому что они все принадлежали его знакомым; знал, кто из них приезжает в какое время, и по этому расчету садился на чье-нибудь кресло, а при появлении его владетеля пересаживался на другое, и, таким образом переходя с места на место, наконец успокоивался на каком-нибудь пустом, никем не занятом кресле, потому что в опере в первых рядах бывает таких много. Если же театр бывал полон, то он войдет обыкновенно в партер, обведет стеклышком ложи; знакомых окажется, разумеется, довольно, и он в продолжение спектакля кочует из ложи в ложу.

Я сблизился с Щелкаловым в то время, когда у него уже не было ни кресел в театре, ни лошадей на конюшне, ни экипажей в сарае, хотя один из лакеев его все еще красовался в красных плюшевых штанах и в гербовой ливрее, которая, впрочем, была уже значительно поношена. Квартира его в это время заключалась только в трех неболь-

* Жемчужно-матового *(фр.)*.

ших приемных комнатах, в которых, впрочем, от мебели не было проходу. Тут была и мебель работы лучших мастеров, за которую еще не были заплачены деньги, хотя материя, ее покрывавшая, давно истрепалась и испачкалась, и старинная сборная мебель, до которой барон был большой охотник, купленная им на чистые деньги в разных лавочках на толкучем, и старинные бронзы, и фарфоры, и ковры, и драпри у дверей и окон.

Однажды я зашел к нему. Ливрейный лакей, по обыкновению, побежал докладывать. Барон вышел ко мне навстречу в китайском шелковом халате с цветами и птицами и в туфлях с загнутыми носками. Он, шлепая туфлями, лениво передвигал ноги.

— Очень рад,— сказал он, взяв меня за руку и пожав ее.— Извините, что я принимаю вас в таком костюме (и барон распахнул свой халат и засмеялся). Пойдемте ко мне, в мой кабинет: там мы можем усесться покойнее.

(Это было месяцев через пять после вечера у Грибановых.)

Он усадил меня в покойное кресло, сел против меня и распахнул грудь, вероятно, для того, чтобы обратить мое внимание на свое превосходное белье; он ничего не делал без намерения.

— Вы курите? — спросил он меня.

Я кивнул утвердительно головою.

— Сигареты или турецкий табак?

— Сигары,— отвечал я.

— И прекрасно делаете,— возразил Щелкалов,— с хорошей сигарой ничто в свете не сравнится, я вам дам отличнейшую. Они, правда, дороги, мне обошлись рублей по двадцати за сотню; но ведь все хорошее, к сожалению, дорого!

Барон позвонил, и, когда человек явился, он приказал ему придвинуть старинную шкатулку с перламутровыми инкрустациями, в которой лежало несколько сигар.

— Вещь недурная, заметьте,— сказал он мне, указывая на шкатулку.— Этот ящик подарен моему отцу князем N и достался ему от его бабушки графини Анны Петровны. Историческая вещь!

Барон открыл ящик, вынул сигару, придвинул ко мне свечу и начал рассказывать мне о пирах и празднествах своего отца, о князе N, который ездил к нему одному, был с ним очень дружен, и прочее, и прочее. Рассказ его показался мне очень интересным, но впоследствии он повторялся при мне неоднократно и, как я заметил, с раз-

личными прибавлениями и украшениями, что заставило меня несколько усомниться в его исторической достоверности.

— У меня есть много любопытных данных,— прибавил Щелкалов в заключение, подойдя к шкафу, открыв дверцы и указав на какие-то бумаги, перевязанные веревкой,— записки моего деда, отца, переписка его с князем... Я когда-нибудь на досуге примусь за этот хлам, из всего этого можно составить интересную статью... Ну, а что, сигары хороши?

— Отличные,— отвечал я.

Они в самом деле были таковы. Он сам закурил пахитоску, выпустил тонкую струю дыма и вдруг предложил мне вопрос совершенно неожиданный:

— А что, вы часто бываете у наших *общих* знакомых... у Грибановых?

До этой минуты он не только ни слова не говорил о них, даже, казалось, избегал и напоминания.

— Бываю довольно часто,— отвечал я,— они люди очень добрые.

— Да, кажется,— возразил Щелкалов,— хотя надо признаться, что немного смешные, ведь правда? И барыня мне эта не совсем нравится... тетка, что ли? Она уж очень чувствительна и все говорит на французском диалекте. Впрочем, у всех такого рода барынь слабость к французскому диалекту.

Щелкалов помолчал с минуту.

— А дочка... она ведь миленькая, кажется?

— Очень,— отвечал я.

— В самом деле?.. И у нее так себе есть голосок для домашнего обихода... Да что, про нее можно говорить? Вы не влюблены в нее?..

— Нисколько, продолжайте смело.

— Да-с... ну, а скажите, пожалуйста, можно за нею эдак... приволокнуться?

— То есть как, *эдак?* Это семейство очень честное и почтенное.

— О, да я в этом нисколько не сомневаюсь! — воскликнул Щелкалов,— я разумею волочиться самым невинным образом... А то, пожалуй еще, эти тетеньки и папеньки, они будут косо смотреть на это, а? Ведь я мало знаю эти буржуазные нравы.

— Очень может быть,— сказал я, хотя подумал, что тетенька была бы от этого в совершенном восторге.

— Разве приволокнуться мне, на старости лет! —

проговорил он через минуту, зевнув и потянувшись,— потому что *это* уже все надоело мне.

С этим словом Щелкалов придвинул к себе китайское блюдо, стоявшее на столе у него под рукою, и тотчас же оттолкнул его. На этом блюде была груда разноцветных записочек и писем: кружевных, с бордюрчиками, с вензелями, с именами, с гербами, и прочее. До этой минуты я не обратил на него внимания.

— А что это такое? — спросил я нарочно.

— Это? — возразил он с принужденною улыбкой,— различные мои воспоминания, глупости, billets-doux*, это материалы для моей биографии, если я когда-нибудь и за что-нибудь удостоюсь ее. Здесь есть, впрочем, много любопытного. Я иногда роюсь в этих воспоминаниях не без удовольствия... Лучше иметь хоть какие-нибудь воспоминания, чем ничего; правда?

— Я думаю.

Барон опять придвинул блюдо к себе и начал перебирать записки, не упуская случая подсовывать мне под нос, как будто нечаянно, те, на которых красовались гербы и короны. Две или три записочки на французском языке без запятых и точек он тут же бросил в камин, показав мне предварительно первые строки.

В этих записках Щелкалова называли mon petit Sacha**, и вслед за тем речь начиналась о деньгах.

— Это от Камишки,— прибавил он с улыбкою.

Я слышал, что Щелкалов с этой m-lle Камиллой имел какую-то неприятную историю, что он будто взял у нее бриллианты для того, чтобы отвезти их в починку, заложил их и проиграл эти деньги, что-то вроде этого; что она везде об этом кричала, но потом примирилась с ним, потому что он не только выкупил эти бриллианты и возвратил их ей, но еще вдобавок поднес ей какой-то браслет довольно значительной цены.

— А вот письмо,— сказал Щелкалов, выбрав одно из груды и подавая его мне,— прочтите, это стоит того.

Письмо это было написано самым изящным французским языком и почерком и было проникнуто самою безумною страстью.

— Ну что? каково? — возразил он, когда я возвратил ему письмо,— и если бы вы знали, что это была за женщи-

---

* любовные записочки *(фр.)*.

** Сашенька *(фр.)*.

на! Я не стоил ее, не знал ей цены. Мне всякий раз становится досадно и больно за себя...

И он ударил кулаком по столу.

— В этой женщине было все — и красота, и ум, и поэзия; от выражения глаз ее можно было с ума сойти; за нею волочились все, всё было безумно влюблено в нее... Я, знаете, редко могу чем-нибудь увлечься; но, говоря об ней, вспоминая об ней, вы видите, я не могу быть равнодушным.

Щелкалов точно представлял вид человека взволнованного.

— Вы ее не знали,— продолжал он,— вам могу я показать это, не компрометируя ее памяти.

Он отворил стол, вынул из стола коробку, а из коробки медальон и подал его мне.

В этом медальоне был вделан портрет женщины, красоты почти идеальной; по крайней мере мне не случалось встречать таких женщин.

— Неправда ли, хороша? — спросил Щелкалов.

— Даже невероятно,— отвечал я.

— Именно невероятно... c'est le mot!* Да, она была во всех отношениях *невероятна.*

Он взял от меня медальон, посмотрел на него, спрятал в стол и задумался.

— А неправда ли?— сказал он через минуту,— мы живем глупою, изломанною, исковерканною жизнию?

— Да, это правда,— отвечал я.

— Эге! — вскрикнул вдруг Щелкалов, взглянув на часы.— Да уж половина второго... Я в это время всегда завтракаю. Не хотите ли вместе со мною?

Я отвечал, что никогда не завтракаю, но барон позвонил, не обратив внимания на мой ответ.

— Дайте нам чего-нибудь позавтракать,— сказал он вошедшему лакею.

Через минуту на серебряном подносе принесен был только что початый страсбургский пирог, различные холодные закуски на китайских тарелках и две бутылки: одна с лафитом, другая с мадерой, также початые.

Наш общий знакомый, господин с злым языком, уверял меня, что эти закуски, этот пирог и вина — все это театральное; что это не более, как пуф, выставка серебряного подноса и китайских тарелок для поддержания кредита.

Я сам, впрочем, не мог убедиться в этом, потому что

---

* именно так! *(фр.)*

ни к чему не прикасался, а барон тоже едва ковырнул только страсбургский пирог и выпил менее полрюмки мадеры.

Когда я уходил, он сказал мне:

— А знаете ли, соберемся когда-нибудь к Грибановым... а?

— Пожалуй,— отвечал я,— но они скоро переезжают на дачу.

— Право? а куда?

— К Выборгской заставе.

— А-а! это кстати, а я буду жить на Черной речке. Это недалеко. Я люблю ходить и хожу очень много... Я буду заходить к ним. Я надеюсь, что мы будем там видеться.

И он пожал мою руку.

Но еще до переезда его на дачу мне было суждено сойтись с ним у нашего приятеля, господина с злым языком.

Господин с злым языком рассказывал мне об одном очень известном нам обоим промотавшемся лице, которое имело привычку занимать деньги, бросаясь на колени и повторяя: «Семейство, дети, казенные деньги затратил... Завтра ревизия... я погиб!» Эта штука действовала на некоторых, и это лицо выползывало себе довольно значительные суммы, на которые потом задавало тону и блестело между своими приятелями, соря деньгами.

Во время этого рассказа явился Щелкалов.

По шуму, с которым он вошел, по его более чем когда-либо неприступным замашкам, по его веселости — он напевал какую-то бравурную арию — надобно было предполагать, что он перехватил значительные деньги у какого-нибудь новичка.

Он разлегся в кресло, посвистывая; начал выбивать пыль из панталон своей палочкой и прислушиваться к нашему разговору.

— А-а! да я знаю, о ком идет речь,— перебил он.— Вот шут-то!..

— Таких шутов много,— заметил мой приятель.

— Да и то правда! — возразил беспечно Щелкалов.— Ах, господа,— продолжал он,— вы любители артистических вещей и знатоки. Я вам покажу вещицу со вкусом.

Говоря это, он вытаскивал что-то из кармана своего пальто. Вытащив сафьянную коробочку, он открыл ее, вынул из нее какую-то небольшую игрушку и показал

пам. Это была печать с его гербом, ручка которой изображала фигуру, превосходно вычеканенную из серебра.

— Правда ли, артистически сделано? — прибавил он.— Какая тонкая работа! а? Бенвенуто Челлини!

— Хорошо, хорошо! — сказал хозяин дома, рассмотрев печатку и отдавая ее Щелкалову.— Ба! да это еще что у тебя за новое украшение?

Он взял его руку и начал рассматривать перстни, украшавшие один из его пальцев.

— Тут только один новый,— сказал Щелкалов и указал на отличнейшую жемчужину, обделанную в золоте.

— Недурная вещь! а признайся, мой милый, ведь ты соришь деньгами вроде того господина, о котором мы сейчас говорили?

— Какой вздор! — воскликнул Щелкалов, сделав гримасу и пожав плечами.— Что ж тут общего? Хорошо сравнение!.. Очень любезен,— продолжал он, обратясь ко мне и смеясь,— ставит меня на одну доску с эдаким барином!

— А что ж? он бросал деньги на одни глупости, ты бросаешь на другие. Оба вы занимаете. Или, может быть, ты получил наследство? В самом деле, откуда у тебя все эти драгоценности?

Щелкалов сделал гримасу.

— Какое наследство? что ты бредишь? что с тобой сегодня?.. Во-первых, эти вещи мне подарены, а во-вторых, если бы я и купил их, то это такая дрянь, такая безделица, для приобретения которой не нужно, кажется, получать наследства.

— Ах, да я и забыл,— заметил с улыбкою приятель,— что ты необыкновенно счастлив на женщин... Может быть, это сувениры?

Разговор принимал для Щелкалова направление несколько щекотливое, и он вдруг прервал его:

— Ну, полно вздор говорить... Скажите-ка, господа, лучше, где вы завтра обедаете? вы не дали никому слова?

— Зачем тебе это? — спросил хозяин дома.

— Затем,— отвечал он,— что я зову вас обоих перед переездом на дачу отобедать со мной завтра в каком-нибудь кабаке... Я вас угощаю, разумеется... Будет еще человека два наших общих знакомых.

— Нет,— сказал хозяин дома решительно,— я не буду, это пустяки.

— Почему? Что такое?..

— Разумеется, пустяки, потому что ты деньги эти можешь употребить с большею пользою,— например, уплатить ими какой-нибудь из долгов.

Барон весь вспыхнул.

— Я не прошу тебя входить в мои дела и распоряжаться ими, я сумею это сделать и без тебя. Если же тебе нужны деньги, которые я у тебя взял, ты мог бы сказать это прямо, не прибегая к наставлениям и к морали, которую я не терплю... Вот твои деньги.

Он вытащил пачку ассигнаций из кармана панталон, смял их в руке и гордо бросил на стол.

— Мне деньги эти теперь вовсе не нужны, а тебе они, вероятно, пригодятся; возьми их назад и успокойся. Человеку хорошего тона ни в каком случае неприлично так выходить из себя.

— Но...— начал было барон мрачно.

И вдруг остановился, захохотал громко и принужденно, схватил своего приятеля за плечи и сквозь этот натянутый смех произнес, глядя на него пристально:

— Чудак! ты думал, что я в самом деле сержусь? ты принял это серьезно?

— Нет! Я знаю, что ты бросил эти деньги для того только, чтобы показать нам, что у тебя есть деньги. Я тебя вижу насквозь, любезный!

— Что же удивительного?.. и не одного меня, надеюсь? — возразил Щелкалов, улыбаясь принужденно.— Ты, брат, видишь всех насквозь...

Он обратился ко мне и продолжал каким-то торжественным тоном, указывая на нашего приятеля:

— Да, батюшка, перед ним все мы мальчишки! Он имеет полное право читать нам мораль, потому что он смотрит на жизнь просто и здраво: он не заражен этими предрассудками, которые уродуют всех нас; он не спутан ими, как мы... Вы знаете, что он всем высказывает в глаза прежестокие истины; он беспощаден... Это бич наших слабостей, наш Ювенал.

— Эх, господа! — перебил его хозяин дома,— Ювенал слишком велик для вас, а вы слишком мелки для него. Какие вам Ювеналы! вы не стоите не только сатиры, даже мелких эпиграмм; вас и порядочной эпиграммой нельзя прихлопнуть, так вы плоски! Вот хоть, например, ты — у тебя сердце доброе, ты малый неглупый...

Барон иронически улыбнулся и поклонился.

— Я ведь говорю тебе теперь не шутя... ну, на что ты похож, в самом деле, что ты из себя сделал? В тебе

ведь нет ни одного движения, ни одного взгляда, ни одного слова искреннего и истинного; ты весь исковеркан и изломан и наружно, и внутренне. Никакому порядочному человеку в голову не придет, чтобы под этою пошлою маской, которую ты носишь с таким самодовольствием, могли скрываться ум, чувство или хоть что-нибудь человеческое... А в тебе еще есть слабые остатки и того, и другого, но до них добраться трудно.

Щелкалов, слушая это, ходил по комнате, беспрестанно меняясь в лице. Слова эти на него подействовали. Он был взволнован, и волнение это было непритворно, потому что он вдруг сделался прост и натурален.

— Я тебе скажу,— начал он, все продолжая ходить, голосом, в котором не слышалось уже ни одной фальшивой ноты, и как бы забыв о моем присутствии.— Я тебе скажу более: черт знает, я иногда сам в себе не могу ни до чего добраться... такая внутренняя путаница во мне. Что ж с этим делать?.. Во мне было, ей-богу, много порядочного, но воспитание и жизнь все, все изуродовали.

— Да не ломайся хоть перед нами,— возразил господин с злым языком.— Мы,— продолжал он,— знаем все эти штуки наизусть.

И он мастерски очеркнул перед Щелкаловым жизнь его и ему подобных. Мне даже стало жаль барона. Он высказывал ему такие горькие и ядовитые истины, что мне становилось неловко при этой дружеской беседе. Я развернул какую-то книгу и уткнул в нее нос, однако не мог удержаться, чтобы из-под книги не взглядывать на Щелкалова. Мне показалось, что у него навертывались на глазах слезы.

— Ну, что ж? все это правда, горькая правда! — произнес он, когда тот кончил.— Слабость моего характера возмутительна... Я, братец, проклинаю себя за его ничтожность... Ну, веришь ли,— прибавил он после минуты молчания уже в самом деле со слезами на глазах (я это видел ясно),— веришь ли, что я иногда бываю противен самому себе?

— Очень верю,— отвечал беспощадный приятель.

Щелкалов начал опять ходить по комнате в большой тревоге, не видя никого и ничего перед собою, и вдруг почти наткнулся на меня, так что я должен был отодвинуться. Лицо его как-то странно передернулось, когда его глаза встретились с моими, и он в то же мгновение принял великолепную позу и произнес, лениво растяги-

вая слова, как будто у него вдруг язык распух или что-нибудь мешало ему говорить:

— Что, батюшка, каково? а-а? Не правда ли, мне задали порядочную баню? О, да ведь он ужасен! (Щелкалов указал головой на нашего приятеля.) А ведь это время от времени, знаете, полезно... а? Правда?.. Я к нему иногда хожу как к доктору; иногда сам прошу, чтобы он хорошенько меня отделал. Я чувствую, что это мне нужно. И не меня одного, он всех нас так обработывает!

Щелкалов делал над собой явное усилие, чтобы смеяться, и был действительно жалок в эту минуту.

— Однако мне пора,— проговорил он, взглянув на часы.— Я после этой бани должен еще немного отдохнуть, а потом мне надо сделать кое-какие визиты... А что ж завтрашний обед? Мне не позволяется вас угощать? а?.. Ну так в таком случае ты, что ли, меня угощаешь?..

Он взялся за шляпу.

— Деньги-то возьми,— сказал ему хозяин дома, улыбаясь и указывая на пачку смятых ассигнаций, брошенных на стол.

— Ах, да!

Щелкалов взял преспокойно эту пачку, засунул ее в карман, надел шляпу, пожал нам руки и вышел, мурлыча ту же арию, с которой вошел.

— Каков!..— сказал господин с злым языком, обращаясь ко мне и смеясь,— а ведь мог бы быть порядочным человеком, если б его взять в хорошие руки лет десять тому назад; теперь, конечно, поздно, он уж никуда не годится... и, наверно, кончит плохо...

— Вы его, однако ж, жестоко отделали! — заметил я.

— Да что! ему это нипочем, с него все как с гуся вода; он сначала как будто тронулся немножко, а потом опять стал кобениться... Я его знаю с детства; человек он в самом деле не глупый, но от пошлости и пустоты жизни у него уже начинают тупеть и слабеть умственные способности и, что всего хуже, стираться чувство чести. Он теперь не может сосредоточить свои мысли ни на чем, ни над чем не в состоянии задуматься серьезно — хоть на четверть часа... Рысак, кольцо, старая саксонская или китайская кукла, Дарья Александровна — мгновенно изгоняют из его головы всякую мысль. Сердце у него также доброе, но что в этом сердце?.. С ним часто бывает так, что у него один целковый в кармане, встретится нищий — и он отдаст ему этот последний целковый...

мне это случалось видеть не раз, и отдаст именно по влечению сердца... разве с небольшою примесью другого ощущения, никогда не оставляющего его — желания показать, что ему деньги нипочем. А иногда у него набит карман деньгами, вот как сегодня,— занятыми, но это, правда, редко, и он не даст гривенника человеку, умирающему с голоду; у него все случайно, все зависит от минуты. Передо мной он не скрывает своих плохих дел и на днях меня ужасно рассмешил: говорит, что непременно займется делом... каким бы вы думали? вы не угадаете ни за что... будет писать статьи для журналов; у него, видите ли, много исторических материалов, напечатает свои стихи и за все это получит довольно значительные деньги! И он в самом деле от души верит, что это возможно. Такие признания он делает, впрочем, только мне одному. Он пришел бы в отчаяние, если бы кто-нибудь другой узнал, что ему приходится трудом добывать деньги. Ему за труд получить деньги — стыдно, а обмануть кого-нибудь, занять и не отдать — ничего. Хороша среда, которая вырабатывает такого рода господ.

Глава IV

в которой описывается прелесть дачной петербургской жизни, дачная природа и дачные препровождения времени и увеселения

Семейство Грибановых переехало на дачу в конце мая... Кстати о петербургских дачах. Вот как характеризует эти дачи один мой приятель в одном из своих неизданных сочинений... Этот отрывок я беру *с его дозволения.* У нас, впрочем, бывали примеры, что приятельские сочинения брали без дозволения и, изменив несколько слов, подписывали под ними свое имя. Я нахожу, что это неделикатно.

«...Большая проезжая дорога, над которой поднимается беловатое облако пыли, разносимое ветром то направо, то налево, а во время дождей непроходимая грязь. По сторонам этой дороги деревянные домики с зубцами и башенками: подражание готическим средневековым замкам, более, впрочем, похожие на высокие пироги из миндального теста. Домики эти имеют также сходство с балаганами, которые в Петербурге строятся на Адмиралтейской площади, а в Москве под Новинским, тем более, что они сколочены также из досок и барочного леса. Перед ними палисаднички, обнесенные решетками и за-

борами. В каждом палисадничке тощая березка или липка с засохшей вершинкой, кусты какой-нибудь зелени, прижженные солнцем и напудренные пылью, и цветничок, также с напудренными цветами, не издающими ни малейшего аромата. Сзади небольшой пруд, подернутый плесенью, и всегда плоское поле с мохом и кочками или просто болото. Палисадник возле палисадника, балаган возле балагана, почти стена об стену, или, правильнее, доска об доску, так что если, например, в одном балагане дама чихнет от пыли или от сырости, из другого балагана кавалер на это чиханье может пожелать ей громко здоровья... Часов в восемь вечера все это плоское пространство покрывается болотными испарениями, беловатым туманом, из которого только торчат зубцы и башенки. Когда луна поднимается из этих испарений и осветит это пространство, оно издали покажется морем, а башенки мачтами барок, и если дама в приятном сообществе неосторожно засидится на своем балконе при этом лунном освещении, то ее пышно накрахмаленный кисейный капот превратится непременно в мокрую тряпку...

Но не все петербургские дачи построены на болотистых пространствах, и тот, кто полагает, что кругом Петербурга нет ничего, кроме воды и болота, находится в совершенном заблуждении. Близ Петербурга есть и возвышенности, и на этих возвышенностях торчат также миндальные башенки. В какую бы, впрочем, сторону ни выехать за черту Петербурга — башенки будут преследовать повсюду. Петербургский житель не может никак летом обойтись без башенок, в которых ветер продувает его насквозь, а дождь сквозь щели крыш льет ему на голову. Любители сухого воздуха отыскали себе близ самого города сухой оазис, где нет ни капли воды: где только песок и сосны — сосны и песок; где нога тонет по колено в песке или скользит на сосновых иглах, или спотыкается на сосновых шишках; где нет ни одного сочного, свежего и светлого листка и где природа вся колется, как еж. Здесь те же башенки и зубчики и те же палисадники, выходящие на пыльные улицы, но от этой пыли уже не чихаешь... это не шоссейная пыль, превращенная в мелкий порошок и ядовитая, как табак,— это массивная и густая пыль, тяжело висящая в воздухе, от которой можно задохнуться... В палисадниках кроме сосны попадается иногда только что пересаженная откуда-то рябина, липа или березка, тонкие и робкие, на которые мрачно ощетинившаяся сосна, кажется, смотрит враждебно, как на не-

законно попавших в ее исключительное владение, в это царство песку, где она разрастается и плодится самовластно.

На этих-то песках или на этих болотах проводят петербургские жители три месяца в своих миндальных башенках, выглядывая на природу по большей части из теплых салопов и ваточных пальто. Но когда петербургская природа улыбнется, когда солнце осветит эти башенки, все дачное народонаселение высыпает на поля и на улицы наслаждаться природой.

Барыни и барышни, затянутые и закованные в корсеты, в накрахмаленных юбках, в кисеях и в батистах, в прозрачных шляпках, под зонтиками и вуалями чинно гуляют по пыльному шоссе, по песку или по мху и кочкам в сопровождении штатских или военных кавалеров и наслаждаются природой, называя холмик — горою, пруд, вырытый для поливки цветов,— озером, группу дерев — лесом, четыре дерева — рощею, и так далее. Иногда вдруг барышне вздумается побегать на вольном воздухе, что весьма натурально... Она взглянет на маменьку и побежит, а кавалер, военный или штатский, сейчас за нею — догонять ее. Он, разумеется, тотчас же поймает ее за талию, потому что она бежать не может, барышня вскрикнет или взвизгнет: «ах!» и, запыхавшись и раскрасневшись, возвратится к своей компании, которая встретит ее веселым смехом. Пройдя таким образом известное пространство, компания повертывает домой. Барышни и барыни, возвратясь с прогулки, стряхают и смывают с себя пыль, вытираются и притираются и возвращаются на балкон или на террасу очаровывать своих кавалеров, которые любезничают и курят, курят и любезничают... Зимой не дозволяется курить при дамах: это для мужчин также одно из дачных наслаждений — барыни, барышни и папироски...

За готическим домиком из барочного леса бывает иногда садик шагов во сто длины и шагов в пятьдесят ширины. Семейство пьет чай или обедает в этом садике на свежем воздухе, хотя свежий воздух пахнет конюшней, гнилью и еще чем-то более неприятным, потому что с одной стороны к садику прилегает здание конюшен, а с другой какие-то развалившиеся домашние строения. Верстах в полуторах бывает обыкновенно какой-нибудь большой сад с парком, с прудами, где водятся караси; с беседками, стены которых исписаны различными остроумными русскими и немецкими надписями карандашом, мелом и

углем и изрезаны ножом; с памятниками, с мостиками, с парнасами и с другими барскими затеями. Это — любимое место для прогулок окрестных дачных обитателей, и у каждой дачной барышни и барыни есть непременно любимое место в этом саду: скамейка, с которой вид на поле, или уединенная беседка в тени акаций и лип, драгоценные ей по каким-нибудь воспоминаниям... Здесь на скамейке, на дереве или на колонне, украдкой ото всех, барышня вырезала начальную букву имени *его,* иногда год, число и месяц, незабвенный для нее месяц и еще более незабвенное число. Здесь есть горка, с которой обыкновенно любуются закатом солнца; аллея, в которой гуляют при луне,— и на горках, в аллеях, в беседках — везде звуки немецкого языка, неизбежного на всех летних публичных гуляньях.

На петербургских дачах — где бы ни были эти дачи, в болоте или на песке, на высохшей речке, через которую куры переходят вброд, или у моря за сорок верст от города, где дачная жизнь принимает уже широкие размеры, где веет запахом полей, где в лесах, рощах и парках встречаются столетние деревья,— на одно русское семейство непременно десять немецких. Самый бедный немец не может обойтись без дачи; летом его так и тянет in's Grüne*. Где есть только подозрение природы, слабый намек на зелень, какие-нибудь три избушки и одна береза, одну из этих избушек немец непременно превратит в дачу: оклеит ее дешевенькими обоями, привесит к окнам кисейные занавесочки, поставит на подоконники ерань и лимон, который посадила в замуравленный горшок сама его Шарлота; перед окном избы выкопает клумбочку, насадит бархатцов и ноготочков... и устроит свое маленькое хозяйство так аккуратно и так уютно, как будто лето должно продолжаться вечность. Тогда как иной русский и с деньгами наймет себе огромную и дорогую дачу, да и живет целое лето настежь, нараспашку, как ни попало, без занавесок, без стор, в крайнем случае защищаясь от солнца салфеткой, которую прикрепит к окну чем ни попало, хоть вилкой, если вилка попадется под руку. «Что,— думает он,— стоит ли устраиваться: ведь лето-то коротко. Не увидишь, как и пройдет. Авось проживем как-нибудь и так».

Именины или рожденья на дачах празднуются обыкновенно с большим шумом и блеском, особенно немцами:

---

* на природу *(нем.)*.

в эти торжественные семейные дни балконы убираются гирляндами цветов, а вечером вся дача освещается разноцветными фонариками; знакомые привозят иногда с собой сюрпризы в виде карманных фейерверков. Эти же знакомые лазят по лестницам и развешивают цветные фонари под главным надзором какого-нибудь друга дома Адама Карлыча, и когда все готово, выводят хозяина и именинницу хозяйку полюбоваться этими сюрпризами, которые повторяются лет двадцать сряду. Тогда начинаются крики «браво!»; кричат гости, дети, младенцы, все кричит и радуется, и вдруг из этой толпы раздается один какой-нибудь голос: «Качать Адама Карлыча!» Другие голоса подхватят: «Качать, качать его!» Смущенный Адам Карлыч обращается в бегство, его преследуют, его ловят, его догоняют, его, наконец, качают при усилившемся крике и смехе, а за палисадником на улице тоже хохотня и писк.

Так веселятся на петербургских дачах средней руки, но около Петербурга есть другого рода дачи — с цельными стеклами до пола, с террасами, с галереями, с балконами, уставленными деревьями и цветами, с удивительными фонарями; с садами, в которых дорожки усыпаны красным песком, а травка подкошена и подчищена, где вместо заборов подстриженный кустарник, красивее ширм, где мраморные вазы, ванны и бессейны, где не только нельзя лечь на траву, но не решишься даже плюнуть на дорожку, где просто ходить опасно по дорожкам, ибо на этом красном песке, красиво и искусно подметенном, нет ни одного следа человеческого. Хозяин и хозяйка этой великолепной обстановки, этой изящной декорации, называющейся дачею, много что раза два в лето пройдутся по этому саду. Они ходят мало, они природой любуются свысока, из своих экипажей, с седел своих верховых английских лошадей или с своих великолепных балконов и террас...»

Мой приятель, как заметил уже, вероятно, читатель, смотрит на петербургские дачи с юмористической точки зрения. Я этой точки не люблю, я смотрю на дачи очень серьезно и нахожу, что они составляют существенную потребность в жизни петербургского жителя; но дело не в том. Дача, которую нанимали Грибановы, одна из ближайших дач за Выборгской заставой, по дороге, ведущей к Парголову, была построена без особенных затей. На ней не торчали миндальные башенки и не было видно ни одного зубчика: это был просто домик с мезонином, с обыкно-

венной крышей и с крылечком, выходившим в палисадник. Такая простота несколько смущала Лидию Ивановну, которая, смотря на этот дом, обыкновенно говорила: «Что это за постройка! это совсем не похоже на дачу, точно как будто дом в уездном городе... никакой архитектуры!» Зато ей чрезвычайно нравилась дача, которая была почти напротив их, принадлежавшая какому-то золотопромышленнику, в которой готизм доведен был до невероятного. К дому приклеены были семь небольших башенок и восьмая большая, с часами, у которых бой был с музыкой... Кроме того, вся она была изукрашена зубчиками и фестончиками, а кругом ее были вырыты рвы и через них устроены подъемные мостики. Сад, окружавший ее на малом пространстве, представлял множество разнообразнейших и затейливейших выдумок: фонтанчики, гроты, пруды с островками, паромы и прочее. Лидия Ивановна говорила, что этот сад и дача — маленький эрмитаж, но ни Алексей Афанасьич, ни Иван Алексеич не разделяли в этом случае ее мнения. Алексей Афанасьич называл эту дачу вербной игрушкой, а Иван Алексеич приходил от нее даже в негодование:

— Так искажать,— говорил он с важностию,— и обезображивать природу, и превращать архитектуру в кондитерское изделие — непозволительно.

По поводу этой дачи возникали даже в этом образцовом семействе споры, доходившие иногда до размолвок.

— Кажется, более меня уж никто не любит природы,— замечала Лидия Ивановна,— но я восхищаюсь равно и природой, и искусством, и диким местоположением, и обделанною и украшенною местностью. Все хорошо в своем роде.

— Помилуйте, какое тут искусство! — возражал Иван Алексеич,— это не искусство, а оскорбление искусства, пародия на искусство. Рыцарские замки из барочных досок, раскрашенные и вымазанные сусальным золотом!..

— Ну, стало быть, я ничего не понимаю,— перебивала Лидия Ивановна,— стало быть, я не умею ценить искусства?

Алексей Афанасьич приходил при этом в беспокойство и вступался в разговор.

— Нет, не то, матушка,— говорил он самым мягким и примирительным голосом,— вы очень хорошо понимаете искусство, Иван это знает; но у вас есть страстишка к игрушкам, это вам и нравится как игрушка.

— Какие игрушки! что за *страстишка!* какие у вас

выражения! — вскрикивала Лидия Ивановна,— разве я ребенок, чтобы мне нравились игрушки? и прочее.

Но когда раздражительность Лидии Ивановны стихала, когда она успокаивалась и принималась лепить свои цветочки, а Иван Алексеич принимался декламировать свое новое стихотворение и когда потом они принимались восхищаться произведениями друг друга, тогда Алексей Афанасьич чувствовал то внутреннее умиление, от которого на глазах у него обыкновенно проступали слезы.

Все семейство, постоянно восхищавшееся природой, предавалось с увлечением различным дачным наслаждениям. Алексей Афанасьич все свободные свои минуты проводил в окружных лесах, отыскивая грибы, и для грибов забывал даже свои силуэтики. Сын как поэт бродил со стихом и рифмой на устах по окрестным полям и рощам. Лидия Ивановна занималась уже более настоящими, нежели восковыми, цветами. Она устраивала клумбы в своем палисаднике, садила цветы, ухаживала за ними, поливала их — и *изучала,* по ее собственному выражению. Наденька, обыкновенно, помогала ей в этом занятии; а Пелагея Петровна всё собирала васильки во ржи: наберет целую охапку васильков и начнет, бывало, плесть из них венки, сплетет венок и украсит им соломенную шляпку Лидии Ивановны, которая непременно заметит ей с приятной улыбкой:

— Merci, милая! но только, право, мне это не по летам.

Когда Алексей Афанасьич возвращался из леса и когда поход его был удачен, он сзывал всех домашних, улыбался и потирал руки, а вслед за ним приносили обыкновенно корзину с грибами.

— Посмотрите,— говорил он, тая от умиления,— какие березовики-то... молоденькие, беленькие... а подосиновичек-то! каков?.. а белый-то грибочек, посмотрите, Пелагея Петровна, какой махонький!.. Вот это вы велите изжарить, да со сметаной... Чудное будет блюдо... А эти вот отобрать да посолить.

И когда на столе являлась сковорода с его грибами, плававшими в сметане, Алексей Афанасьич, смакуя их, обращался поочередно ко всем.

— Каковы грибки-то! — восклицал он в умилении.

И при этом глаза его немного увлажнивались.

На даче Алексей Афанасьич становился обыкновенно еще более мягкосердечен и чувствителен. Это должно было приписать действию природы.

Когда я, бывало, приеду к ним на дачу, он встретит меня первый, обнимет, расцелует...

— Ну, очень рад, очень рад,— непременно скажет он,— и прекрасно сделал, что приехал. Что в городе-то задыхаться от пыли и жара! Видишь, какое здесь раздолье, какой воздух!.. а погода-то какая стоит — чудо!.. посмотрите на небо, ни одного облачка... Да ты бы к нам на несколько дней, погостил бы у нас, мы вместе пошли бы за грибками... и прочее.

Потом он также непременно прибавит:

— Какой цветничок развела Лидия Ивановна, посмотри, ведь это просто прелесть. Не правда ли?

Покажет на высокую и кудрявую ольху, которая росла у них за домом, хотя я уж двадцать раз видел ее, и воскликнет:

— Какая здесь растительность-то необыкновенная! где ты под Петербургом найдешь такое дерево? Да ведь здесь и воздух какой!.. Нигде в окрестностях нет такого воздуха!.. Поверь мне... это я и на себе чувствую, да вот Лидия Ивановна и дети находят то же.

Если польет дождь, Алексей Афанасьич и от дождя приходит в восхищение.

— Как хорошо,— говорит,— теперь цветочкам-то и зелени! Они обмоются, освежатся.

Старик всегда и всем был доволен, его только немного смущали и тяготили церемонные знакомства, и когда Щелкалов в перый раз появился у них на даче, никем не жданный, врасплох, Алексей Афанасьич, лежавший в эту минуту на траве под деревом, без галстуха и в туфлях, наморщился, почесал затылок и произнес вполголоса:

— Ах! зачем это его принесла нелегкая!

Потом он улыбнулся и обратился ко мне, приподнимаясь неохотно:

— Что, делать нечего, видно, придется натягивать сапоги и галстух.

Дамы, сидевшие на крылечке, первые увидали Щелкалова, вскрикнули и бросились в дом для того, чтобы принарядиться. Я остался один в палисаднике и пошел навстречу нечаянному гостю.

Он стоял у калитки, посматривая кругом в свое стеклышко.

— А, здравствуйте! — закричал он, отталкивая ногой калитку.— Да у кого вы здесь? Тут, что ли, живут Грибановы? Я их ищу.

— Тут,— отвечал я.

- Вот это очень кстати, что я вас нахожу здесь... Однако ж это довольно далеко. Я, любезнейший, пешком с своей дачи!.. а? порядочное путешествие!..

Говоря это, барон вошел в палисадник, осмотрел все кругом в свое стеклышко, бросился на скамейку, стоявшую у калитки, и, чертя на песке тросточкой, сказал:

— Ну-с, а где же хозяева?

— Они дома. Мы подождем их тут; они сейчас придут.

Я боялся Щелкалова пустить в дом, где должна была, по моим догадкам, происходить суматоха.

— А что, вы знаете толк в английских лошадях? — вдруг спросил меня Щелкалов, приподняв немного голову и потом снова опустив ее и продолжая чертить на песке.

— Ни малейшего,— отвечал я.

— Неужто?

Барон опять приподнял голову и взглянул на меня, улыбнувшись, с выражением сожаления. Я знал, что, по мнению его, первым признаком *порядочного* человека, *настоящего* джентльмена, была страсть к лошадям и охоте, к этим двум важнейшим отраслям *спорта,*— единственная, впрочем, страсть, допускавшаяся джентльмену. Говоря о лошадях и об охоте, джентльмен мог даже выходить из себя. Он непременно обязан был хоть прикидываться лошадиным знатоком и знать наизусть всех лошадей известной породы, внесенных в знаменитую Stud-Book. Я не раз слышал барона, красноречиво развивавшего целые теории о лошадях, выученные наизусть из Bel's Life, английского спортсменского журнала. И хотя вопрос Щелкалова, несмотря на его неожиданность, не удивил меня, потому что он часто предлагал вопросы еще неожиданнее и еще страннее, я, однако, спросил его:

— С какой точки зрения вас может интересовать, знаю ли я толк в лошадях или нет?

— Так,— отвечал он,— если бы вы знали в них толк, я показал бы вам удивительную английскую лошадь, которую я теперь торгую,— породистую лошадь, кровную... чудо лошадь! Немного дороговько просят, впрочем, я думаю, придется разориться.

Разговор о лошади, нимало не интересовавший меня, к моему счастию, прекратился появлением Лидии Ивановны и Наденьки, а вслед за ними и Алексея Афанасьича в сапогах и в галстухе. Увидев их, Щелкалов лениво приподнялся со скамейки, небрежно поклонился дамам,

сказал Алексею Афанасьичу: «Здравствуйте» — и протянул ему два пальца.

— А знаете, как я к вам сюда явился? угадайте!..

Все молчали, не зная, что на это отвечать.

— Пешком-с,— продолжал барон, смеясь,— с своей дачи. Это по крайней мере верст пять... как вам это нравится, а?

И Щелкалов посмотрел на всех, как бы ожидая знаков удивления.

— Неужели?— воскликнула Лидия Ивановна первая,— возможно ли это?

Она была точно поражена этим. По ее мнению, ноги такой особы могли только прикасаться к паркету или к обделанным дорожкам, усыпанным толченым кирпичом.

— Вы устали, барон?— продолжала Лидия Ивановна с беспокойством,— пожалуйста, садитесь. Да скажите, что это за фантазия пришла вам — пешком?

Щелкалов засмеялся.

— Я могу отвечать вам на это: *у всякого барона своя фантазия.* Мне так вздумалось; я хотел сделать опыт; но, я думаю, в другой раз я не повторю этого... Ну, что, как *наша* музыка?— прибавил он, обращаясь к Наденьке.

Наденька вспыхнула и улыбнулась. В этой улыбке было видно, что ей очень приятно внимание Щелкалова.

— Летом я совершенно свободен, я буду заезжать к вам часто, и мы будем с вами заниматься музыкой. Хотите?

Наденька покраснела еще больше и отвечала на это только приятным наклонением головы.

— Музыка и природа, хоть с иглами, а все-таки природа!— заметил Щелкалов, указывая на сосну, торчавшую перед крыльцом.— Летом нет других развлечений... А где ваш сын?

Барон при последних словах обернулся в ту сторону, где стоял Алексей Афанасьич.

— Да бог его знает,— отвечал старик,— он иногда пропадает по целым дням. Ведь он артист, поэт, бродит себе по полям, по лесам; говорит, будто бы летом он всегда живет растительною жизнию; да это неправда, тут-то у него и зарождаются различные поэтические планы... Я подозреваю, что он теперь пишет какую-то большую вещь; от нас это он еще держит в секрете. Выведайте-ка его, барон, когда вы увидитесь с ним. Он вам, верно, проговорится.

Старик оживился, говоря это. Голос его уже дребезжал, и слеза блестела на реснице.

Барон остался довольно долго, любезничал с Наденькой, аккомпанировал ей и пел вместе с нею. Пелагея Петровна разливала, разумеется, чай в задней комнате, а Макар, в нитяных перчатках, разносил его на серебряном подносе. Часов в двенадцать, среди общего разговора, Щелкалов обратился ко мне:

— А что, у вас здесь есть какая-нибудь колымага? вы меня довезете?

— Пожалуй,— отвечал я.

Дорогой Щелкалов больше дремал. Когда уж мы подъехали к его даче, он зевнул, потянулся и сказал:

— А, право, эта девочка премиленькая! а?.. Как она сложена славно. Если бы дать ей манеры, воспитать в хорошем доме, она произвела бы эффект в свете! Неправда ли?

Я не счел нужным что-нибудь отвечать на это, да к тому же в эту минуту мы подъехали к даче и Щелкалов закричал моему кучеру:

— Стой!

Выскочил из коляски, сделав мне приветливый знак рукою, и сказал, кивнув головой:

— Благодарствуйте...

После этого я не был месяца полтора у Грибановых. С Щелкаловым в это время я также нигде не виделся. Раз на каком-то загородном гулянье я встретился с молодым человеком, влюбленным в Наденьку.

— Ну что, как поживают Грибановы? — спросил я его.

— Я не знаю,— отвечал он сухо.

— Как! вы не знаете? Полноте! а Надежда-то Алексеевна? — возразил я.

— Что ж мне такое Надежда Алексеевна?

— Как что? ведь вы влюблены в нее? И она в вас. Полноте, не скрывайтесь. Я ведь все знаю.

— Плохо же вы знаете! — отвечал молодой человек с раздражением,— влюблена она не в меня, да мне и не нужно ее любви... Она с ума сходит от этого франта, от этого барона, который приволакивается за нею не на шутку.

— Будто? да разве он часто бывает у них?

— Чуть не всякий день. Вы можете постоянно найти его там. Уж он сделался у них совсем домашним человеком: Пелагея Петровна и чай разливает при нем, даже иногда дело обходится и без серебряного подноса, и

Макар уж начинает появляться без перчаток, как бывало при нас, запросто. Лидия Ивановна, натурально, в восторге, что такой аристократ сделался у них в доме своим, и у нее только на языке, что барон: барон сделал то-то, барон сказал то-то, барон купил то-то, а этот барон лжет перед ними и ломается. Даже и этот добрый Алексей Афанасьич доволен, кажется, обществом барона; ему позволяется теперь снимать галстух в его присутствии, и старик рассказывает о нем уже со слезами на глазах от умиления.

— Не может быть! — воскликнул я.

— Я вас могу уверить,— продолжал молодой человек, одушевляясь.— И этот барон еще привозит с собою своего друга, этого противного господина Веретенникова, который ему необходим, потому что он занимает Лидию Ивановну и Алексея Афанасьича в то время, как тот занимает Надежду Алексеевну...

— Полноте, вам это все так кажется! — возразил я.

— Нет, не кажется, а все это так есть... спросите хоть у Пруденского. Но всех противнее это уж, конечно, Иван Алексеич. Он очень хорошо видит, что тот волочится за его сестрою, очень хорошо знает, что это волокитство ни к чему не поведет, что барон ведь не женится на ней; а способствует еще их сближению, льстит ему, а нам всем ругает его, говорит, что он всех этих светских людей презирает... И знаете ли, из-за чего это он льстит барону и потакает своей сестре? Как бы вы думали? Из-за того, что тот выслушивает его стихи, восхищается ими, кричит о них, обещает ему устроить чтение в каком-то аристократическом доме, познакомил его с каким-то князем. Иван Алексеич так и растаял от всего этого, а нам не хочет, разумеется, показать этого и говорит, что он все делает не для себя, а единственно для того только, чтобы заинтересовать аристократический круг русской литературой. Комедия, да и только!

— Вот как! а я этого ничего не знал. Я уж у Грибановых не был больше месяца.

— Я тоже не был у них дней десять,— перебил молодой человек,— да там просто противно бывать теперь, и они оба — и барон, и Веретенников смотрят на нас свысока, едва говорят, едва удостоивают взгляда. Пруденский все навязывается к ним с своими разговорами, а они чуть не отворачиваются от него. Охота же ему! Я не понимаю этих людей, а еще все толкуют о чувстве собственного достоинства и о том, что никому не позволят себе наступить на ногу, ни перед кем не уронят себя!..

Я на другой день отправился к Грибановым. Мне, признаюсь, любопытно было поверить все это собственными глазами.

Я приехал к ним на дачу часов в восемь. Это было уже в августе месяце; солнце садилось. Вечер был ясный, с небольшим холодком. Я нашел все общество в гостиной. Лидия Ивановна сидела на диване перед круглым столом, на котором стояла уже зажженная лампа, потому что в комнате было темно от деревьев. Лидия Ивановна находилась, по-видимому, очень в приятном расположении и одета была очень пестро и нарядно. На Алексее Афанасьиче были галстух и сапоги. Лицо его было все подернуто умилением, а глаза слезой; значит, он был совершенно доволен собой и окружающими. Иван Алексеич просто сиял и как-то все сладко улыбался. Посторонних было четверо: Веретенников, Пруденский, влюбленный в Наденьку молодой человек и бойкая барышня. После обыкновенных любезностей: «Что вы поделываете? — Как давно вас не видно.— Вы нас забыли...» и тому подобного — я сел и, осмотрясь кругом, спросил:

— А что Надежда Алексеевна? Здорова ли она?

— Слава богу, покорно вас благодарю,— отвечала Лидия Ивановна,— она поехала кататься с бароном в его английском экипаже; они, я думаю, скоро вернутся. Какой прелестный экипаж у барона! — вы не видали этого экипажа? Совершенно как игрушка... И какая лошадь! Удивляться, впрочем, нечего, у барона столько вкуса!

Во время этих восклицаний влюбленный молодой человек, разговаривая с бойкой барышней, все посматривал на Лидию Ивановну, иронически улыбаясь.

— Да! другого такого экипажа нет в Петербурге,— заметил Веретенников и потом обратился ко мне, поправляя свои воротнички: — А я вчера был у графа Петра Николаича... Как он, батюшка, переменился, исхудал — ужас!.. однако теперь ему, слава богу, гораздо лучше.

Кто такой был этот граф Петр Николаевич и почему Веретенников полагал, что его здоровье может интересовать меня, я решительно не знал, но спросил:

— Чем же он был болен?

— Как? разве вы не слыхали? Страшное воспаление в горле. Он не мог ничего глотать, его жизнь была в опасности. С месяц тому назад мы были вместе на даче у графини Веры Васильевны. Вечер был неслыханно хорош. Графиня вздумала кататься на лодке, а уж граф чувствовал себя не очень хорошо. Я ему и говорю: «Пет-

руша, ты, братец, не езди, ты можешь простудиться, все-таки сыро... особенно на воде...»

Веретенников, кажется, хотел пуститься в длинную историю. Я предупредил его:

— Да о ком это вы говорите? Кто же это такой граф Петр Николаич?..

— Граф Красногорский! — возразил Веретенников,— двоюродный брат моего зятя, князя Петра... да разве вы его не знаете?.. Pardon! а мне казалось, что я вас встречал у него...

И он от меня обратился к Лидии Ивановне и продолжал ей досказывать, вероятно, прерванный моим приходом рассказ, который так и кишел аристократическими именами.

Я подошел к Алексею Афанасьичу.

— Сколько времени носу не показываешь! как же не стыдно! — сказал он мне с упреком. Алексей Афанасьич и другим своим коротким знакомым говорил иногда *ты*, когда уж был в очень хорошем расположении духа.— А мы, братец,— продолжал он,— превесело проводим время; у нас всякий день кто-нибудь из добрых приятелей.

Алексей Афанасьич встал, взял меня за руку и вывел на крыльцо.

— Ты знаешь,— начал он,— барон-то ведь почти своим человеком сделался у нас, как ты, ей-богу... И ведь он прекрасный и предобрый человек, простой такой! Это он с виду только кажется таким гордым; ну, да в их кругу у них у всех такие манеры, а я тебе говорю, что он прерадушный, пребесподобный человек! как он смешит нас! Мастер рассказывать... в нем бездна юмора, это совершенно справедливо замечает Иван.

Не трудно было догадаться, что мнение о Щелкалове было внушено отцу сыном.

— Ах, я, братец, главного-то тебе не сообщил! (Старик вдруг весь встрепенулся.) Ты не знаешь новость об Иване-то?

— Нет, что такое?

— Ведь он читал свое сочинение на вечере у княгини Воротынской! Ведь нарочно для него был устроен литературный вечер! Вся знать была, решительно вся! Эффект был такой произведен, что и рассказать нельзя. Все были в восторге, жали ему руки, не верили, чтобы на русском языке можно было так хорошо писать стихи... Княгиня-то умнейшая дама и с величайшим вкусом. Иван говорит, что это просто замечательнейшая женщина, что ее

салон напоминает исторические салоны, о которых дошли до нас известия... вот как, например, Рамбулье, что ли? Иван так обласкан княгинею, она так полюбила его!..

У старика закапали слезы.

— Ты ведь знаешь Ивана, он с характером, он достоинства своего не уронит ни перед кем — нет! Заискивать ни в ком не станет; он горд; он нисколько не увлекается этим и теперь говорит, что ни за что не поехал бы в большой свет, даже к такой женщине, как княгиня, если бы не предвидел от этого пользы для русской литературы... Это он приносит жертву литературе. И точно, надобно теперь сближать, братец, общество с литературой, об этом должно заботиться прежде всего... это главное.

Алексей Афанасьич разгорячился, говоря это, и размахивал руками. Мне было несколько и смешно, и тяжело слушать эти нашептанные ему фразы, значение которых он едва ли мог ясно растолковать себе.

— Барон говорит,— продолжал старик все со слезами на глазах,— что Иван всем очень понравился; нашли, что он, кроме таланта, чрезвычайно благовоспитанный молодой человек, умеет держать себя в обществе... Ну, слава богу! это меня радует, наши старания о нем были по крайней мере недаром. Да это все, впрочем, вздор, главное-то талант, это уж от бога! А какой талант-то! Что он написал третьего дня! Он прочтет тебе... Лучше этого ничего еще он не писывал, по моему мнению; так вот мороз пробегает по коже, как слушаешь... Ходит да бродит по полям да по лесам, да вот и выходит этакое стихотворение... Княгиня-то живет на даче, он был у нее там. Какие, говорит, у нее бананы, цветы, бронзы! роскошь неслыханная! Знаешь ли, сколько у нее дохода-то? Около миллиона! Нам с тобой хоть бы десятую долю этого, и тем были бы довольны! Ей-богу, так.

И старик сквозь слезы залился добродушнейшим смехом, ударив меня по плечу.

Когда я возвратился в гостиную, Лидия Ивановна встретила меня вопросом:

— А вы слышали, какой успех имел наш Иван Алексеич в большом свете?

Иван Алексеич как бы с упреком посмотрел на тетушку и, наклонясь ко мне и взглянув на Пруденского, сказал вполголоса с своею вкрадчивою и сладкою улыбкою:

— Все похвалы и восторги этих господ я, право, сейчас променяю на одно умное и дельное замечание доброго приятеля, потому что эти великолепные господа не пони-

мают и не могут ценить искусства так, как мы, простые люди, понимаем его и ценим.

— Dixi! — произнес Пруденский, поправив свои золотые очки.

Скоро после этого Щелкалов и Наденька возвратились с прогулки. В Наденьке я нашел большую перемену: мне показалось, что она похорошела и что в лице ее было гораздо более живости и одушевления. Щелкалов не изменился ни на волос. Он вошел в комнату, напевая, бросился на стул, положил нога на ногу, так что носок его сапога коснулся края круглого стола, за которым сидела Лидия Ивановна, осмотрелся в свое стеклышко, увидел меня, промычал свое длинное — *а-а-а!* и протянул мне руку через голову, а я думал: откуда это у тебя, любезный друг, снова английские-то экипажи и лошади? Но впоследствии оказалось, что все это не принадлежало Щелкалову, а было взято им у приятеля и что Щелкалов бросал пыль в глаза, как и всегда, на чужой счет.

— Ваша Надежда Алексеевна, — начал Щелкалов, — большая трусиха; она боится, если лошадь побежит рысью; а моя *Бьютти* смирна, как ягненок, и выезжена так, что ею может управлять не только такой взрослый и пожилой человек, как я (барон улыбнулся), но восьмилетний ребенок; к тому же Надежда Алексеевна уверяет, что у нее голова кружится, потому что она не привыкла сидеть на высоте.

Щелкалов обернулся к Наденьке и посмотрел на нее насмешливо.

— Конечно! — возразила, улыбаясь, Наденька, — вы не поверите, ma tante*, как это страшно сидеть так высоко!

Я заметил, во-первых, что Наденька кокетничала с Щелкаловым, и, во-вторых, что действительно присутствие его нимало уже не стесняло остальных членов семейства. Щелкалов за чаем даже свысока подтрунивал над Пелагеей Петровной как над известным уже ему лицом; а Пелагея Петровна без малейшей застенчивости, как знакомого, угощала его кренделями и сухарями, да и Макар поглядывал уже на него очень фамильярно, почти как на всех нас.

За чаем Щелкалов вдруг шуточным тоном произнес, обращаясь к нам:

— Знаете, мне вдруг пришла в голову блестящая

---

* тетушка *(фр.)*.

мысль! Ее надо будет осуществить непременно, а осуществление ее будет зависеть от всех нас, милостивые государи и милостивые государыни!

Все посмотрели на него, а Лидия Ивановна прибавила:

— Говорите, говорите, барон; вы мастер на выдумки. Мы заранее согласны подчиниться вашей фантазии.

Когда Щелкалов заговорил, мне показалось, что Наденька вспыхнула.

— Да-с... ну, так вот в чем дело. Надобно, как можно, разнообразить *летние* удовольствия. Против этого, я надеюсь, вы спорить не будете?..

— Нисколько,— произнес со сладкой улыбкой Иван Алексеич.

— *Тем более,*— заметил Щелкалов,— *что уже теперь осень.*

Пруденский и Иван Алексеич захохотали этой остроте.

— Я предлагаю устроить пикник,— продолжал Щелкалов,— место для этого пикника назначается превосходное — *Дубовая Роща,* удовлетворяющая всем потребностям: там парки, сады, целые леса, озера, отличная поляна и, наконец, весь дом, если хотите, к вашим услугам, потому что его хозяин — мой друг.

— И мой! — перебил Веретенников.

— А управляющий знает меня чуть не с детства,— продолжал Щелкалов.— Мы там охотимся всякую осень; к тому же это недалеко отсюда... не более пятнадцати верст, кажется. Ну-с, как вы об этом думаете?

Мысль эта в самом деле, кажется, улыбнулась всем, потому что все в один голос воскликнули — *прекрасно!* исключая молодого человека, влюбленного в Наденьку, который при этом предложении побледнел так, что бойкая барышня начала махать ему в лицо веером, сложенным из бумаги, и, засмеявшись, сказала довольно громко:

— Что с вами? вам дурно?

Щелкалов, не обращая внимания на эти эпизоды, продолжал:

— Итак, вам эта мысль нравится, судя по вашему одобрительному восклицанию? Теперь остается дело за назначением дня и за устройством всего. Устройство я беру на себя и обещаю вам, господа, что будет все устроено недурно.

— Можно ли в этом сомневаться! — воскликнула Лидия Ивановна.

— Ай да барон! Ей-богу, молодец! — воскликнул добродушно Алексей Афанасьич и потер себе руки от

удовольствия, прибавив: — а там в леску я еще поохочусь за грибками!

— Назначайте же день,— сказал Щелкалов.

— Чем скорей, тем лучше,— возразил Пруденский,— вы теперь, барон, как Гомеров Девкалид, и про вас можно сказать:

«Так говорил он; и все, устремившися с духом единым,

Стали кругом Девкалида, щиты к раменам преклонивши...»

Цитата пропала даром, потому что Щелкалов даже зрачком глаз не повел в ту сторону, где был Пруденский.

— Я всегда к вашим услугам: во вторник, в среду, четверг, когда хотите.

— В четверг? — сказала Лидия Ивановна, обращаясь ко всем нам.— Угодно вам?

Мы все, кроме влюбленного молодого человека, изъявили согласие наклонением голов.

— Прекрасно! Теперь обратимся к существенному — к деньгам. Это не касается до дам, господа, это уж наше дело. Охотников из ваших знакомых, верно, наберется довольно. Я полагаю, двадцать рублей с человека будет достаточно. Как ты думаешь, Веретенников?

— Я думаю, довольно.

— За двадцать рублей я вас так накормлю и напою, что, надеюсь, вы скажете мне спасибо. Я пошлю к управляющему накануне моего повара, вина, фрукты и прочее. Ну, подавай-ка деньги, Веретенников,— я начинаю с тебя.

Веретенников вынул двадцать рублей и подал их Щелкалову. Щелкалов разложил их на столе, пригладил рукою и посмотрел на нас.

— Вы согласны? Вы из *наших?* — спросил он, обратясь ко мне.

— Да,— отвечал я, подавая ему деньги.

Пруденский, услыхав о цене, наморщился в первую минуту, однако отошел в сторону, вынул деньги, отсчитал двадцать рублей, помуслил палец и потер одну депозитку, которая ему показалась потолще других, полагая, не склеились ли как-нибудь две, и потом, снова пересчитав, подал деньги Щелкалову.

— Камни для фундамента уже есть,— заметил Щелкалов, продолжая складывать депозитки одна на другую и потом разглаживая их рукою.

— А ты-то, братец? что же? — сказал Алексей Афа-

насьич влюбленному молодому человеку,— если у тебя нет с собой денег, хочешь, я за тебя отдам?

— Нет, я не поеду, я не расположен,— отвечал молодой человек сухо, заметив радость на лице Наденьки, что все так скоро устроилось.

— Вздор, теперь поздно, ведь ты не протестовал против этого, когда говорили.

— Федор Васильич, отчего же? — сладко произнес Иван Алексеич, гладя по плечу молодого человека,— зачем же отставать от друзей?

Бойкая барышня взглянула на молодого человека так нежно, как бы умоляла его согласиться. Он несколько минут колебался и, наконец, решился.

— На сколько же можно рассчитывать? — спросил Щелкалов,— это мне нужно знать заранее. Нас здесь семь человек.

— Еще за пять я вам смело отвечаю,— сказала Лидия Ивановна.— Мы знаете кого можем пригласить между прочим? (Лидия Ивановна обратилась к Алексею Афанасьичу)... Астрабатова!... Не правда ли?

— Почему же нет? Он еще возьмет с собою гитару, и бесподобно!

— Семь и пять — двенадцать,— продолжал Щелкалов,— ну что ж, и довольно; а коли найдете еще кого-нибудь, тем лучше. Итак, дело в шляпе.— Щелкалов сунул деньги в карман и прибавил, оборотившись к нам: — разумеется, господа, каждый в своем экипаже... собираются здесь... в четверг, ровно в одиннадцать часов... так ли? не рано ли?

Щелкалов посмотрел на Лидию Ивановну.

— О, нет, барон! даже еще пораньше не мешало бы,— отвечала она.

— Только во всяком случае не позже одиннадцати,— прибавил он.

Мы все согласились на это...

— Посмотрите, какая прелесть — луна-то, луна-то! — вскрикнул сзади меня Алексей Афанасьич, указывая на луну, которая глядела в окно сквозь ветви сосны,— пойдемте, господа, на крылечко.

И он всех нас вытащил на крыльцо, за исключением Щелкалова и Веретенникова, которые остались с дамами.

— А знаете ли что, Иван Алексеич? — сказал Пруденский в то время, как Алексей Афанасьич восхищался луной,— мысль пикника, без сомнения, прекрасна, это не подлежит спору; но цена дороговата, как хотите! Эти

господа привыкли швырять деньгами, так им двадцать рублей нипочем, а нашему брату, воля ваша, это чувствительно.

— Правда, правда! — подтвердил Иван Алексеич, почесывая в затылке и поморщиваясь, но потом, сладко улыбнувшись, прибавил: — ну уж куда, впрочем, ни шло! вы не будете после жалеть об этих деньгах. Вы посмотрите, как это все будет устроено; поверьте, барон на это мастер.

— Предполагать должно, но ведь и то сказать, двадцать рублей с брата!

— Вы увидите, что этот пикник не удастся,— сказал мне молодой человек, влюбленный в Наденьку,— все будут женированы*, согласия не будет ни малейшего; эти господа, по обыкновению, станут ломаться; поверьте, пикники хороши только между своими, между очень близкими.

Молодой человек бы не в духе. Мы вместе с ним раньше всех отправились домой, тихонько от хозяев дома.

— Ну что,— сказал он в волнении, когда мы сели в дрожки,— вы теперь собственными глазами убедились в справедливости моих слов?

— Да, почти,— отвечал я.

— И как вам это нравится! отпускают девочку одну с этим господином! Ну, скажите, прилично ли это?

— Не совсем,— отвечал я.

— А когда гуляют, так он всегда уйдет с ней вперед или отстанет от всех, и никто как будто не замечает этого. Ольга Ивановна — вот эта барышня, что у них гостит,— говорила мне, что Надежда Алексеевна только и бредит этим бароном...

Молодой человек, незаметно увлекаясь, признался мне дорогою, что Надежда Алексеевна ему точно очень нравилась, что и она, по-видимому, была расположена к нему и что он даже имел намерение просить ее руки.

— Теперь я вижу,— прибавил он в заключение своих признаний,— что я сделал бы ужаснейшую глупость. Она пустая, ветреная девушка, которую увлекает только один внешний блеск; она помешана на светскости. Этот барон подвернулся на мое спасение, чтобы открыть мне глаза.

Молодой человек в эту минуту был еще все влюблен в Наденьку, потому что он говорил о ней с раздражением

---

* стеснены (от *фр.* gêner).

и горячностью. Я было вступился за нее, но он не хотел ничего слышать.

— Да что, скажите,— перебил он меня,— что *он* богат, что ли? Ведь между этими господами трудно отличить богатого от тароватого.

— Это правда,— отвечал я,— но у Щелкалова едва ли есть что-нибудь.

— То-то и мне кажется. Вы знаете, что с месяц назад тому он занял у Алексея Афанасьича две тысячи?

— Кто же это вам сказал?

— Мне сказала Пелагея Петровна, это наверно. Алексей Афанасьич воображает, что у него груды золота. И точно, если судить по его манерам да по рассказам, так сдуру примешь его, пожалуй, за миллионера. Но я боюсь, что бедный Алексей Афанасьич не только капитала, да и процентов-то не увидит!..

— Не мудрено,— возразил я.

На другой день я обедал в ресторане. В одной со мною комнате сидели два господина — военный и штатский. Они разговаривали так откровенно и громко, как будто были одни в комнате. Речь сначала шла о каком-то Коле и о Дарье Александровне. Военный находил, что Дарья Александровна одна из самых хорошеньких женщин в Петербурге. Штатский перебил его.

— Нет, любезный друг,— сказал он,— я недавно видел девочку, так вот девочка! Удивительная, прелесть что такое! перед ней твоя Дарья Александровна просто дрянь... Ты знаешь Щелкалова?

— Еще бы! — отвечал военный,— ну так что ж?

— Я его раза два встретил по парголовской дороге с этою госпожою. Прежде я решительно никогда и нигде не видал ее. Третьего дня он попадается мне на Невском, я и вцепился в него: «Кто это, братец, такая хорошенькая, с которой я тебя встретил?» — «Где? когда?» Он, знаешь, прикинулся, как будто не догадался. «На парголовской дороге»,— я говорю. Тут он промычал «а-а!», остановился на минуту и говорит: «Это одна моя знакомая». Я к нему пристал, ну и он, разумеется, мне во всем признался; но кто она такая и где он скрывает ее,— это неизвестно; уж как я к нему ни приставал, он ни за что не говорит, а чудо что за девочка!

— Каков Щелкалов-то! — воскликнул военный.

— Да, не глуп! — прибавил штатский.

Дальнейшего разговора я не слышал и не желал слышать. В эту минуту я окончил свой обед и вышел из комнаты.

Глава V

из которой проницательный читатель усмотрит многое, во-первых, что хлыщи бывают различных родов; во-вторых, что великосветские хлыщи в свою очередь робеют и иногда делаются неловкими; и в-третьих, что они разоблачаются и обнаруживают себя вдруг, совершенно неожиданно даже для самих себя, причем также вполне объясняется читателю значение не всеми употребляемого, но приятного для слуха слова *хлыщ*

В четверг ровно в одиннадцать часов я уже был у Грибановых и нашел там довольно многочисленную компанию. Весь двор был заставлен экипажами. Почти все были в сборе, за исключением Щелкалова и Веретенникова. День был прекрасный, даже довольно жаркий для осени. На небе ни одного облака... Я застал мужчин и дам в разных комнатах: мужчин в зале, а дам в гостиной в ожидании минуты отъезда.

В зале ораторствовал господин небольшого роста, коренастый и уже не первой молодости, завитой, весь в перстнях и в цепях. Это был Астрабатов. Я вошел тихо и остановился, никем не замеченный, потому что все внимание в эту минуту было обращено на Астрабатова.

— Главное — в душе,— говорил он,— остальное все вздор и внимания не стоит. Когда вот эдак, как мы, соберемся по душе, когда все люди подходящие, как натурально и весело, и есть будешь лучше, и пить больше... Ведь вот хоть бы этот старик-то...

Астрабатов с хитрою улыбкою направил свой указательный палец, плоский, широкий и четвероугольной формы, украшенный перстнем с бриллиантовым солитером, на Алексея Афанасьича.

— Это редчайшей души старик, первый сорт, это человек со вздохом, у него всё начистоту, всё на ладони, без задоринки; а ведь иной эдак и вылощен с виду-то, ком иль фо, а попробуй погладить, так и занозишься!..

Астрабатов повел головою кругом и вдруг остановился на мне.

— Вот этот (он пальцем указал на меня), этот тоже подходящий к нам.

Я знал Астрабатова давно, хотя совсем не коротко.

и встречался с ним редко. Он говорил мне, как и всем, *ты*, потому что принадлежал к числу таких людей, которые через полчаса после знакомства с человеком говорят уже ему непременно *ты*...

— Здравствуй, душенька,— продолжал он, приближаясь ко мне с намерением заключить меня в объятия,— то есть разутешил, что приехал, ей-богу! Ну чмокнемся, братец... Сто лет не видал тебя.

И он обнял меня.

— Черт его знает,— продолжал он, обращаясь ко всем и ударяя меня по плечу,— сам не знаю, за что люблю его... Вот здесь-то у него, правда, горячо, так и пышет!

И он приложил свою широкую ладонь к моему левому боку.

Освободясь от Астрабатова, я поздоровался с хозяевами дома и с остальными гостями.

— Ну, теперь только дело за бароном,— заметил Алексей Афанасьич,— мы все, кажется, в сборе, ведь уж четверть двенадцатого... никак не может не опоздать!.. А пора бы уж и в путь.

Щелкалов и Веретенников приехали около двенадцати.

— Барон,— сказал Алексей Афанасьич, встречая его.— Не стыдно ли, а еще сам все толковал, чтобы собраться ровно к одиннадцати.

— Что такое? разве я опоздал? разве теперь больше одиннадцати? — возразил он рассеянно, важно кивнув нам всем головою и проходя в гостиную, где были дамы.

Астрабатов подошел ко мне и, указав головою на Щелкалова, сказал вслед ему:

— Не узнает! Вишь как голову-то загнул. Да нас, брат, этим не удивишь! Мы видали и почище тебя! На плечах-то шелк, а в кармане щелк!.. Ах, душа моя! — продолжал он, кладя мне руку на плечо,— черт ли в человеке, когда у него теплоты нет. Терпеть не могу эдаких...

Веретенников, пожав мне руку и как бы не заметив Астрабатова, стоявшего возле меня, хотел отправиться вслед за Щелкаловым в гостиную. Но Астрабатов схватил его за фалду сюртука.

— Куда! — сказал он ему,— нет, брат, постой! Что у тебя темная вода в глазах, что ли, что ты не видишь старых знакомых?

Веретенников с едва заметной, но иронической улыбкой измерил Астрабатова.

— А-а! здравствуй,— произнес он довольно сухо,— ты как попал сюда?

— Я, брат, везде, где хорошие люди с теплотой!.. Ох, уж вы мне, бонтоны! Туда же шпильки подпускают, да нет, ведь меня не оцарапаешь, не таковской! Я этих загвоздок терпеть не могу, душа моя; по-моему, коли действуй, так действуй начистоту.

— Оригинал! — воскликнул Веретенников, обратясь ко мне, поправив свои воротнички и принужденно засмеявшись,— неправда ли?..— И с этим словом ускользнул в гостиную.

Астрабатов проводил его глазами, покачал головой и произнес:

— Положим, что оригинал, да не накрахмаленная обезьяна, как ты!

Он скорчил гримасу и вздохнул, потом взял меня за руку и сказал:

— Пойдем, душа моя, туда за ними, посмотрим на этих бонтонов-то, как они там ломаются перед барынями и отпускают им закорючки на розовом масле. Мы, братец, люди несветские; надо поучиться у них толочь лоделаван в ступе. Мы напрямик; коли заговорило здесь (Астрабатов указал на сердце), так, не думая долго, бух на колени... и без всякой эдакой реторики: «У меня-де сердце на ладони, сударыня; я человек со вздохом», и мы по опыту знаем, душа моя, что это действует на барынь вернее. Как ты думаешь?

Он прищелкнул языком, зажмурил правый глаз, схватил меня за руку и потащил в гостиную.

Там Щелкалов, лежа в волтеровском кресле, с розаном в бутоньерке и с пахитоской в зубах, рассказывал что-то дамам, которые окружили его кресло.

Мы застали его на следующих словах:

— Это была минута ужасная,— говорил он,— лошадь закусила удила и мчала графиню прямо к реке; берег этой реки крутой и почти отвесный; она была уже не более, как шагах в пятидесяти от берега, но в это мгновение я пускаю свою лошадь за нею во весь карьер, не сознавая ничего, нисколько не думая об опасности... Передняя нога ее лошади уж висела над бездной в ту минуту, как я поравнялся с нею. Я схватил графиню одною рукою за талию, перебросил ее к себе на седло и в то же мгновение другой рукою с такой силой осадил свою лошадь, что она совсем грянулась на задние ноги. Я соскочил с нее и положил графиню на землю. Она была, разу-

меется, без памяти... Ну, в это время к нам подоспели остальные: мою лошадь схватили, а лошадь графини рухнулась в реку и тут же пала, разбившись грудью о камни...

Щелкалов, произнеся последнее слово, вставил в глаз свое стеклышко и обозрел своих слушательниц. Лидия Ивановна, барыня, поводящая глазами и передергивающая плечами, по имени Аменаида Александровна, бойкая барышня с двойным золотым лорнетом, Наденька и другие барыни и барышни — все в один голос невольно ахнули с последним словом Щелкалова: так поразил их его геройский подвиг; а Астрабатов, наклонясь к моему уху, шепнул:

— Да это он, братец ты мой, кажется, лупит чистоганом из *не люба не слушай...* Ах ты, Малек-Адель эдакой! — воскликнул он громко, глядя на Щелкалова, и потом продолжал, обратясь к дамам: — то есть ух! какой тонкости, я вам доложу, человек по амурному отделению,— беда! Слава богу, десять лет его знаю, не десять дней... Послушай, барон (он снова поглядел на Щелкалова), а помнишь ли третьягоднишнюю лебедянскую сказку? Забыл, что ли?

В голосе Астрабатова послышалось внутреннее раздражение.

— Тогда без Астрабатова не обходился никто... обед ли, ужин ли или что-нибудь эдакое — подавай сюда Астрабатова! Астрабатова обнимали, качали; Астрабатов, моншер, душу свою отдавал вам без залога и без процентов... Астрабатов, сделай то; Астрабатов, дай это (он указал на карман); Астрабатов, съезди туда; Астрабатов, спой. Астрабатов все делал для вас — и ездил, и хлопотал, и пел... Как заговорит, бывало, тут, в левом боку, сейчас гитару в руки, щипнул два-три аккорда со слезой, да как потом зальешься эдак задушевно, изнутри; так, я думаю, ты сам помнишь,— люди, у которых были нервы из вязиги,— и те, душа моя, рыдали, потому что хоть методы нет, да душа есть, а в душе — главное... Астрабатов — это всем известно — в пять дней пять тысяч рублей серебром просадил. Да! вот каков Астрабатов-то!

Он вынул из кармана огромный сафьянный бумажник и хлопнул по нем рукою.

— Пять тысяч, моншер, вот из этого бумажника вынул, как одну копейку, в пять дней! — потом, вздохнув, прибавил: — В нем-таки перебывало порядочно деньжонок! И нынче, благодаря бога, водятся... А в Петербурге Астрабатова на улице или в гостях встречают: не узнают. Здесь

Астрабатов не нужен, потому что здесь фаетоны да бонтоны, здесь вытанцовывают па-де-дё на столичных деликатностях в вершок ширины; а задушевности, моншер, вот отсюда-то идущей, из глубины, теплоты-то этой,— этого не нужно! Все Фребелиусы да Гамбсы, а о чувстве не спрашивай... А в сущности все это помпадурство, по-моему, самое пустое дело.

Астрабатов приостановился на минуту, посмотрел, несколько прищурясь, на дам, удивленных его импровизациею, вынул из кармана пестрый раздушенный фуляр, высморкнулся и сказал, улыбаясь:

— Pardon, mesdames! я человек со вздохом, люблю попросту, без всяких эдаких закорючек, сердечно высказать все, когда закипит внутри; а там, знаешь, каждый получай по адресу...

Щелкалов в первую минуту, когда Астрабатов заговорил, обернулся на этот голос, взглянул на него и потом в продолжение всей его речи измерял его с ног до головы в свое стеклышко с презрительной улыбкой. Когда же Астрабатов кончил, барон захохотал, встал с кресла, протянул ему руку, как бы удостоивая его особой чести, и сказал, не глядя, впрочем, на него:

— Здравствуй... Ну, что, все такой же, как всегда?.. особенный, свой язык, как ни у кого? оригинально... очень! — И потом, обратясь к Лидии Ивановне, прибавил: — большой чудак! Неправда ли? А я и не знал, что вы с ним знакомы...

Астрабатов значительно посмотрел на него.

— Полно, душенька, эрфиксы-то выпускать,— произнес он,— с старыми-то приятелями эдак не встречаются. Вот лучше-ка по душе, запросто, без закорючек, обнимемся и поцелуемся.

Он бесцеремонно обнял Щелкалова и протянул к нему свои губы. Щелкалов поморщился, не совсем охотно позволил поцеловать себя и потом, отойдя от него, сказал мне:

— Вот, батюшка, тип-то! Неправда ли? Каков молодчик?.. Но как же можно пускать этакого господина в дом?..

Вскоре после этого экипажи были поданы и все начали собираться в путь. Перед самым отъездом Астрабатов схватил за руку Ивана Алексеича, который бежал к коляске с каким-то узлом.

— Постой, душа моя,— сказал он ему,— ты ведь меня знаешь, и мы, кажется, понимаем друг друга. Ты поэт; а я, братец, хоть и не пишу стихов, но здесь у меня в груди

кипит поэзия: и слеза, и вздох, и песня — всё тут! Так ли? скажи...

— Еще бы! — возразил Иван Алексеич, крепко пожав руку Астрабатова с свойственным ему сладким выражением, — я знаю, что ты поэт в душе; но пора, братец, ехать; мы и без того уж опоздали... Надо вот еще уложить этот узел...

— Нет, погоди, брат, погоди! — перебил его Астрабатов, — тебе известно, что я действую начистоту, напрямки, *этикеты* только уважаю на бутылках, а церемоний терпеть не могу; так вели-ка ты, душенька, на дорогу-то подать мне бальзамчику да кусочек черного хлеба с солью. Как набальзамируешь эдак слегка желудок перед обедом, так и аппетит лучше и на душе покойнее, да и от сырости предохранишь себя. Нельзя без этого. Ведь в воздухе нынче эпидемии так и хлещут!

Астрабатов выпил две большие рюмки водки, крякнул, закусил черным хлебом и произнес:

— Ну, вот теперь хоть на край света!

В это время происходила страшная суматоха. Дамы в шляпах и бурнусах толпились на крыльце и на дорожке палисадника, которая вела к калитке; мужчины — одни кричали своих кучеров, другие отыскивали свои пальто и шляпы; Макар в ливрее травяного цвета с галунами о чем-то очень хлопота́л и суетился с необыкновенно серьезным выражением в лице; горничные совались без толку из угла в угол...

Коляска Щелкалова, запряженная четвернею в ряд, которою управлял кучер страшной толщины с огромною крашеною бородою, подъехала первая к калитке. Щелкалов предложил садиться Лидии Ивановне и Наденьке и сел напротив них сам с Веретенниковым. Его ливрейский лакей, в красных плюшевых штанах, ловко захлопнул дверцы коляски, оттолкнул Макара, который подсунулся было ему под руку, вскочил на козлы, гордо сел, подбоченясь левой рукой, и закричал: «Пошел!» Когда коляска двинулась, бойкая барышня с лорнетом шепнула что-то влюбленному в Наденьку молодому человеку, который изменился в лице и хоть улыбнулся, но очень печально. Затем все начали рассаживаться в свои экипажи.

Мне пришлось ехать с бойкой барышней и с влюбленным молодым человеком. Дорогою я заметил, что между ними происходило что-то особенное. Она как-то необыкновенно выводила глазами, глядя на него, и кокетнича-

ла немилосердно, играя своим двойным лорнетом.

Когда мы проехали уже верст пять, сзади нас послышался звон бубенчиков и страшный крик: «Правее! правее! Эй, вы, соколики, голубчики! вытягивай дружно... Правее!» И вслед за тем пронесся мимо нас, чуть не задев колесом о наше колесо, небольшой охотничий тарантас, запряженный тройкой с бубенчиками и с разными балаболками на сбруе. Этой тройкой правил, стоя, молодой ямщик в плисовой поддевке, в плоской шляпе почти без полей набекрень, украшенной венком разноцветных георгин. В этом тарантасе сидели Аменаида Александровна с Астрабатовым.

Астрабатов, поравнявшись с нами, вскочил на ноги, снял свою бархатную фуражку и, помахивая ею в воздухе, закричал, обращаясь ко мне:

— Что, душа моя, какова троечка-то? У меня, братец, русская душа. Вот она наша поэзия-то!..

Мы приехали в «Дубовую Рощу» в начале третьего часа. Первое лицо, попавшееся нам, был Астрабатов, который у подъезда флигеля, где были приготовлены для нас комнаты, расхаживал с кнутом в руке, всех встречая и хвастая своей троечкой и своей русской душой.

Щелкалов, по знакомству с хозяином и управляющим «Дубовою Рощею», устроил все с величайшим эффектом и комфортом. Нам отдан был в распоряжение целый флигель с пятью комнатами. В первой большой комнате, украшенной дубовыми гирляндами, был накрыт длинный стол, уставленный хрусталем, фруктами и цветами; направо две небольшие комнаты, также все в цветах, назначались для дамских уборных; комната налево для мужчин; а в стеклянной галерее за этой комнатой помещался буфет.

Лидия Ивановна, Наденька, а за ними все остальные дамы поочередно приходили в восторг от вкуса барона и осыпали его благодарностями и похвалами. Щелкалов принимал эти изъявления довольно равнодушно, гордо прохаживался с своим стеклышком, кричал на людей и дружески трепал по плечу толстого управляющего с печатками на животе, который явился к нему узнать, доволен ли он его распоряжениями. Я заметил в то же время, что этот управляющий посматривал на всех нас остальных, на дам и на мужчин, с какой-то подозрительной гримасой недоумения, которую можно было растолковать так: «Да откуда же это таких господ и госпож навез с собою барон? Я таких сроду не видывал».

Иван Алексеич подходил ко всем с своей сладкой улыбкой и с одним и тем же вопросом: «Каков барон-то? Я ведь говорил, что он все сумеет устроить как никто. Оно хотя дороговато, да ведь зато, посмотрите, как все хорошо».

И затем одному он указывал, облизывая губы, на огромную грушу, другому на вазу со сливами, третьего приводил в буфет, где был выставлен строй бутылок, и так далее.

У Пруденского разгорались на все глаза, и, казалось, он совершенно начинал забывать потраченные им двадцать рублей: поправляя очки, он разглядывал с глубокомысленным вниманием и ананас, и персик; читал на бутылках ерлыки; брал бутылку в руку, рассматривая ее со всех сторон, и улыбался про себя.

Поваренки, бегавшие по двору, также немало занимали его.

— Вишь,— заметил он с удовольствием,— плуты, бегают, и сколько их! Видно, работы-то много! Полагать должно по всему, что нам предстоит недурной обедец, а возлиятельная часть в наилучшем устройстве. Лафит и сотерн под золотыми и серебряными печатями! — И потом продолжал, пародируя Гомера:

Мы будем за пиршеством —

Мирно беседу вести; посреди нас цветущая Геба —

(он указал на проходившую в эту минуту Наденьку)

Нектар кругом разольет... и кубки приемля златые,

Чествовать будем друг друга, на луг сей зеленый взирая...

(При этом он указал пальцем в окно и осклабился самою довольною улыбкою.)

Астрабатов ударил его своей широкой ладонью по спине и сказал:

— Полно ораторствовать-то! ведь ты здесь не в школе, а вот выпьем-ка лучше бальзамчику. Слышишь? Я уже хватил дважды перед отъездом и один раз после приезда, да чувствую потребность еще: что-то щемит под ложечкой. Хватим-ка, дружище, по рюмочке.

Пруденский очень поморщился при слове *школа*, но потом, однако, улыбнулся и отвечал с юмористическим выражением по-малороссийски:

— Добре...

Когда дамы поправили свои туалеты после дороги, все отправились гулять в парк. Барон под руку с Наденькой; молодой человек, влюбленный в нее, с бойкой

барышней; Астрабатов с Аменаидой Александровной; остальные врассыпную, в том числе и я. Когда в глубине парка мы очутились с обеих сторон среди густого березняка и когда Алексей Афанасьич увидал гриб, у него так и загорелись глаза. Он бросился к нему, дрожащей рукой оторвал его от корня, с восторгом вскрикнул: «О, да здесь, я вижу, должно быть, пропасть грибов! Господа, кто хочет со мной на охоту?» И, перепрыгивая с кочки на кочку, как молодой человек, он в минуту скрылся от нас в чаще леса. За ним последовали Пруденский, Иван Алексеич и еще два мне неизвестных господина, а мы отправились далее по дороге парка.

Дорога все шла под гору, и когда мы спустились с горы, направо перед нами открылось озеро, замыкавшееся с одной стороны крутым и лесистым берегом, а с другой болотистым пространством, поросшим частым, высоко вытянувшимся, но тощим березняком и осиною. Почти посредине озера возвышался небольшой остров, густо заросший мелким лесом и кустарником, в зелени которого виднелась беседка, сложенная из березы. У самого спуска к озеру, куда мы подошли, к перилам небольшой пристани привязана была лодочка, и здесь по распоряжению предупредительного управляющего ожидал нас мужик с багром и веслами, в случае если бы комунибудь из нас захотелось покататься на озере.

Мы остановились здесь, потому что дамы заахали от восхищения, когда перед ними сюрпризом открылось озеро.

— Ах! и лодочка! — воскликнула Наденька.

— А вы не боитесь кататься на лодке? — спросил ее Щелкалов.

— Отчего же? если так тихо, как теперь...

— Ну так поедемте.

— А кто же будет грести?..

— Грести буду я.

— Да разве вы умеете.

— А вот вы увидите. Хотите, что ли?

Наденька в нерешительности посмотрела на Лидию Ивановну.

— Поезжай, мой друг, отчего же? — возразила Лидия Ивановна,— верно, кто-нибудь еще из дам пожелает покататься.

И она обратилась к дамам с приятной улыбкой.

— Ах, нет, как можно! страшно на такой маленькой лодочке! — воскликнули в один голос несколько дам.

Щелкалов, не обращая ни малейшего внимания ни на Лидию Ивановну, ни на этих дам, велел отцепить лодку, вскочил в нее, взял от мужика багор и весла и протянул руку Наденьке.

— Ну прыгайте,— сказал он,— докажите, что вы не трусиха и имеете доверенность к гребцу.

Наденька колебалась с минуту и наконец прыгнула в лодку.

— Больше никого взять нельзя,— сказал Щелкалов решительно,— опасно, потому что лодка очень мала. Мы проедемся немного, я выпущу Надежду Алексеевну и потом, если кто-нибудь захочет...

Щелкалов пробормотал последние слова, упираясь багром о пристань и отталкивая лодку от берега, и, не докончив фразу, бросил багор в лодку, снял с себя шляпу, сел, тряхнул головой, взмахнул веслами, которые блеснули на солнце,— и легкая лодочка, рассекая синеватую и гладкую поверхность воды, понеслась по направлению к острову. Все это совершилось в одно мгновение, так что никто из нас не успел опомниться.

Для молодого человека, влюбленного в Наденьку, это была, кажется, решительная минута, потому что он с этих пор почти перестал говорить с нею и начал, вероятно в отмщение ей, уже совершенно явно ухаживать за бойкою барышнею с лорнетом.

Мы все остались на берегу, за исключением Аменаиды Александровны и Астрабатова, которые или отстали от нас, или ушли вперед.

Белые облака, густыми грядами теснясь друг к другу, тянулись по небу; солнце вскоре скрылось за ними; синева постепенно пропадала с поверхности озера, и оно принимало свинцовый оттенок. Сероватое небо, сероватая вода и мелкий болотистый обредевший лес, со всех сторон окружавший нас,— все это было несколько печально. Говор вдруг смолк, порывистый ветер по временам сильно качал вершинами дерев, с которых слетали пожелтевшие листья, и пробегал рябью по поверхности озера.

Мы молча следили за движением лодочки, и мне, я сам не знал отчего, вдруг стало жаль Наденьку.

Лодка причалила к острову. Мы видели, как Щелкалов выпрыгнул из нее и протягивал руку Наденьке, как Наденька соскочила на землю, как потом Щелкалов привязывал лодку к дереву и как они отправились наконец в глубину острова и скрылись за деревьями.

Это даже подействовало не совсем приятно и на Ли-

дию Ивановну, потому что она сказала очень серьезно и с заметным раздражением в голосе:

— Какие глупости! к чему это они вышли на берег?

И начала кричать: «Наденька! Наденька!»

Но крик этот пропадал напрасно.

Прошло четверть часа ожидания, но ни Щелкалова, ни Наденьки не показывалось. Потеряв терпение, все разбрелись по парку; остались на берегу Лидия Ивановна, Веретенников и я. Это происшествие расстроило прогулку: дамы несколько надулись на Лидию Ивановну, Лидия Ивановна чувствовала также какую-то неловкость, и когда прошло еще четверть часа, она не могла уже долее скрывать своего волнения.

— Однако это ни на что не похоже,— сказала она, обращаясь к вам.— Peut-on faire des choses comme ça?* Я непременно Наденьке вымою голову. Ну можно ли, что из-за нее все гулянье расстроилось?

Мы начали успокаивать Лидию Ивановну, как умели. Наконец лодочка, к нашему удовольствию, снова пришла в движение, но подвигалась к нам очень лениво; гребец едва шевелил веслами. Мы уж начали махать платками и кричать:

— Скорей! Скорей!

Лидия Ивановна встретила Наденьку очень мрачно. Она обратилась к Щелкалову хотя и с приятною улыбкою, но не без иронии:

— Вы видите, барон, из пятнадцати нас осталось только трое — это самые терпеливые; мы таки дождались вас...

— Что такое? — возразил Щелкалов,— разве мы ездили так долго? Я показывал Надежде Алексеевне беседку на острове. Там такая дичь, что мы насилу добрались до этой беседки... Да разве уж так поздно? Мы опоздали, что ли, куда-нибудь?

— Нет, но это расстроило немного нашу прогулку.

— Отчего? — сказал Щелкалов,— что за вздор! пусть они там гуляют, где хотят; что нам за дело до них, мы будем гулять сами по себе. Не правда ли?

Он засмеялся, поглядел на всех нас, предложил руку Лидии Ивановне и отправился с ней вперед, значительно смягчив этим поступком ее неудовольствие.

Мы пошли за ними. Я взглянул на Наденьку. Она была в большом замешательстве и едва отвечала на мои вопросы.

---

* Позволительно ли так поступать? *(фр.)*

Обедать было назначено в четыре часа; оставалось до обеда еще три четверти часа, и мы возвратились, по предложению Щелкалова, назад осмотреть комнаты большого дома, где, по словам его, было несколько недурных картин.

Взглянув на эти картины, очень, впрочем, сомнительного достоинства, и пройдя по комнатам, которые были меблированы в новейшем вкусе и не представляли ничего особенно любопытного, мы возвратились в наш флигель.

Щелкалов отправился в столовую осматривать, все ли в порядке. Я пошел вслед за ним.

Он с видом знатока бросил взгляд на стол в свое стеклышко, потом обозрел кругом всю комнату, крикнул раза два на лакеев, велел позвать к себе француза-повара и начал о чем-то его расспрашивать, качаясь на стуле и не смотря на него, но внутренне наслаждаясь теми знаками благоговения, которые оказывали ему повар и вся прислуга.

В столовой давно уже прохаживался Пруденский с Иваном Алексеичем в нетерпеливом ожидании обеда.

Пруденский подошел ко мне и, показывая часы, сказал:

— На моих без пяти минут четыре. Пора бы уже приступить и к трапезе, да, кажется, еще не все в сборе. Посмотрите, Алексей Афанасьич непременно проморит нас, я уверен. Он, чего доброго, до ночи проходит за своими грибами и забудет обо всех нас. Мы с Иваном Алексеичем аукали его, аукали, так и не дозвались. Пожалуй, еще заблудится в лесу. Чего доброго? Уж его ждать невозможно, как хотите: семеро одного не ждут. Сама народная мудрость, выражающаяся в этой пословице, послужит для нас достаточным оправданием в таком случае.

— Разумеется, папеньку ждать нечего,— возразил Иван Алексеич, прохаживаясь около стола, уставленного разнообразнейшими закусками, и бросая на них жадные взгляды,— старик ведь в самом деле может проходить до вечера; от него это легко станется, он для грибов точно забывает часто обед и все на свете. Посмотрите, Пруденский, какая жирная и белая селедка-то, а с балыка так и каплет! Удивительный балык! Эдаких я не видывал здесь.

— Кажется, все будет хорошо,— сказал Щелкалов, подходя к Ивану Алексеичу.

— У, барон! что и говорить,— перебил Иван Алексеич,

придерживая барона за талию обеими руками и бросая на него совсем сахарный взгляд,— мастер, мастер все устроить.

— Таким тонким знатокам в гастрономии,— заметил Пруденский,— позавидовал бы и древний Рим. Вы воскрешаете для нас, барон, лукулловские времена... А уж, признаться, пора бы, совершив омовение и возложив на главы венки, возлечь за пиршественный стол.

Щелкалов вкось взглянул на Пруденского, удержавшись от улыбки, потому что он не хотел удостоивать его даже и улыбки.

— Да! ведь уж почти четыре часа,— вкрадчиво произнес Иван Алексеич.

— Обед через четверть часа будет готов, мне сейчас сказал Дюбо.

— А этот Дюбо должен быть художник в своем деле! — опять ввернул свое словцо Пруденский.

— Да ведь, кажется, еще не все собрались? — спросил Щелкалов, по обыкновению не замечая Пруденского и обращаясь к нам с Иваном Алексеичем.

— Я не знаю,— отвечал Иван Алексеич,— но во всяком случае отца ждать нечего; он будет даже очень доволен, что его не ждали, я уж знаю его натуру...

Щелкалов не дослушал Ивана Алексеича и, напевая себе что-то под нос, направил шаги в комнату перед буфетом, сделав знак лакею, чтобы следовал за ним.

— Надо пойти узнать, все ли возвратились,— сказал Иван Алексеич,— и объявить, что обед сейчас будет готов. Ужасно есть хочется, у меня сегодня, кроме чашки кофею, ничего во рту не было.

Иван Алексеич обратился ко мне с своею улыбкою:

— Я, знаете, нарочно ничего не завтракал, имея в виду такой обед.

— И благоразумно поступили! — воскликнул Пруденский,— а я так нарочно по этому случаю два дня диэту держал. Мне-то еще больше вашего есть хочется.

И точно, Пруденский должен был чувствовать сильный голод, потому что, ходя по комнате и разговаривая со мною, он не мог отвести своих очков от стола с закусками.

Мало-помалу начинали собираться в столовую по приглашению Ивана Алексеича. В комнату же, назначенную для мужчин, по распоряжению Щелкалова, до обеда не велено было никого впускать. Для этого был поставлен даже лакей у двери.

— Да пусти же, братец, хоть на минутку, я забыл там сигарочницу,— говорил влюбленный молодой человек лакею, стоявшему у дверей.

— Никак нельзя-с,— отвечал лакей.

— Это отчего?

— Барон не приказали никого впускать.

Молодой человек вспыхнул.

— Убирайся ты к черту с твоим бароном! — закричал он, оттолкнув лакея, и хотел взяться за ручку замка.

Но лакей встал поперек двери и произнес решительным голосом:

— Воля ваша, сударь, никак нельзя.

Молодой человек начал было горячиться, но мы все бросились его успокаивать.

— Да что ж такое там делается? — спросило несколько голосов у лакея.

— Не могу знать-с.

— Ведь ты врешь, дурак, ты знаешь, говори же! — закричал кто-то.

Лакей глупо улыбнулся и отвечал:

— Не могу знать-с.

Шум увеличивался.

В эту минуту вошел Щелкалов. Все обратились к нему.

— Господа,— сказал он,— ваши вещи, которые в той комнате, вам сейчас принесут, но туда не войдет ни один из вас до обеда. Вы меня выбрали распорядителем, следовательно, должны мне повиноваться и верить, что я все устроиваю к вашему же удовольствию.

И, произнеся это с необычайною важностью, он отправился далее.

— Верно, какой-нибудь сюрприз готовится,— сказал Иван Алексеич, провожая приятною улыбкою барона и в то же время близясь к столу с закусками.

Он взял кусочек селедки, положил его в рот и, как будто желая скрыть от других такой преждевременный поступок, начал смотреть в окно, напевая что-то; потом, проглотив кусочек, как ни в чем не бывало, обратился к нам, осмотрел всех и сказал:

— Что ж? Мы теперь, кажется, все на лицо, кроме папеньки?

— Астрабатова нет,— заметил с беспокойством Пруденский.

Иван Алексеич поморщился, но Астрабатов в эту же минуту вошел в столовую

— Вот легок-то на помине! — закричали ему Пруденский и Иван Алексеич.

— А что?

— Да уж и обедать пора,— отвечал Иван Алексеич,— пятый час в начале...

— Обедать? — возразил Астрабатов, потирая подбородок,— почему ж? это дело подходящее... Ну, душа моя,— продолжал он, обращаясь ко мне вполголоса,— какую мы с этой барыней учинили прогулку, то есть я тебе скажу! Она, знаешь, певица, я ведь тоже певец, так мы там под березками такой дуэтец пропели, что любо-дорого, без фальшу, братец, чудо как согласно! Она было знаешь: «Да я не могу, да я не в голосе», а я ей напрямик: «Полноте, сударыня, я терпеть не могу этих закорючек. Попробуем: споемся — так хорошо, нет — ну на нет и суда нет...» Уж зато как же и спелись, душенька!

Астрабатов приложил пальцы к губам, чмокнул, прищурил левый глаз и прибавил:

— Теперь, братец ты мой, надо пропустить внутрь укрепительной.

За обед сели в половине пятого, не дождавшись Алексея Афанасьича. В ту минуту, когда дамы вошли в столовую, дверь, охранявшаяся лакеем, отворилась, и хор полковых музыкантов грянул увертюру из «Сомнамбулы». Дамы пришли в неописанный восторг от этого сюрприза, да и кавалеры остались очень довольными. Тайна охраняемой двери была для нас разгадана.

Иван Алексеич с салфеткою в руке и с замасленными губами, потому что у него весь рот был набит сардинками, бросился в порыве неудержимого чувства к Щелкалову с намерением, кажется, обнять его, но тот ловко отклонил угрожавший ему поцелуй, и порыв окончился только крепким пожатием рук и сладким взглядом со стороны Ивана Алексеича. Обед и вина были превосходные. Все это вместе с музыкой привело присутствующих в самое веселое расположение духа, а некоторых более нежели в веселое. Еще обед не дошел до половины, как Пруденский начал уже обниматься с своими соседями, а Астрабатов отпускать невероятные любезности сидевшим против него дамам, к счастию, заглушавшиеся громом музыки.

Щелкалов очень неблагосклонно посматривал по временам в свое стеклышко на тот конец стола, где сидели Пруденский и Астрабатов. Он обратился к Веретенникову и ко мне и, скорчив гримасу, произнес:

— Нельзя сказать, чтобы мы находились в очень избранном обществе. Как вы думаете, господа?

— Да! черт знает что такое! — возразил Веретенников, охорашиваясь и поправляя свои воротнички.

Между тем Иван Алексеич, удовлетворив свой аппетит несколькими блюдами, которые он накладывал в значительном количестве на тарелку, и залив их вином, изъявил беспокойство об отсутствии папеньки. Лидия Ивановна начала также приходить от этого в некоторое смущение, а Наденька с самого начала обеда с беспокойством посматривала на двери. Наконец в половине обеда, к общему удовольствию, старик появился с двумя огромнейшими котомками, наполненными грибами, весь в паутине.

— Уф! — произнес он, складывая котомки на стул,— как ни торопился, а все-таки опоздал, зато вот вам еще лишнее блюдо.

И он указал на свои грибы.

— Мы никак бы не сели без вас,— заметил Щелкалов,— если бы не ваш сын и не Лидия Ивановна.

— И прекрасно сделали, что не ждали меня, я этого терпеть не могу; а вот я теперь вымоюсь да выпью потом водочки, да и догоню вас. Ведь вы еще не съели всего? Ведь для меня что-нибудь осталось?.. Да мне, пожалуй, ваших-то утонченных блюд и не нужно. У меня есть свое блюдо.

Старик улыбнулся и потом обратился к Щелкалову:

— А вот ты окажи-ка мне услугу, барон: так как уж ты распорядитель, вели-ка повару-то хорошенько изжарить нам на сковородке эти грибки со сметаной. Грибки все как на подбор молоденькие, свеженькие. Это блюдо будет лучше всех ваших заморских блюд-то, и вы мне за него скажете спасибо, я знаю.

— Превосходная мысль! — воскликнул Щелкалов.— Дюбо жарит грибы удивительно... Послать сюда повара!

Дюбо, низенький и полный, в пышной белой фуражке и в куртке снежной белизны, с огромнейшим перстнем на указательном пальце во вкусе Астрабатова, вошел в столовую и расшаркался перед бароном.

— Что прикажете, господин барон? — сказал он по-французски.

— Приготовьте нам сейчас эти грибы,— сказал Щелкалов, указав на котомки с грибами,— как следует по-русски со сметаной, на сковородке, помните, так, как вы подали их нам в прошлом году на обеде, который давал граф Красносельский.

— Очень хорошо, господин барон будет доволен.

— Мусье Дюбо, сметанка-то чтобы была эдак поджарена, понимаете? — сказал Алексей Афанасьич на русском языке, поглаживая Дюбо по плечу,— а грибки-то были бы в соку, чтобы не слишком были засушены.

Дюбо посмотрел с любопытством на Алексея Афанасьича и пробормотал:

— Корошо, корошо.

— Вы не беспокойтесь, он знает свое дело,— заметил Щелкалов, которому вмешательство Алексея Афанасьича было не совсем приятно.

Дюбо отправился к тому месту, где лежали грибы, но на полдороге был остановлен Пруденским, который, обтерев губы салфеткою, встал и счел необходимым, пожав руку повара крепко и с чувством, сказать ему по-французски латинским произношением:

— Vous êtes un véritable artiste*, мусье Дюбо!

— Fichtre! je crois b'en, m'sieur**,— отвечал Дюбо с достоинством.

— C'est mon ami!*** — воскликнул Астрабатов, указывая на Дюбо, и, погрозив ему пальцем, прибавил: — ах ты, плут, француз!

— Ah! bonjour, m'sieur Astrabat!**** — закричал Дюбо, протянув без церемонии руку Астрабатову.

Алексей Афанасьич между тем обчистился, вымылся и приступил к обеду. Грибы были приготовлены, к совершенному его удовольствию, отлично, и все, кушая их, обращались с похвалами к нему, а он кивал головой и улыбался самой счастливой улыбкой, приговаривая:

— Нет, ей-богу, этот Дюбо молодец! Я никак не ожидал, чтобы француз умел так хорошо приготовлять грибы!

Когда разлили шампанское, Иван Алексеич встал, посмотрел на всех нас и начал импровизировать следующие стихи:

Здесь дружба нас соединила,
И пир наш весело кипит:
В нем есть и блеск, и шум, и сила...

Он на минуту остановился и, обратясь к Щелкалову с приятнейшим выражением в лице, продолжал:

---

* Вы настоящий художник *(фр.)*.

** Конечно, черт возьми! *(фр.)*

*** Это мой друг! *(фр.)*

**** А! Здравствуйте, мсье Астрабат! *(фр.)*

Хвала тебе, наш сибарит!
Твои — и мысль, и исполненье...
И пир ты создал, как поэт!..
Тебе от нас благодаренье!
Тебе наш дружеский привет!
Друзья! с поклоном подымите
Бокалы, полные вина,
И в честь барона осушите
Вы молодецки их — до дна!

Последнему стиху Иван Алексеич придал особенную торжественность, выпил свой бокал до дна и с такою силою поставил его на стол, что тот разлетелся вдребезги.

У Алексея Афанасьича при стихах сына, разумеется, тотчас же закапали слезы из глаз.

— Браво! — раздалось со всех сторон.— Здоровье барона!

— Браво! — закричал громче всех Пруденский, немилосердно стуча ножом о стол.— Музыканты, туш!

Туш заиграли.

Щелкалов поклонился всем, встал со своего места, подошел к Ивану Алексеичу, пожал ему руку и, обратясь к нам, произнес важно:

— Господа! позвольте мне в свою очередь предложить вам тост... я заранее уверен в этом, он будет принят вами единодушно: за здоровье того, господа, который оживляет и украшает в настоящую минуту своими произведениями русскую поэзию... за здоровье того, чье имя должно быть дорого всем, кому близко к сердцу родное слово... Я не назову вам этого имени, господа, потому что каждый из вас внутренне назвал его в сию минуту...

— За здоровье Ивана Алексеича! — подхватил Пруденский.

И все бокалы с криками: «Туш! здоровье Ивана Алексеича!» устремились к бокалу растроганного поэта.

В эту минуту Алексей Афанасьич всхлипывал и вместо платка утирал слезы салфеткой.

Затем начались тосты в честь дам, в честь Алексея Афанасьича, какие-то отдельные тосты и даже потом тост в честь повара.

Когда вышли из-за стола, многие, и в том числе Иван Алексеич первый, пристали к Астрабатову с просьбою, чтобы он спел что-нибудь.

Астрабатов обвел всех глазами и, положив руку на плечо Ивана Алексеича, сказал:

— Изволь, душа моя, для тебя спою, ты понимаешь

поэзию, у тебя там кипит внутри-то, как и у меня же, я знаю; у нас там, братец ты мой, внутренняя гармоника... ну, вели подать мою гитару.

Гитара была принесена.

Астрабатов взял ее, щипнул пальцами струны и обвел глазами мужчин и дам.

В ту минуту, когда мы столпились около Астрабатова, управляющий, приходивший за чем-то, остановился и начал взглядывать на него с любопытством из-за плеча Пруденского. Астрабатов тотчас заметил это и, подойдя ко мне, шепнул, поведя на управляющего глазом:

— Это, моншер, что такое за энциклопедия?

Когда я ему объяснил, кто это, он взглянул на управляющего еще раз, положил гитару на стол, почесал в затылке, отодвинул в сторону Пруденского, вытащил изумленного и сконфуженного управляющего вперед и закричал:

— Вина!

Потом осмотрел его с головы до ног, как бы любуясь им, погладил его с нежностию по лысине и сказал, все продолжая рассматривать его:

— Просто душка! (и приложил пальцы к губам). Мы с ним чокнемся и выпьем в знак дружбы.

Управляющий начал кланяться, благодарить и уверять, что не пьет.

— Эти, брат, закорючки ты оставь, я терпеть не могу,— возразил Астрабатов.— Вот тебе бокал!

Он подал ему бокал.

— Ну, пей, пей!.. Вот так, смотри!

И он залпом выпил свой бокал.

Управляющий на минуту призадумался и потом последовал его примеру.

Астрабатов поцеловал его.

— Ну, теперь мы друзья, я к тебе еще приеду, душенька, в вашу «Дубовую-то Рощу» поохотиться. Теперь, кажется, посторонних никого нет. Так слушайте, если хотите, я спою вам.

Он взял гитару, задумался на мгновение, откинул назад свои кудрявые волосы, в которых проглядывала уже седина, посмотрел на потолок, как бы ища вдохновения, ударил по струнам и запел, обратившись к дамам и закатив глаза:

На заре ты ее не буди,
На заре она сладко так спит,
Утро дышит у ней на груди...

Тенор Астрабатова не отличался ни свежестью, ни чистотою, но он был не без приятности; в нем было что-то раздражающее, производившее сильное впечатление на тех, которые не были слишком взыскательны в музыке и предпочитали Моцарту и Бетховену всякую русскую заунывную или цыганскую плясовую песню.

И потому, когда Астрабатов кончил, раздались самые искренние «браво» и рукоплескания; в особенности Пруденский и управляющий были сильно растроганы. Даже и Щелкалов с Веретенниковым воскликнули:

— Браво! прекрасно!

Астрабатов взглянул на них, покачал головою и сказал:

— Да что вы там ни толкуйте, а у Астрабатова есть внутри и слеза и вздох; он вашей ученой музыки не понимает; он не учился там этим разным пунктам да контрапунктам вашим, он самоучка и действует не на голову, а на сердце. Не так ли, mesdames?

Астрабатов, немного прищурив один глаз, ударил по струнам и запел:

Горные вершины
Спят во тьме ночной,
Тихие долины
Полны свежей мглой...

— Ну, теперь, братцы, хоровую, да дружно! — вскрикнул он, становясь в позицию знаменитого Илюшки,— mesdames, je vous prie*.

Он взмахнул гитарой и запел:

Мы живем среди полей
И лесов дремучих,—
Но счастливей, веселей
Всех вельмож могучих...
Наши деды и отцы
Нам примером служат,
И цыганы молодцы,
Ни о чем не тужат...

При этом остановился, повел плечами, выставил правую ногу, обвел глазами поющих мужчин и дам, тряхнул головою, поднял гитару, махнул ею, и хор грянул:

Гей, цыганы! гей, цыганки!
Живо веселее!..

* Сударыни, прошу вас *(фр.)*.

Хор этот составляли Щелкалов, Веретенников, Надежда Алексеевна и Аменаида Александровна; остальные, кажется, только шевелили губами, да, правда, Пруденский еще подтягивал густым басом.

— Лихо! Ай да барыни! — сказал он, кладя гитару,— да за это вам надо непременно рученьки расцеловать. Дайте-ка приложиться.

Он поцеловал руку Надежды Алексеевны и Аменаиды Александровны и обратился к нам:

— А я вам скажу, что певцу-то следует теперь горло промочить. Пойдем-ка, друзья, к этому *моншеру* в гости.

Он указал пальцем на проходившего буфетчика, взял за руки меня и Щелкалова и потащил нас, говоря Щелкалову:

— Ну-ка, распорядитель, распорядись, чтоб бутылку раскупорили.

Пруденский последовал за нами и, хватая сзади Астрабатова за плечо, кричал:

— Мы, carissime*, выпьем за твое здоровье.

Когда бутылка была подана, Астрабатов налил четыре стакана. Пруденский, поправив очки, взял свой и воскликнул:

— От души пью за твое здоровье! У тебя дивный голос, проникающий до глубины.

И опорожнил свой стакан разом.

Мы также чокнулись своими стаканами со стаканом Астрабатова и отпили немного.

Астрабатов, выпив свой стакан, снова налил себе и Пруденскому и, остановившись с бутылкой над нашими стаканами, сказал:

— Что же? Ну, допивайте же.

Но ни Щелкалов, ни я не могли более пить и объявили об этом наотрез Астрабатову.

Он вздохнул и посмотрел на нас с выражением глубочайшего сожаления.

— Ах, вы! (и махнул рукой). Ну, положим, вот этот (он указал на Щелкалова) все выезжает на тонкостях, на *экскюзе*** да на *пермете****, а ты-то, душенька! — он обратился ко мне с упреком,— и ты туда же!.. Что ж, по-вашему, выпить эдак дружески, задушевно с теплым

* дражайший *(ит.)*.
** извините (от *фр.* excusez).
*** простите (от *фр.* permettez).

человеком — это не комильфо?* Ну да черт с вами, как хотите! Мы выпьем вот с этим... (Астрабатов указал на Пруденского). Он хоть эдакой hic, haec, hoc**, а малый-то в сущности с теплотой. Ну, душа моя,— продолжал он, обращаясь к нему,— оставим их, не нравится им вино, пусть пьют воду; de gustibus non est disputandum***... так, что ли, по-вашему-то?

Щелкалов благосклонно улыбался, с высоты посматривая на Астрабатова.

— Ваше сиятельство,— сказал лакей (все лакеи везде величали почему-то Щелкалова сиятельным, и он не противился этому),— мусье Дюбо вас просит.

— Что ему нужно? позвать его сюда!

Дюбо явился, с извинениями подошел к барону и что-то шепнул ему.

Барон сделал гримасу.

— Хорошо,— сказал он,— сейчас!

И в ту же минуту обратился к Астрабатову:

— Астрабатов, нет ли у тебя пятидесяти рублей? Я тебе ужо отдам. Ему вот нужны зачем-то эти деньги.

Он указал на повара.

Астрабатов украдкой взглянул на меня и кивнул головой на Щелкалова, прищуря глаз, потом вынул свой огромный бумажник, положил его на стол, раскрыл, достал из него пачку ассигнаций, посмотрел на всех нас и сказал, обращаясь к Щелкалову, не без иронии:

— Пятьдесят? Да уж возьми, душа моя, лучше для круглого счета сто.

И он отложил две пятидесятирублевые бумажки.

Первое движение Щелкалова было взять эти деньги; он уже протянул к ним руки, но вдруг глаза его встретились с моими; что-то мелькнуло в голове его, может быть, воспоминание разговора, при котором я присутствовал,— он нахмурил брови и сказал важно:

— К чему мне твои сто рублей? Убирайся с ними. Мне нужно только пятьдесят, чтобы отдать ему.

Он взял со стола пятидесятирублевую бумажку и передал ее Дюбо.

— Я тебе отдам эти деньги через полчаса. У меня нет мелких, надо разменять.

---

* Здесь: не по-светски? (от *фр.* comme il faut — светский, «порядочный»).

** Здесь: всякий разный *(лат.)*.

*** О вкусах не спорят *(лат.)*.

— Да что у тебя, серии, что ли, или банковый билет? — возразил Астрабатов.— Давай, моншер, я разменяю.

Но Щелкалов не слыхал этого предложения. Он в эту минуту заговорил с кем-то и вышел из комнаты.

Астрабатов проводил его глазами, потер себе подбородок и сказал, обращаясь к нам:

— А напрасно не взял ста, ей-богу, так бы уж я и считал за ним ровно полторы тысячи. Он третьего года проиграл мне в Лебедяни тысячу четыреста, обещал отдать на другой день, да вот так и отдает до сих пор. Да мне деньги — вздор! Я за деньгами не гонюсь, и эти пропадут, я знаю: пусть не отдает, да будь вежлив, нос-то не задирай... Ведь этими эрфиксами нынче никого не удивишь! Мы ничего не хуже тебя, брат, еще, пожалуй, посчитаемся родословными-то. Мое происхождение-то идет от персидских шахов, так мы еще чуть ли не почище тебя, душенька!

Астрабатов остановился и посмотрел кругом.

— А француз-то уж улизнул с деньгами... Подавайте его сюда. Дюбо! Дюбо!

— Monsieur? — раздался голос из коридора.

— Сюда, мусье, сюда поскорей! Дайте-ка нам еще бутылочку. Ну, мусье Дюбо,— продолжал Астрабатов по-русски, кладя свою ладонь на плечо француза,— мы с тобой, душенька, выпьем. Слышишь? Ты уж не отнекивайся. Ведь ты меня знаешь. Возьми стаканчик-то.

Дюбо, улыбаясь, взял стакан и поглядел на нас.

— Monsieur Astrabat шут-ник... il est tres gai*.

— Ты ведь, душенька, артист,— продолжал Астрабатов, прищелкнув языком,— ведь ты не то, что какие-нибудь только фрикасе да финьзербы, нет! ты и плом-пудинг английский и какие-нибудь российские грибки со сметанкой на сковородке представишь в таком виде, что пальчики оближешь. Ну, cher ami, поцелуемся и выпьем еще стаканчик. Вот так! Я вот как женюсь, так возьму тебя к себе в повара. Слышишь? Уж мы с тобой будем такие банкеты задавать, то есть *ексқи***, вот какие...

Астрабатов приложил пальцы к губам и чмокнул.

— Весь город ахнет! Я тебе дам двести целкачей в месяц жалованья. Будешь доволен?

---

* он очень веселый *(фр.)*.

** Здесь: шикарные (от *фр.* exquis).

— Très-bien, très-bien*,— бормотал француз, кивая головой.

— Ну, а теперь с богом проваливай.

Когда Дюбо ушел, Астрабатов зевнул, почесал в голове и потом вскрикнул:

— Хлопец, гитару!.. Что-то там зашевелило внутри,— прибавил он, обращаясь к нам.— Погодите-ка, я вам спою эдакую задушевную.

Он взял гитару и запел:

Полюби меня, дева милая,
Радость дней моих, ненаглядная!
Если б знала ты весь огонь любви,
Всю тоску души моей пламенной!..
Грустно в мире жить одинокому,
Без любви твоей, дева милая!
Полюби меня, черноокая!
Ты звезда души беззакатная!
И любовь твоя обовьет меня
Своим пламенем упоительным,
Я умру тогда смертью чудною,
И завидною даже рыцарям!

В ту минуту, как Астрабатов смолк, Иван Алексеич вбежал в буфетную.

— Господа,— сказал он,— вас дамы приглашают идти гулять, а в зале, покуда мы гуляем, устроят, что нужно для танцев.

Мы все отправились за Иваном Алексеичем, в том числе и Астрабатов, уже несколько покачиваясь.

Решили пойти в ту часть сада, где мы еще не были,— в беседку на горе, с которой открывался вид на окрестные поля, болота и деревни и откуда была видна даже черта моря у самого горизонта. Здесь, при закате солнца, представлялась картина великолепная, и многие нарочно делали parties de plaisir** в «Дубовую Рощу», чтоб только посмотреть на закат солнца из этой беседки.

Щелкалов взял опять под руку Наденьку. Он был после обеда в самом приятном расположении духа, сделался очень прост и любезен со всеми, в разговоре относился даже к Пруденскому и два раза предложил ему какой-то вопрос. Мы все шли вместе толпой по широкой дороге парка. Астрабатов рядом с Наденькой. Он беспрестанно перебивал Щелкалова своим балагурством, и барон

---

* *Здесь: прекрасно, прекрасно (фр.).*

** увеселительные прогулки *(фр.)*.

нисколько не сердился за это и даже часто смеялся от чистого сердца, как и все мы.

— Ах вы, моя барышня! — говорил Астрабатов, прищуриваясь на Наденьку,— то есть просто первый сорт, пышный розанчик в густых сливках, эдакой bouquet de l'Impératrice* тончайшего аромата, чтобы нюхать только с осторожностью на коленях в табельные дни... И вы ведь не знаете,— продолжал он, обращаясь к нам,— сколько там, в этой внутренности заложено слез, вздохов, восторгов, эдаких улыбочек, от которых у человека делается боль в сердце и головокружение... какая у нее там эдакая калифорния с музыкой в сердце...

Слушая рассказы Щелкалова, перемешанные с балагурством Астрабатова, мы незаметно дошли до подошвы горы, на которой была выстроена беседка.

Вечер сделался удивительный, даже ни один осиновый листок не шелохнулся. Солнце, выглянув из облаков, за которыми скрывалось, тихо спускалось к безоблачному горизонту, обещая картину заката в полном блеске. Было так сухо и тепло, как в начале лета, и только определенность в очертаниях облаков, сухость в тонах и резкость в колорите заката, да кусты и деревья, местами подернувшиеся золотом, пурпуром и темно-вишневым цветом, говорили о наступившей осени.

— Господа,— сказал вдруг Веретенников, с некоторым беспокойством поправляя свои воротнички,— там в беседке на горе какое-то общество. Я вижу мужчин и дам.

— Что ж, очень может быть,— возразил Щелкалов,— кто-нибудь с соседних дач, какие-нибудь немцы прибыли в чухонских таратайках наслаждаться закатом солнца. В хороший вечер тут всегда можно найти каких-нибудь любителей природы.

— Да, это правда,— пробормотал Веретенников, успокаиваясь.

И мы начала подниматься в гору со смехом, с песнями и со стихами, которые декламировали Иван Алексеич и Пруденский.

В нескольких шагах от площадки горы нам послышался доволно ясно французский говор и можно было даже различить голоса, в особенности один мужской, довольно громкий и резкий голос.

Щелкалов вдруг весь изменился в лице и остановился.

---

* букет императрицы *(фр.)*.

— Что с вами? — спросила его Наденька.

— Что ж вы остановились? — кричали им, опережая их.

— Я немного устал,— отвечал Щелкалов, нахмурясь и неохотно продвигаясь вперед.

Я догадывался отчасти, в чем дело, и убедился вполне, что барон, несмотря на свою смелость и заносчивость, не имел ни малейшей способности владеть собой и при всем своем желании никак не мог скрывать своих ощущений.

Мои догадки оправдались, когда, взойдя на гору, я увидел человек восемь мужчин и дам,— мужчин, между которыми красовался господин, изобретший теорию поклонов; дам, при виде которых у Веретенникова захватывало дыхание. Щелкалов должен был встретиться с ними лицом к лицу. Они подъехали к горе с противоположной стороны парка, и экипажи их, стоявшие за горою, не могли быть видимы нами.

Щелкалов взошел на гору, все еще держа Наденьку за руку, и очутился, как нарочно, прямо против одной блистательной дамы, которая из беседки вышла на дорожку.

Я не спускал с него глаз, стоя в стороне.

В первое мгновение он помертвел; глаза его тупо остановились, стеклышко выпало из глаза, рука, державшая Наденьку, опустилась. Он походил на человека, внезапно захваченного в преступлении, которое лишает чести и доброго имени; это было, впрочем, только мгновение, после которого он оправился, вставил в глаз стеклышко, приподнял шляпу и улыбнулся, но такой натянутой улыбкой, которая более походила на гримасу.

— Madame la comtesse*...— произнес он, сделав шаг к великолепной даме.

— Est-ce vous, monsieur le baron?** — сказала графиня с полуулыбкой, измерив Наденьку с ног до головы беглым взглядом и обведя всех нас остальных головою.

Более я ничего не слыхал, потому что барон пошел рядом с графиней, удаляясь от нас и разговаривая с ней очень тихо. Они скоро присоединились к своему обществу, и я увидел, как он, совершенно смущенный, начал пожимать руки великолепных мужчин и дам, которые, как можно было догадаться, расспрашивали его об нас, потому что в то же время бросали косвенные взгляды в нашу сторону.

---

* Графиня *(фр.)*.

** Это вы, барон? *(фр.)*

Наденька несколько минут как вкопанная стояла на месте, оставленная своим кавалером.

Веретенников же только что взошел на площадку, как тотчас попятился назад, побежал с горы и скрылся.

Астрабатов показал мне на него.

— И эта раскрахмаленная кукла туда же! — сказал он, качая головой,— прячется в кусты, тоны задает, боится, видишь ли, чтобы его не заметили с нами; мы, душа моя, недостаточно комильфо для него. А ведь я полагаю, что эдакого мухортика и не заметили бы эти Талейраны-то! (Он мигнул на великолепного господина, изобретшего теорию поклонов.) Ну, а что касается до вон этих маркиз, которые кидают на нас эдакие *косвенные* с подходцем, то они и во сне-то не видали, что такое мусье Веретенников, даром что его четвероюродный брат женат на какой-то мамзели, троюродная сестра которой жила в компаньонках у барыни, которая приходится в седьмом колене родственницей какой-то графине... Чего ж тут в кусты-то прятаться?

Эта встреча вдруг совершенно расстроила все общество; все пришли в какое-то замешательство, всем сделалось неловко, все притихли, все оробели, сами, впрочем, не зная отчего; наши дамы исподтишка с подобострастием начали пожирать глазами тех дам: их шляпки, бурнусы, мантильи, движения, взгляды и прочее. Закат солнца был совершенно забыт.

А между тем солнце уже только вполовину было видно из-за горизонта. Охватив часть леса своим красноватым огнем, оно быстро скрылось, но еще на облаках долго потом отражался закат его резкими красноватыми полосами; и было что-то успокоительное в тишине синеющей ночи, нарушавшейся звонким трещанием стрекозы и в необозримой дали, исчезавшей в беловатых парах.

Наденька все стояла одна, поодаль от всех, бледная и потерянная, и смотрела в эту даль...

Щелкалова мы не видали более; он не только не подходил ни к кому из нас, но как будто боялся даже взглянуть в нашу сторону и отправился с великолепным обществом.

Мы возвратились в наш флигель уже без стихов и песен... Дорогою всех говорливее был Астрабатов, всех молчаливее Наденька и Лидия Ивановна.

У порога флигеля нас встретил Веретенников.

— Что, душа моя,— сказал ему Астрабатов,— ты так

вдруг как будто в воду канул, а об тебе там все эти княгини и графини очень беспокоились. Они узнали, что ты с нами, и всё говорили: да где же это мусье Веретенников? Подавайте нам мусье Веретенникова!

Астрабатов погрозил ему пальцем.

— Ты, канашка, знаешь, видно, где раки-то зимуют. Тебе подавай все эдаких в амбре, да в валансьенских кружевах!

Веретенников поправил свои воротнички, приподнял голову, взглянул на Астрабатова и пробормотал сквозь зубы:

— Это остроумие, что ли?

И потом обратился ко мне:

— А вы слышали, что Щелкалов уехал? говорят, графиня Софья Александровна увезла его с собою.

— Это, я думаю, не совсем деликатно со стороны его,— заметил я.

В самом деле, минут через пять управляющий явился к Лидии Ивановне и объявил ей, что «барон приказали-де очень извиниться перед всеми, что они должны были уехать с их сиятельством графиней Софьей Александровной и что они, дескать, просят г. Веретенникова вместо них распорядиться танцами и всем».

— М-г Веретенников, вы слышали? — сказала Лидия Ивановна с иронической улыбкой,— извольте же исполнить поручение барона. Примите на себя все распоряжения. Верно, уж встретилось какое-нибудь очень непредвиденное обстоятельство, что барон так неожиданно оставил нас.

Лидия Ивановна в высшей степени была оскорблена поступком Щелкалова и едва могла скрывать это; Иван Алексеич пришел от того также в немалое замешательство, тем более, что все приставали к нему с бароном.

— Я, господа,— говорил он,— не отвечаю ни за кого, кроме самого себя. Что мне такое барон? Я всегда знал, что он пустой человек и, как все светские люди, рассеянный; он не может отвечать за себя; но все-таки он имеет свои достоинства. Притом, что ни говорите, он очень умен, господа!

И Иван Алексеич значительно покачал головою.

Начались танцы, но они шли как-то вяло. Веретенников не умел или не хотел дирижировать ими. Он важно расхаживал по зале, поправляя свои воротнички и по временам взглядывая на себя в зеркало. На бедную Наденьку жалко было смотреть — она усиливалась казаться

веселою и беспрестанно изменяла себе. Ее волнение и расстройство бросались всем в глаза. Только две пары веселились от души и танцевали с жаром — влюбленный молодой человек с бойкой барышней, для которой он, казалось, уже совершенно забыл Наденьку, и Аменаида Александровна с Астрабатовым, который, танцуя, выделывал различные штуки: поводил плечами и глазами, делал удивительные антраша, прижимал руку своей дамы к своему сердцу и даже становился перед нею на колени.

Несмотря на это, все как-то не клеилось, и мы разъехались в исходе одиннадцатого часа...

С этого дня бог знает какие слухи и сплетни начали распространять про бедную Наденьку.

Прошло две недели после этого пикника. Грибановы уже перебрались в город. Я зашел к ним и нашел все семейство в расстройстве: Наденька была нездорова; Лидия Ивановна не имела той приятности и предупредительности в лице, как обыкновенно; Иван Алексеич был раздражен, и старик даже немного грустен...

После обыкновенных расспросов о здоровье и о прочем Лидия Ивановна с довольно ядовитою усмешкою объявила мне новость о том, что Федор Васильич (молодой человек, влюбленный в Наденьку) уже объявлен формально женихом Ольги Ивановны (бойкой барышни) и что у него есть богатый дядя, который дает ему, говорят, сто тысяч.

— Подцепила женишка хоть куда! — прибавила в заключение Лидия Ивановна,— и не мудрено. Уж такая бойкая особа, что беда!

— А вы знаете, какую штуку сыграл с нами этот барон-то? — сказал Иван Алексеич, ходя по комнате и вдруг остановившись передо мною.

— То, что он убежал-то от нас?

— Что! это бы еще ничего! Нет, послушайте. Вчерашний день является к папеньке этот повар француз Дюбо. Папенька, натурально, удивился зачем... Что же оказывается, как вы думаете? Надобно вам сказать, что этот Дюбо теперь без места: он в продолжение нынешнего лета брал на себя устройство пикников, различных загородных parties de plaisir и прочее. Он давно известен почти всей этой богатой молодежи и по ней знает барона и, разумеется, считает его также богачом. Барон адресовался к нему насчет нашего пикника, и Дюбо обязался устроить все самым лучшим образом, как и было, за пятьсот рублей. Барон дал ему сто рублей задатку, да

в день самого пикника пятьдесят,— тем все и кончилось. За остальными тремястами пятидесятью рублями он ходил к нему ежедневно, и барон все говорил «завтра», наконец объявил ему, что еще не собрал деньги, что у него теперь нет своих, что будто бы... слышите?.. папенька взялся собирать и что он ждет этих денег с часу на час, да на другой день и улизнул в Москву. Дюбо, разумеется, пришел к папеньке, объяснил все: говорит, что он в ужасном положении, что с него требуют и погребщики, и фруктовщики, что на него хотят подать жалобу, и прочее. Хорошо, что у папеньки случилось триста пятьдесят рублей, он отдал последние. Как вам это нравится?.. Папенька сделал еще неосторожность,— прибавил Иван Алексеич, немного приостановившись,— он дал ему две тысячи взаймы. Вот худо, если эти деньги пропадут, а после всего очень может статься...

— Ну, полно, Иван! — возразил старик, несколько нахмурясь, и махнул рукой.— Бог с ним! Нет, он отдаст все эти деньги... я уверен... немножко замотался, знаешь, да не сумел вывернуться вовремя. Это, конечно, нехорошо; но он поправит все, я уверен. Вы, пожалуйста, только никому не рассказывайте этого,— сказал мне Алексей Афанасьич самым убедительным голосом.

Но я, однако же, не выдержал и все рассказал господину с злым языком. Тот послушал меня, улыбнулся и сказал:

— Я ведь говорил вам, что он кончит дурно. Теперь еще какая-то Арманс в два дня вскружила ему голову, и он черт знает зачем поехал с нею в Москву. Неисправим, батюшка, ничем не исправим... Впрочем, вы успокойте этого господина Грибанова; его деньги не пропадут, я вам за них отвечаю.

И в самом деле, тотчас по возвращении Щелкалова из Москвы и через несколько дней после того, как я виделся с нашим приятелем, Алексей Афанасьич получил триста пятьдесят рублей, но при самом, впрочем, грубом письме, да еще с наставлениями.

«Я не привык,— писал ему Щелкалов,— чтобы ктонибудь сомневался в моей чести,— и никому не позволю этого. Вам не следовало платить деньги Дюбо ни в каком случае и вмешиваться в мои с ним счеты: отвечал за все я; а отдав ему эти деньги, вы показали свое сомнение в отношении ко мне.

Примите, милостивый государь, уверение в том, что я никогда не был и не буду несостоятельным должни-

ком, в чем вы убедитесь, получив аккуратно в день срока деньги, которыми вы меня ссудили, с причитающимися на них процентами.

Имею честь быть...» и прочее.

Алексей Афанасьич нисколько, впрочем, не оскорбился этим: он отдал нам письмо, улыбаясь.

— Спрашивается, как же назвать такого молодца? — спросил глубокомысленно Пруденский, пробежав письмо через свои очки и возвращая его Алексею Афанасьичу.

В числе присутствующих тут в эту минуту находился один господин, чрезвычайно веселый юморист и славный рассказчик.

— Я знаю как,— возразил он.— Это *хлыщ!* Таких господ надобно непременно звать *хлыщами.*

— Что такое? — воскликнул Алексей Афанасьич, расхохотавшись,— как? как? повтори-ка еще.

— *Хлыщ!*

— Да что же такое это значит? Какое это слово? откуда оно? Я первый раз его слышу.

— Ну, об этимологии его вы меня, пожалуйста, не спрашивайте. Я не знаю. Это слово сорвалось у меня с языка; но мне кажется, что оно совершенно характеризует такого рода господ, как, например, ваш барон.

Нам всем очень понравилось это слово: мы приняли его без возражений и пустили в ход. Теперь оно, по нашей милости, начинает распространяться.

— Ну, а Астрабатов — это что такое? — спросил Иван Алексеич.

— Это также хлыщ,— отвечал веселый господин,— только барон великосветский хлыщ, а этот — трактирный. Ведь хлыщи бывают различных родов.

ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ ХЛЫЩ



I

ДЕТСТВО



не было тринадцать лет, когда меня решили отдать в Благородный пансион. День отъезда моего из дома останется незабвенным в моей жизни. Карета уже была заложена и стояла у крыльца. Маменька, в шляпке с цветами, весело разговаривала с приживалкой

в зале, где собралась вся наша дворня: лакеи, горничные, казачки, судомойки, поломойки и проч. провожать меня. Я стоял, совсем уже готовый к отъезду, возле моей старой няни, которая заливалась слезами и от времени до времени целовала меня, произнося задыхающимся голосом: «Голубчик ты мой!» Сердце мое болезненно билось, слёзы беспрестанно выступали на глаза. Мысль, что я расстаюсь с родным кровом, со всем, близким мне, с моим добрым дедушкой, с няней; что я не буду ночевать в своей комнате, на своей постели, под своим одеялом, не увижу кота Ваньку, мурлыкающего против на лежанке,— все это вместе казалось мне ужасным, и я едва удерживался, чтобы не зарыдать вслух. Дверь из кабинета в залу отворилась, и на пороге появился дедушка. На нем был фрак со стоячим воротником, белый галстук, рубашка с манжетами, панталоны, застегнутые у колен пряжками, и сверх белых чулок высокие сапоги; волосы его были тщательно причесаны по старинной моде и напудрены. Светлое лицо его, полное кротости, любви и доброты, было серьезнее обыкновенного. Дедушка, как будто не замечая никого, прямо подошел ко мне, обнял меня, крепко поцеловал, перекрестил и произнес: «Господь с тобою! учись прилежно, этим ты утешишь свою мать и меня... В субботу я сам за тобой приеду...» И он еще раз поцеловал и перекрестил меня. Все на минуту присели и потом поднялись. Няня начала укутывать меня, не выдержала и зарыдала. Все люди смотрели на меня жалостливо. «Полно, няня, полно,— говорил дедушка,— как тебе не стыдно! Ведь я через шесть дней привезу его тебе... О чем плакать?» Но голос дедушки несколько дрожал, на глазах его также показались слезы, хотя он старался удерживать их и улыбался своей привлекательной, симпатичной улыбкой... Я целовал руку дедушки и как ни крепился, а мои слезы крупными каплями падали на его морщинистую руку.

— Ну, поедем, мой друг! — сказала маменька, вытирая глаза платком.— Простись со всеми людьми.

Я кланялся им, всхлипывая; они кланялись мне; некоторые из женщин плакали; появился и кот Ванька, который также смотрел на меня как-то жалостливо. «Простись с Ванькой-то, батюшка!» — сказала мне няня, утирая слезы. Я наклонился к Ваньке, погладил и его и поцеловал. Дедушка надел шубу и шапку и вышел провожать меня на крыльцо; за ним двинулась вся

дворня. Няня не выпускала моей руки до той минуты, когда я занес ногу на ступеньку кареты.

— Няня, няня! — кричал дедушка,— поди в комнату. Ты простудишься: ты в одном платье.

Но няня не слышала ничего. С выбившимися из-под платка седыми волосами, с глазами, распухшими от слез, она не спускала глаз с окна кареты, в которое глядел я, делала мне различные приветливые знаки, крестила меня и кричала мне:

— Шейку-то закрой, батюшка, шейку-то! у тебя шейка открыта.

Дедушка также все смотрел на меня, улыбался и кивал мне головой.

Карета двинулась... Я в последний раз высунулся из окна. Людей уже никого не было. На крыльце оставались только дедушка и няня,— дедушка, осенявший меня крестным знамением, няня, кричавшая мне в совершенном отчаянии: «Прощай, голубчик ты мой! прощай, родной ты мой!»

У меня замерло сердце, и я упал головою к коленям, зарыдав и залившись слезами.

На полдороге, когда я пришел в себя и вытер глаза, маменька поцеловала меня и сказала:

— Ну, перестань! полно... хорошо ли, приедешь в пансион с распухшими глазами? Ведь над тобой все будут смеяться. И о чем так плакать, я не понимаю! Ведь не вечно же тебе сидеть с дедушкой и нянькой... Тебе уж, кажется, пора отвыкать от няньки. И тебя отдают не в какую-нибудь народную школу: ты вступаешь в пансион, где все дети богатых и знатных отцов, все генеральские, графские и княжеские дети; тебе должно быть приятно иметь таких товарищей. Эта мысль должна утешать тебя. Старайся понравиться товарищам, заслужить их любовь. Это может быть тебе полезно со временем.

Маменька вздохнула и прибавила как будто про себя:

— В жизни главное — хорошие знакомства и связи.

Когда мы вышли из кареты и всходили на лестницу к директору, с семейством которого маменька уже предварительно познакомилась, с лестницы навстречу нам сбегал мальчик лет пятнадцати, мой будущий товарищ, с белым, румяным и круглым лицом, с карими масляными глазками, с волосами, густо напомаженными и тщательно приглаженными, в форменном собственном сюртуке очень тонкого сукна, с перетянутой талией.

Маменька остановила его вопросом:

— Позвольте вас спросить, миленький, господин директор дома?

Мальчик очень ловко раскланялся и отвечал:

— Дома-с; я сейчас только от него.

— А я вам привезла нового товарища,— продолжала маменька с любезною улыбкою,— это сын мой. Полюбите его.

Мальчик взглянул на меня, наклонил голову, улыбнулся, вынул из кармана тонкий платок, который пахнул духами, поднес его к носу, пробормотал: «очень рад-с», еще раз раскланялся маменьке и побежал.

— Какой прелестный мальчик! — заметила маменька,— и какие у него манеры! Вот тебе образец. Сейчас видно, что это благовоспитанное дитя, из хорошего дома.

Мальчик действительно в первое время моего пребывания в пансионе был для меня образцом к удовольствию моей доброй маменьки.

Фамилия его была Летищев — фамилия не совсем аристократическая, но он имел довольно важное, хотя отдаленное родство с материной стороны. Маменька его причиталась троюродной сестрой одному графу, занимавшему значительную должность при дворе, которого она называла всегда *кузеном*. Отец Летищева умер в чине гвардии полковника, за несколько лет до вступления сына в пансион, оставив в наследство жене и сыну огромные долги. Г-жа Летищева по смерти мужа, несмотря на затруднительные обстоятельства, не стесняла образа своей жизни. Когда, говорят, один из родственников ее мужа, вошедший в ее дела по ее просьбе, решился деликатно заметить ей, «что если все опять пойдет так, то может кончиться худо», она захохотала, измерила его с ног до головы и сказала:

— Например? что вы разумеете — худо?

— Да векселя будут представлены ко взысканию, имение продано с аукционного торга, вы останетесь ни с чем, и, может быть...

— Что же может быть?

— Вы меня извините, но может кончиться тем, что вас посадят в тюрьму.

— Меня? в тюрьму? — воскликнула она.— Это мне нравится! Во-первых, кто же сажает порядочных женщин в тюрьмы? Сажают бродяг... вон что ходят по улице. А к тому же я — вы, верно, не взяли этого в соображение — по рождению графиня Каленская... Александр Федорыч мой... cousin...

— Все это я знаю,— возразил родственник,— все это очень хорошо, но только закон не берет ничего этого в соображение.

— Какой закон! Что такое? Бог знает, что вы говорите! Позвольте мне вам сказать, что все порядочные люди в долгу, как в шелку, однако ж все, слава богу, живут, дают балы, выезжают, и никого не сажают в тюрьмы...

После таких убедительных возражений рассуждать было нечего: родственнику оставалось только раскланяться родственнице и оставить ее в покое. Он так и сделал. Все это я узнал впоследствии. В пансионе же мы считали Летищева страшным богачом, потому что он уезжал из пансиона и приезжал в пансион в карете четверней на вынос, привозил из дому множество конфект и разных сластей, рассказывал о том, какой у маменьки бывает приезд, сколько у дяденьки-графа орденов, звезд и комнат, как дяденька его любит, и проч., при чем прибавлял, что у дяденьки нет наследников и что маменька говорит, что он будет дяденькиным наследником. Некоторые товарищи не совсем доверяли Коле Летищеву, особенно касательно его дяденьки, зная привычку Коли все несколько преувеличивать и пускать пыль в глаза; но когда однажды сам дяденька во всем блеске и во всех украшениях явился в пансион, произведя величайшее смущение и суматоху, и, потрепав племянника по щеке, отдал ему, в присутствии директора и столпившихся кругом учеников, билет в ложу и произнес:

— Вот тебе, Федя, ложа в театр. Пригласи своих товарищей. Г. директор отпускает вас на сегодняшний спектакль, по моей просьбе.

После этого никто уже в пансионе, начиная с директора до последнего сторожа, не сомневался, что Летищев его наследник, и не только начальство, даже многие из товарищей начали поглядывать на Летищева как-то иначе, гораздо приветливее, а сторожа обнаруживать перед ним большую угодливость и вежливость.

Коля после дяденькиного визита возмечтал о себе ужасно; его смущало только одно, что граф назвал его при всех Федей, вместо Коли, и дал повод некоторым товарищам подтрунивать над тем, что дядя не знает его имени, что он, верно, видит его в первый раз в жизни, и тому подобное.

Впрочем, к Коле и приставали умеренно. Все — не то, чтобы любили его, а так, чувствовали к нему особое приятное расположение, бессознательно образовавшееся

вследствие четверни на вынос, приезжавшей за ним в пансион, его тонкого собственного сюртука, склянки духов и банки с помадой, которые лежали в шкапчике у его постели, вместе с щеткой из слоновой кости, и знатного родственника с украшениями.

Коля не отличался ни особенными умственными способностями, ни большим прилежанием; но он имел дар показываться всегда на первом плане. Он вдруг брал смелостью то, что другие приобретали постепенно усиленными трудами. Он озадачивал и приводил в совершенное смущение учителей. Когда доходила очередь до него, он вскакивал со своей скамейки, с самоуверенностью отрезывал урок без остановки, не запнувшись ни на одном слове, и, не давая учителю времени опомниться, садился на скамейку торжествующим. Учитель после минуты сомнения покачивал обыкновенно головою и ставил ему хорошие баллы. После классов Коля умел очень ловко вступать в разговор с учителем и вставлять в этот разговор имя дяденьки-графа. Вследствие всего этого Коля, плохо учившись, умел прослыть прилежным учеником, и его ставили в пример товарищам, которые были во всех отношениях несравненно лучше его. Директор звал его не иначе, как Николаем Андреичем, а директорша, величайшая охотница до танцев, была от него в восхищении, потому что на ее танцевальных вечерах, которые бывали довольно часто, Коля отличался, как большой, угождал ей и ее дочерям, любезничал с дамами и танцевал, как никто...

— Что это за чудный мальчик! — хором твердили обыкновенно гости директорши, жены учителей, гувернеров и инспекторов.— Нельзя налюбоваться им.

— О, да! и притом говорит по-французски, как француз! Он пойдет далеко,— замечала директорша,— и немудрено: он родной племянник и наследник графа Каленского... Притом он один сын у матери, которая обожает его. Ах, какая она милая дама и притом с каким богатством, с каким вкусом одевается!.. Что мудреного: она ездит ко двору, она была фрейлиной... У нас много княжеских и графских детей, но Колю Летищева ведут так, что он ни в чем не уступит ни графским, ни княжеским детям. Его еще лучше держат.

— Он,— замечала при этом инспекторша,— я слышала от ихней компаньонки, Луизы Ивановны, дома носит не иначе, как батистовое белье...

Колю не жаловали только те, очень, впрочем, немногие

из товарищей, которые на аристократов поглядывали вообще мрачно. Эти немногие причисляли к аристократам вообще всех тех, которые говорили по-французски, занимались своим туалетом и имели, как говорится, хорошие манеры. Один из этих преследователей аристократии, молодой человек, коренастый и косой, которому на вид можно было дать лет двадцать, ужасно перепугал однажды Колину маменьку. Он был в приемной комнате в ту минуту, когда она приехала и прямо вошла в эту комнату, вся в соболях и в бархатах.

— Вызовите мне, пожалуйста, моего сына,— произнесла она по-французски, обращаясь к нему.

Ученик, ненавистник аристократов, взглянул исподлобья своими косыми глазами на барыню в соболях и бархатах, сжал свои кулаки, что он делал только в минуты совершенного замешательства, и произнес густым басом:

— Кё?*

Барыня чуть не упала в обморок при этом *кё* и при этих кулаках; но, к счастию, в эту минуту вбежал директор, узнавший о ее приезде. Директор, грозным голосом и страшно нахмурясь, закричал на косого ученика:

— Что вы здесь делаете? Подите вон!..

И бросился с низкими поклонами и приятнейшими улыбками к барыне, мгновенно изменив свой грубый голос в самый мягкий и вкрадчивый.

— Quelle horreur!** — произнесла Колина маменька, приходя в себя,— как он меня перепугал! Неужели это ваш воспитанник — товарищ моего сына?..

— Да-с, что делать! К сожалению,— отвечал директор с глубоким вздохом,— это какой-то Митрофан, прямо привезенный к нам из деревни.

— Ты, пожалуйста, мой милый,— повторила она потом своему сыну,— держи себя подальше от этого страшного вашего ученика, который говорит *кё*... Это какое-то чудовище... И какой он ученик? ему пора жениться.

Коле, впрочем, не для чего было делать эти наставления, потому что Коля и без того держался в кругу самом избранном, т. е. между товарищами с именами и с деньгами. Что же касается до косого ученика, произнесшего *кё*, то он вовсе не был так страшен, как полагала Колина маменька; кроткий, трудолюбивый, прямой и честный по натуре, он не мог выносить только одного: когда

---

* Что? (*фр.* искаж.)

** Какой ужас! (*фр.*)

видел, как некоторые из его товарищей ухаживали за аристократами, льнули к ним, сияли счастьем, прохаживаясь с ними под руку по коридорам, в виду всех. При таком зрелище косой ученик всегда плевался и произносил:

— Ах, подлипалы поганые, сволочь!

Большая часть товарищей смотрели на него, как на юродивого. Ученики низших классов бегали за ним и дразнили его: показывали ему языки, корчили гримасы, дергали его за фалды, и тогда, выведенный из терпения, он схватывал первого попавшегося ему под руки и начинал его так ломать, что у бедного только кости хрустели. Оттого он получил прозвание *костолома;* но у этого костолома было самое мягкое и нежное сердце: раз, когда, играя в лапту, он нечаянно хватил палкой по носу одного ученика и чуть не проломил ему кости на носу, он притворился больным, чтобы вместе с ним идти в больницу; в течение месяца не отходил от его постели, ухаживал за ним, как сиделка, изменился, похудел и чуть сам не слег в постель, успокоясь только тогда, когда подбитый им товарищ начал выздоравливать.

Однажды во время гулянья — это было в половине августа — после каникул, воспитанники играли, бегали и ходили по широкому двору, усыпанному песком и обнесенному липовой аллеей. На этом дворе, между двух выдавшихся флигелей, расположен был небольшой садик с клумбами цветов — фантазия инспектора, имевшего большие наклонности к садоводству. Косой ненавистник аристократов, Скуляков, которого, кроме *костолома*, товарищи звали также *Кулаковым,* занимался копанием грядки: земляная работа была его страсть. Некоторые из его врагов аристократов и между ними Коля прогуливались под руку по дорожкам садика. Коля нечаянно, а может быть и с намерением, проходя мимо Скулякова, толкнул его и, не обращая на него внимания, прошел дальше. Скуляков воткнул лопатку в землю, скосил глаза более обыкновенного и закричал Коле:

— Эй вы, послушайте! что вы толкаетесь-то?

Коля продолжал идти, не удостоив даже обернуться на эти слова.

Скуляков побледнел, сделал несколько шагов ему навстречу и остановился прямо перед ним. Коля взглянул на него, изменился в лице, но старался принять на себя вид беззаботный и равнодушный.

— Я вам говорю, как вы смеете толкаться! — повторил Скуляков.

— Извините! — пробормотал Коля небрежно, взглянув с улыбкою на товарища, с которым прогуливался,— я нечаянно, я вас вовсе не заметил,— и сделал шаг вперед, чтобы продолжать свой путь.

Скуляков загородил ему дорогу.

— Вы думаете,— продолжал он,— что у вас тонкий сюртук, что вы душитесь и помадитесь, да височки прилизываете, да хвастаетесь своим дядей, да по-французски болтаете, так вы можете толкаться, не извиняясь... а это на что? — Скуляков засучил рукав своего сюртука, сжал посиневший от синего казенного сукна свой огромный кулак и подставил его перед глазами Коли.— Видите?

На эту сцену сбежалось несколько любопытных, как обыкновенно водится в таких случаях.

Коля сказал:

— Что ж, вы воображаете, что испугаете меня, что ли, вашим кулаком?

— Да уж я там не знаю, а я вот только что вам скажу... вот все будут свидетелями.— И Скуляков обвел своими косыми глазами собравшихся.— Если только вы когда-нибудь посмеете сделать мне какую-нибудь грубость, то я вам кости переломаю... слышите? Недаром же вы зовете меня костоломом... Помните же!

Произнеся это, Скуляков обернулся назад, очень спокойно возвратился к своей грядке, взял лопатку и продолжал свою работу.

Коля был несколько минут после этого в страшном волнении. Он вышел из садика, сопровождаемый двусмысленными улыбками свидетелей этой сцены; видел эти улыбки, и самолюбие его было страшно уязвлено, тем более, что Скуляков, несмотря на свои лета, был ниже его классом. Коля выходил из себя, ужасно горячился и через минуту после этого, в своем классе, ударив рукою по столу, закричал:

— С этим мужиком я не мог ничего сделать... Ведь нельзя же мне связываться с ним, когда он лезет с кулаками... Если бы у меня была шпага или пистолет — это другое дело. Но это ему не пройдет даром: я вам даю честное слово, господа, что после выпуска я буду с ним стреляться.

И Коля, говоря это, расхаживал по классу петушком, вздирал голову кверху, гордо улыбался и корчил совершенного героя. Воображение успокоило несколько

его самолюбие. Однако после этого он вообще старался избегать встреч со Скуляковым, а при неизбежных встречах очень осторожно обходил его и при этом даже несколько смягчал выражение своего лица. После этой сцены Коля, впрочем, несколько понизился во мнении товарищей, а на Скулякова даже и некоторые из аристократов начали посматривать иначе и вели себя в отношении к нему гораздо осторожнее.

Ко мне Коля чувствовал расположение, хотя посматривал на меня свысока, как воспитанники старших классов обыкновенно смотрят на младших. Он протежировал меня, вероятно, потому, что видел мои усилия подражать его манерам, походке и прическе. Коля был только двумя годами старше меня; но эти два года неизмеримо разделяли нас. Ему было уже шестнадцать лет, и он подбривал пушок, едва показывавшийся на его усах, когда раз в субботу, перед роспуском, он подошел ко мне и сказал:

— Если вас отпустят завтра из дому, приезжайте ко мне обедать. У меня обедают наши — князь Броницын и еще кое-кто... Отпроситесь из дому. Я вас познакомлю с маменькой.

Я отвечал:

— Непременно буду.

Непременно я не мог сказать, потому что еще не совсем был уверен, отпустят ли меня; но это слово невольно сорвалось у меня с языка, потому что я хотел показать, что уже не ребенок и пользуюсь некоторою независимостью.

Отправляясь домой, я все мечтал о следующем дне; но при мысли быть представленным Колинькиной маменьке, которая на вид была такая гордая, робость овладела мной, и желание быть у Коли начало бороться во мне с этою робостью.

Я объявил дедушке и маменьке о полученном мною приглашении, упомянув, между прочим, имя князя Броницына.

Дедушка, выслушав меня, посмотрел на меня очень пристально, и, когда я кончил просьбою отпустить меня, он произнес своим мягким голосом, потрепав меня по плечу:

— Если тебе очень хочется, дружочек, пожалуй; но ты лучше сделал бы, если бы остался с твоим стариком-дедушкой.

— Нет... почему же ему не ехать? отпустите его, папенька! — возразила маменька,— надо же привыкать

ему быть в хорошем обществе, приобретать манеры, развязность...

Дедушка едва заметно нахмурился.

— Какие манеры, матушка? — перебил он,— ему надобно прежде всего думать об ученье, а не о манерах. Какие это манеры у вас, я не понимаю!

Маменька замолчала, но, как мне показалось, несколько иронически взглянула на дедушку и улыбнулась.

Однако маменька поставила на своем, потому что дедушка на другой день утром, когда я с ним поздоровался, поцеловал меня и объявил, что я могу ехать обедать к товарищу.

Маменька, вообще мало занимавшаяся мной, перед отъездом сама одевала меня с величайшею заботливостью, входила в мельчайшие подробности моего туалета: завивала, помадила и расчесывала мне волосы и даже дала мне свой батистовый платок и надушила его своими духами, чего прежде никогда не случалось.

— Смотри же,— сказала маменька, когда я был уже совсем готов,— веди себя хорошенько и будь как можно ласковее и предупредительнее со всеми.

Я поцеловал ее ручку. Она приятно улыбнулась и с некоторою гордостью осмотрела меня с ног до головы.

Колинькина маменька жила, сколько я припоминаю, что называется, на барскую ногу: ковры, бронзы, ряд комнат, люди в ливреях и проч.

Коля встретил меня радушно и повел к ней. Она, в изысканном и нарядном туалете, сидела в угольной небольшой комнате, уставленной цветами и решетками, обвитыми плющом. Окруженная плющом, на возвышении, в больших готических креслах с резной спинкой, она имела недоступность и торжественность, от которых у меня сжалось сердце. Одна ее рука, вся в кольцах, шевелила листами какой-то книжки в раззолоченном переплете, которая лежала перед нею на маленьком столике.

Коля подвел меня к возвышению и представил ей.

Она приподняла голову, взглянула на меня, обнаружив на лице движение вроде улыбки, и произнесла по-французски:

— Мой сын мне говорил об вас...

Потом обратилась к Коле:

— Поди сюда, Коля!

Коля подошел к ней.

Она посмотрела на сына в лорнет.

— У тебя волосы дурно лежат, мой друг!

И с этими словами она пригладила ему височки и в то же время шепнула что-то.

Коля сошел с возвышения и сел возле меня.

Наступила минута молчания, после которой она повела на меня глазами и спросила:

— Ваши родители живут здесь, в Петербурге?

— Здесь-с.

— А!..

После этого «а!» опять последовало молчание, скоро, впрочем, прерванное приходом какого-то адъютанта, который только и делал потом, что побрякивал шпорами, крутил усы и смотрел, щуря глаза, в висевшее против него зеркало. По-видимому, это был родственник или очень близкий человек в доме. Колинькина маменька звала его Пьером.

— Какая это у вас книга? — спросил ее адъютант, входя на возвышение и садясь против нее.

— Это? (разговор был на французском языке). Что за вопрос? Разве вы не знаете, что это книжка, с которой я никогда не расстаюсь; это мой милый Ламартин. Это поэт, каких немного! У него все — гармония стиха, нравственные мысли, и к тому же, читая его, чувствуешь, que c'est un gentilhomme!*

— Это правда,— заметил адъютант, крутя усы.

— Ну, а что ваш французский учитель говорит вам о Ламартине?

Она взглянула на сына.

— Да-с, он упоминает и о нем,— отвечал Коля,— но у нас больше говорится в истории литературы о Корнеле и Расине.

— О Корнеле? да, это прекрасно! По моему мнению, молодые люди должны быть воспитаны непременно на Корнеле и на Ламартине: Корнель внушает высокие понятия о чести, а Ламартин — религию... Не спа**, Пьер?

Пьер кивнул головой в знак согласия.

Я очень внимательно и с большим любопытством смотрел на Колинькину маменьку, и она так сильно врезалась в моей памяти, как будто теперь передо мною, хотя я видел ее потом не более трех или четырех раз.

Ей было лет сорок; она была высока и стройна. Черты лица ее были некрупны и тонки: небольшой орлиный

---

* что это дворянин! *(фр.)*

** Не так ли (от *фр.* n'est-ce pas).

нос, серенькие глазки, брови несколько дугой. Она — я соображаю это теперь по воспоминаниям — должна была смолоду производить большие победы, и ей, видно, нелегко было расставаться с молодостью, потому что следы разрушающего времени она тщательно и очень искусно замазывала, закрашивала и затирала, подцвечая себя всевозможными косметическими средствами. Об этом сообщил нам Коля, который иногда в сердцах на маменьку за отказы в деньгах очень метко подтрунивал над нею. Коля вообще не отличался скромностью. Чуть не всему пансиону было известно, что его маменька сидит всякий день по три часа за туалетом и, кроме своих нарядов, ничем не занимается. Перечисляя насмешливо ее наряды, Коля в то же время имел и другую цель: прихвастнуть богатством маменьки и ее роскошью.

Смотря на эту барыню, разговаривавшую с адъютантом (я это живо помню), меня поразила, между прочим, ее странная и ненатуральная манера говорить и какое-то неловкое и принужденное выражение ее лица во время разговора. Причину этого мне объяснил князь Броницын, который, несмотря на ее особенное внимание к нему, отлично ее передразнивал: у г-жи Летищевой верхний ряд зубов совсем сгнил и искрошился, и, чтобы не обнаружить этого, она, во время разговора, постоянно держала верхнюю губу неподвижной, шевеля только нижнею.

В то время, как речь от Корнеля и Ламартина круто повернула к городским новостям и сплетням, в соседней комнате послышались чьи-то шаги. Коля заглянул в дверь.

— Вот и Броницын! — сказал он, взглянув на меня, и потом, обратясь к матери, вскочил со стула.

— Maman, князь приехал.

— Аа! — произнесла она, слегка пошевелив головой.— Его товарищ, князь Броницын,— заметила она, обратясь к адъютанту, который загнул голову назад, чтобы посмотреть на вошедшего.

Броницын был недурен собой, очень развязен и так же, как и Коля, корчил уже молодого человека совершенных лет. Сравнительно с ними я чувствовал себя ребенком, стыдился этого и завидовал им.

Г-жа Летищева пожала Броницыну руку, с большою приятностью улыбнулась ему, спросила его о здоровье князя, его отца, княгини-матери, все время обнаруживала к нему исключительное внимание и за обедом посадила возле себя.

Разговор казался очень одушевленным. Более всех

говорила сама хозяйка. Я слушал внимательно; но из всего, что говорили, осталось у меня в памяти только пять слов: князь, бал, граф, графиня, княгиня.

Я во все время чувствовал страшное стеснение и неловкость; два раза зацепился за ковер и чуть не упал; отвечал на вопросы невпопад, боясь сделать ошибку по-французски, и внутренне завидовал развязности и смелости князя Броницына, который так и заливался на французском языке.

Вскоре после обеда хозяйка дома исчезла и явилась только к семи часам, в другом туалете, еще более блистательном, с прибавлением новых пуколек, брошек, кружевцов и браслет и распространяя на несколько шагов кругом себя благоухание лесной фиалки.

— Я еду в театр,— сказала она, натягивая перчатку.— Je vous laisse, mes enfants, amusez-vous bien...*

— Какой у вас прекрасный туалет! — перебил Броницын, глядя на нее,— и как он идет к вам!

Она улыбнулась приятно, несколько прищурив глаза. Броницын поцеловал ее руку и, как мне показалось, что-то шепнул ей. Она прикоснулась осторожно двумя пальчиками к его уху, произнесла вопросительным тоном «Paul?», еще раз и еще приятнее улыбнулась ему и потом погрозила пальцем.

Адъютант между тем смотрелся в зеркало и поправлял свои волосы. Школьник совершенно затмил в этот день адъютанта своею любезностью и ловкостью, так что он только время от времени поглядывал на него иронически, покручивая усы. В нашем мнении Броницын возвысился после этого еще более.

— Господа! ну, теперь ко мне! — закричал Коля, подпрыгнув, когда маменька уехала.

Кроме Броницына и меня, у Коли обедали еще два или три наших товарища из старших классов.

Мы все побежали в Колину комнату, и Броницын впереди всех, напевая:

Amis, il est une coquette
Dont je redoute ici les yeux,
Que sa vanité qui me guette,
Me trouve toujours plus joyeux**.

---

* Покидаю вас, дети мои, желаю вам хорошо позабавиться... *(фр.)*.

** Друзья, здесь есть одна кокетка,
Глаз которой я страшусь,
За мой счет она хочет удовлетворить свое тщеславие,
Так пусть же она видит меня все более и более веселым *(фр.)*.

Коля закричал:

— Вина!

Человек принес нам бутылку мускат-люнеля и бисквиты, и школьная попойка началась. У меня от одной рюмки закружилась голова; но товарищи мои, которые пили очень усердно и потребовали другую бутылку, стали смеяться надо мной, когда я отказался от второй рюмки, и принудили меня пить, щеголяя друг перед другом, кто кого перепьет.

— Господа! — сказал Броницын, поднимая свою рюмку,— за здоровье военных!

— Браво! ура! — закричали все, и я вслед за другими.

— А знаете ли, что я скоро расстанусь с вами, любезные друзья? — продолжал Броницын,— я перехожу в школу, в кавалергарды. Стоит ли у нас кончать курс, и для чего? Я ни за что не хочу быть рябчиком...

— Я тоже, я тоже! — крикнул Коля,— ни за что! Я не расстанусь с тобой, Paul: мы вместе выйдем. К тому же и maman непременно хочет, чтобы я вступил в кавалергарды. Я прослужу несколько времени в полку, а потом мой дядя граф Каленский возьмет меня в адъютанты. Он уже обещал maman... Господа! я вам предлагаю тост за кавалергардов!

— Très-bien, bravo!* — воскликнул Броницын.

И все мы снова и сильнее прежнего стали кричать: «Браво! ура!..» и топать ногами.

Товарищи мои долго продолжали еще шуметь, петь, кричать, болтать о лошадях, о военных формах и еще о чем-то. Все это мне представлялось неясно. Я сидел молча. У меня в глазах было мутно и голова кружилась. Я чувствовал, что не могу стоять твердо на ногах, что не могу сделать двух шагов не пошатнувшись... Обводя кругом комнату, я остановился на часах, висевших на стене: нам оставался только один час до пансиона. Две мысли: «что, если бы меня увидал в таком виде дедушка?» и «как я явлюсь к директору?» — привели меня в ужас. Сердце мое сильно забилось при этом; я вскочил со стула, попробовал пройтись, чтобы удостовериться, могу ли я ходить, сделал два шага, но меня откинуло в сторону к дивану, голова закружилась еще сильнее, и я незаметно упал на диван, вдруг потеряв всякое сознание.

Я очнулся от неприятного ощущения холода и дрожи,

---

* Прекрасно, браво! *(фр.)*

почувствовал, что по лицу моему течет что-то... и открыл глаза. Товарищи, чтобы привести меня в чувство, смеясь, обливали мне голову холодной водой...

Как мы отправились потом в пансион, как представились директору — этого я не помню; но как никто из нас не был наказан, из этого я заключаю, что мы явились довольно в приличном виде. Я один только на другой день заплатил дань этой первой попойки, занемог и отправился в больницу.

Летищев и князь Броницын, действительно, через полгода вышли из пансиона. После этого я видел Летищева всего раза четыре. Он приходил к нам в пансион, раз вместе с князем, а потом один, в мундире, в каске, звеня шпорами и гремя палашом, — явно только для того, чтобы щегольнуть собой перед старыми товарищами. Мы все с любопытством и участием окружали его... Коля немного важничал и ломался перед нами, рассказывая нам, что его дядя дарит ему лошадь в шесть тысяч (тогда еще считали на ассигнации), что мать дает ему двадцать тысяч на первое обзаведение, что лошадь его будет одна из первых в полку и что даже у князя Броницына не будет такой лошади.

Мы слушали его разиня рты и любовались им, потому что румяный, плечистый и толстый Коля был действительно как будто создан для того, чтобы быть кирасиром.

Прошел еще год. Летищев не показывался. Он, вероятно, забыл о нас. Мы забыли о нем. Наступил день нашего выпуска, торжественный день в жизни каждого из нас. Мы проснулись рано, потому что волнение не давало нам спать. Солнце ярко сияло; из отворенных окон нашего класса, куда мы собрались в последний раз, неслось благоухание от инспекторских левкоев и резеды вместе с свежим утренним воздухом; голуби — охота одного из наших гувернеров, расхаживавшие по двору, ворковали звучнее обыкновенного; четыре липки, торчавшие перед окнами в садике, на которые мы никогда не обращали внимания, ярко и весело зеленели, облитые солнцем; все начальники смотрели на нас с особенно приветливым выражением в лице; товарищи, остававшиеся в пансионе, окружали нас с завистливым любопытством и повторяли нам: «Счастливые!» Сторож, которого мы обыкновенно посылали украдкой за завтраком в мелочную лавку, при встрече поклонился нам с таким уважением, как он кланялся только инспектору или директору,

и потом все поглядывал на нас с заискивающею улыбкою, как бы ожидая чего-то. За утренним чаем мы не прикасались ни к чему, отдали свой чай и булки товарищам и разговаривали шумно, свободно и весело, не боясь замечаний и выговоров. Мысль, что через несколько часов мы будем вне этих стен, на просторе, на воле, без всякого надзора, что мы пойдем куда угодно, будем делать все, что нам вздумается, что впереди перед нами театры, гулянья, всевозможные увеселения, погружала нас в упоительное одурение... Все перед нами казалось широко, светло и бесконечно. Сердца наши бились сильно, глаза сверкали счастьем, грудь, переполненная ощущениями, волновалась. Двери парадного подъезда отворены были настежь, у подъезда стояли наши экипажи, на лестнице толпились ожидавшие нас люди.

— Господа! — закричал один из нас, — мы теперь свободные люди! Ура!.. Делай, что хочешь!

Он схватил первую попавшуюся ему под руку учебную книжку, разорвал ее пополам и бросил, потом схватил со стола чугунную чернильницу и с каким-то ожесточением швырнул ее в клумбу с инспекторскими цветами.

— Ура! — раздалось вслед за ним, и чернильницы одна за другой полетели за окна, на цветы.

— Теперь долой эти платья! — кричал другой, — прочь эту дерюгу!.. Смотрите, господа!..

И он разрывал пополам свой сюртук при всеобщих рукоплесканиях и криках.

После первой минуты этих буйств и разрушения, этого опьянения радости, осмотрясь кругом, мы увидели Скулякова. Он сидел у стола, облокотясь на руку. Лицо его, и без того всегда бледное, имело в эту минуту какой-то зеленоватый, болезненный оттенок, а его косые глаза неопределенно и грустно смотрели куда-то. Он, казалось, не видел и не слышал ничего, что делалось кругом него.

— Что ж ты сидишь? — сказал ему кто-то из нас, — вставай, братец: пора одеваться.

— Зачем? — проговорил он мрачно и вполголоса.

— Как зачем? — закричало несколько голосов, — отправляться по домам.

— У меня нет дома, — отвечал он, махнув рукой, — с богом отправляйтесь себе; мне некуда.

Шумная ватага разбежалась. Я остался с ним один; мне стало жаль его. Я знал, что Скуляков беден, что у него не было никого, кроме старухи-матери, которая жила

далеко от Петербурга в своей деревеньке; что в Петербурге у него был только один знакомый, к которому он ходил по праздникам, и то изредка.

— Отчего же ты не пойдешь к своему знакомому? — спросил я.— Разве ты не можешь прожить у него до тех пор, покуда пришлют за тобой из деревни?

— Он уехал из Петербурга,— отвечал Скуляков, видимо недовольный моими вопросами.

— Послушай, Скуляков,— сказал я,— я прошу тебя, сделай одолжение, поедем ко мне. Все наши будут тебе рады... Все-таки до отъезда в деревню тебе лучше и веселее будет прожить у нас, чем оставаться здесь одному в пансионе.

И я с горячностью протянул ему руку.

Скуляков пожал ее и взглянул на меня.

— Нет, спасибо,— отвечал он,— я не хочу быть никому в тягость... я не могу, брат...

Я не совсем тогда хорошо понимал значение слов: «быть в тягость», и деликатность натуры этого человека, которого звали *костоломом*, казалась мне только упрямством. Я стал еще сильнее уговаривать его.

— Нет, уж ты лучше и не говори,— перебил он меня,— я не поеду; я уж сказал, я останусь... Спасибо тебе. Прощай! Будь счастлив...

В его голосе, обыкновенно грубом, было в эту минуту столько мягкости и задушевности, что я не мог удержаться от слез. Мне вдруг в первый раз стало совестно, что я во все время вместе с другими товарищами, и может быть более других, приставал к нему и смеялся над ним.

— Прости меня за прошлое,— сказал я,— я виноват перед тобою.

Скуляков вдруг соскочил со скамейки, остановился на минуту в недоумении, как бы желая сказать мне что-то,— и вдруг бросился ко мне на шею, обнял меня еще раз и еще крепче пожал мне руку и прошептал:

— Ну, прощай, прощай, братец!

Выходя из класса, я обернулся назад. Скуляков закрыл лицо руками и прислонился к краю стола. Мне показалось, что он плакал...

Но через десять минут, на дороге из пансиона домой, я забыл о Скулякове и о всем на свете. Широкое и радостное чувство свободы эгоистически овладело мною; мне казалось, что горе, несчастие и прочее — все это людские выдумки и что жизнь — вечный праздник.

Я не предчувствовал, что готовилось для меня впереди, и едва удерживал мое нетерпение, завидев нашу дачу, наш старый дом, окруженный столетними деревьями... Я был уверен, что скорее лошадей добегу до крыльца, и мне хотелось выскочить из коляски, чтобы броситься на шею к дедушке... Когда коляска остановилась, я едва мог дышать от волнения. У крыльца стояли маменька, приживалки, лакеи и горничные в ожидании меня — все, кроме моей няни, которой уже не было на свете, и дедушки.

— Где же дедушка? — было первое мое слово.

— Дедушка нездоров. Тише: он почивает,— отвечали мне.

Эти слова болезненно отозвались у меня в сердце, и я вошел в дом на цыпочках, понуря голову. Через час меня позвали к дедушке. Он улыбнулся мне, пожал мне руку своей ослабевшей рукой и произнес с усилием:

— Ну, поздравляю тебя, поздравляю...

Он велел мне сесть к себе на постель и стал смотреть на меня, держа меня за руку, с такою любовью и с такою грустью, что я зарыдал...

— Полно, голубчик! Бог даст, я еще поправлюсь. Не плачь, дружочек! — шептал мне дедушка, сам глотая слезы.

Но сердце мое говорило мне, что все кончено. Я вышел от дедушки и упал на диван, захлебываясь слезами.

К вечеру дедушке сделалось хуже, вероятно, от волнения; а через два дня после этого он лежал на столе. Он как будто заснул на минуту: так лицо его было спокойно и светло; ни одна черта его не была искажена страданием, и на губах его замерла улыбка — та симпатическая улыбка, с которою он всегда встречал меня... Неужели это смерть?..

Я стоял, пораженный этим явлением, не спуская глаз с усопшего. Мне казалось невозможным, что я уже никогда не увижу его кроткого взгляда, никогда не услышу его голоса, звучавшего любовью... Смерть! когда все кругом меня кипело жизнью, светом, радостью...

Окна комнаты, в которой дедушка был положен, выходили в сад... Солнце бросало на все ослепительный блеск, совсем поглощая свет погребальных свеч. Ветка шиповника в полном цвету врывалась в одно из окон, и однообразный, тихий голос чтеца заглушался звонким пением, свистом и чиликанием птиц.

II
МОЛОДОСТЬ

Прошел год. Я уже привык к моей свободе. Она мне даже надоела немножко, потому что я не находил, какое употребление сделать из нее. Летищева, который уже был офицером, я видал довольно часто на Невском: то в коляске, то в дрожках на рысаках, то верхом, то на тротуаре под руку с другими офицерами. Он холодно кивал мне головою при встречах; я ему отвечал тем же. Мы нигде не сходились. Я услышал стороною, что мать его давно умерла, что все оставшееся после нее движимое и недвижимое имение отдано было за долг и что граф Каленский хотя был довольно внимателен к нему, но денег не давал. Несмотря на это, Летищев, служивший в самом дорогом полку, жил не хуже своих товарищей, которые получали большие деньги и имели в виду огромные состояния. Говорили, будто он поддерживает такое блестящее существование одними займами, распуская слухи, что он единственный наследник графа, и занимает 50 на 100, а иногда и капитал на капитал. До какой степени слухи эти были основательны, я не знал. Несомненно было только то, что Летищев проживает много, что он цветет, толстеет, сияет самодовольствием и отличается полною беспечностью.

В одно из представлений балета «Киа-Кинг» во время антракта, когда все поднялись, чья-то рука из первого ряда кресел упала на мое плечо — я сидел во втором — и знакомый звонкий, несколько пронзительный голос произнес скороговоркою:

— Здравствуй, mon cher! как я рад тебя видеть! сколько времени мы не видались!.. Где ты пропадаешь?

Это был Летищев. Я молча поклонился ему; он схватил меня за руку и крепко пожал ее.

— Да что ты, не узнаешь меня, что ли?

— Нет, узнаю,— отвечал я.

— А разве так встречаются старые товарищи? Я тебя всегда очень любил и очень, очень рад тебя видеть.

Такую внезапную горячность ко мне Летищева я не мог разгадать вдруг.

— Пойдем в буфет,— продолжал он,— мне хочется и покурить и поговорить с тобою... А ты ничего не меняешься: точно как был в пансионе.

Мы пришли в буфет.

— Ну, несравненная madame Пиацци! — сказал он,

обращаясь к черноглазой и черноволосой даме, стоявшей за буфетом,— велите-ка нам подать бутылку клико, да похолоднее, и мою трубку с янтарем (тогда еще папиросы не были в употреблении) в маленькую комнату... знаете? Это мой друг,— прибавил он, указывая на хозяйку буфета,— у меня, братец, везде друзья... Это необходимо, без этого нельзя... Скорее вина...

— Да к чему? — начал было я.

— Нет, нет! ты мне уж этого и не говори,— перебил Летищев громко, обращаясь то ко мне, то к мадам Пиацци,— мы должны выпить. Встреча с тобою мне так приятна. А знаешь ли, сколько мы выпили вчера с Федей Рагузинским и Броницыным (ты ведь его помнишь)? Ну, как ты думаешь?

— Я не знаю.

— Девять бутылок!.. по три на брата. Не глупо?

M-me Пиацци с приятностью улыбалась, слушая Летищева, и покачивала головой.

Когда в отдельную комнату мальчик принес трубки и шампанское, Летищев крикнул ему: «Ну, косой, откупори, да без шуму, и убирайся вон!» — и потом обратился ко мне, потрепав меня по плечу, и сказал:

— Сколько с того времени, mon cher, воды утекло, как мы расстались!.. Ты знаешь, что мать моя умерла... Я теперь один, вольный казак, проживаю тридцать тысяч; у меня лучшая лошадь в полку, десятитысячный жеребец... Но это все вздор! Ты знаешь, что я сделался театралом с ног до головы, вся моя жизнь здесь, на Большом театре; я не пропускаю ни одного балета. Знаешь ли, сколько раз я видел «Бронзового Коня»? — 54 раза! а послезавтра 55-е представление... Общество театралов недавно поднесло мне похвальный лист, за подписью всех своих членов, и во главе всех подписей имя нашего doyen d'âge* между театралами — князя Арбатова... Какой чудный человек! Что за душа! Ты не знаешь его? тебе, mon cher, непременно надо сделаться театралом... и все наши... ведь это удивительные ребята!.. Если бы ты посмотрел наши сходки: чудо!.. Мы преследуем, братец, и презираем всех этих светских франтиков, паркетных шаркунов... Из нас никто ни ногой в свет, хотя мы все имеем на это полное право... Свет, эти все дамы косятся на нас, да черт с ними!.. Что, например, выше наслаждения провожать театральные линии, видеть в окно прелестное

---

* старейшины *(фр.)*.

личико с платком на голове, которое высунулось для того, чтобы взглянуть на тебя... понимаешь? Ты перекидываешься с нею несколькими словами, рискуя попасть под огромное колесище и быть расплющенным... Впрочем, у меня кучер так наловчился подъезжать близко к линии, что полоз моих саней совсем сходится вплоть с обручем колеса... и ничего, видишь, я до сих пор жив и здоров... Один раз я чуть не попал, однако, под колесо; но зато чем же я и был вознагражден за это!.. Из окна раздался голосок: «Вас задавят... ах, страсти!» И она упала, братец, в обморок: ее без чувств привезли домой. Она любит меня до безумия; а я... я уж и говорить нечего... я с ума схожу... такой девочки нет на свете другой... Что за глаза, что за бюст, какая ножка!.. Царица между всеми... И посмотри, какая у нас идет перестрелка во время представления, заметь... Все говорят, что она первая, и точно... Какой талант!.. Не правда ли?..

— Да я не знаю, о ком ты говоришь,— возразил я.

— Как? Неужели? — Летищев посмотрел на меня с удивлением и недоверчивостью.— Будто ты ничего не слыхал? Ты не знаешь, за кем я ухаживаю? Да об этом кричит весь город... И черт знает, как все это узнают, я не понимаю! Дамы в обществе об этом толкуют — ведь вот до чего дошло — ей-богу!.. Мне это ужасно неприятно: дядя на меня злится... ну, да пусть его злится... Если ты хоть раз был в балете, хоть один раз в жизни, ты должен знать Торкачеву...

— Понятия не имею,— отвечал я.

Хотя Торкачева была одна из самых хорошеньких молодых танцовщиц того времени, но мой глаз не был так опытен, чтобы отличать Торкачеву от Пряхиной, Белоусову от Каростицкой и т. д.

— Что? — с ужасом воскликнул Летищев.— Ты не знаешь Торкачевой? Ах ты, варвар!.. Послушай, ты лучше не признавайся в этом: это нехорошо, просто стыдно. Не знать Торкачевой!.. mais, mon cher, c'est impardonnable, c'est un crime...* Четвертая корифейка с края с правой стороны... среднего роста, с такими огненными бирюзовыми глазками...

— А! так это она?..

— Она! она! — вскрикнул Летищев,— да вот смотри!..

Он расстегнул мундир, потом рубашку, вытащил золотой медальон, висевший на тоненькой цепочке на его

* но, дорогой мой, это непростительно, это преступление (фр.).

груди, открыл его и показал мне ее портрет.— Не правда ли, прелесть? Не правда ли, от этакой девочки простительно с ума сойти?.. Ведь это, братец, счастье быть ею любимым?

И он с жаром поцеловал портрет, спрятал его, застегнулся, взял стакан и прибавил:

— Ну, теперь выпьем же за ее здоровье, за здоровье моей чудной Кати! только смотри, до капли...

Мы выпили.

— Я ее так устрою,— продолжал Летищев,— чтобы все ахнули: я ее окружу всевозможной роскошью, ничего не пожалею для нее, ухну все, что имею... черт возьми! А там... ведь дядя же мой не будет жить вечно... тогда мне уж горевать будет не о чем: двести тысяч дохода, un revenu net...* ведь изрядно?..

Летищев должен был знать, что у графа Каленского есть ближайшие родственники; что имение графа по прямой линии перейдет к ним; что ему достанется что-нибудь, и то неверно; но он до того нахвастался всем, что он его единственный наследник, что наконец почти сам стал верить этому.

Когда Летищев высказал мне все, что ему хотелось высказать, он вдруг несколько охладел ко мне.

— Однако пора; заболтался. Беда, если я пропущу ее выход: мне за это достанется... Пойдем... M-me Пиацци! запишите за мной бутылку... Заметь же... ты сидишь, кажется, сзади меня... какая пойдет перестрелка!.. Смотри, ты поусердней и погромче хлопай *нашим-то,* по старому товариществу.

Лишь только Торкачева с компанией появились на сцене, Летищев обратился ко мне и показал мне ее.

— Ну, что, какова? не правда ли, чудо? — Браво! браво! — закричал он, отвернувшись от меня и захлопав. Затем весь первый ряд правой стороны начал кричать вполголоса: «Браво! браво!», усиливая это *браво* постепенно и доведя его наконец до неистовых криков с громовым аккомпанементом рукоплесканий; после криков и хлопаний все эти господа впились в свои бинокли, и я заметил, что между Торкачевой и Летищевым точно существовали какие-то телеграфические знаки и что после каждого пируэта она обращалась с особенно значительной улыбкой к тому креслу, на котором сидел он.

---

* чистого дохода *(фр.).*

Когда Торкачева с компанией скрылись за кулисами, Летищев опять обратился ко мне.

— Перестрелку-то заметил? Вот теперь появится Иванова — так уж ей надо хорошенько шикнуть· это наш смертельный враг...

— Отчего? — спросил я,— она славная танцовщица.

— Какое! дрянь!.. да все равно, хотя бы она была первый гений: уж ей, по-нашему, следует шикать...

И точно, при появлении Ивановой в первых рядах раздалось шиканье. Это шиканье произвело в публике неудовольствие, обнаружившееся громом рукоплесканий. Как люди в своем деле опытные, театралы смирились перед бурей; когда же буря начала стихать, они воспользовались первой секундой затишья, чтобы шикнуть снова. Но снова их шиканья были заглушены еще сильнейшим громом и сопровождались вызовом ненавистной им танцовщицы.

Несмотря на это, они выходили из театра очень довольные, с полной уверенностию, что уничтожили ее; а князь Арбатов, пропуская их мимо себя, повторял каждому: «Славно, ребята!» — и каждый отвечал на лестное одобрение: «Рады стараться, ваше сиятельство!»

У театралов, как я узнал впоследствии, были очень усердные помощники, исправлявшие должность театралов из различных побуждений и рассаженные в разных концах и углах зала. Они состояли, первое, из господ, надсаживавших горло и отбивавших руки из того только, чтобы иметь честь попасть в кружок театралов, потереться около аристократов; второе — из нахлебников этой молодежи, их прихлебателей, и третье — просто из наемных хлопальщиков и шикальщиков, которые, когда театрал, их патрон, проходил мимо их, обыкновенно выставляли вперед свои подобострастные фигуры и шептали с почтительною улыбкою: «Ну, уж мы сегодня похлопали, ваше сиятельство! во втором-то акте какой залп задали!»

Все театралы и исправлявшие должность театралов того времени, которое я описываю, были под командой князя Арбатова.

Князь Арбатов пользовался значительною известностью в Петербурге, и те немногие, которые не были с ним знакомы, наверно знали о нем хоть понаслышке. Я принадлежал к последним. Еще когда я был школьником, мне указали на него однажды в балете. Князю казалось на вид лет сорок с лишком. Он был мужчина довольно

видный, полный, высокого роста, с круглым лицом, нижняя часть которого выдавалась вперед, с большими карими глазами, с маленьким лбом, с редкими подкрашенными волосами и с короткими щетинистыми усами, также подкрашенными. Туалет его не отличался изысканностью: сюртук был почти всегда застегнут на все пуговицы, галстух высокий, на пряжке сзади, с торчащими из-под него маленькими воротничками от рубашки. По всему было заметно, что с статским платьем ему свыкнуться было нелегко, что оно было для него ново и что он презирал его. Плечи князя, гордо вздернутые кверху, привыкшие к большим и густым эполетам, беспрестанно приподнимались и вздрагивали. Князь был в театрах, как у себя дома: все театральные власти были его друзьями и приятелями; все сильфиды, амуры и грации считали его за родного; бутафоры и ламповщики глядели на него с чувством; капельдинеры встречали его при входе с особенною торжественностью и почтительно отворяли перед ним двери храма искусства, в который он вступал повелителем, раздавателем сценической славы, непогрешительным судьею — протектором или карателем, перед глазами которого прошли десять поколений самой богатой и блестящей молодежи, по одному его мановению рукоплескавшей и шикавшей,— десять поколений, им взлелеянных и воспитанных.

Его давно уже нет на свете, этого почтенного мужа: но до тех пор, покуда будут существовать театралы, имя его, вероятно, будет благоговейно произноситься ими, начертанное неизгладимыми буквами в их летописях, и предпоследнее поколение, имевшее счастье еще застать его, может произнести о нем, как Пушкин о Державине:

Старик *Арбатов* нас заметил
И, в гроб сходя, благословил!

Старик! Но Арбатов никогда не был стариком: в шестьдесят с лишком лет он сошел в могилу таким, каким был в девятнадцать. Он был верен себе до последней минуты и вечно юн, несмотря на свои морщины, редкие подкрашенные волосы и вставные зубы. Время действовало несколько тлетворно на его внешность, не изменяя ни в чем его внутренних убеждений, взглядов и понятий и нимало не охлаждая его пламенной любви к театру вообще и балетному искусству в особенности. За два дня перед смертию, в представлении «Катарины — дочери разбойника», нежное и любящее сердце его так же горячо и сильно билось при виде порхающих краса-

виц-внучек, как оно билось при появлении порхавших некогда красавиц — их бабушек в «Коро и Алонзо», «Деве Солнца» или в «Пажах герцога Вандомского». Бабушкам и внучкам он рукоплескал с равным энтузиазмом и так же верно знал именины и рождения бабушек, как именины и рождения внучек, с одинаково теплым чувством поздравляя тех и других.

Летищев, который после представления *Киа-Кинга* стал заезжать ко мне изредка, рассказывал мне об Арбатове с увлечением и посвятил меня во все подробности театральства.

— Такой любви к искусству,— говорил он,— такого благородного жара ты не встретишь ни в ком. Поверишь ли, что в каждом из нас князь принимает такое горячее участие, как в самых близких родных. Да что ему родные! Весь мир его заключается в нас и в *девицах.* Он их и нас любит, как отец. Когда князь Броницын завел стрельбу с Пряхиной, он сейчас же сообщил об этом Арбатову... Мы ничего от него не скрываем: все малейшие движения наши известны ему: «Я не знаю, чего бы я не дал,— сказал ему Броницын,— если бы я где-нибудь мог с нею видеться!» Тогда Броницын только что вышел из школы... Это было в первые месяцы нашего театральства... Мы тогда еще не знали, как приступиться, ходили как впотьмах. Арбатов только что принял нас под свое покровительство, и мы еще не были совершенно посвящены во все тайны театральства; еще старые театралы смотрели на нас, как на мальчишек... Мы трепетали перед Арбатовым, как перед авторитетом. Что же ты думаешь? — этого я никогда не забуду, это было при мне: Арбатов крепко пожал ему руку и пристально взглянул на него испытующим взглядом. «Вы ее очень любите, князь?» — спросил он его. «До безумия»,— отвечал Броницын. Арбатов задумался на минуту. «Знаете ли,— возразил он — и надобно было видеть в эту минуту серьезное, даже несколько строгое выражение лица его,— знаете ли, что это девочка необыкновенная... кроткая, скромная, милая... Выбор ваш делает вам честь; но послушайте, князь, вы должны оценить ее вполне и сделать счастливой...» — «Я вам отвечаю за это»,— перебил с горячностью Броницын. «И я вам от души верю, князь! Уже одно ваше имя служит мне ручательством за то, что вы дорожите вашим словом. К сожалению,— и Арбатов вздохнул,— я обманулся во многих в течение моего театрального поприща; многие, говорит, из театралов бросили тень на это имя, которым

мы должны все дорожить, которое должны носить с гордостью». Мы были все почти до слез тронуты этими словами и поклялись в чистоте сохранять почетное имя театрала. Арбатов расцеловал нас и сказал: «На днях мы окончательно посвятим вас, и тогда (он обратился к Броницыну) я займусь вашим делом... soyez tranquille* ...мы все устроим: я переговорю сначала с нею, а потом с ее матерью серьезно».

Если кому-нибудь из нас девица *не отвечала,* Арбатов был просто в отчаянии; он начинал ее усовещевать, уговаривать, выставлять перед нею достоинства ее обожателя. «Поймите вы свою пользу,— говорил он ей,— я для вас же хлопочу, вас же хочу устроить. Поверьте мне, вы созданы друг для друга»,— и достигал своей цели. Девицы всегда хороши с теми, с кем он хорош. Надобно видеть, братец, когда он между ними; все при его появлении одушевляются, и большие и маленькие, и корифейки, и танцовщицы, и те даже, которые *пляшут у воды,*— все, подпрыгивая и хлопая ручонками, глядя на него, кричат: «Дядя, дядя!..» Он всех порядочных людей вербует в театралы. Чуть у кого-нибудь заметит маленькое влечение к балету — и подсядет сейчас к нему. Вот он еще недавно завербовал нам графа Красносельского, который месяц назад бредил светом, был самым упорным паркетным шаркуном. Арбатов подсел к нему раз в балете и говорит: «Смотрите-ка, как Белокопытова-то стреляет в вас. Она только вами и бредит. Она недавно сказала мне: «Я бы, кажется, с ума сошла, если бы граф *отвечал* мне». Бедная девочка! мне жаль ее. А какое у нее сердце, если бы вы знали! и ведь красавица! Сколько за ней ухаживали, а она никому еще не *отвечала* до сих пор. Вы первые тронули ее... Vous ferez une bonne action**, если обратите внимание на эту девочку, и скажете мне за нее потом спасибо». Эти слова подействовали на самолюбие графа Красносельского: мало-помалу он начал увлекаться, завел с нею телеграфические знаки; ну, а потом и пошло, и пошло, и в один месяц он сделался самым отчаянным театралом, совсем перестал ездить в свет, выдержал страшные истории за это дома, перессорился со всеми родными, и теперь для него ничего в мире не существует, кроме балета, а в балете — Дашеньки Белокопытовой!.. Вот каков Арбатов! Я тебе говорю, это необыкновенный, чудный человек, первый сорт! И как ненавидят его все маменьки и дя-

* будьте спокойны *(фр.).*
** Вы сделаете доброе дело *(фр.).*

деньки! Да ему что? он гордится этою ненавистью.

Летищев открывал для меня новый мир, и я слушал его с любопытством.

— Да что,— продолжал Летищев все с большим одушевлением,— Красносельский молод; нас, у которых кровь кипит, завлечь, mon cher, немудрено; а он завербовал недавно в театралы семидесятилетнего старца, у которого дети уже бреют бороды лет десять или двенадцать!.. Вот какие чудеса творит Арбатов!.. У Прохоровой был вечер. Весь балет там был и все наши. Арбатов все обдумал заранее. Ему давно хотелось устроить Капылову. Она уж не первой молодости и собой-то не очень; но тело у нее чудесное и сложено отлично. Она так пропадала в одиночестве и бедности, а девица славная и добрая; все наши ее ужасно любят: и Катя, и Пряхина, и Натарская, и Каростицкая,— все, все... Арбатов давно ей говорил: «Дайте мне срок, несравненная моя Наталья Ивановна,— и, знаешь, рукой ее этак по талии,— уж я пристрою вас, матушка, будьте покойны»; да и намекнул ей на старичка, а старичок богат и скуп, как черт... «Это, говорит, ничего, мы сумеет порастрясти его карманы». Он и привез его на вечер к Прохоровой. Капылова разоделась в пух и прах и давай стрелять в старичка; а Арбатов толкает его и говорит: «Смотрите, смотрите, Петр Иваныч, глаз с вас не спускает: победа, да еще какая! Поздравляю вас, искренно поздравляю! Первая по сложению в балете». Старичок поднес, дрожа, лорнет к глазам и начал смотреть на нее. Глядь, через час уж он танцует с нею мазурку, со всеми старинными затеями: с припрыжкой, с усами; вертит ее, становится перед ней на колени... просто умора. Мы надрывались со смеху. С тех пор, братец, не пропускает ни одного балета, сошелся со всеми нами на *ты*, туда же телеграфические знаки делает, несмотря на то, что руки дрожат и все в морщинах, точно сплоены; в венгерке ездит верхом мимо ее окон, пудами посылает ей конфекты и, в довершение всего, сочиняет к ней стихи. Я помню первые три стишка:

На Арарат Наташу я поставлю
И весь мир думать заставлю:
Вот та, которую люблю!

Дальше не помню, а недурно! Он мерзнет с нами у театрального подъезда, пьет с нами. Надобно было видеть, когда его посвящали в театралы, когда его в первый раз привезли на нашу главную квартиру. Арбатов ввел

его с особенною торжественностью, в сопровождении всех нас, в ту комнату, где хранятся все наши атрибуты. У нас, братец, все это устроено чудо как! В эту комнату никто не входит, кроме посвященных или посвящаемых. Там, на возвышении, лежит шлем из «Восстания в Серале» и башмак Тальони, который был на ее ноге в первое представление, когда она танцевала на петербургской сцене. На столе перед возвышением ряд башмаков всех известных наших танцовщиц, книга с нашими постановлениями, в великолепном переплете, и другая книга, в которой внесены именины и рождения всех танцовщиц, имена всех бывших и настоящих театралов и все важные события, случившиеся в различные периоды театральства; по сторонам две доски на треножнике: одна — красная, на которой записаны имена всех наших, тех, которые отвечают нам; другая — черная, и на ней имена наших врагов, тех, которым мы шикаем. Старика подвели к возвышению, надели ему на голову шлем, заставили поцеловать башмак Тальони. Он поклялся быть неизменно верным всем правилам театральства, никогда не нарушать их, во всем помогать товарищам и проч., и, когда он говорил это, голос его дрожал и на глазах его показались слезы. Броницын, глядя на него, язвительно улыбался, подтрунивал над ним и называл его шутом. У Броницына, между нами, нет сердца. Я с ним чуть не поругался за это. На меня эта сцена подействовала совсем иначе: меня это тронуло. Поверишь ли, я полюбил после этого старика. Теперь его и узнать нельзя: он так изменился — о скупости и помину нет, он ведет себя молодцом, так держит себя, что чудо, и насчет подарков никому, братец, из нас не уступает. Сначала, покуда он ограничивался стишками и конфектами, все театральные подшучивали над Капыловой. «Славного, Наталья Ивановна,— говорили они ей,— подтибрили вы себе обожателя!» И ей было как-то неловко и совестно; ну, а теперь, я тебе скажу, как увидали на ней тысячный салоп, да браслеты с изумрудами и яхонтами, да ее карету, которая подкатила к подъезду после репетиции, так все прикусили язычки. И она стала смотреть не так, да и на нее стали смотреть иначе. Старик души в ней не чает. «Я, говорит, теперь только начинаю жить; я, говорит, теперь только понял, что такое любовь». Разумеется, он отчасти смешон, коли ты хочешь; но как бы то ни было, а это доказывает, что в нем есть жизнь, что в нем не совсем очерствело сердце, что он способен еще понимать изящное, и все это, однако, заметь,

пробудило в нем театральство! Арбатов от него в восторге; он не нарадуется, глядя на счастье Натальи Ивановны, и нынешней зимой устроит у нее танцевальные вечера, куда будут съезжаться все балетные и, разумеется, наши, после выпуска. Мы сходимся на нашей главной квартире непременно уж раз в неделю после балета, и старичок всегда с нами: мы к нему привыкли, без него как будто чего-то недостает. На этих сходках у нас — это уж так положено — все должны только говорить о театре и о том, что касается до театра; если же кто заговорит о чем-нибудь постороннем, с того берется штраф,— и, вообрази, наш старик еще ни разу не заплатил штрафа! Он сделался одним из самых строгих блюстителей наших порядков. По-моему, так его просто нельзя не уважать!

Затем Летищев перешел к своей Кате, передавал мне слова, которые она бросала ему на лету, восторгался от ее ума, красоты, повторял, как он ее любит, и фантазировал о будущем.

Он привозил ко мне различные покупки, развертывал передо мною куски бархатов и шелковых материй, вынимал из карманов сафьянные коробки с часами, брошками и браслетами, приставая ко мне с вопросами: «Не правда ли, это хорошо?.. Не правда ли, это с большим вкусом?.. Как ты думаешь, что это стоит?..» — и прибавлял к этому, что его подарки лучше подарков Броницына и что уж у него такой характер, что он никому и ни в чем не позволит себя перещеголять.

Он объявил мне, между прочим, что Катя переезжает к своей старшей сестре; что он для того, чтобы жить с Катей в одной улице, переменяет свою квартиру; что отыскать квартиру в ее улице стоило ему величайших усилий; что он уговорил хозяина дома выжить какого-то жильца, заплатил за три скверные комнаты, которые занимал этот жилец, тысячу пятьсот рублей вперед; что он отделывает их совершенно заново; что все это обойдется ему в двадцать тысяч; что он хочет, чтобы ни у кого из театральных не было таких платьев, шляпок, браслетов и прочего, как у его Кати. При этом он прыгал, хохотал, пел, обнимал меня, целовал и жал мне руки. После этих неистовств он стихал на минуту, прохаживался по комнате и спрашивал меня:

— Ты мне друг? скажи — друг? Ты, братец, понимаешь меня? не правда ли?

Я, по обыкновению, молча кивал головой.

— От тебя я уж не могу скрывать ничего; только, бога

ради, это между нами: ты единственный человек, которому я это показываю.

И он, притворяя дверь, вынимал из кармана письма к нему Кати и читал их. (Впоследствии я узнал, что вся петербургская молодежь почти наизусть знала эти письма.)

— Я даже еще Арбатову не показывал этого письма,— замечал он каждый раз,— даже Арбатову! понимаешь?..

В этих письмах Торкачева очень наивно и довольно безграмотно выражала ему свою любовь; но письма, по крайней мере мне казалось тогда, были проникнуты теплотою, обнаруживавшею сквозь безграмотные и смешные фразы неподдельное чувство.

Окончив чтение, он подносил обыкновенно эти письма к моим глазам, потом складывал их, целовал и прятал в карман.

— Это драгоценности,— говорил он,— с которыми я никогда не расстанусь. Их положат в гроб со мною. Видишь ли, как она меня любит! Не правда ли, каждое слово дышит любовью?

— Да,— возражал я,— такая любовь приятна, но разорительна.

Летищев хмурился.

— Как тебе не стыдно! — кричал он,— денежные расчеты — какая гадость! Фи!.. Я не стоил бы ее, если бы рассчитывал, как лавочник. поэкономней да подешевле. Я не мог бы перенести, если бы она была устроена беднее Пряхиной: мне стыдно было бы тогда взглянуть в глаза Броницыну... Что делать! Noblesse oblige, mon cher...* Конечно, я не в состоянии бросать столько денег, сколько Броницын, тягаться за ним; но не могу же я и уступить ему. Мои дела немножко запутаются — я не скрываю этого. Мне будет немножко тяжело... Ну, а дядя-то?.. Мне верят наконец. Я имею кредит. Да здравствует кредит! С кредитом можно жить отлично.

После таких рассуждений Летищев насвистывал обыкновенно арии из «Бронзового Коня», напевал вальсы и под свои звуки один кружился по комнате.

Он был в восторге от своей новой квартиры: окна его кабинета выходили прямо против окон комнаты его Кати. Показывая мне на эти окна, он говорил:

— Ты понимаешь, я могу теперь видеть отсюда все,

---

* Положение обязывает, мой дорогой... *(фр.)*

что она будет делать; она может видеть все, что делается у меня. Я вооружился телескопами, зрительными трубами...

Дней через десять после этого он заехал ко мне и говорит мне:

— Ну, братец, я плаваю в море блаженства! Я был у них. Сестра приняла меня отлично, а Катя — с каким восторгом она меня встретила, если бы ты видел! Какая перестрелка у нас пошла через улицу, часов по пяти сряду каждый день. Я подарил сестре турецкую шаль... Ах, Катя, Катя!.. Ты непременно должен видеть ее... едем ко мне...

Он привез меня к себе.

— Она не должна подозревать,— сказал он,— что у меня кто-нибудь есть: иначе все пропало, и мы ее не увидим. Становись у окна за этот занавес и смотри в щелку, вот в это пространство. Ты увидишь все, а тебя оттуда никто не увидит.

Я повиновался безмолвно, потому что мне любопытно было посмотреть на эти проделки.

Летищев отворил окно, у занавеса которого я притаился, наставил свою зрительную трубу и припал к ней глазами. День был весенний, ясный и теплый. Окно Катиной комнаты было уставлено цветами. Минуту спустя через зелень этих цветов протянулась ручка: ее окно также отворилось, и в этом окне, между фиолями и розами, показалась прелестная женская головка с темно-каштановыми густыми волосами, с тонкими и необыкновенно привлекательными чертами лица, с несколько приподнятым кверху носиком и с продолговатыми синими глазками. Я в первый раз видел ее так близко. Она показалась мне в эти минуты несравненно лучше, чем на сцене, несмотря на то, что лицо ее имело бледно-желтоватый колорит, что, впрочем, нисколько не портило ее; румянец менее бы шел к этому лицу. Когда Летищев перестал смотреть в свою трубу, она впилась своими синими, несколько туманными глазками в лоснившееся, полное и румяное лицо моего приятеля, кивнула ему дружески головкой и вся просияла улыбкой любви, доверия и счастья. Затем между ними начались какие-то непонятные для меня переговоры руками. Когда все это кончилось и я отошел от занавеси, Летищев обратился ко мне:

— Что, брат, какова? — спросил он.

— Прелесть! я поздравляю тебя,— отвечал я,— ты счастливец!

В эту минуту я не шутя завидовал Летищеву, и мне было как-то досадно смотреть на него: мне показалось, что он не в состоянии любить ее, что он вовсе не любит ее и что им движут одна суетность, одно тщеславие. Я не утерпел и заметил ему это. Замечания мои, довольно резкие, не произвели на него впечатления; он улыбался очень приятно. Самолюбие его было удовлетворено тем, что я с таким жаром относился о Кате. От него, вероятно, не скрылось, что я немного завидовал ему.

— А не правда ли, счастливец? — говорил он, потирая руки и смеясь,— и какую чепуху ты несешь, что я не могу любить! С чего ты это взял? Ну, клянусь тебе, что я люблю ее больше всего на свете и готов всем пожертвовать для нее!..

Первый месяц прошел и для нее, и для Летищева в чаду, в упоительном одурении. Он показывал ей себя ежедневно со всех сторон и во всевозможных видах: верхом, в ботфортах и в каске, в коляске, на рысаках, с развевающимся султаном, в дрожках, в одиночку и парой с пристяжкой; в окне в фантастическом домашнем костюме. Она только и делала дома, что подбегала к окну любоваться им, а от окна переходила к его подаркам — любоваться ими. Она была засыпана букетами и конфектами, завалена бархатами, шелками, различными тканями и драгоценными украшениями. Ей было так весело! Она была вполне уверена, глядя на все это и слушая самые страстные фразы, что она любима так, как ни одна женщина не была никогда любима; что этой любви, этим букетам, этим тканям, этим драгоценностям, всем этим сюрпризам не будет конца... А ко всему этому сестрица, также театральная девица, изведанная опытом жизни, беспрестанно нашептывала ей:

— Как он хорош! чудо! какой душка! как он богат и какой у него дядя — миллионер!.. Какие у него рысаки!.. ах, какие рысаки! Как он тебя обожает!.. Счастливица, Катя! ты в сорочке родилась!.. Он на тебе непременно женится!.. Онамедни целует мою руку и говорит: «Ведь вы сестрица моя? я вас не иначе буду звать, как сестрицей, как хотите, говорит, сестрица...» Ты будешь, Катя, дворянкой, заживешь в чертогах, станешь выезжать в самые знатные дома, давать у себя балы! Ай да сестричка моя!..

И она ухаживала за Катей, льстила ей, целовала руки, называла красавицей и при этом выпрашивала у нее различные вещи.

— Вот это материя-то, сестрица, попроще,— говорила она,— ты бы ее, голубчик, мне подарила. У тебя и без того платьев будет столько, что некуда девать... Все комоды ломятся от подарков...

Катя, впрочем, готова была, говорят, все отдать сестре и раздарить подругам, и только мысль, что это *его* подарки, удерживала ее от этого.

Между тем проходили месяцы за месяцами. Летищев становился как-то задумчивее. О нем начинали носиться недобрые слухи; ко мне он почти перестал ездить. Я где-то встретился с Броницыным. Броницын, скрывавший страшную гордость под утонченной вежливостью с своими старыми товарищами, с которыми он встречался редко, обратился ко мне первый.

— Что Летищев? — спросил я у него.

При этом имени на лице Броницына показалась холодная и язвительная гримаса, заменявшая у него улыбку.

— Летищев,— повторил он.— Он ищет ста тысяч, которые ему очень нужны. Он у вас еще не просил?.. Ему поверить можно: ведь он наследник такого богатого дяди! Если он не найдет ста тысяч, то ему придется жениться. Я советую ему жениться. Он будет отличный муж, право: у него нежное сердце!

— Как жениться? на ком? — спросил я.

— На предмете своей любви. Что ж? это будет брак по страсти. Я люблю такие браки, тем более, что в наше время они редки. Оно, конечно, неприятно породниться с каким-нибудь поваром или с какой-нибудь дворничихой, да зато, батюшка,— любовь.

Броницын снова улыбнулся и рассказал мне с особенным удовольствием и очень подробно все отношения Летищева к Торкачевой. По его словам, у нее оказалась какая-то тетка, которая объявила Летищеву наотрез, что если он желает свободно видеться с ее племянницей, то обязан: или обеспечить ее участь, или жениться на ней, что в противном случае тетка будет на него жаловаться; что между теткой и племянницей происходят всякий день сцены; что старшая сестра Торкачевой перешла на сторону тетки, и прочее.

Рассказ Броницына скоро подтвердился словами самого Летищева. Однажды вечером он приехал ко мне (я перед этим не видал его месяца два) в страшном волнении.

— Я к тебе, братец, за советом,— сказал он,— в тебе я найду участие, в этом я уверен; после князя Арбатова я тебя считаю лучшим другом... От других нечего ждать:

все такие эгоисты, что ужас; а Броницын — entre nous soit dit* — совсем бездушное существо: он хочет, кажется, отделаться от Пряхиной,— уж я вижу, что к тому идет. Он говорит, что у нее большие красные руки, а для него, видишь, руки главное в женщине... Он уж тайком заводит перестрелку с Прохоровой, у которой ручки выточены точно из слоновой кости... Это просто гадко, нечестно!.. Арбатов по этому случаю в довольно холодных отношениях с ним... И если бы ты знал, каким скаредом оказывается Броницын! рассчитывает каждую копейку при своем богатстве... Да будь у меня такое состояние, как у него, я еще, братец, не так бы показал себя. Обо мне осталась бы страничка в театральных летописях! Ах, кабы мне его деньги!

Летищев передал мне о тетке Торкачевой почти то же, что Броницын, и остановился на минуту в отчаянии, схватил себя за голову, бросился на диван, ломая себе руки, и потом продолжал:

— Этот аспид, эта подлая кухарка переехала к ним. Она сторожит ее, не позволяет ей видеться со мною, всячески терзает, притесняет ее, пилит, мучит, не позволяет ей даже подходить к окну... Ну, откуда же мне вдруг взять сто тысяч, согласись? Я предлагал вексель. Арбатов ходил к старушонке, уговаривал, усовещевал ее — ничего не берет; слышать, проклятая, не хочет, подавай ей или деньги, или ломбардные билеты... то есть у меня просто голова, братец, трещит, я не знаю, что делать! Я с удовольствием бы дал заемное письмо в 200 000, если бы кто-нибудь дал мне теперь его... Мне остается один выход, если я не достану,— жениться, потому что не могу же я оставаться в таком глупом положении, по месяцам не видать Катю и знать, что ее мучат,— это ужасно! Я вчера с Арбатовым имел серьезное объяснение. Он говорит, что делать нечего — надо выйти в отставку и жениться... Что ты мне скажешь на это?

Летищев не без труда произнес последние слова и с беспокойством взглянул на меня.

— Ты сам,— отвечал я,— можешь это решить лучше, нежели кто-нибудь. Если ты ее точно любишь, если не увлекаешься подражанием или чем-нибудь другим, то женись; а иначе лучше поступи откровенно, разом прерви все и уезжай на время из Петербурга.

— Какое подражание! — возразил Летищев, пе-

* между нами говоря *(фр.)*.

сколько оскорбленный этим словом.— Я просто без нее пропал. Но дело не в том: в себе я не сомневаюсь... а тут другое... Будь она одна на свете, без роду, без племени, без всяких этаких теток, сестер, тогда бы я не задумался ни на минуту: а то... породниться черт знает с кем! Конечно, если бы я женился, я не пустил бы этих сестер и теток на порог моего дома... Но все как-то неловко... Согласись, ведь я ношу старинное дворянское имя, мой дядя — ты знаешь, какую роль играет, к тому же он лишит меня наследства — вот ведь что! Я знаю, например, что Арбатов или ты, если я женюсь, будете уважать мою жену так же, как если бы она была урожденная какая-нибудь княжна: вы люди порядочные, без предрассудков; я от этого ничего не потеряю в ваших глазах... Ну, а что скажут какие-нибудь Красносельские, Броницыны и им подобные? какими глазами они будут смотреть на меня?.. Послушай, если б ты был на моем месте, скажи только откровенно, если бы ты любил, ты женился бы?

— Я думаю...

— Ты думаешь?.. Гм!..

Он начал прохаживаться по комнате.

— Я думаю тоже... да оно как-то... человек преглупо устроен... Ах, я забыл показать тебе ее письмо... Я получил его вчера. Вот оно... читай...

Я прочел:

«Господи если бы ты знал что со мной делается, я просто сойду с ума, значит ты меня не любишь если ты так долго можешь со мной не видаться, а это зависит от тебя реши мою участь, тетенька говорит что если ты дашь слово, что женишься на мне то можешь приехать к нам хоть сегодня, она всю измучила меня говорит что ты меня обманывал и никогда не любил что она мне желает добра — если ты через три дня не приедешь к нам значит ты меня не любишь и я несчастная, тогда все кончено и я возвращу тебе все твои подарки и уж никогда не увидимся с тобою — что будет сомной я не знаю. Бог тебе судья, а я без тебя жить не могу, нет нельзя нам так расстаться я дольше терпеть не могу все сердце изныло. Один бы какой-нибудь конец — мне не нужно твоих подарков и денег я люблю тебя не из-за этого и бог свидетель что я брошу все не посмотрю нинакого, и прибегу к тебе если ты меня необманывал и точно любишь — делай со мной что хочешь у меня есть свой

характер, и я никого не послушаю только люби меня, мне ничего ненужно — не томи меня больше.

Твоя до гроба

Катя Торкачева».

— Ну что? — спросил Летищев, когда я отдал ему письмо.

— Она тебя любит, это видно.

— А я не люблю ее, что ли? Вот я докажу же тебе. Ты увидишь... слушай... едем сейчас ужинать к Фёльету, заедем за Арбатовым, возьмем его с собою. И там порешим все. Так и быть: пропадай все — и дяди и тетки, кузины и весь свет, со всеми его глупостями и предрассудками! Катя будет моею, назло всем им.

И Летищев снова просиял при этой мысли, начал танцевать, напевать и прыгать.

— Ну, едем. Одевайся.

Когда мы сходили с лестницы, он взглянул на меня, улыбаясь.

— Так ты во мне сомневаешься? — и запел из Роберта: «Обидное сомненье!»

Мы ужинали втроем. После трех бутылок Летищев, с разгоревшимися щеками и сверкающими глазами, встал со своего стула и, обратясь к Арбатову, произнес торжественно, с заметным, впрочем, волнением в голосе:

— Князь! сегодня решительный день в моей жизни! Я долго думал... выносить моего положения в отношении Кати я не могу больше. Я женюсь на ней, потому что без нее существовать не могу. Я подаю в отставку, устрою мои дела, а через три месяца обвенчаюсь. Завтра же еду к ней и объявляю об этом ее сестре и тетке. Вы знаете, что без вашего совета я ничего не делаю. Я вас считаю своим отцом и другом. Благословите меня, князь!..

Арбатов был тронут до глубины этими словами. Он прослезился и бросился обнимать Летищева. После этих объятий Летищев закричал:

— Вина! вина!

Мы просидели у Фёльета до рассвета.

На другой день он отправился к Торкачевой. Выслушав предложение Летищева, тетка, сестра и Катя залились слезами от восторга, а тетка в приливе чувств, говорят, даже поцеловала его руку. Вечером об этом событии знали все театральные до последнего ламповщика. Катя была вне себя. убедясь, до какой степени Летищев ее любит. И с этого дня они были почти неразлучны.

Слухи о том. что Летищев женится на танцовщице,

быстро распространились по всему городу и дошли до графа Каленского. За неимением более существенных интересов город нашел себе довольно серьезную пищу даже в этой новости. Граф Каленский был взбешен до последней степени. Мысль, что его родственник (хотя и дальний) наносит такой позор своему имени, что он сделался городскою сказкою, нанесла страшный удар его самолюбию. Он написал к Торкачевой письмо, исполненное угрозами и самыми оскорбительными для нее выражениями и эпитетами; объявлял, что, покуда жив, не допустит такого позора и не остановится ни перед какими мерами, чтобы образумить безумного молодого человека; прибавлял ко всему этому, что Летищев ничего не имеет, что он нищий, что до него дошли вести, будто он распускает ложные слухи, что он его наследник, для поддержания своего кредита, тогда как всем известно, что его прямые наследники такие-то и что даже если бы он и имел намерение оставить ему что-нибудь после своей смерти, то гнусное поведение и поступки Летищева уничтожили бы это намерение, и проч., и проч.

Письмо это было доставлено домашним секретарем графа в собственные руки Торкачевой.

Катя прочитала его, вскрикнула и покатилась на пол. Летищев явился к ней через полчаса после этого, бледный, расстроенный. Он знал обо всем, потому что сам получил письмо от дяденьки, в котором, между прочим, было упомянуто, что вместе с сим послано им письмо и к его *сообщнице*.

Когда он вошел к ней в комнату, Катя сидела бледная, как полотно, со взглядом, бессмысленно устремленным на одну точку, и с письмом, судорожно сжатым в руке. Услышав его шаги, она вздрогнула, взглянула на него и молча протянула руку с письмом.

Летищев взял у нее письмо, разорвал его с негодованием на мелкие кусочки, бросился перед нею на колени, начал целовать ее руки, успокоивать ее, клясться ей в любви, плакать, уверять, что дядя ничего не может сделать, что ему наследства дяди не нужно, что ему надо только устроить немного свои дела, что после уплаты кое-каких долгов у него останется еще довольно и что они могут жить вместе спокойно и обеспеченно.

Катя выслушала его и сказала:

— Я верю тебе, Коля! Я только боюсь твоего дяди; а мне все равно, хотя бы у тебя ничего не было. Теперь все кончено: я твоя... Ты не бросишь же меня, голубчик

Коля! только кончай поскорей. Мне что-то страшно.

Летищев снова принялся ласкаться к ней и успокоивать ее, сестру, тетку, клясться Кате в любви, бить себя в грудь, кричать: «Тебя никто не отнимет у меня, никто!..»

И Катя повеселела. Она улыбалась ему, обнимала его и целовала.

— Мы поедем в деревню к тебе. Там уж нечего будет бояться твоего дяди: он будет далеко... У тебя есть, Коля, оранжереи с цветами?..

— Превосходные! — перебил Летищев,— таких камелий нет и в Петербурге.

— Ну и прекрасно! Я летом приглашу к себе Пряхину и Каростицкую... ведь можно? ты позволишь?..

— Еще бы!..

Летищев продолжал ездить к Кате всякий день. Собственные рысаки его и экипажи, впрочем, исчезли; вместо них появились ямские лошади и коляска довольно плохая. Он с каждым днем становился все мрачнее и мрачнее. Она спрашивала его:

— Коля, да что с тобой? скажи.

— Какой вздор! ничего. Это тебе так кажется,— отвечал он.

А дело-то было, в самом деле, плохо. Все заемные письма, данные Летищевым, были поданы ко взысканию ростовщиками в тот самый день, как он получил отставку. Когда Катя в первый раз увидела его в статском платье, это ее несколько опечалило. «Фи! как это нехорошо — без эполет и султана!» — сказала она. Но она примирилась с этою переменою при мысли, что дела их идут к развязке.

Прошло после этого два дня, и Летищев не показывался. Это ее встревожило, и на третий день она послала к нему письмо. Горничная, относившая письмо, возвратилась с письмом назад и, как полоумная, вбежала к Кате.

— Ах! барышня, барышня! — закричала она,— ведь они уехали совсем отсюда!

— Как! кто уехал? куда? Что ты врешь!..

В доме поднялась суматоха. Тетка и сестра подняли крики, сами побежали к нему на квартиру. Квартира была заперта. Они бросились с ругательством к Кате. Катя твердила одно: «Не может быть, он не уехал, вздор!» Она не хотела этому верить. Прошла неделя. Оказалось, что действительно Летищев бежал из Петербурга от долгов. Что было с Катей, когда она удостоверилась в этом, я не знаю: только, говорят, после страшной сцены с теткой

и сестрой она отослала все подарки Летищева к его дяде, несмотря на все их сопротивления. Граф возвратил ей эти вещи при очень вежливом письме, в котором умолял ее, чтобы она не печалилась о его негодяе-родственнике, что он принимает в ней искреннее участие, что от нее зависит жить в богатстве и счастии и что он за высочайшее для себя наслаждение почтет удовлетворять все ее малейшие желания и прихоти, и проч.

Катя прочла это письмо и вместе с возвращенными вещами бросила их в физиономию его домашнего секретаря, который уже смотрел на нее с подобострастием как на будущую свою повелительницу.

С этих пор Кате, говорят, не было житья ни от тетки, ни от сестры. Подруги ее, жившие в богатстве и спокойствии на содержании, прекратили с ней всякие сношения как с безнравственной девушкой. Катя слегла в постель, потом немного поправилась; потом ей сделалось хуже, и через три месяца она умерла в чахотке.

Если бы, при своей пустоте и легкомыслии, она не имела любящего сердца, она бы, верно, осталась жива, была бы спокойна, счастлива, весела; она, подобно своим подругам, с самодовольством и гордостью до сих пор порхала бы по сцене, встречаемая восторженными рукоплесканиями своих обожателей, принимая эти рукоплескания за должную дань своему таланту; она, подобно им, живописно развалясь в коляске, летала бы по петербургским улицам; она, подобно им, могла бы приобрести дома, капиталы или выйти замуж за какого-нибудь статского полковника и на склоне дней своих, если бы бог благословил ее детьми, увидеть еще их, пожалуй, в блестящих мундирах.

Но Кате не суждено было этого: вся беда ее заключалась в любящем сердце!..

Мне сказывали — за верность этого я не ручаюсь, — что Летищев отказался от большей части своих векселей, отзываясь тем, что они подписаны были им до его совершеннолетия; что он написал письмо к дяде и, раскаиваясь в своем прошедшем, умолял спасти его, избавить от тюрьмы, от позора и уплатить за него по тем векселям, которые он дал, будучи уже совершеннолетним; что великодушный дядя, тронутый его раскаянием и покорностью, пригрозив сначала ростовщикам, уплатил по этим векселям по 20 коп. за рубль, и что Летищеву осталась одна маленькая деревенька, в которой он сокрылся от всех треволнений.

Арбатов долго без ужаса не мог говорить о нем. «Такого пятна,— говорил он — и весь трясся от волнения,— какое нанес Летищев театралам, еще в летописях наших не было примера. Это ужасно!»

По его настоянию имя Летищева было исключено из летописи театралов, и до сих пор ни один театрал не произносит этого имени без благородного негодования.

III

ЗРЕЛЫЙ ВОЗРАСТ

После бегства из Петербурга Летищева и смерти Кати Торкачевой прошло несколько лет. Граф Каленский умер, оставив свое имение прямым своим наследникам, с обязательством выплатить, между прочим, французской артистке Кларе Бовалон единовременно двадцать пять тысяч серебром и Летищеву, также единовременно, десять тысяч; «ибо (так сказано было в духовном завещании касательно Летищева) еще при жизни моей уплачены были мною значительные суммы по его заемным письмам, снисходя его молодости и легкомысленным поступкам, что составит, с ныне завещаемыми мною десятью тысячами рублей, такой капитал, который мог бы обеспечить жизнь человека скромного и нравственного, дорожащего именем своих предков и честью; следовательно, в отношении сего свойственника моего я все сделал, что повелевала совесть...».

Князь Арбатов, доставший эту выписку из духовного завещания, показывал ее всем своим знакомым и прибавлял:

— Почтенный старик и в могилу-то сошел преждевременно по милости этого пустого мальчишки. Когда старику сказали, что имя Летищева выставлено на черной доске в нашей главной квартире и вымарано из книги театралов, он побледнел и едва, говорят, устоял на ногах!..

Новые поколения театралов сменялись одно за другим. О Летищеве никто бы и не подозревал из этих господ, если бы не князь Арбатов, который в поучение новичкам считал священным долгом передавать каждому его историю с Катей Торкачевой, и при этом, описывая красоту Кати, всякий раз растрогивался до слез. Однако в последние минуты, как истинный христианин прощая врагов своих, он простил, говорят, между прочим, и Летищева...

Я решительно забыл о существовании Летищева: в теат-

ры я ездил редко, с князем Арбатовым почти не встречался, и ничто окружавшее меня не могло напомнить мне ни о театральстве вообще, ни о моем старом товарище в особенности,— как вдруг однажды я получаю письмо, распечатываю, почерк как будто знаком, смотрю на подпись: *Летищев*. Письмо было довольно длинно, и я приступил к чтению его не без любопытства.

Вот оно, слово в слово:

«Старый товарищ и любезный друг! Я уверен, что ты не совсем забыл обо мне в шумных удовольствиях столицы. Я, по крайней мере, очень помню о тебе, потому что всегда любил тебя искренно. Сколько времени прошло с тех пор, как мы расстались! Стыдно тебе, что ты не написал мне ни одной строки о себе. Вы, люди столичные, ужасные эгоисты, а мы, провинциалы, не таковы. Я тебе расскажу о моей прошедшей жизни и сообщу тебе мою настоящую радость, которую, верно, ты разделишь по старой памяти ко мне. Живу я, братец, благодаря бога, недурно, в довольстве, даже в роскоши (по-нашему, по-провинциальному); но мы во многом, может быть, не уступим и вам, столичным. Имение мое порядочное: я устроил его так, что в хороший год получаю до восьми тысяч серебром; к тому же оно расположено на одном из самых живописных мест в целой губернии. Я знаю, что ты как поэт пришел бы в восторг от Никольского — моей резиденции. Окрестности — это просто маленькая Швейцария. Дом мой устроен со вкусом — ты, верно, отдал бы мне справедливость, если бы увидел его; у меня махровые розы величиною с пионы. О таких у вас, в Петербурге, не имеют понятия. Я сделался страшным любителем флоры. Словом, я здесь устроился так, как нельзя лучше: я перенес в деревню весь столичный комфорт, без которого, признаться, я не мог бы нигде жить. На днях были у меня губернатор и предводитель дворянства, с которыми я очень хорош, и вообще меня здесь все любят. Губернатор сказал мне: «Признаюсь, ваше Никольское — маленький рай. Не выехал бы из него». Повар у меня отличный, так что губернатор просил меня прислать к нему своего мальчика в ученье. Вина я выписываю от Депре. После обеда мы втроем расселись на балконе. День был чудесный, жаркий. Я велел подать бутылку редерера, и мы, попивая, наслаждались очаровательнейшим видом. Нет, брат, что ни говори, а и деревенская жизнь имеет свои приятности. Надобно тебе сказать, что я выбран уездным предводителем единогласно: ни одного черного шара. Это показывает тебе, как расположено

ко мне все дворянство. Соперником моим был некто Расторгуев, человек очень богатый и с весом, нажившийся взятками; однако его лихо прокатили на черных. У меня, любезный друг, такое собрание vieux saxe'ов*, какому бы позавидовали многие из наших аристократов: штук до полутораста тончайших. Комнату, в которой они расставлены на консолях, я назвал Саксонской. Жаль только, что здесь некому ценить моей коллекции: все эти помещики люди добрые, но страшные невежды и не умеют отличить саксов от мальцевских фарфоровых изделий... черт знает что за народ! Отгадай, кто мой ближайший сосед... тебе, верно, никак не придет в голову... Скуляков! помнишь, которого мы называли в пансионе *костоломом*. У него, в пяти верстах от меня, душ тридцать или сорок, он один-одинехонек, мать его умерла,— все такой же чудак. Живет в простой крестьянской избе, два сруба сдвинул вместе — и очень доволен; ни к кому не показывается, но ко мне заглядывает частенько: меня любит. Я его просил переселиться ко мне, соблазнял своим поваром; но он отказался. Вообрази, как-то на днях он обедал у меня; подали трюфели à la serviette** (я провизию выписываю из Москвы)... он попробовал и есть не стал. «Точно,— говорит,— пробки», а трюфели были отличные, французские, присланные мне Морелем. «Ты,— говорит,— извини меня, но я наши русские грибы предпочитаю». Я не знаю человека, у которого менее был бы развит вкус: квас предпочитает лафиту, а трюфелям грузди! Впрочем, малый он вышел славный и страшный патриот. Он много читает, даже выписывает ваши петербургские журналы, несмотря на то, что по его средствам это уже роскошь. Он философ, потому что вообще довольствуется малым. Что касается до меня, я философии никогда не понимал, и меня удивляют люди, подобные Скулякову. Может быть, они и счастливы по-своему; но мы, привыкшие с детства жить как порядочные люди, не в состоянии, братец, понять этого грубого счастья; нам — что с нами будешь делать! — нужны и саксы, и трюфели, и бутылка доброго старого лафита. Избалованы мы, дружок, страшно избалованы!..

Но я заболтался, а не сказал тебе еще самого главного — моего счастия, моей радости. При всех удобствах моей деревенской жизни я все-таки страшно скучал: в деревне

---

* старого саксонского фарфора *(фр.)*.

** под салфеткой *(фр.)*.

долго жить одному нет никакой возможности. Несмотря на то, что валяешься на мягких мебелях, смотришь на хорошие картины (у меня, братец, есть, между прочим, два настоящих *Перуджино* и один великолепный *Грёз)*, несмотря на то, что ешь и пьешь хорошо, а все недостает чего-то... Я начал это чувствовать особенно сильно в последнее время и понял, что в доме без хозяйки плохо. В верстах сорока от меня есть село — пятьсот душ и пропасть земли, в одной меже: десятин по двенадцати на душу; а это в наших местах редкость. Село это именуется Шмелево, Рагузино тож. Барский дом, каменный, старинный. Крестьяне зажиточные. Проезжая через это имение, я всегда любовался им. Я знал, что оно принадлежит старушке, вдове генерал-майора Рагузина, которая года два назад тому, возвратясь из-за границы с своей единственной дочерью, поселилась тут. Я много слышал о них от нашего губернского предводителя и от губернатора. Оба они отзывались о матери и в особенности о дочери с величайшею похвалою. Предводитель не раз говорил мне, что дочь просто красавица и получила самое утонченное европейское образование, и при этом всегда потреплет меня, бывало, по брюху (а надобно тебе сказать, что я порастолстел-таки порядочно на вольном воздухе) и прибавит: «Вот бы вам, батюшка, невеста!» Я смеялся. Невеста да невеста — так она и прослыла моею невестою почти в целой губернии, хотя мы друг друга в глаза не видели. И всякий раз, когда при мне заговаривали о ней, я чувствовал, сам не знаю отчего, какое-то невольное волнение, а знакомство все откладывал да откладывал. Меня останавливала, правду тебе сказать, боязнь, чтобы не подумали, что я хочу жениться по расчету. Брак по расчету всегда казался мне отвратительным, на такой брак я никогда не был способен... Месяца два тому назад, накануне Петра и Павла (приходский праздник в Шмелеве), возвратясь вечером после прогулки домой, я думаю: «А что, не поехать ли мне завтра в шмелевскую церковь к обедне?..» Как мне пришла эта мысль в голову, я до сих пор не могу понять. Всю ночь я грезил шмелевской барышней, встал рано, да и велел закладывать лошадей. Подъезжая к Шмелеву, у меня так и забилось сердце. Вхожу в церковь — все расступились передо мною; я прохожу вперед и становлюсь у правого клироса. Помолясь усердно, с каким-то особенным чувством, так, как давно не молился, я осмотрелся кругом. Вижу: у левого клироса, на ковре, стоят мать и дочь. Как я взглянул на дочь, так

и обомлел: все описания ее оказались жалки и бледны сравнительно с тем, что она на самом деле. Вообрази себе в полном смысле красавицу: больше, чем среднего роста, талия — чудо, волосы как смоль и коса ниже колен, карие дивные глаза, аристократический профиль, некоторая бледность в лице. Одевается — прелесть! Словом, совершенство!.. Чтобы дать тебе о ней еще более ясное понятие, я скажу тебе, что она напоминает портреты Марии-Антуанетты — только en beau*. И как она горячо и усердно молилась, если бы ты видел! Это обстоятельство меня окончательно расположило в ее пользу. Смотря на нее молящуюся, я увидел, что эта девушка получила нравственное, солидное, религиозное воспитание, что это именно одна из тех девушек, которая может составить счастие человека. Теперь, когда я уже близко знаю ее, я вполне убедился в этом. Она добра и кротка, как ангел. Скуляков ее знает — и даже этот мизантроп от нее в восторге. По рождению она аристократка. Мать Рагузиной — ближайшая родственница князьям Волынцевым. После обедни я подошел к старухе и сам представил ей себя, а старуха представила меня дочери и пригласила провести этот день с ними. Я, разумеется, не отказался. Старуха — тоже прелесть, настоящего старого аристократического закала, с седыми пуклями под чепцом. Когда они были в Париже, к ним ездили все сен-жерменские знаменитости, вся старая французская аристократия... Веришь ли, с первого взгляда на мою Alexandrine я почувствовал такую страстную, такую горячую любовь, о какой я до тех пор не имел никакого понятия. Какая-то непреодолимая симпатия вдруг привлекла меня к ней. Нельзя не верить сочувствию душ. Тут только я понял, что к Кате Торкачевой я никогда не чувствовал настоящей любви, что это было мальчишеское увлечение, что я волочился за нею так только, чтобы не отставать от других, и вспомнил твои слова, за которые я, бывало, на тебя сердился. Да, ты был прав, тысячу раз прав! Мне теперь стыдно и совестно вспоминать о моих глупостях и проделках. А ведь Катя меня любила!.. Бедная девушка!.. В день ее смерти я аккуратно каждый год служу по ней панихиду.

С незабвенного для меня дня Петра и Павла я начал чаще и чаще ездить к Рагузиным, и всякий приезд к ним открывал в Alexandrine какие-нибудь новые достоинства. Представь себе! У нее чистейший парижский выговор

* красивее *(фр.)*.

и такая ножка, какой никогда и во сне не видала ни одна из наших танцовщиц. Все башмаки, которые хранятся в главной квартире театралов, не исключая и башмака Тальони, ей не годятся даже для туфлей. О, если бы Арбатов увидал эту ножку, что он сказал бы!.. Кстати, видаешь ли ты Арбатова, и неужели он все еще вооружен против меня и смотрит на глупость молодости, как на преступление?.. Что Броницын? все лезет в гору?.. Что, он все еще живет с Прохоровой или уж забыл о своем театральстве?.. Напиши обо всем... А для меня, братец, все это прошедшее кажется теперь чем-то баснословным, хотя, признаться, если бы я приехал в Петербург и отправился в Большой театр, то мои старые театральные кости, мне кажется, еще расходились бы...

Но все это глупость, mon cher. Истинное счастие — счастие семейное, а Катя никогда не могла бы составить моего счастия, потому что нас разделяла бездна, и мы не могли понимать друг друга. Рождение и воспитание много, милый друг, значат... Только одинаково рожденные и воспитанные могут чувствовать настоящую симпатию друг к другу... И если бы ты знал, как твоего толстого приятеля любит его невеста!..

Поздравь же меня; я счастлив, я женюсь, я начинаю, братец, гордиться собой и находить, что во мне есть действительно что-нибудь: иначе я не возбуждал бы к себе чувства любви. В то же время я чувствую, что я не стою моей Alexandrine: она и умнее, и образованнее меня во сто раз... Всю эту вашу литературу и политику знает наизусть. Не смейся, ей-богу, правда... Она меня просто удивляет. В приданое за ней мать отдает Шмелево, пятьсот душ и, кроме того, земли в Крыму, овцеводство и значительный капитал; но я об этом мало забочусь, потому что имею свой кусок хлеба и ни на минуту не задумался бы жениться на ней, если бы она ровно ничего не имела. Порадуйся же, эгоист, счастию твоего старого товарища. В моей женитьбе есть какое-то предопределение свыше; знакомство с нею в церкви — это тоже добрый знак. Я на днях ездил в Ипатьевскую пустынь по обещанию. Я наложил на себя этот обет заранее, если все счастливо кончится. Беседовал с игуменом. Он и меня, и ее давно знает, поздравлял меня и сказал, что бог благословит наш брак, потому что «ваша невеста (это его собственные слова) богобоязливая и прибежная к церкви...». И это действительно справедливо. Ах, как она молится, если бы ты видел!.. Теперь у меня хлопот полны руки: разные

закупки и выписки из Москвы и из Петербурга. Карету я выписываю от Фребелиуса... карета темно-синяя, а обивка внутри цвета Marie-Louise: это будет недурно... Помещики здешние, проведав о моих затеях, удивляются и ахают: им все в диковину, и каждая вещь кажется им разорением. Совершенные дикари! Что делать? Моя слабость, чтобы все было у меня порядочно, по-барски. Прощай! Обнимаю тебя. Может быть, увидимся в Петербурге, и скоро, а до тех пор не забывай меня и напиши мне, гадкий эгоист, в ответ на мое длинное послание хоть несколько строчек... Когда мы свидимся в Петербурге, ты увидишь, что я еще, впрочем, не совсем опровинциалился и, как говорится, не левой ногой нос сморкаю. Еще раз обнимаю тебя от души и повторяю: пиши! пиши!

P. S. Я о тебе много говорил моей нареченной. Она тебе кланяется и горит нетерпением тебя увидеть, потому что по моим словам полюбила тебя заочно».

После этого письма я в течение многих лет ни от кого не слыхал о Летищеве и не получал уже более от него никаких писем.

Года три тому назад, в одно солнечное и морозное утро, я зашел в какой-то кафе-ресторан на Невском проспекте и в ожидании чашки кофе перелистывал газету, лежавшую передо мною. Вдруг дверь ресторана с шумом отворилась, ударившись об угол стола, так что все присутствовавшие, в том числе и я, невольно обратились на этот шум. В двери с трудом влезала медвежья шуба и, распахнувшись, обнаружила пыхтящее тело неимоверной толщины, за которым следовал жиденький и белобрысенький молодой человечек с застывшей на лице улыбкой. Тело в медвежьей шубе остановилось посреди комнаты, осмотрелось кругом и, полуоборотом взглянув на молодого человека, следовавшего за ним, произнесло:

— Фу, какая жара! фу!.. А что, братец, закусить хочешь? спрашивай себе, что хочешь, дружочек. Мне смертельно есть хочется...

Молодой человечек наклонил на эти слова свою головку и придал своей неподвижной улыбке приятность посредством расширения рта.

— Эй, ты, мусье! — вырвался пронзительный, тоненький голосок из тучного тела, которое обернулось к лакею, — подай карту, покажи, что у вас там есть; накорми нас, милый друг, посытнее да повкуснее: мы вот с ним проголодались... Фу! фу!

Этот голосок, выходивший из тучного тела, показался мне будто несколько знакомым.

— Ба, ба, ба!..— При этих звуках из медвежьей шубы высунулись руки и простерлись ко мне.— Вот встреча, вот встреча!.. Фу!.. Да что ты так выпучил-то на меня глаза? Не узнаешь, в самом деле, что ли?.. Летищев, братец... он сам, своей персоной.

И он навалился на меня, обнимая и целуя меня.

После этих объятий я долго не мог оправиться.

«Неужели это действительно Летищев,— думал я,— тот самый, который некогда в блестящем гвардейском мундире, с перетянутой талией, живой и вертлявый, волочился за Катей Торкачевой?..»

— Я, кажется, привел тебя в изумление моей корпоренцией? — продолжал Летищев.— Что ж? фигура, братец, почтенная, не правда ли? настоящая предводительская! Ну, как ты, голубчик, поживаешь? Ты не меняешься ничего... Сразу узнал тебя. Я на тебя, братец, сердит, очень сердит... Фу... экая жара! Ну, как это можно, в продолжении пятнадцати лет ни строчки! На что это похоже!.. А я все-таки хотел к тебе сегодня же заехать. Я ведь только третьего дня ввалился в вашу Северную Пальмиру, еще никого не видал, ни у кого не был. Вчера целый день отдыхал после дороги. Charmé, charmé de te voir, mon cher*, очень, очень рад!

И он жал мне руку.

— Однако, брат, дружеские излияния сами по себе, а желудок сам по себе. Желудка дружбой не накормишь... Я страшно отощал, должно быть оттого что прошелся... Я ведь, братец, ходить не привык, в деревне мы ходим мало... У меня там этакой кабриолетик на лежачих рессорах... я нарочно, по своему вкусу, заказал в Москве... вот спроси у него...

Он ткнул пальцем на молодого человека.

— Прекрасный экипажец! — проговорил молодой человек.

— А я тебе не рекомендовал еще этого юношу-то? Имею честь представить: это, брат, мой секретарь... Я без него пропал бы здесь. Все эти покупки, закупки, счеты и расчеты — это уж его дело... Мусье! любезнейший! ну, что ж карту-то!..

— Карты нет-с; а что прикажете,— отвечал лакей,— вот закуски здесь на столе-с.

* Рад, рад видеть тебя, мой дорогой *(фр.)*.

— Ну, какие у вас там закуски! мерзость какая-нибудь! а вели-ка мне изготовить лучше две хорошие сочные котлеты... Да вот и юноше-то подай чего-нибудь... Чего ты хочешь?..

Секретарь переминался и ухмылялся.

— Да полно церемониться-то! этакой ты гусь, право! ешь, что душе угодно, спрашивай себе, чего хочешь, и плати, сколько вздумаешь. Деньги ведь в твоем распоряжении... Я, братец, и денег с собой не ношу: все у него, он у меня и министр финансов... Эй, вы, котлет-то подайте мне скорей! а покуда, чтоб заморить червяка, дайте хоть две-три тартинки с чем-нибудь... Ну, уж ваш Петербург! беда! — продолжал он, разжевывая тартинку,— с ума сойдешь от этих одних визитов... бабушки, да тетушки, да министры, да гофмейстеры, да церемониймейстеры... Рожу-то мою все знают: не скроешь ее от них... Сегодня утром в десять часов уж напялил на себя мундир и успел побывать у двух почтенных старцев и принят был, братец, ими просто вот как!

Он приложил свои пальцы к губам и чмокнул.

— Любят меня почему-то, помнят... дай бог им здоровья. Один из них сказал мне, между прочим: «Я,— говорит,— еще помню тебя юнкером; тебя,— говорит,— фельдмаршал называл всегда молодцом и очень любил тебя». Старец, а ведь память-то какая!.. Ну, однако, расскажи, как ты поживаешь, как идут твои делишки?..

— Ничего, так себе... Ты приехал надолго?

— Да сам не знаю, голубчик! надо представляться разным высоким особам, из которых некоторые, судя по намеку почтенного старца, изъявляют сильное желание меня видеть. На что я им? вот спроси! Объезжу весь ваш петербургский monde* и, закончив эту процедуру, займусь своим дельцем: ведь у меня процесс еще, братец, в триста тысяч рублей серебром — bagatelle**! Ты знаешь, что значит процесс?.. А! да вот и котлеты!

При виде котлет глаза Летищева заискрились, и он начал беспокойно облизывать губы, тыкая нетерпеливо за галстух салфетку.

— Нельзя, братец, без этого, а то закапаешь себе рубашку: возвышение-то это проклятое мешает.

Он указал на свой живот и залился добродушным

---

* свет *(фр.)*.

** безделица *(фр.)*.

смехом, обнаружив при этом десны и маленькие гнилые и почерневшие зубы, едва в них державшиеся.

— Экое дерево! — сказал он, ткнув вилкой котлетку,— не умеют и котлетку-то порядочно приготовить,— а еще Петербург!.. Не стыдно тебе это?

Он посмотрел на лакея.

— Да знаешь ли, что у меня, в деревне, последний поваренок приготовит лучше этого?.. Эх, вы!.. Я, братец, вчера вечером (он обратился от лакея ко мне) задал такую гонку вашему Дюссо. Я ведь его не знаю: при мне еще был Фёльет и Легран... Слышу от всех приезжих: Дюссо да Дюссо! Ну, думаю себе, попробую я этого хваленого Дюссо. Приезжаю. Заказал ужин. Говорю: «Дайте мне всего, что есть у вас лучшего». Кажется, ясно?.. Подают мне первым блюдом филе из ершей... Ну, что ж это, братец, за блюдо? просто какой-то воздух с травой и прованским маслом, и масло-то еще не свежее. Я на сцену моего старого друга Симона. «Позови-ка мне,— говорю я,— твоего Дюссо-то: я с ним потолкую кое о чем». Приходит этакая приземистая фигурка, вертится передо мною и говорит: «Monsieur, qu'y a t'ilpourvotre service?..»*

Я посмотрел на него и говорю:

— Вы меня не знаете, а?

— Non, monsieur, pardon**.

— То-то pardon! А вот вы спросите-ка обо мне лучше вашего Симона, так он вам порасскажет кое-что, кто я и прочее... Я вот тоже не имею удовольствия знать вас, потому что проживаю в своих деревнях и в Петербург езжу редко; а предместников ваших Фёльета и Леграна знал коротко, и они меня коротко знали и любили. Я здесь оставил тысяч до пятнадцати,— следовательно, хоть на столько приобрел вкуса, чтобы отличить дурное масло от хорошего... Вы понимаете меня?.. Я купил, говорю, себе право этими пятнадцатью тысячами быть несколько взыскательнее других... Ни Фёльет, ни Легран мне такого масла не смели подавать; а вы думаете, что вот приехал человек, вам не известный, в первый раз, провинциал какой-нибудь, так, дескать, и подсуну ему что ни попало. Ошибаетесь, я говорю, г. Дюссо, ошибаетесь, не на такого напали: я -таки в гастрономии кое-что смыслю. Вот спросите обо мне у князя Броницына, у графа Красносель-

---

* «Что вам угодно, сударь?» *(фр.)*

** Нет, сударь, простите *(фр.)*.

ского, у графа Бержицкого: это мои короткие приятели. Вы, чай, их знаете?.. «Как же, говорит, *же лонёр...»* — а сам переконфузился, кланяется, извиняется, затормошил всех лакеев, сам побежал на кухню, и действительно уж накормил меня превосходно. Выходя, я потрепал его по плечу и говорю: «Ну, Дюссо, теперь я не сомневаюсь, что ты артист в своем деле!..» И он был этим, братец, ужасно доволен!.. Мой юноша-то все удивляется, глядя на меня. «Вы,— говорит,— Николай Андреич, в Петербурге распоряжаетесь, точно как у себя в Никольском...»

— Это правда-с,— заметил молодой человек, торопливо проглатывая кусок и спеша улыбнуться.

— Чудак ты! чему тут удивляться? — заметил Летищев, посмотрев на него благосклонно.— Ведь я, слава богу, Петербург-то знаю, пожил-таки в нем, познакомился с ним, вот спроси-ка у него (он указал на меня). Я тысяч до ста серебром бросил в его ненасытную пасть: так уж после этого церемониться с ним не могу, прошу извинить... Однако не пора ли нам, господин секретарь? который час?

Он вынул толстые золотые часы на толстой цепочке и произнес:

— Эге-ге! уж около трех... Вот, братец, часы-то рекомендую: этих часов само солнце спрашивается. Посмотри, внутренность-то какая.

Летищев попробовал открыть внутреннюю дощечку.

— Нет, не открываются, черт их возьми! — пробормотал он,— боюсь, еще ноготь сломишь.— И он положил их в карман, прибавив: — за эти часы мне пятьсот рублей серебром давал в Москве Митька Перелезин. Ты знаешь его?.. Ну, секретарь, отправимся путешествовать по магазинам... Сколько комиссий надавали! А пуще всего меня беспокоит это модное тряпье: блонды да гипюры, да шляпки, да эти разные фалбалы. Еще, пожалуй, не угодишь. Впрочем, нет, моя жена не такова... Мы с ней живем душа в душу... вот спроси у него... Это ангел доброты, et c'est une femme distinguée, mais tout à fait distinguée, mon cher*. Я уверен, что ты был бы от нее в восторге и полюбил бы ее... Поручила мне, братец, целую библиотеку закупить... Куда это мы все уложим только в Москве, я не знаю: ведь в дормез нам не поместить всего?.. как ты думаешь, юноша?

---

* и это женщина утонченная, в высшей степени утонченная, мой дорогой *(фр.)*.

— *Да-с, трудновато будет-с,* — *отвечал секретарь.*

— То-то, братец! Надо будет об этом серьезно подумать.

— Не беспокойтесь, — возразил секретарь, — уж как-нибудь устроим.

— То-то, смотри же...

Летищев отвел меня несколько в сторону и произнес вполголоса, кивая головой на секретаря:

— Un bon enfant, excellent...* Я взял его, братец, к себе мальчишкой, нищим. Он и вырос у меня в доме и привязан ко мне и к жене, как собачонка. И ведь какой аккуратный, деловой малый! он у меня заправляет всей моей канцелярией... Ну, до свиданья, мой милый! Я к тебе первому непременно приеду, когда окончу все мои важные визиты; надеюсь, что и ты заедешь ко мне. Я остановился у Кулона, занимаю два нумера: 22-й и 23-й; ведь одного мне мало по моему сложению. В Москве так я всегда останавливаюсь в «Дрездене» и всегда занимаю 1-й нумер. Там уж так и берегут его для меня: огромная комната, настоящая танцевальная зала; да я, признаться, терпеть не могу маленьких комнат: в них как-то тяжело дышать... Но я заболтался с тобой... Прощай, прощай, до свиданья... Расплатился, юноша?

— Да-с...

— Ну так марш... Au revoir, mon cher, au revoir**.

И Летищев вышел из кафе-ресторана с тем же эффектом и шумом, с каким вошел, весь сияя самодовольствием и произведя сильное впечатление на всех присутствовавших.

После того, во время пребывания его в Петербурге, я встречался с ним довольно часто у наших общих знакомых. Он рассказывал нам о различных политических и административных проектах, которые будто бы переданы ему были самими министрами, по секрету; о том, как он разным значительным особам режет, не церемонясь, правду в глаза и как эти особы взяли с него честное слово, чтобы он прямо писал к ним обо всем и не стесняясь ничем; как петербургские князья и графы, его старые приятели и товарищи, обрадовались его приезду; как один из них, еще бывший при нем в полку юнкером, объявил ему, что назначен полковым командиром того же самого полка, и как он отвечал ему на это: «Полно, Миша, полно!

---

* Славный малый, превосходный *(фр.)*.

** До свидания, мой дорогой, до свидания *(фр.)*.

Врешь, братец, ни за что не поверю. Что ты мне этакую фанаберию несешь? За кого ты, голубчик, меня принимаешь?» И как потом, удостоверясь в этом, он обнял его, поцеловал и сказал: «Ну, Мишук, от души поздравляю тебя; но признаюсь откровенно, что после этого нет в мире чудес, которым бы я не поверил!»

Мне особенно памятна длинная речь, произнесенная однажды Летищевым, когда при нем зашли толки о трудности управления имениями и о характере русского крестьянина. Он вдруг прервал разговор двух господ, очень серьезно рассуждавших об этих предметах.

— Это все не то, господа! — сказал он,— вы, говоря откровенно, увлекаетесь различными фантазиями и фантасмагориями. Я желал бы, чтобы кто-нибудь из вас заглянул в мои имения. Я смело могу сказать, что каждый из моих крестьян благословляет свою судьбу. Правда, у них все есть, что им нужно: по три, по четыре лошади на тягло, по две коровы,— ну, и прочего скота в той же пропорции; избы у них выстроены из хорошего леса, прочно, большею частью в имении жены моей (у меня, правда, этого нет), на каменных фундаментах; оброк с них берется умеренный... Чего же им?.. Да если бы я, например, не родился тем, что я есть, я желал бы быть моим старостой Васильем Антипычем, ей-богу: у него, говорят, тысяч пятнадцать серебром капитала. Для мужика это, надеюсь, деньги! Он ходит в синем сукне, отпустил себе такой же живот, как у меня, такой видный из себя, седая огромная борода... Эта вся мелюзга однодворцы, мелкопоместные кланяются ему чуть не в пояс... Дети его все переженились, и все молодец к молодцу, народили детей в свою очередь. Внучаты пищат и копошатся около дедушки, а он только ухмыляется да поглаживает себе бороду... Патриарх, настоящий патриарх!.. Я часто захожу к нему в гости. Изба у него чистая, прекрасная. Он всегда угощает меня солеными груздями или сотовым медом... чем-нибудь в этом роде... У него все это подается отлично, и всегда еще красную ярославскую салфетку расстелет на стол... Я однажды этак сижу у него и говорю ему:

— Славно ты поживаешь, Василий Антипыч: всего у тебя вдоволь, всем бог тебя благословил; а денег-то у тебя, я чай, и куры не клюют.

— И, батюшка Николай Андреич! — говорит (плут страшный — прикинулся этаким смиренным и кланяется мне в пояс).— Что изволите,— говорит,— шутить: уж какие у нас деньги, откуда взять мужику денег!

— Ну полно, полно! — говорю,— знаем мы тебя. Что скрываться-то. Я ведь у тебя денег твоих не отниму...

— Да что,— говорит,— батюшка, я вам правду скажу, как перед богом: вы отцы наши, от вас скрываться не приходится. По милости вашей скопил маленько.

— Ну,— я говорю,— отчего же ты, братец, у меня не откупишься со всей семьей, али боишься, что я с тебя сдеру много?

Старик мой так и расходился.

— Да помилуйте,— говорит,— батюшка! зачем мне откупаться от вас? да сохрани меня господи и помилуй от этого! Я,— говорит,— честью служил вашему дедушке, вашему родителю, вам теперича служу: да мы у вас, как у Христа за пазухой... Что это вы говорить изволите! На что мне,— говорит,— воля-то, на что? Мы,— говорит,— искони-де к вашему роду приписаны: так,— говорит,— за вами и останемся на веки вечные... Я и детям-то своим заказал, да и внучатам-то закажу служить вашим детям и внучатам.

— Да детей-то у меня, старина, нет — вот мое горе...

— Помолитесь-ка,— говорит,— поусердней, батюшка, так господь пошлет... И мы, грешные, ваши рабы, об этом помолимся.— А у самого слезы на глазах, и меня тронул до слез.

Летищев произнес последние слова дрожащим голосом и прибавил через минуту:

— Вот он, господа, неиспорченный-то русский человек, как есть и каким должен быть!

Некоторые смотрели на Летищева с негодованием, другие как на шута; находились и такие, которые принимали его серьезно. Он не замечал этих различных впечатлений, производимых им, и обращался ко всем одинаково радушно и сияя самодовольствием.

Однажды, когда мы сидели с ним вдвоем, он стал передавать мне о своей жене, о их взаимных отношениях и любви друг к другу, по поводу полученного от нее письма. Он был действительно взволнован и растроган, и слезы так и капали у него из глаз.

— Нет, душенька,— говорил он,— здесь у вас хорошо, все ваши тузы здешние меня ласкают; но дома все-таки лучше. Так и тянет в деревню. Признаться тебе откровенно, я, брат, соскучился без жены; иной раз так взгрустнется без нее, что просто мочи нет.

И он почти давился слезами. Он даже растрогал меня.

Я думал: «А может быть, в этой туше и в самом деле

еще таится что-нибудь человеческое; может быть, под этим мясом бьется еще не совсем испорченное сердце; может быть, он не шутя хороший семьянин и добрый помещик?..»

В его мелком тщеславии для меня было более забавного, чем оскорбляющего.

Всякий раз, например, когда мы выходили откуда-нибудь вместе и когда он влезал в ямскую карету (в санях и особенно на простом извощике он ни за что не решился бы проехать), он непременно кричал извощику: «Пошел к князю такому» или «к графу такому-то. Знаешь?» И извощик его всякий раз отвечал утвердительно: «Знаю-с!» Впоследствии оказалось, что каждый из знакомых Летищева носил непременно название какого-нибудь князя или графа. Через несколько дней после отъезда Летищева этот извощик перешел к одному барину, выезжавшему в большой свет. Барин приказал ему однажды везти себя к княгине Б*. Извощик отвечал: «Знаю-с» — и махнул кнутом.

Он вез его, вез и наконец остановился. Барин вышел из кареты и, к изумлению своему, увидал себя в какой-то незнакомой улице.

— Что это значит? куда ты привез меня, болван?

Барин очень рассердился.

— Как куда! к княгине Б*... Слава богу, я ведь знаю. Я ездил с Николай Андреичем...

— Что ты врешь? Какой Николай Андреич? — вскрикнул барин.

— Какой? Летищев Николай Андреич. Да уж не извольте, батюшка, беспокоиться: княгиня тут живет. Мы с Николай Андреичем у их сиятельства-то почитай всякий день бывали: как не знать!

Извощика трудно было убедить, что княгиня живет не тут, он твердил все одно: «Николай Андреич... они уж всех князей знают, у них уж все знакомство такое». Барин от гнева перешел к смеху, и через несколько дней это сделалось известно всему Петербургу и самой княгине Б*, которая и не подозревала о существовании Летищева.

Слабость моя к Летищеву доходила до того, что мне даже было больно смотреть на него, когда он, на улице, в ресторанах и в театрах, бросался к своим старым товарищам, князьям и разным светским людям с растопыренными руками, с криками, с восторгом, с простодушными улыбками и был встречаем холодными словами и полупоклонами. На него, однако, ничего не действовало: он продолжал лезть

к ним и кричать: mon ami prince *Броницын* или *Павлуша Броницын.*

Я был свидетелем один раз встречи Летищева, вскоре после его приезда в Петербург, с бароном Щелкаловым в театре во время междудействия. Он был с Щелкаловым некогда в приятельских отношениях и на *ты.* Пробираясь и пыхтя в толпе, Летищев наткнулся животом своим на Щелкалова, шедшего ему навстречу. Щелкалов сделал движение назад, бросил на него взгляд свысока, отвернулся и начал смотреть на ложи.

— Душенька! здравствуй, братец! как я рад!

И Летищев ухватился за обшлаг его фрака, не замечая, что тот отворачивается от него. Щелкалов сдвинул брови и вставил в глаз стеклышко, осмотрев его с недоумением.

— Вот что значит запастись этакою горкою! — завизжал Летищев простодушно и обвел рукою кругом себя,— и старые друзья не узнают!.. Летищева помнишь?..

Щелкалов сделал движение губами, еще раз свысока взглянул на него и произнес сухо и резко: «А!», пробормотав несколько несвязных слов: «Очень рад... да... потолстел... откуда?..»

Летищев хотел обнять его; но Щелкалов почти отвел от себя его руки и, сделав шаг вперед, натолкнулся на Броницына, коснулся его плеча и, кивнув назад головой на Летищева, произнес громко: «Каков? недурен барин» — и самодовольно прошел дальше, не подозревая того, что Броницын, в свою очередь, обратился к какому-то своему приятелю и, с язвительной гримасой указав на Щелкалова, произнес:

— Тоже хорош!..

Летищев пробыл в Петербурге около месяца и накануне отъезда, ввалясь ко мне в квартиру, чуть не оборвал звонка у двери, нахвастал мне с три короба, простился со мною с величайшей нежностью и взял с меня слово, если я когда-нибудь буду проезжать через Н*, непременно заехать к нему в деревню.

— Уж угощу, милый, дорогого гостя,— прибавил он в заключение,— вот как угощу! таким старым бургонским попотчую, какого ты отродясь не пивал!..

— Ну, а процесс-то твой? — спросил я.

— Процесс? какой процесс?.. Ах, да, да! Он еще нескоро, но непременно кончится в мою пользу. Дело приняло такой оборот. Это, между нами, мне шепнул на ухо один почтенный старец!..

IV

ЗАКАТ

В начале лета 185* года я по делам совершенно неожиданно должен был ехать в Н* губернию. В Н* я пробыл только один день и оттуда отправился в Р*, уездный город этой губернии, где должен был прожить по крайней мере около двух недель. Жить в уездном городе, возиться с делами и с приказными не забавно. Я вспомнил о Летищеве и о своем обещании побывать у него. Уездный судья на мои расспросы отвечал, что имение Летищева верстах в двадцати от города, что дорога туда прекрасная и что меня могут доставить менее чем в два часа.

— А вы знакомы с Николаем Андреичем? — спросил меня судья и, как мне показалось, с какою-то странною улыбкою.

— Он мой школьный товарищ,— отвечал я,— а что?

— Нет, ничего. Он хороший человек, весельчак и любит жить шибко. Кабы ему только денег побольше. Он был у нас предводителем одно время, так уж такие пиры задавал... и... так немножко...

Судья остановился.

— Да вы, пожалуйста, не стесняйтесь: говорите прямо,— возразил я.

— Порасстроился немножко, позапутался..., А мы любим Николая Андреича: у него доброе сердце, хороший человек. Дай бог, чтобы все только кончилось хорошо.

— А разве с ним случилось что-нибудь особенное?

— Особенного ничего; только вот, по случаю последних обстоятельств, насчет сукна маленькая история. Его надули с сукном: подсунули гнилое. Теперь на нем денежный начет: обвиняют его в сделке с поставщиком и забаллотировали на последних выборах... Жалко... Конечно, и то сказать, что ж делать дворянству? ведь это падает на дворянство...

На другой день после этого разговора, часу в одиннадцатом, я отправился проселком в деревню Летищева. День был солнечный, солнце пекло сильно. Извилистая дорога шла между пашнями, прерывавшимися кустарником. В это лето в Н* губернии были ужаснейшие засухи. Мелкая и черная пыль поднималась от движения лошадей и колес тарантаса густым столбом, останавливалась в недвижном воздухе, пронизываемая палящими солнечными лучами, ложилась густыми слоями на поднятый верх тарантаса, на подушки, на шинель мою, на фуражку,

на лицо, щекотала нос и забивалась в рот. Я задыхался от жара, беспрестанно отмахивался от пыли, от неотвязчивых и вялых мух и при всем желании никак не мог наслаждаться окружавшей меня природой — однообразными, но милыми сердцу видами. Дорога мне показалась ужасно длинною.

— Скоро ли Никольское-то? — спросил я у ямщика.

— Теперь недалеко: с версту али с две — только, — отвечал он, лениво помахивая кнутом над измученными лошаденками и приговаривая: — но-но-но!

Я высунулся из тарантаса и посмотрел на обе стороны: однообразная, мертвящая гладь кругом. «Где же эта маленькая Швейцария-то?» — подумал я, вспомнив невольно письмо ко мне Летищева.

Проехав немного, ямщик мой сказал: «А вот и Никольское!» — и указал мне кнутовищем на небольшую деревеньку, вправо от дороги, расположенную на совершенно ровном месте, на самом припеке, и не защищенную ни одним деревцем от солнца. При взгляде на эту кучку почерневшего и полусгнившего леса, с закопченной соломой наверху, мной овладело тоскливое чувство.

Барский дом, длинный и неуклюжий, в один этаж, с мезонином в середине с полукруглым окном, выкрашенный темно-желтой краской, с зелеными ставнями и красной крышей, стоял несколько в стороне от деревни, окруженный службами и покривившимся некрашеным решетчатым забором, перед небольшим прудом, поросшим осокой и с одного края подернутым плесенью. Перед домом и за домом несколько тоненьких молодых полузасохших деревьев, а несколько в стороне от дома значительное пространство срубленного леса.

Вот каково было Никольское в действительности.

Подъезжая к дому, я увидел у подъезда двух безобразных алебастровых львов, более похожих на собак, вроде тех, которые украшают ворота московских домов. На средине двора, перед подъездом, торчала клумба с длинными синими цветами, перемешанными с другими, имевшими вид желтых пуговок.

«Где же эти розы величиною с пионы?» — подумал я.

Наконец лошади остановились у подъезда. Я вылез из тарантаса и осмотрелся кругом: у одного из флигелей стоял какой-то мальчишка в грязной рубашонке, с вымазанным лицом и смотрел на меня, зевая; кроме этого мальчишки и петуха, разрывавшего землю в клумбе и от времени до времени гордо приподнимавшего свою

головку с хохлом и подергивавшего ее в сторону, на дворе не было ни души человеческой. Когда я поднял ногу на ступеньку подъезда, из ближайшего к подъезду окна высунулась какая-то растрепанная и старая женская фигура и тотчас же спряталась. Я отворил дверь. В передней на прилавке лежал лакей, спавший богатырским сном и храпевший с каким-то особенным треском. Я растолкал его. Он вскочил, протер глаза и начал тупо смотреть на меня сквозь невольно и снова опускавшиеся веки, принимая меня, вероятно, за продолжение своего сна. Я насилу мог растолковать ему, что я приезжий гость, приятель его барина.

— Где же твой барин? веди меня к нему.

— Барин?.. Николай Андреич? — спрашивал он с расстановками,— вам Николая Андреича надо?.. Николай Андреич почивают.

— Все равно. Веди меня к нему.

Лакей почесался, зевнул, еще раз взглянул на меня и сказал:

— Пожалуй. Ступайте за мной.

И привел меня в комнату, стены которой были увешаны старинными граведоновскими раскрашенными женскими головками, некогда украшавшими все столичные кабинеты и потом перешедшими в провинцию. В простенке стоял стол, а на столе чернильница, разные письменные принадлежности, дагерротипный женский портрет и книжка какого-то романа Пиго Лебрёня в старинном переплете — все покрытое густою пылью. Шторы в комнате были опущены, а на большом кожаном диване лежал навзничь сам барин, покрытый халатом, который сбился к его ногам, с расстегнутым воротом рубашки, из-за которой виднелась широкая грудь, заросшая густыми волосами. Грудь и живот, возвышавшийся горою, мерно колыхались от его тяжелого дыхания, оживленного небольшим носовым свистом. Рот его был полураскрыт; пот выступал на лбу крупными каплями. У головы его, на полу, лежал чубук и несколько в стороне трубка с рассыпавшимся около нее пеплом. Эта груда волновавшегося тела представляла неприятное зрелище. У меня даже дрожь пробежала при мысли, во что превратился этот некогда хорошенький мальчик, бывший в пансионе моим образцом и пленивший своими изящными манерами мою маменьку.

Я разбудил его. Он сначала тяжело приподнял отекшие веки, спокойно и бессмысленно взглянул на меня сон-

ными глазами, потом вдруг вскрикнул, как будто испуганный видением, и начал приподниматься с дивана, опираясь на ладони рук и дико смотря на меня. Наконец он совсем пришел в себя и бросился обнимать меня.

Я нашел в нем большую перемену: он весь как-то обвис и опустился, волосы его на висках совсем поседели, на лице показались морщины. Но румянец все еще играл на щеках, или, может, это было только со сна.

— Я сдержал свое слово,— сказал я.— Ты, верно, не ждал меня?

— Никак! никак! — повторял он в некотором замешательстве,— признаюсь тебе, это такой сюрприз для меня... Как будет рада жена!.. Просто подарил, утешил, душенька!.. Только вот что обидно: ты застаешь-то нас врасплох. Ведь с нами случилось, братец, величайшее несчастие... ты ничего не слыхал? Мы прежде жили в другом моем имении, неподалеку отсюда... там у меня и дом, и сад — все это было прелесть... и вообрази, все дотла сгорело, все начисто, хоть бы что-нибудь насмех осталось. Мы сами с женой едва спаслись в том, в чем были... Такое несчастие! Ты можешь себе представить, это меня ужасно расстроило... И загорелось от поганой папироски: кто-то бросил на ковер папироску; а у меня на парадной лестнице разостланы были ковры во всю ширину. Ковер-то тлел, тлел, да вдруг как вспыхнет, и весь дом загорелся, как свеча. Все мои саксы погибли, вся женина библиотека, старинные дорогие вещи, белье, платья, посуда,— ну, словом, все, все дочиста... Вот, братец, мы и поселились поневоле в этой деревушке и в этом скверном домишке на голом месте... и сами голые. Пуще всего мне жаль моих саксов и моего Перуджино: остальное все наживное, а уж этого, брат, ты знаешь, скоро не наживешь!.. Уж ты, душенька, извини нас, если мы не угостим тебя так, как бы желали. Что делать! Теперь чем бог послал. Да, пожалуйста, ты не говори ничего жене о пожаре. Она, братец, слышать до сих пор не может об этом несчастии; это ее так расстроило, что она все еще не в своей тарелке, все не очень здорова, похудела и изменилась ужасно: она у меня вообще нервическая, а с нервическими женщинами, mon cher, беда: с ними надо иметь большую осторожность... Так не говори же ей об этом ни слова, пожалуйста, не проговорись.

Я успокоил его уверениями, и он принялся кричать:

— Трошка! Трошка! воды! умываться, одеваться!..

И потом опять обратился ко мне:

— Ты, братец, совсем в арапа превратился от нашего чернозема... Скорей воды! Трошка!.. Я, братец, горю нетерпением представить тебя жене моей... Поди скажи барыне, что я, дескать, сейчас приведу к ней нежданного дорогого гостя... Как я рад тебе! ты не поверишь, как рад! А знаешь ли, что мне взбрело в голову? Не послать ли за Скуляковым. Он сейчас прикатит, он тебе обрадуется — я знаю; вместе проведем время, вспомним старину...

— Я тебя только хотел просить об этом,— перебил я.

— Ну, и прекрасно!.. Трошка! Трошка!

Трошка долго не являлся на крик барина.

Барин начал свистать, хлопать в ладоши, стучать ногой в пол, кричать: «Эге! эй, вы!» и проч. и взбудоражил своими криками весь дом. Тогда не только Трошка, сбежалась вся дворня, тоже как будто со сна. Распоряжения о посылке экипажа за Скуляковым были сделаны. Мы умылись, оделись и отправились в гостиную. Сборная мебель в этой комнате была расставлена в умышленном беспорядке, так что почти проходу не было; на столе лежали какие-то книжки с картинками и стоял рыцарь в коротенькой кацавейке с капюшоном, с позолоченными ляжками и икрами и со вздернутыми кверху носками туфлей, державший на полке солнечную лампу; перед средним диваном разостлан был коврик, а по углам торчали какие-то засохшие растения. Во всем претензия и хвастовство при отсутствии средств, все напоказ для других, а не для себя, нигде уюта и удобства. В этом доме охватывала нового человека тоска и чувствовалось отсутствие жизни. В гостиной никого не было. Летищев подошел к закрытой двери, которая, вероятно, вела на половину хозяйки, начал стучать в дверь и кричать:

— Душенька, душенька! я привел к тебе гостя...

Слабый голос отвечал на этот крик:

— Сейчас...

В ожидании хозяйки я подошел к двери, выходившей в садик. В этом садике вместо деревьев торчали тоненькие палки с засохшими и скорчившимися на них листиками между кое-где прорывавшеюся зеленью. Против этой двери шла дорожка, усыпанная песком, упиравшаяся в некрашеный забор; а посредине ее стояла какая-то печальная фигура женщины с поднятою рукою, на пьедестале, который был закрыт цветами, повесившими головки.

Через несколько минут хозяйка дома вошла в комнату. Ей казалось на вид лет около тридцати. Черты лица ее

были неправильны, но имели выражение симпатическое. Густые и темные волосы, зачесанные гладко, но волнистые от природы, украшали ее болезненное лицо, в котором не было ни кровинки. В ее светло-карих небольших глазах выражались не то тоска, не то утомление,— трудно было решить с первого взгляда. Эти глаза изредка вспыхивали, как я заметил потом, но не оживляясь, тусклым пламенем, как будто от внутренней боли, и опять потухали через мгновение... Она казалась высока от страшной худобы, и во всей ее фигуре обнаруживалось по временам нервическое подергиванье, которое особенно было заметно в движении ее бледных и тонких пальцев.

Летищев, представляя меня, назвал своим первым другом. Затем начались обыкновенные в таких случаях расспросы: «Давно ли я приехал? надолго ли? живал ли я прежде в деревне?» и прочее. Голос ее был необыкновенно слаб, она, говоря, как будто делала некоторое усилие, иногда останавливалась посредине фразы и глухо кашляла, приставляя платок к губам. Все это с первого раза поразило меня, возбудив участие к этой женщине, и отбило всякое снисхождение к моему товарищу.

Летищев отпускал беспрестанно неуместные шутки, хохотал от них сам во все горло и хвастал перед женою своими великосветскими знакомыми, беспрестанно предлагая мне вопросы о разных князьях и графах — наших товарищах и знакомых, которых он называл Васьками, Федьками, Сашками и так далее. Здесь, рядом с своею женою, в своей домашней жизни, он уже показался мне просто гадок, так что мне стоило величайших усилий скрывать это. Когда разговор прерывался, Летищев спешил поддерживать его такого рода выходками:

— Ну, милый друг, скажи откровенно, вот при ней (он смотрел на меня и тыкал пальцем на жену), находишь ли ты во мне способность верно списывать портреты?.. Помнишь, братец, мое письмо к тебе о ней?.. Ну, вот теперь оригинал перед тобою: находишь сходство?

И потом обращался к ней по-французски:

— Я когда был еще женихом, так описывал ему тебя. Не думай, что я льстил тебе, ma chère, нет!.. с тех пор прошло, конечно, много времени; однако ты мало изменилась, ей-богу, мало... немножко похудела и побледнела последнее время. Бледность, впрочем, тебе к лицу.

И когда эту женщину начинало подергивать при

таких выходках, он бросался к ней с участием и говорил, смотря ей прямо в глаза:

— Что это, душенька, ты, кажется, нехорошо себя чувствуешь? Ты приняла бы этих капель, что прописал тебе Карл Иванович...

Около обеда приехал Скуляков. Он так изменился, что если бы я встретился с ним где-нибудь случайно, я не узнал бы его с первого взгляда. Волосы его поседели, лицо вытянулось. Глаза были как будто менее косы; но эти глаза, несмотря на свою косину, имели привлекательность, потому что в них заметен был ум. Кротость и спокойствие, смешанные с грустью, выражались на этом лице, которое никак нельзя было назвать дурным. В его манерах, неловких и грубоватых, не было ничего ложного и искусственного. При нем становилось легче и веселее, хотя он ничего не говорил веселого; он вносил с собою одушевление, хотя сам был одушевлен редко и говорил мало. Только по своим манерам да по сжатию кулаков он напоминал мне прежнего Скулякова. Он встретил меня радушно, но без всяких восторгов.

Мне показалось, что хозяйка дома обрадовалась, когда он вошел; у нее даже на мгновение вспыхнул румянец, и она протянула ему руку с такою приятною улыбкою, которая еще более расположила меня к ней. Так улыбаться могла только хорошая женщина.

Летищев обращался с Скуляковым с несколько покровительственным тоном, на что, по-видимому, Скуляков не обращал ни малейшего внимания. Когда мы с ним разговорились в первые минуты, вспоминая наше прошедшее, Летищев беспрестанно перебивал нас разными тупыми шуточками и восклицал, ударяя его по плечу и глядя на меня:

— Ну что, ведь такой же все чудак, как был в пансионе, не правда ли?.. А помнишь, как я на дуэль-то хотел его вызвать? Он меня не любил в пансионе, знаю. Ну, что, дружок, хорошенького? — говорил он, хватая Скулякова за талию и как бы подсмеиваясь над ним.— Какие новости ты привез нам из своей Бологовки... Долговки... черт знает! я всегда путаюсь в имени твоей резиденции...

— Нового? — возразил Скуляков,— видишь, вон дождик пошел.

— Аа! слава богу, слава богу... Вот ты этой нашей радости не понимаешь, братец (он обратился ко мне),

а мы с ним хозяева, владетели поместьев: так нам это любо!.. Правда, Василий Васильич?

Крикливый и пронзительный голос Летищева раздавался беспрестанно. После приезда Скулякова он каждые пять минут повторял:

— Да скоро ли обедать? давайте обедать.

И насилу дождался этой блаженной минуты. Обед был порядочный с обыкновенным столовым вином, которое он выдавал за лафит, и вызывал меня на похвалы каждому блюду, указывая притом на жену и повторяя:

— Это все она, она у меня хозяйка; несмотря на то, что занимается литературой вашей и разными серьезными предметами, а и хозяйственною частью не пренебрегает...

— Полно, пожалуйста, какая я хозяйка! — перебивала она умоляющим голосом.

— Ну, сделай милость! К чему излишняя скромность? — кричал Летищев.— Мы с ней во многом сходимся,— продолжал он, жуя, облизывая губы, прерывая слова глотаньем и глядя на меня,— только вот у нас с ней вечные споры насчет этой... терпеть ее не могу, проклятую... Жорж Санд... в этом мы никак сойтись не можем... Я просто отвращение, братец, чувствую к этим блумеристкам, femmes émancipées*. Женщина должна быть женщиной, по-моему.

Летищева не отвечала на это ни слова; но лицо ее приняло такое выражение, что мне хотелось броситься на ее супруга, приколотить его и зажать ему рот. Он сам заметил неприятное впечатление, произведенное на жену его последними словами, и произнес:

— Ну, полно, душечка, полно... я шучу.

Вечером, сидя на крылечке дома, выходившем в так называемый садик, Летищев начал рассказывать нам, как он распространит этот сад, выроет в нем пруды, построит мостики, подсадит деревьев.

— Все это примет надлежащий вид и будет очень мило... Право, душенька,— прибавил он, смотря на жену,— когда все это устроится и разрастется, ты мне скажешь спасибо, я уверен в этом.

— Я уж не увижу этого,— прошептала она.

— Опять!..— Летищев вздрогнул при этом шепоте, и лицо его приняло боязливо-плачевное выражение.— Что это ты, ma chère! — произнес он слезливо, поцеловал ее руку и сладко посмотрел ей в глаза.

---

* эмансипированным женщинам *(фр.)*.

Драма, развивавшаяся в этом доме, была заметна даже для глаз ненаблюдательных. Всякий посторонний человек должен был чувствовать стеснение при виде этой жены и этого мужа.

Мне, по крайней мере, становилось нестерпимо тяжело, и я чрезвычайно обрадовался, когда на другой день вечером Скуляков предложил мне отправиться к нему в деревню. Летищев стал было противиться этому, хотел даже прибегнуть к насильственным мерам, отдав приказание своему Трошке, чтобы не смели закладывать моего тарантаса. Я отговаривался делами, желанием побывать у Скулякова и наконец-таки настоял на своем. Мы простились с хозяевами часов около восьми вечера. Тарантас мой отправился вперед, а мы с Скуляковым пошли пешком. Летищев проводил нас с полверсты, пыхтя и задыхаясь, обнял меня на прощанье, расцеловал и даже разрюмился... Когда он исчез из виду, мне стало легче, и это ощущение все постепенно усиливалось по мере того, как мы удалялись от Никольского.

Вечер был чудесный. Все воскресло и оживилось после дождя, который шел ночью и в полдень. Воздух был пропитан приятною влажностью. По очистившемуся небу проходили легкие волокнистые облака, принимавшие различные тоны и краски. Вся тяжесть спала с души моей, когда охватили меня простор полей и безмолвие вечера. Я жадно впивал в себя благоуханные испарения земли и трав; я с наслаждением, которого давно не испытывал, смотрел на розовые, как будто таявшие в лазури облака, на мошек, которые тучами вились перед нами. Мне было приятно, что мы только двое в этом просторе, что ни души не было окрест и никакого признака человеческого жилья... С каждым шагом нашим вперед местность становилась холмистее и разнообразнее. Мы спустились под гору, перешли через мостик, перекинутый через небольшую речку, поворотили направо по ее берегу и потом взяли влево к дубовой роще, которая вся облита была огнем заката и сквозила золотом.

Мы во все время ни слова не сказали друг другу: нам не приходило в голову занимать друг друга, и когда, выходя из рощи, Скуляков первый произнес: «Ну, вот и моя деревушка!», я даже вздрогнул от его голоса после этой тишины. Роща отделялась от деревни глубоким оврагом, заросшим кустами и деревьями. Деревья эти переходили на другой берег к задам изб. Домик из двух срубов, в котором жил Скуляков, совсем новенький, из толстого и проч-

ного леса, ничем не обшитого, стоял почти у самого берега оврага и отличался только от других изб своей величиною да тесовой крышей, выкрашенной красной краской. Домик этот поставлен был наравне с другими избами и отделялся от них, как каждая изба от другой, только невысоким плетнем.

Здесь не было и признака того, что называется барской усадьбой. После смерти матери Скуляков сломал старый, полусгнивший барский дом, а землю из-под усадьбы отдал своим крестьянам. Новый домик его, прикрытый с задней стороны леском, выходил, как вся деревня, передним фасом на дорогу, за которой до самого горизонта тянулись холмистые пажити, прерываемые шероховатыми пространствами срубленного леса, с остатками вывороченных пней, грудами хвороста и уродливо торчавших корней... Влево чуть виднелась колокольня какого-то села.

Мы поднялись по лесенке под навесом и вошли в дом.

Он состоял из четырех комнат с оштукатуренными и выбеленными стенами. Старинная кожаная мебель с гвоздиками, оставшаяся ему после матери, была перемешана в этих комнатах с прочною, но грубою мебелью домашнего столяра. Сидеть и лежать на этих диванах и стульях было с непривычки жестковато. Когда мы уселись, чтобы отдохнуть, Скуляков сказал мне:

— Извини, у меня нет мягкой мебели. Я сам вырублен грубо из простого дерева, так завел и мебель по себе.

Стены комнат его были голые: в них не было никаких украшений, ничего бесполезного. Шкап с книгами и токарный станок стояли в первой комнате, служившей ему кабинетом. Над постелью в следующей комнате висели два ружья; в комнате, где он обедал, расставлены были на простых деревянных полках самовар и разные хозяйственные принадлежности. Везде было светло и чисто. Вся дворня Скулякова заключалась в одном человеке, который был вместе его камердинером и поваром. Скуляков велел поставить самовар.

— А здесь душно,— сказал он,— пойдем-ка лучше посидим на вольном воздухе. Я не привык к комнатному, мне в четырех стенах неловко; а нам чай принесут туда.

Я с охотой принял его приглашение, и мы уселись на скамейке перед домом.

Наступали сумерки; заря догорала; облака бледнели и тускли; на темневшем небе местами показывались

звездочки; пар начинал подниматься над полями, и тени ложились на росистую землю все шире и шире.

Нам принесли чай, и я закурил сигару.

— Как у тебя хорошо здесь! — сказал я.— Я завидую твоей простой, неизуродованной жизни... Вот какою я всегда воображал деревню...

Он улыбнулся.

— Да вольно же вам уродовать свою жизнь! — заметил он и произнес после минуты молчания: — нет, это ведь тебе так кажется... Два-три дня ты проживешь здесь с удовольствием — я поверю,— а потом начнешь скучать. Вы люди избалованные; вам простота нравится, как диковинка; вы уж сложились, господа, не так; вы и в деревню вносите с собой ваши затеи и прихоти и портите ее... Нет, что ни толкуй, ты долго не выдержал бы здесь. Это так только ты увлекаешься деревней в первую минуту...

— Не всякой же деревней,— отвечал я,— вот в деревне Летищева, например, я ни за что бы не согласился жить... А он погорел, бедный?

— Как погорел?

Я начал было передавать рассказ Летищева о пожаре, но Скуляков не дослушал меня и перебил:

— Это ложь, глупая и бесстыдная ложь. Этот человек весь изолгался. Никакой такой деревни и ничего подобного у него никогда не существовало... Он совсем разорен, а все еще нос поднимает; хочет корчить богатого; да теперь у нас не найдешь в целой губернии такого дурака, которого он мог бы надуть,— а их довольно у нас. Он потерял всякий стыд, всякую совесть, крестьян разорил в прах, все обобрал у них, хлеб запродает на корню разным лицам в одно время и берет с них задатки. Для этих проделок он нарочно ездит в Москву, потому что здесь с ним никто дела не хочет иметь. В прошлом году продал он на сруб отличную дубовую рощу, которая росла у него за домом; теперь только одни пни торчат. Должен всем кругом и на заемные письма и на честное слово; везде запакостил себе дорогу; все бегут от него,— а он себе как ни в чем не бывало ходит гоголем, орет, хохочет, лезет ко всем; в карты садится с незнакомыми, выигрывает — берет, проигрывает — не платит... Э, да всех проделок его и не пересчитаешь!.. Пусть бы губил себя... черт с ним!.. а он загубил...

Скуляков не договорил и замолчал.

— Жена его...— начал я после минуты молчания,—

это, по всему видно, отличная женщина... Но на нее смотреть тяжело... Она, кажется, еле дышит... Неужели же она вышла за него по любви?

— Ее полумертвую притащили под венец — вот по какой любви! — прервал меня Скуляков, вспыхнув,— маменька промоталась из барского тщеславия и хотела поправить дочерним браком свои делишки, а Летищев деньгами жены хотел поправить свои. Оказалось, что ни у той, ни у другого ничего не было: теща надула зятя, зять надул тещу... И какие были между ними сцены после этого брака!.. Нет! лучше уж об этом и не вспоминать. Маменька умерла: ее барская спесь не перенесла того, когда она узнала, что ее афера не удалась. Кабы одно несчастье дочери, это бы еще ничего: пусть бы дочь чахла — только бы с деньгами, которые бы она у нее обирала: тогда бы маменька до сих пор благоденствовала... И родятся же у таких матерей такие дочери! Я знал жену Летищева еще девочкой: это было чудесное, необыкновенное дитя. С ранних лет она обнаружила прямоту, твердость и благородство, и несмотря на то, что мать употребляла все усилия, чтобы изуродовать и исказить ее, она не успела в этом. Воспитание ей давали самое пустое, самое внешнее, для блеска; денег на нее не щадили, за границу возили, и все из того, чтобы сделать из нее бездушную светскую куклу,— ничего не взяло: она сама себя перевоспитала. Натура-то, значит, настоящая!.. И чего она только не перенесла, бедняжка! один бог знает... Первую минуту, как ей объявили, что она должна быть непременно его женою, она не могла перенести этой мысли и чуть было не посягнула на жизнь: она хотела утопиться; за ней следили, ее спасли... Лучше бы, кажется, было не спасать!.. Потом маменька, убедясь, что угрозой с ней ничего не сделаешь, притворилась умирающей, убитою, несчастною, призвала на помощь все свое лицемерие и всю свою хитрость. Делать было нечего. Вышла она замуж... думала покориться обстоятельствам, но когда разглядела поближе своего мужа... ах, страшно вспоминать!.. я был невольный свидетель всего этого... вся природа ее возмутилась против этого человека, она почувствовала к нему непреодолимое отвращение: его голос, звук его шагов в соседней комнате приводили ее в содрогание... Она все это подавляла в себе, скрывала; да иногда сил не хватало: упадет, бывало, без чувств и валяется в судорогах по полу; а он ничего не понимает, бегает около нее в отчаянии, плачет, молится, крестится,

ладонку ей свою на грудь вешает, сует ей спирт под нос, обливает голову холодной водой... Она очнется, взглянет, да как увидит его перед собою — еще хуже... Когда все это пройдет, она убежит в свою комнату и спрячет голову под подушку; а он за ней — это раз было при мне, начинает хныкать, кричать: «Взгляни на меня... Что с тобой, Сашенька? Я тебя,— говорит,— люблю больше жизни, а ты меня не любишь... Я,— говорит,— несчастный!» — бьет себя в грудь, валяется у нее в ногах, целует ее ноги... Он ведь не злой, сердце у него доброе... и нельзя сказать, чтобы совсем был глуп, а легкомыслие и мелочность довели его до совершенной глупости и превратили в зловреднейшего человека. Такого рода добрые сердца во сто раз хуже злых!.. Теперь уж он не пристает к ней так, как первое время: он, мне кажется, догадывается, что она его переносить не может, да боится в этом сознаться самому себе и обольщает себя уверениями, что ему это так кажется. Он боится действительности, как огня, он не живет действительною жизнью, а пребывает все в каких-то глупых фантазиях, которые довели его до совершенного нравственного расслабления... У нее прекратились обмороки и припадки, потому что у нее жизнь прекращается. Теперь у нее только вздрагиванья да замиранья в сердце.

Скуляков махнул рукой и отвернулся.

— Дай бог только,— продолжал он,— чтобы ей дали умереть спокойно; а то я начинаю бояться, что и этого не будет. Не сегодня-завтра земский суд нахлынет к нему, опишут все. Дворянство против него озлоблено, и поделом: он последнее время такую скверную штуку сделал... Впрочем, хорошо и дворянство, выбирающее такого рода людей!

Мы проговорили с ним чуть не до рассвета.

Я пробыл у Скулякова три дня, которые останутся навсегда самыми чистыми воспоминаниями в моей жизни. Ниоткуда не выезжал я с таким сожалением и ни с кем не расставался с такою грустью.

С месяц назад тому я получил от него следующее письмо:

«Обстоятельства заставляют меня прибегнуть к тебе с покорнейшею просьбою. Мне невозможно оставаться в деревне, и я решился переехать в Петербург, а для того, чтобы иметь средства к существованию, должен посвятить себя службе. У тебя много знакомых: не приищешь ли ты через них какого-нибудь местечка для меня? Тебе известно, что я довольствуюсь малым и честно исполняю обязанности, которые беру на себя. Для меня *долг*

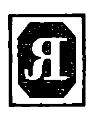
прежде всего. Выручи меня, бога ради, отсюда. Я здесь оставаться не могу. Чем скорей, тем лучше. Ты этим меня крайне обяжешь... Жена Летищева умерла».

На днях я узнал, что незадолго до ее смерти земские власти должны были приступить к описыванию движимого имущества Летищева. Скуляков предупредил это. Он отдал весь свой маленький капитал Летищеву,— не для того, чтобы спасти его от неизбежного позора, но для того, чтобы дать ей умереть спокойно.

ХЛЫЩ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

(De la haute école)

ВМЕСТО ВСТУПЛЕНИЯ



хочу изобразить... чуть было не сказал *воспеть*, потому что предмет достоин поэмы,— самого утонченнейшего и безукоризнейшего из всех хлыщей — хлыща *высшей школы* (de la haute école), перед которым мой великосветский хлыщ должен показаться жалким, неуклюжим и грубым, потому что между ним и хлыщом высшей школы почти такая же разница, какая между простым, хотя и породистым пуделем, бегающим по улице, и тем изящным пуделем высшей школы, развившимся под ученым руководством г. Эдвардса, который показывается в цирке г-жи Лорры Бассен и Комп. Если бы все в мире лошади, собаки, люди, насекомые проходили чрез высшую школу — боже мой! в какую изящную, утонченную игрушку превратился бы тогда мир, но, к несчастию мира, не все одинаково способны подвергаться этой школе. И странно! всех неспособнее и непокорнее в этом случае — человек — существо разумное. Его иногда труднее вышколить, чем какую-нибудь блоху — это едва заметное, неуловимое и неразумное насекомое; но зато когда человек оказывается способным пройти через высшую школу — он становится прекрасен, велик,— и все шавки, пудели, лошади и блохи высшей школы бледнеют и уничтожаются перед ним!..

Если бы какой-нибудь предприимчивый и почтенный господин, вроде г. Барнума, вздумал вместо ученых собак, блох, лошадей, девиц-альбиносок, сирен и Том-Пусов развозить на удивление Старого и Нового Света любопытнейшие и отборнейшие сорты хлыщей, этот новый и оригинальный род промышленности доставил бы ему, я убежден в этом, колоссальное богатство. Нет сомнения, что особенную выгоду могли бы, в этом случае, представлять хлыщи высшей школы. На их изящнейшие манеры, на их утонченную выправку, на их бесподобную недоступность и исполненную чудной грации величавость стекались бы смотреть миллионы народа, потому что народ вообще падок на все великолепные зрелища, любит глазеть на все высшее, на все выходящее из-под обыкновенного уровня.

Я желал бы вывести перед любознательной публикой моего хлыща высшей школы во всем его блеске и красоте — так, как выставляют девиц-альбиносок, великанов и другие чудные явления природы, поставить его на вертящиеся подмостки, устланные бархатом или мокетом и уставленные бананами и другими тропическими растениями, и, тихо повертывая подмостки, доставить почтенным посетителям случай в подробности рассмотреть его со всех сторон. Но, увы! это невозможно. Такие совершенные создания, к каким принадлежит мой настоящий хлыщ, не отдают себя напрокат, как это случается с хлыщами другого рода,— и для того, чтобы дать понятие о нем, я поневоле должен прибегнуть просто к его описанию, чувствуя заранее, что предлагаемый поверхностный снимок не передаст и десятой доли тех красот и совершенств, которыми обладает несравненный оригинал.

I

Если вы, мой читатель, принадлежите к жителям Петербурга, вам, вероятно, случалось встречать в театре, в клубе (разумеется, Английском), на улицах или в салонах (если вы ездите в большой свет) высокого, полного, средних лет господина, держащего себя очень прямо, одетого с изящною и строгою простотою, без всяких изысканных и бросающихся в глаза украшений и нововведений: без стеклышек, английских проборов и тому подобного, с движениями медленно-важными, с взглядами вечно холодными и даже несколько суровыми, с лицом неподвижным, но проникнутым высоким сознанием

своего превосходства, на котором появляется только легкая тень приятной улыбки, когда господин этот заговаривает с значительным лицом или когда значительное лицо с ним заговаривает... Вы, верно, заметили, что не только его бесстрастно-прекрасное лицо, но даже его туловище, шея, ноги и руки — все одинаково проникнуто сознанием своих совершенств; что он поворачивает шею только в самых важных обстоятельствах, только тогда, когда очень значительное лицо обращается к нему или он обращается к очень значительному лицу; что он протягивает руку только избраннейшим из избранных; что он ходит так, как будто делает честь тротуару или паркету, к которому прикасается... Если вы видели такого господина — то вы уже имеете некоторое понятие о наружности моего хлыща высшей школы. Его монументальная и торжественная фигура даже напоминает несколько Командора в «Дон-Жуане»...

Не подумайте, мой провинциальный читатель, чтобы я преувеличивал перед вами совершенства моего героя — из благоговейного уважения к нему. (Я употребляю возвышенное слово *герой*, вышедшее ныне из употребления, потому что говорю о возвышенном предмете.) Какое преувеличение, помилуйте!.. я ссылаюсь на весь великосветский Петербург... Все, имеющие счастье пользоваться знакомством его, подтвердят вам, что он ведет себя с такою безукоризненностию, с какою может только вести себя господин, прошедший чрез все искусы высшей школы. Никто и никогда не видел его ни на улице, ни в театре, ни в клубе с человеком, не принадлежащим к высшему свету, с inconnu*; никто и никогда не видал его смеющимся, он позволяет себе только слегка улыбаться в известных случаях, как замечено выше; никто и никогда не видел его удивляющимся,— он ничему не удивляется, как все люди безукоризненного тона; никто и никогда не заметил, чтобы в разговоре он возвышал или понижал голос,— он говорит плавно, ровно, спокойно, и каждое слово, вылетающее из уст его, должно, кажется, осчастливить того, к кому относится; никто и никогда не видал его аплодирующим в театре, потому что аплодируют люди увлекающиеся, то есть люди плохо вышколенные или просто люди дурного тона. Даже и в такие исключительные минуты, когда, бывало, Рубини в «Лучии», в сцене проклятия, потрясал весь театр своими раздирающими

* неизвестным *(фр.)*.

душу звуками и невольно извлекал слезы даже из глаз людей хорошего тона, и их заставлял забываться, аплодировать и кричать вместе с толпою,— даже и тогда он оставался в своем обыкновенном, бесподобном и величавом равнодушии.

Надобно видеть, с какою почтительною ловкостью, тихо, не суетясь, его изящная прислуга подает ему шинель или пальто, когда он выезжает из дома; с каким благоговением провожает его гордый и толстый швейцар и усаживает в сани; с каким глубоким уважением капельдинер, кланяясь, отворяет ему дверь его абонированной ложи; как увивается около него дворецкий Английского клуба в тот день, когда он кушает в клубе. Но все эти знаки почтения, благоговения, подобострастия пропадают даром. Он, кажется, не подозревает о существовании на свете лакеев, швейцаров, капельдинеров, дворецких и прочего и полагает, что все является и отворяется перед ним, все снимается с него и надевается на него по мановению волшебного жезла. Один только раз он чуть-чуть повел глазом на своего лакея, у которого белый галстух был несколько измят и имел не совсем свежий вид, и, обратясь к своему мажордому, произнес строго-спокойным голосом: «Чтоб *этого* сегодня же не было здесь...»

В клуб герой мой приезжает обыкновенно позже всех и садится за особенный стол... За обедом он кажется еще прекраснее. Он кушает с большим аппетитом, но не обнаруживает его ни взглядами, ни движениями, как люди грубые и дурно воспитанные; вино, кажется, он не пьет, а только вдыхает в себя его аромат, хотя его бутылка опорожняется к концу обеда так же, как и у других, которые просто пьют. После обеда он садится за карты и играет по большой и с людьми значительными. Он к картам не имеет особенной страсти (да и вообще он не имеет никаких страстей, потому что страстями одержимы только люди *вульгарные*), а играет по расчету, для поддержания своих связей и значения, сохраняя постоянно величавое равнодушие и спокойствие при выигрыше и при проигрыше... Но виноват,— я, кажется, увлекаясь моим героем, забегаю немного вперед и заранее прошу у читателя извинения только за небольшое отступление по поводу карт. Я не могу на минуту не остановиться на этом предмете. Карты вещь очень серьезная. Если вы не умеете играть в карты, мой благосклонный читатель, учитесь, учитесь скорей, не теряя времени. Посредством карт в Петербурге (я не знаю, как в других европейских

столицах) завязываются наитеснейшие связи, приобретаются значительные знакомства, упрочивается теснейшая дружба и, что важнее всего, получаются выгоднейшие места. Приобретя опыт жизни, я очень сожалею теперь, что не посвятил себя в начале моего поприща изучению ералаша, преферанса с табелькой, пикета и *палок*. Кто знает, по примеру многих других, я через карты легко мог бы сделать прекрасную карьеру, и вместо того чтобы подвизаться на неблагодарном и скользком литературном поприще, я уже пользовался бы теперь значением, имел бы приличный моим летам чин, был бы окружен подчиненными, смотрящими мне в глаза, распоряжался бы участью нескольких сот подведомственных мне людей (что очень приятно) и преследовал бы всех сатирических писателей, которые раскрывают, как говорит Гоголь, «наши общественные раны»...

Однако все это нейдет к делу, и мне давно пора сказать, какое общественное положение занимает мой утонченный герой в свете, и познакомить любознательных читателей с его биографией.

II

Он сын очень почетного отца, который умом, трудолюбием и, как прибавляют люди злоязычные, вкрадчивостью и лицемерием сам проложил себе блистательную карьеру. Почтенный родитель прозывался Белогривовым, от села Белые Гривы, в котором родился, и оттого еще, может быть, что волосы его в детстве были белы, как лен. Это прозвище так и осталось за ним, и никто, конечно, не подозревал, что со временем оно обратится в громкую и блестящую фамилию. В летах отрочества он бегал еще по деревне в затрапезном халате, а в сорок пять лет пользовался уже значением в Петербурге и вступил в брак с девицею довольно известной дворянской фамилии, за которою взял 500 душ. На шестидесятилетнем возрасте он достиг всего, к чему с такой жадностию стремятся люди: чинов, окладов, почета, уважения, связей. В Новый год и светлый праздник столы его были завалены визитными карточками с самыми блестящими именами, а в передней лежали груды листов, исписанных посетителями. В домашней жизни бог также благословил его. Супруга его была дама очень привлекательной наружности и приятных форм, кроме того, обладала замечательными нравственными достоинствами: характе-

ром твердым и решительным, вследствие которого держала бразды домашнего правления очень туго, и глубочайшим знанием светского такта и всех мелочных светских обычаев и привычек. Ее любовь к супругу и заботливость о нем не имели границ: она сама распоряжалась всеми его деньгами; сама разбирала отчеты по имению; сама назначала ему камердинеров и сменяла их по своему произволу; сама ежедневно клала в его бумажник известную сумму денег; приказывала, каких лошадей закладывать в его карету; безусловно распоряжалась постоянно находившимся при нем курьером,— и один взгляд генеральши имел силы несравненно более, чем слово генерала, повторенное десять раз... «Друг мой,— говорила она с чувством супругу,— ты слишком занят важными государственными делами, и я не допущу тебя входить ни в какие домашние дрязги. Это уж мое дело». Дети (им бог даровал двух прелестных малюток — мальчика и девочку) развивались также под ее исключительным и неусыпным наблюдением.

Нежная и любящая мать в мыслях своих приготовляла для них блистательную будущность и все воспитание их направила на то, чтобы сделать их безукоризненными в светском отношении. Им предстояла важная обязанность, высокий долг поддерживать честь и славу рода Белогривовых.

В характере этих детей, с самого раннего детства, обнаружилась резкая разница. Виктор, любимец матери и герой этого рассказа, был истинным утешением родителей. Его называли необыкновенным ребенком, и он был действительно необыкновенный ребенок, потому что, к удивлению взрослых, не кричал, не шалил и не резвился, как обыкновенные дети. Прекрасный, румяный и полный малютка во всем обнаруживал что-то вроде рассудительности, сдержанности и как будто чувства собственного достоинства. Он входил в комнату, раскланивался, танцевал, играл в куклы, говорил с другими детьми и даже катал обруч по дорожке сада с серьезностью и важностию, приводившею в восторг не только его родителей, но даже и посторонних. Виктором все восхищались и все отзывались об нем с похвалою, исключая, впрочем, домашней прислуги, с которою он обращался, несмотря на свой нежный возраст, так повелительно и с таким пренебрежением, что маменька даже принуждена была останавливать его замечаниями, что с людьми надо быть повежливее. Но, останавливая его, она в то же время думала с тайным

удовольствием и гордостию, что так рано обнаруживающееся в нем отвращение ко всему *низшему* — признак благородной крови Балахиных, которая течет в его жилах (генеральша была урожденная Балахина). Лакеи и горничные, не принимая этого в соображение, смотрели на барчонка с совершенно другой точки зрения и так отзывались о нем: «Вишь, щенок, еще чуть от земли видно, еще молоко на губах не обсохло, а туда же, как большой, хорохорится и горло дерет».

Сестра Виктора, Сонечка, была девочка худенькая, бледная, слабая здоровьем и ничем особенным не отличавшаяся от других детей. Она, в противоположность своему брату, пользовалась большим благоволением всей дворни за свою доброту и мягкость, которые выражались в ее бледных карих глазах и во всех чертах ее привлекательной белокурой головки. Но зато Сонечка, несмотря на то, что была старше брата двумя годами, не умела вести себя с достоинством, не имела того такта, которым так изумительно владел Виктор чуть не с колыбели; она была одинаково приветлива и радушна с маленькой княжной Мери, своей сверстницей, и с Катюшкой, дочерью ключницы. Ни попечительная мать, с тайным сокрушением смотревшая на нее, ни неподвижная мисс Генриетта, ее гувернантка, воспитывавшая некогда, по ее словам, мисс Арабеллу, дочь какого-то лорда, и исполненная самых аристократических претензий, не могли внушить Сонечке того чувства гордого сознания, которое бесспорно должно было одушевлять девушку,— дочь отца, так высоко стоявшего на ступенях общественных почестей, девушку, предназначенную для высшего света... Кровь Балахиных еще молчала в ней.

Однажды на даче, гуляя с мисс Генриеттой, Сонечка (ей было уже в это время лет тринадцать) повстречала нищую, хорошенькую девочку лет восьми, в лохмотьях, которые едва прикрывали ее. Девочка эта очень понравилась Сонечке, которая остановила ее, с участием расспрашивала — откуда она и кто она? и сказала ей, чтобы она зашла к ним на дачу. Бедная девочка эта целый день не выходила у нее из головы, даже снилась ей ночью. На следующее утро она не отходила от окна, поджидая ее, и когда та явилась, Сонечка чуть не вскрикнула от радости, побежала ей навстречу и тихонько провела ее в свою комнату. Она надарила ей разных вещей и так растрогала девочку своею добротою и ласкою, что та со слезами бросилась к ней и схватила ее руку, чтобы поце-

ловать; но Сонечка отдернула руку и поцеловала девочку... В минуту этого поцелуя на пороге двери появилась строгая и неподвижная мисс Генриетта. Такое зрелище привело бывшую воспитательницу дочери лорда в страшное негодование... Она приказала сейчас нищей выйти вон и, обратясь к своей воспитаннице, прочла ей длинное, строгое и красноречивое наставление, мысль которого заключалась в том, что хотя благотворительность — дело похвальное и хотя помогать бедным должно, но водить к себе в комнату нищих, обниматься и целоваться с ними девушке столь высокого происхождения неприлично и непростительно. Мисс Генриетта ссылалась на свою бывшую воспитанницу, мисс Арабеллу, умевшую всегда соединять похвальные движения сердца с чувством своего аристократического достоинства, и наконец привела Сонечке в пример ее собственного брата, который, несмотря на то, что моложе ее, мог уже служить для нее во всех отношениях образцом. Сонечке постоянно все беспрестанно ставили в пример брата; она не могла не видеть, что вся нежность родителей была обращена к нему, и, несмотря на это, ни малейшее чувство зависти не смущало ее. Она чувствовала к нему самую нежную привязанность с детства.

До пятнадцати лет она обнаруживала характер очень восприимчивый, сообщительный, живой и пылкий. Она передавала брату все впечатления, ощущения и мысли, начинавшие зарождаться в ней. Она искала в нем отзыва и сочувствия, но всякий раз после своих задушевных признаний чувствовала какую-то внутреннюю неловкость. Брат выслушивал ее спокойно и равнодушно, без всякого участия, и Сонечка объясняла это тем, что он не может еще понимать ее, потому что слишком молод.

Пылкость ее начинала, однако, охлаждаться с летами, может быть, вследствие болезненного состояния, которое усиливалось в ней вместе с ее ранним и быстрым нравственным развитием, на которое никто не обращал внимания. В восьмнадцать лет у нее обнаружились такие грудные страдания, которые она, при всей своей терпеливости, не могла скрывать. Созван был консилиум. Доктора решили, что она имеет расположение к чахотке и что поэтому за ней необходимо иметь строгий медицинский надзор. Домашний доктор Белогривовых, очень важный господин, пользовавшийся в городе огромною репутациею и доверенностию, представил к ним в дом одного молодого доктора, который должен был, под его главным руковод-

ством, иметь постоянное наблюдение за ходом ее болезни. Молодой доктор начал ездить в дом Белогривовых всякий день. Он ухаживал за больною с необыкновенною заботливостию и вниманием, и через несколько времени она заметно стала поправляться. Доктор продолжал, однако, навещать ее так же часто. Он был человек образованный, большой поклонник Шекспира и Вальтера Скотта и, кроме того, страстный охотник до музыки. Он скоро сделался у Белогривовых почти домашним человеком. Генерал и генеральша оказывали ему большое внимание, видя его заботливость о больной; мисс Генриетта полюбила его за то, что он говорил с нею по-английски и декламировал наизусть монологи из «Гамлета» и «Отелло»; Софья Александровна (в это время никто уже не называл ее Сонечкой) обнаружила к нему также большую симпатию: она была тронута его участием и вниманием к ней; притом его образование, ум и расположение к музыке — все это производило на нее сильное впечатление. У нее были очень замечательные музыкальные способности, и она играла на фортепьянах с большим вкусом, тонкостью и чувством. Доктор также играл на фортепьянах недурно, и они иногда вместе разучивали любимые пьесы. Она до того привыкла к доктору, что в тот день, когда он не приезжал, чувствовала, что ей как будто недостает чего-то.

На ее привязанность к нему, усиливавшуюся постепенно, не обращал никто внимания. Генерал видался с детьми два раза в день: на минуту утром, когда они приходили с ним здороваться, и за обедом. Генеральша привыкла смотреть на доктора как на домашнего человека, как на своего дворецкого или на свою ключницу, и подозрение о привязанности к нему ее дочери не могло даже прийти ей в голову. К тому же она приняла доктора под особое свое покровительство, потому что он лечил даром всю генеральскую дворню.

Когда здоровье Софьи Александровны поправилось, ее вывезли в свет, но после двух или трех балов болезненные припадки ее снова возобновились,— и эти выезды должны были прекратиться к ее величайшему удовольствию, потому что после каждого бала маменька, недовольная ею, делала ей очень жесткие выговоры и читала предлинные морали. Генеральша огорчена была тем, что появление в свет ее дочери не произвело того впечатления, какого она желала и могла надеяться. Выговоры эти обыкновенно оканчивались упреками, что на ее воспитание не щадили ничего, что на нее потратили тысячи и что она, несмотря

на все внимание и заботливость об ней, не оправдывает ожидание родителей, и так далее.

Софья Александровна выслушивала эти упреки и выговоры молчаливо и переносила их с покорностию и твердостию. Иногда только, когда гнев ее маменьки, по какому-нибудь незначительному поводу, выходил из пределов и разражался оскорбительными и вовсе не светскими выходками (генеральша была горяча), Софья Александровна прибегала к брату и высказывала ему свое огорчение. Виктор Александрыч был в это время уже студентом. Он обыкновенно молча выслушивал ее и, с свойственною ему рассудительностию не по летам, говорил, что если маменька и не совсем справедлива в отношении к ней, оскорбляя ее некоторыми словами и замечаниями, которые бы, конечно, не следовало произносить, то, в сущности, она все-таки права, потому что желает ей добра, и беспрестанно твердил ей, как и маменька, о том, что ей необходимо выезжать чаще в свет.

После одного из таких объяснений с братом ей пришла в первый раз в голову мысль, что он человек холодный, без сердца. Как ни отгоняла она от себя этой мысли, но она неотвязчиво преследовала и мучила ее несколько дней. Софья Александровна старалась, впрочем, всячески оправдывать брата и уверяла себя, что эта мысль совершенно нелепая; что Виктор, напротив, имеет прекрасное сердце, порывы которого он только боится обнаруживать, и что эту наружную холодность и недоступность он заимствовал от своего воспитателя, имевшего на него большое влияние, бездушного формалиста г. де Шардона, который был помешан на старой французской аристократии, разыгрывал какого-то маркиза и не признавал никаких авторитетов, кроме Лагарпа, Баттё, Буало и Генриха V. Она не принимала в соображение, что неподвижная и суровая мисс Генриетта не успела же задушить в ней, несмотря на все свои усилия, человеческие увлечения и порывы сердца. Сваливая всю вину на г. де Шардона, Софья Александровна обыкновенно несколько успокаивалась. Несмотря на это, она перестала быть откровенной с братом. Характер ее заметно изменялся, она становилась серьезнее, сосредоточеннее, начинала, кажется, чувствовать пустоту и холод блестящей среды, ее окружавшей, и свое одиночество. Единственный человек, которому иногда она высказывалась, был доктор.

Софье Александровне был уже двадцать один год.

Здоровье ее было слабо, и поэтому выезжала она в свет редко. Маменька, глядя на нее, начинала приходить в беспокойство и помышлять, каким бы образом прилично устроить ее участь.

Виктор Александрыч, окончив между тем курс в университете, определился в министерство иностранных дел и в первый раз явился в свете на бале княгини Красносельской. На этом первом дебюте он имел счастье быть замеченным одной очень почетной старушкой, которая нашла, что он прекрасно держит себя: с тактом, с почтительностию к старшим и между тем с достоинством, и что многие молодые люди, гораздо поважнее его происхождением, могли бы брать с него пример...

Однажды, когда Виктор Александрыч сидел в своей комнате, только что окончив обделку своих ногтей и машинально перелистывая Готский альманах, свою любимую настольную книгу, мечтал о своих будущих успехах в свете, в комнату его вошла сестра. Ее бледное и болезненное лицо было бледнее обыкновенного, в ее глазах, почти всегда задумчивых и грустных, выражалась сила и энергия, тогда как в движениях и в походке была нерешительность и почти робость. По всему было заметно, что в душе Софьи Александровны совершалось что-то необыкновенное и что это посещение было недаром.

Виктор Александрыч слегка приподнял голову, взглянув на сестру. Он не заметил в ней, однако, ничего особенного, слегка кивнул своей прекрасной головой и протянул к ней свою белую и полную руку, с искусно обделанными ногтями в форме миндалин.

Софья Александровна села возле него.

— Что скажешь? — произнес он, переворачивая страницы альманаха, который он не выпускал из рук...

— Я пришла с тобою поговорить об одном деле,— отвечала она,— об деле, которое касается до меня... Скажи мне искренно, любишь ли ты меня?

Виктор Александрыч взглянул на сестру, и нижняя губа его подернулась немного насмешливо.

— Что это за вопрос? Что с тобою?

— Я хочу убедиться в том, что ты меня любишь, мне это нужно потому, что я должна сообщить тебе...— Она остановилась. (Разговор их, надобно заметить, происходил на французском языке.)

Виктор Александрыч еще взглянул на сестру, и в этот раз уж вопросительно.

— Я ничего не понимаю,— проговорил он своим обыкновенным равнодушным тоном, не обращая внимания на ее волнение,— разве случилось что-нибудь особенное?

У Софьи Александровны на глазах показались слезы, она с минуту ничего не отвечала, но потом вдруг бросилась к брату, обняла его с увлечением и почти задыхающимся голосом сказала:

— Скажи мне, брат... принимаешь ли ты во мне участие?

— Что с тобой, однако? — спросил он с несколько озабоченным видом, оправляясь после этих неожиданных объятий.

Софья Александровна сказала ему, что она любит доктора...

При этом признании лицо Виктора Александрыча вспыхнуло, он вскочил со стула, выпрямился всем своим станом и даже несколько выгнулся и обозрел с ног до головы Софью Александровну...

— Что? Кого? — спросил он, не веря ушам своим.

Она повторила свои слова твердым голосом.

Виктор Александрыч улыбнулся, заложил руку за жилет и произнес:

— Что за шутки! Это совсем не забавно.

Софья Александровна вспыхнула в свою очередь, оскорбленная этим замечанием, высказала ему с горячностию все, что было у нее на душе, и в заключение объявила, что она решилась выйти замуж за доктора.

Виктор Александрыч прошелся несколько раз по комнате, чтобы прийти в себя, и наконец остановился против сестры.

— Что с тобой, Sophie? Ты с ума сходишь,— произнес он в волнении, которое уж не мог скрыть при всей своей выдержанности,— откуда могли прийти к тебе такие мысли, такие дикие понятия? Ты забываешь, *кто ты*, какое имя носишь. Что может быть общего между тобою и каким-нибудь аптекарем или лекарем? Пожалуйста, приди в себя. Опомнись, одумайся. Ты хочешь нанести позор нашей фамилии, сделать нас городскою сказкою, ты хочешь убить батюшку и матушку. Это какое-то безумие, которое нельзя оправдать ничем. Благовоспитанной девушке даже во сне не могут прийти в голову такие мысли, такие понятия...

Виктор Александрыч остановился запыхавшись. Он никогда не говорил вдруг так много и с таким жаром.

— Я люблю его, я на все решилась,— произнесла она.

Лицо и глаза ее горели. На этом лице и в этих глазах выражалось что-то гордое и решительное. Это была уже не девочка, грустная, болезненная и застенчивая, но женщина с сознанием и силою воли.

— Решилась!..— повторил Виктор Александрыч, не обращая на нее внимания, бледнея и закусив нижнюю губу,— это мне нравится! Что такое твое решение? у тебя отец и мать, у тебя брат, ты забываешь об них, кажется.

— Нет, я не забываю. Если в тебе есть хоть капля участия и сострадания ко мне,— я прошу тебя, брат,— будь посредником между мной, батюшкой и матушкой, ты имеешь влияние на них. Тебе легче...

— Посредником! — перебил Виктор Александрыч,— подумай же наконец, что ты хочешь делать... в чем? Но это неприличие, это безнравственность, это сумасшествие... И ты думаешь, что я буду посредником твоим у отца и у матери, что у меня повернется язык сказать им, что ты любишь... Сделай одолжение, выкинь все это из головы. Серьезно говорить об этом нельзя, и мне досадно на себя, что я принял это серьезно. Дай мне слово, что ты весь этот вздор выкинешь из головы,— и что об этом никогда не будет более слова.

Софья Александровна с большим усилием над собою приняла наружность холодную и спокойную и отвечала:

— Хорошо, я подумаю, я только прошу тебя об одном, чтобы это покуда осталось между нами...

Когда она вышла, Виктор Александрыч не на шутку призадумался. Мысль, что его сестра может быть женою какого-то лекаря, привела его в негодование и ужас. Он живо вообразил все неизбежные последствия этого: язвительные улыбки его великосветских приятелей; тень, которую бросит этот безумный брак на их фамилию; оскорбительные для них толки и замечания по этому поводу высшего света; шум, который наделает в городе этот неслыханный скандал, и проч. При мысли что все это может сильно повредить его светской и служебной карьере, дрожь пробежала по его телу и румянец исчез с его полных и пушистых щек. «Этого нельзя оставить так,— подумал он,— честь нашего дома в опасности, надо принять заранее меры и тотчас же предупредить об этом батюшку и матушку».

Виктор Александрыч отправился к родителям и имел долгое объяснение с ними, вследствие которого доктор

уже не появлялся в их доме. С Софьей Александровной не было никаких объяснений, но генерал и генеральша стали обращаться с нею очень сухо и холодно. Виктор Александрыч избегал всяких столкновений и объяснений с сестрою. Так прошло около месяца...

В одно прекрасное весеннее утро в доме Белогривовых произошло неописанное смятение. Весь дом переполошился, начиная с самого генерала до последнего конюха. Генеральша лежала в обмороке; генерал совершенно потерялся; Виктор Александрыч вдруг так побледнел и осунулся, как будто только что встал с постели после болезни; люди совались без толку из угла в угол, как сумасшедшие; доктора перебегали от генеральши к генералу. Софья Александровна исчезла из родительского дома!.. Стоны, слезы, крики, рыдания, проклятия потрясали весь дом... Она бежала, покрыв стыдом и позором маститую седую голову заслуженного старика отца, всеми уважаемого, убив мать, которая с такою нежностию заботилась о ее воспитании. Ужасно!

Буря утишилась не скоро, да и могла ли она скоро утишиться? Истерики и крики сменялись вздохами, стонами, покачиванием голов, всхлипываниями и жалобами на судьбу.

Вдруг, в один день, генералу подали письмо. Он взглянул на конверт и изменился в лице. Письмо было от Софьи Александровны. В этом письме она объявляла о том, что она замужем, умоляла о прощении, просила благословения и прочее. Но генеральша не допустила генерала распечатать конверт, выхватила его из рук супруга и бросила в камин.

— У нас нет более дочери,— произнесла она торжественно,— а у тебя, мой друг, нет сестры,— прибавила она с рыданием, обращаясь к сыну и обнимая его,— чтобы в доме никто и никогда не смел произносить ее имя, как будто бы она никогда не существовала!

Вскоре после этого неслыханного события генерал, который постоянно страдал сильною подагрою и в последнее время еле двигался от старости, занемог и скончался, оставив все, что имел, жене и сыну и ни слова не упомянув в духовном завещании о дочери. Генеральша, рыдая над его трупом, произнесла: «Это она его убийца! Она!»

— Мое несчастное существование,— говорила она с нежностью сыну,— поддерживаешь один ты,— ты — моя гордость, ты — мое утешение! Без тебя мне ничего не оставалось бы, кроме могилы...

Но генеральше не суждено было долго наслаждаться и радоваться своею гордостью, своим действительно во всех отношениях безукоризненным сыном. Генеральша умерла в тифусе через полтора года после смерти своего супруга, а когда кто-то из ближних в минуту кончины осмелился ей напомнить о дочери, она прошептала: «У меня нет дочери». Это были ее последние слова.

Все решили, что Софья Александровна была убийцею отца и матери. На это нельзя даже было сделать никаких возражений, потому что в таком случае легко можно было прослыть за человека неблагонамеренного и безнравственного...

Таким образом, Виктор Александрыч, в двадцать с небольшим лет, сделался полным властелином самого себя и единственным наследником состояния, оставшегося после его родителей, которое состояло в 900 душах и в капитале, простиравшемся, говорят, до 200 000 рублей серебром.

III

В то время как великосветские товарищи и сверстники Виктора Александрыча, все более или менее еще зависевшие от своих родителей, предавались, несмотря на это, с излишеством всем увлечениям и безумствам молодости, всем соблазнам, которые представляет большой город: вступали в клику театралов, волочились за танцовщицами, мерзли у театральных подъездов, провожали *линии*, тридцать раз в утро на рысаках и на парах с пристяжными проезжали по так называемой «Улице любви», мимо окон, из которых украдкою выглядывали их возлюбленные; подымали гвалт вечером в театральной зале, когда их богини, порхая, появлялись на сцене; бросали деньги на вино и женщин; делали долги, занимая сто на сто; целые ночи просиживали за картами или за лото; пили у Фёльета до рассвета и хвастали тем, кто кого перепьет, и потом ночью, для забавы, скакали на тройках по улицам, останавливая бедных запоздалых пешеходов, придираясь к ним, обсыпая их мукой и сажей, или предавались каким-нибудь не менее остроумным занятиям и, к величайшему огорчению своих блестящих родителей и родственников, совершенно пренебрегали светскими отношениями и условиями,— Виктор Александрыч, пользовавшийся полною, безграничною свободою, вел такой образ жизни, которому мог позавидовать даже

человек перебесившийся и остепенившийся, зрелых лет, несмотря на все свое благоразумие, все-таки впадающий иногда в промахи, заблуждения и увлечения. Но несравненный герой мой, как уже мог заметить читатель, принадлежал к тому разряду людей, которые не имеют заблуждений и увлечений, то есть не имеют молодости. В самом ребячестве он походил уже, как мы видели, на рассудительного и важного взрослого человека в миниатюре. Такие натуры многие обыкновенно обвиняют в сухости, в крайнем эгоизме и даже в жестокости, замечая, что люди, предающиеся в молодости самым неслыханным и непростительным буйствам, впоследствии еще могут сделаться настоящими людьми в полном и благородном значении этого слова, а что от людей, не знавших молодости, нельзя ждать ничего доброго. До какой степени справедливо такое мнение и кто прав — господа ли, так рассуждающие, или те почтенные особы, которые в противоположность этому мнению считали Виктора Александрыча образцом молодых людей и ставили его в пример своим детям,— я предоставляю решать читателям...

Виктор Александрыч после смерти родителей прежде всего озаботился о сооружении двух великолепных монументов из мрамора с бронзовыми фигурами и гербами на их могиле на кладбище Невского монастыря. Он в известные сроки после их кончины, как следует почтительному сыну, уважающему память своих родителей, заказывал панихиды и сам присутствовал на них в глубоком трауре, который чрезвычайно шел к нему, резко оттеняя удивительную белизну его лица. И до сих пор ежегодно, в дни их кончины, его можно видеть в Невском монастыре. Богомольные барыни и барышни, живущие под Невским, постоянно присутствующие на всех церковных обрядах, похоронах, панихидах и проч., глядя с восхищением на Виктора Александрыча, гордо стоящего — ибо и в храме божием гордость не оставляет его — и с достоинством молящегося о успокоении души своих родителей, восклицают с чувством: «Ах, какой интересный, просто чудо! и несмотря на то, что такая знатная особа, а какой примерный сын, эдаких сыновей на редкость в нынешнем свете!»

Шесть недель после кончины матери, которые были исключительно посвящены печальным созерцаниям, исполнению обрядов и прочего, Виктор Александрыч с свойственным ему благоразумием приступил к рас-

смотрению и устройству своих дел: он переменил квартиру; распустил многочисленную дворню и оставил при себе только четырех человек: камердинера, лакея, кучера и повара. Квартиру он нанял небольшую, но в лучшей части города и устроил ее, не истратив на нее ни копейки; искусно уставил ее старою родительскою мебелью, которая была получше, доставшимися ему разными вещами: саксонским и китайским фарфором, старинными кубками с двуглавыми орлами, стопами и чашами, увесил стены старинными картинами, разложил на столах книги, которых он, впрочем, никогда не читал, и иллюстрированные издания. Квартира его приняла вид совершенно аристократический. В кабинете его прежде всего бросался в глаза, в круглой великолепной резной раме, портрет его отца в полном мундире и со всеми знаками отличий, и большая подушка на диване, на которой были вышиты два соединенные герба фамилии Белогривовых и Балахиных. В год траура Виктор Александрыч почти никуда не показывался. Он выезжал в свет только на обыкновенные вечера и всего чаще посещал почетную и важную старушку, которая удостоила его не только заметить, но даже отличить на бале у княгини Красносельской. Он умел поддержать ее высокое расположение и сделаться для нее почти необходимым лицом: он просиживал у нее по целым вечерам, читал ей французские газеты (почетная старушка любила заниматься политикой) и исполнял с быстротою и аккуратностью различные ее поручения. Об истории его сестры давно уже перестали говорить, так что Виктор Александрыч совершенно успокоился касательно этого предмета и почти забыл об существовании Софьи Александровны. Об ней не было никакого слуху, и он не желал узнавать, где она и что с нею. Правда, иногда вдруг совершенно независимо от его воли и без всякого повода его внутренний голос будил в нем воспоминание об ней и нашептывал ему ее имя, но он задушал в себе этот голос мыслию, что поступок его сестры не заслуживает ни снисхождения, ни сострадания и что этим поступком она навсегда разорвала с ним кровные отношения и связи.

Успех Виктора Александрыча в свете укреплялся с каждым годом. Этому успеху он был обязан вообще женщинам и преимущественно протекции почетной старушки. Он предпочитал дамское общество и беседу с людьми значительными, солидными и пожилыми буйным сходкам молодежи, которая, в свою очередь, не чувствовала

к нему особенного расположения и называла его *накрахмаленным господином.* Дамы почти все были на его стороне и защищали его от насмешек и нападок с большою тонкостью и ловкостью, хотя некоторые из них втайне признавались, что, несмотря на все его нравственные достоинства, от него веет холодом и скукой, и чувствовали несравненно более влечения ко многим из тех, которые вовсе не пользовались нравственной репутацией. Виктор Александрыч действительно не мог возбудить страсти, но он внушал к себе невольное расположение всего прекрасного пола за свой глубокий светский такт, за свое непогрешительное comme il faut и за ту полную уверенность в своих достоинствах, которая одною чертою отделялась от наглости. При этом он обладал всеми маленькими талантами, которые в глазах женщин имеют большое достоинство. Он умел срисовать пейзаж для альбома, пропеть романс или даже какую-нибудь итальянскую арию, довольно удачно набросать карикатуру, но все эти таланты он обнаруживал только для немногих избранных. Он не принадлежал к записным светским танцорам, которые танцами приобретают себе славу и известность в свете и делают блестящую карьеру; ему гораздо приятнее было с высоты своего величия, заложив руку за жилет, обозревать великолепную и пеструю толпу, кружившуюся и двигавшуюся в бальной зале; он не любил танцы для танцев, но считал за непременную обязанность танцевать с теми, на которых обращено было особенное внимание света, которые выходили на первый план красотой, знатностью рода и особенно богатством. Он танцевал прекрасно, но без блеска и быстроты, без веселости и увлечения, потому что никогда и ни в каком случае не изменял своему холодному величию. Танцы нашего времени, для которых нужна быстрота и известная степень увлечения, не подходили к его строгому характеру, но он был бы превосходен в менуэте и вообще в старинных танцах, которые требовали плавности в движениях, спокойствия, медленности и достоинства. Ему вообще надо было бы родиться столетием ранее, потому что какое-нибудь сукно, трико и полотно не шли к его торжественной фигуре,— для нее были необходимы глазет, шелк, атлас, батист, кружева и брильянты. Впрочем, я думаю, что люди, подобно моему герою, прошедшие через все тонкости высшей школы, не нуждаются ни в каком внешнем украшении. Если бы Виктор Александрыч не имел той привлекательной и

величественной наружности, которая доставила ему прилагательное к его фамилии: *le superbe**, он все-таки был бы оценен за его умственные и нравственные качества... Об его уме говорили в свете очень много, вероятно, потому, что он говорил очень мало, но зато уж если говорил, то всегда обдуманно и рассчитанно, каждое слово и фраза заранее были взвешены в его голове и потом уже пускались в ход с таким значением и с такою важностью, что самая пустая и ничтожная фраза, которая прошла бы незаметной в устах другого, в его устах казалась необыкновенно дельною и серьезною. Он пользовался еще, между прочим, даже между великосветскою молодежью, которая отвергала все его другие достоинства, репутациею замечательного дипломата — вероятно, потому, во-первых, что служил в министерстве иностранных дел, а во-вторых, потому, что в наружности и в манере его действительно было что-то дипломатическое. Глядя на холодное, бесстрастное, серьезное и оттого как будто глубокомысленное лицо Виктора Александрыча, на его важность и на его плавные, сдержанные манеры, можно было подумать, что он носит в себе глубочайшие политические планы, соображения и тайны. Бальзак очень хорошо сказал про такого рода дипломатов: «Они считают себя великими людьми, потому что дипломатия очень удобное занятие для тех, которые не имеют никаких знаний и отличаются глубиною своей пустоты; потому что она, требуя людей, умеющих держать тайны, дает прекрасный случай невеждам значительно пожимать плечами, принимать таинственный вид и молчать». Но если Виктор Александрыч и не был дипломатом в прямом значении этого слова и ограничивался, собственно, только перепиской депеш (он имел превосходный почерк), то в жизни, в своих личных сношениях с людьми, он, без всякого сомнения, обнаруживал замечательные дипломатические способности. Начальство обращало на него особенное внимание, потому что он пользовался высокой протекцией почетной старушки и при этом имел нравственные достоинства, резко отличавшие его от других молодых людей. Оттого он перегнал в чинах всех своих сверстников и при первой возможности был сделан камер-юнкером.

Какой-нибудь молодой человек с обыкновенным самолюбием, с ограниченными взглядами и с легкомыслием, которое так свойственно молодости, будучи на месте

* великолепный *(фр.)*.

Виктора Александрыча, совершенно бы удовлетворился и успокоился; но Виктор Александрыч был не таков. Несмотря на то, что средства его доставляли ему возможность вести жизнь не только приличную, но даже роскошную, он считал себя чуть не бедняком и постоянно был озабочен мыслию об устройстве своей будущности в блестящих и широких размерах. Эта потребность росла в нем с каждым годом, не давая ему покоя. Ему было уже под тридцать лет. Его взгляды на жизнь сделались еще основательнее и положительнее, он с внутреннею болью сознавал, что, несмотря на некоторое значение, которым уже он пользовался в большом свете, он не имеет с ним кровной связи: что он все-таки *выскочка*,— parvenu; что его светские приятели, какие-нибудь князь Драницын или граф Ветлицкий, с которыми он был на «ты», как и со всеми молодыми людьми большого света, не имеющие и сотой доли его ума, его способностей и его нравственных качеств, все-таки считают себя выше его, потому что они ведут свой род чуть не от Рюрика, тогда как его отец, несмотря на почетные титлы, с которыми он сошел в могилу, вышел неизвестно откуда; что его сестра замужем за каким-то лекарем и что хотя по матери он принадлежит к известному и старинному дворянскому роду, но все-таки что такое какие-нибудь Балахины перед Драницыными! Виктор Александрыч понимал, что ему необходимо большое богатство, чтобы возвысить род Белогривовых, придать ему блеск и заставить забыть о его темном начале. Богатство можно было приобрести не иначе, как через выгодную женитьбу. Трудная задача. Ему необходимо было, чтобы его будущая невеста имела и богатство и имя или по крайней мере какие-нибудь связи с высшим обществом. Богатство найти еще не трудно, но имя, соединенное с богатством, такая редкость в настоящее время! Немногие богатые невесты знатного рода еще в колыбели назначаются немногим богатым женихам такого же рода. Какой-нибудь миллионер откупщик, золотопромышленник или купец, конечно, почел бы за величайшую честь отдать дочь свою за Виктора Александрыча, но на дочь какого-нибудь откупщика, несмотря ни на какие ее достоинства, несмотря ни на какое воспитание и несмотря ни на какое богатство, высший свет смотрел бы все-таки свысока и оказывал бы ей только снисходительное покровительство, если бы и допустил в свой круг. Князь Драницын, например, мог в крайнем случае для поправления своих совершенно

расстроенных дел решиться на такой подвиг, потому что княгиню Драницыну, кто бы она ни была, поморщившись, конечно, но все-таки признали бы *своей*, а Виктору Александрычу надобно было еще добиваться того, чтобы самому пустить корни в аристократическую почву, раскинуться и утвердиться на ней, потому что сам он в большом свете походил на молодое деревцо, пересаженное на новое место, которое, правда, уже принялось и распустилось, но еще за прочное существование которого ручаться было нельзя. Обдумав и рассчитав все это, Виктор Александрыч с терпением, осторожностию и ловкостию опытного охотника, крадущегося за дичью, начал следить за богатыми невестами и сторожить их. Но, несмотря на всю его осторожность и тонкость в этом щекотливом деле, неблагосклонная к нему светская молодежь тотчас подметила его маневры и прозвала его *искателем богатых невест*. «У него это на лбу написано»,— говорили они. Это прозвище из высшего света перешло в другие общества, и какой-нибудь г. Вихляев — этот омерзительный тип крайней пустоты, пошлости и обезьянства, гуляя по Невскому проспекту с своими приятелями, при встрече с Виктором Александрычем, которого он, разумеется, знал только по имени,— всегда говорил: «А! вот искатель богатых невест».

До Виктора Александрыча не могли не доходить слухи о том, как зло его приятели отзывались об нем за глазами и какие ядовитые анекдоты распускали об нем в городе, но он нимало не смущался этим, продолжал самым дружеским образом обращаться с одним из жесточайших своих тайных врагов, князем Драницыным, и шел упорно и твердо к своей цели.

Людям такого характера, каков был у Виктора Александрыча, все удается,— и удачи эти зависят от них самих, а не от слепого счастия, которое им приписывают люди тупоумные и нерассуждающие.

Однако все старания Виктора Александрыча к отысканию богатой невесты в свете долго оставались бесплодными. В виду для него, кроме пожилой княжны Зарайской, с большими связями и с большим, но расстроенным состоянием, никого не было. Виктор Александрыч, в ожидании чего-нибудь лучшего, стал ухаживать за княжною. Начинали даже поговаривать, что он женится на ней, как вдруг в то самое время, когда шли эти толки, совсем нежданно появилась в свете девушка без блестящего имени, но, как говорили, с огромным богатством, довольно

близкая родственница одному из самых важных и значительных лиц в городе. Двоюродная сестра этого лица отдана была совершенно прожившимися родителями замуж за какого-то незначительного господина, нажившего себе миллионы посредством не совсем честных, но чрезвычайно удачных спекуляций, приобретшего имения, большие земли на юге России и железные заводы в Сибири. От этого брака родилась дочь, которая на девятнадцатом году лишилась отца (мать ее умерла еще прежде) и сделалась единственной наследницей всех этих богатств. Год своего последнего траура она провела в Москве, в доме своей родственницы по матери, и по окончании траура вызвана была в Петербург важным и значительным лицом, который принял ее под свое родственное покровительство и в доме которого она поселилась. Она также считалась в родстве, хотя довольно дальнем, с почетной старушкой, которая протежировала Виктора Александрыча.

Появление этой девушки в петербургском большом свете наделало шуму, и слухи об ее состоянии, может быть, несколько преувеличенные, быстро распространились по всему городу. Она сделалась известна под именем *богатой невесты.* Наружность ее не имела ничего замечательного: она была небольшого роста, худощава, имела цвет лица изжелта-смуглый, густые черные волосы, черные блестящие глаза и очень быстрые, порывистые и не совсем тонкие манеры. В ней не было признака того, что зовется *породою,* она походила более на отца, чем на мать. Воспитание она получила хорошее, но без всякой великосветской выдержки и людей светских, кровных и породистых смешила своей наивностию. Несмотря на все это, свет принял ее довольно благосклонно, как богатую наследницу и родственницу значительного лица.

Виктор Александрыч с первой минуты ее появления, хотя она далеко не удовлетворяла своею наружностью и манерами того тонкого идеала женщины, который он носил в себе, решил, что это именно та, которую он ищет. На первом ее светском дебюте, на бале у графини Рябининой, он танцевал с ней мазурку и с этой минуты все свое внимание преимущественно сосредоточил на ней, не упуская, впрочем, совершенно из виду княжну Зарайскую, из боязни злого языка раздраженной пожилой девушки, чтобы не вдруг открыть свои настоящие виды. Богатая невеста сначала как будто несколько робела перед

Виктором Александрычем, но потом начала постепенно привыкать к нему и даже, видимо, чувствовать некоторое расположение.

— Знаете ли, что я вас первое время ужасно боялась,— сказала она ему однажды, с свойственной ей живостию, улыбаясь и прямо смотря ему в глаза.

— Будто? отчего же это? — спросил Виктор Александрыч.

— Оттого,— отвечала она,— что вы держите себя так важно и недоступно, как будто все, что кругом вас, недостойно вашего внимания. Скажите, зачем вы это делаете?

Этот наивный вопрос и тон, которым он был произнесен, не понравились Виктору Александрычу, однако он скрыл это и произнес с едва заметной улыбкой:

— Вы уж никак не можете сказать, чтобы я не обращал *ни на кого* особенного внимания. Вы должны по крайней мере исключить из всех *себя*...

— Мне очень лестно, что я попала в исключение,— сказала она,— но я, в самом деле, принадлежу к исключениям в вашем свете. Я еще не могу привыкнуть к нему, мне все как-то еще неловко и странно... Здесь как-то и дышать трудно,— прибавила она, засмеявшись,— как будто мне недостает воздуху... Я привыкла к более свободной жизни.

«Ты отвыкнешь от нее!» — подумал Виктор Александрыч.

К окончанию бального сезона в городе начали носиться слухи о разных браках и, между прочим, о браке Белогривова с богатой невестой. Последний слух был несправедлив, хотя и имел некоторое основание, потому что виды на нее Виктора Александрыча не были уже тайною для тех, которые ездят в свет.

Этим видам в особенности способствовала его покровительница — почетная старушка. Еще вскоре после приезда в Петербург богатой невесты она сказала Виктору Александрычу с расстановками и понюхивая табак из своей золотой табакерки, с портретом на эмали императрицы Екатерины:

— Тебе, батюшка, пора бы уж подумать о том, чтобы завестись своим домом... ты человек такой порядочный, солидный... к тебе нейдет холостая жизнь... Вот тебе невеста... приезжая-то эта... Лиза Карачевская. Право. Чего же лучше? Она богата... Ее отец... я его не знала, он, гово-

рят, был так, из каких-то из простых, аферист какой-то был... он оставил ей огромное состояние; ну, а по матери она имеет хорошее родство... Она и мне ведь как-то доводится... мы с матерью-то ее были троюродные... ну, а дядя ее, князь Андрей Федорыч — теперь важное лицо... а помню еще, как мальчишкой в курточке бегал... Ты как ее находишь?..

Виктор Александрыч отвечал, что она ему нравится.

— Да, она ничего... вертлявая только такая... ну да что ж требовать?.. Девочка порядочного общества еще не видала...

Месяца через три после этого, в одно утро, Виктор Александрыч сидел у почетной старушки и, по обыкновению, читал ей газеты, только что полученные с почты. Когда чтение окончилось, она, по обыкновению, понюхала табаку и начала по поводу этих газет делать свои критические замечания.

— Вот,— говорила она,— этого Гизо называют умником... Что ж в нем умного?... Бог знает, что теперь делается во Франции... Шумят, кричат в этих Палатах, без всякого толку... Всех бы их выгнать по шеям и призвать бы на престол законного короля Генриха Пятого... Ах, какой безалаберный, пустой народ эти французы!.. Ну, да бог с ними... Скажи-ка мне лучше, как идут твои дела?

— Какие дела? — спросил Виктор Александрыч, притворяясь, что не понимает вопроса.

— Как какие? — возразила старушка, вертя табакерку между двумя морщинистыми пальцами, из которых на одном горел старинный брильянтовый перстень,— а Лиза-то Карачевская? Она была у меня... я спрашивала у нее про тебя. «Что, я говорю, нравится ли он тебе?.. да говори правду...» Сначала замялась, ну, а потом призналась, что ты ей очень нравишься. Что же, ты бы уж кончал это дело... Зачем в долгий ящик откладывать... Хочешь, чтобы я переговорила предварительно с дядей-то ее?.. Ведь его нельзя обойти.

— Я хотел вас просить об этом,— сказал Виктор Александрыч с почтительным наклонением головы.

— Хорошо, мой друг, я постараюсь тебе устроить это дело.

Через несколько дней после этого разговора значительное лицо заехало к ней с визитом. Старушка (которая была большая говорунья) завела речь о скверном петер-

бургском климате; о нынешней молодежи, которая, по ее мнению, ни на что не похожа; удивлялась княгине Л*, которая допускает в свой парижский салон Гизо и еще дружится с ним, несмотря на то, что он министр незаконного короля, и после минуты отдыха, понюхав табаку, завертела свою табакерку между двумя пальцами.

— Ну, а что, князь, твоя Лиза? — спросила она.

Князь отвечал, что ничего и что она понемногу начинает привыкать к свету, к обществу.

— Что, ей, я думаю, лет уж двадцать с лишком? Ей бы и замуж пора. От женихов-то, я чай, нет отбоя.

Князь отвечал, что он ничего не знает и не слыхивал ни о каких женихах.

— Нет, ей пора, пора замуж,— произнесла старушка настоятельным тоном, посмотрела на князя значительно и остановилась на минуту.— У меня есть в виду для нее жених...

— В самом деле? — отвечал князь, улыбнувшись.— Кто же это?

— Отличный молодой человек во всех отношениях — умный, скромный, порядочный... un homme tout à fait comme il faut...* только не в нынешнем смысле... он непохож на эту молодежь, которая беспутничает, шляется по трактирам и волочится за плясуньями. Он сын почтенного отца и человек, который может сделать карьеру. Ты ведь, князь, знаешь его... я говорю о Белогривове.

— А-а!.. он, точно, очень достойный молодой человек,— возразил князь,— но я полагаю, что Lise может сделать партию более видную.

Табакерка с портретом императрицы Екатерины быстро завертелась между двумя пальцами почетной старушки, морщинистая голова ее затряслась, и все туловище ее пришло в движение.

— Я любопытна знать,— произнесла она дребезжащим от волнения голосом,— почему же Белогривов ей не партия, чем он ниже ее... что же такое был ее отец?.. Вспомните, князь... надо же смотреть на вещи так, как они есть... Он может составить счастие этой девочки.

Почетная старушка пользовалась столь сильным авторитетом и значением, что даже такое значительное лицо, как князь, перед которым все расступалось, кланялось и благоговело, пришел в некоторое смущение от ее гнева.

---

* человек вполне светский *(фр.)*.

Он начал как будто оправдываться, говорил, что ему еще и в голову не приходило о замужестве племянницы и что он сделал возражение это так.

Старушка приподнялась с своих кресел, величаво выпрямилась и, обратясь к значительному лицу, произнесла с чувством подавляющей гордости:

— Белогривов делает предложение вашей племяннице, князь, *через меня*...

— Я должен переговорить с нею,— перебил князь.

— Делайте, как знаете, но если вам не угодно будет по каким-нибудь вашим расчетам принять его предложение, то вы ему откажите, князь, *через меня*, потому что я принимаю участие в этом деле.

Произнеся это, старушка поклонилась князю и, несмотря на свои лета и уже несколько согбенный стан, торжественно, как власть имеющая, вышла из комнаты.

На другой день Виктор Александрыч был объявлен женихом богатой невесты.

Почетная старушка держала в страхе всех, от больших до маленьких, она не терпела никаких возражений, ее просьба была почти приказанием, потому что никто и никогда не осмеливался отказывать ей ни в чем; значительные лица за глазами подсмеивались над ней, но в глаза показывали ей знаки глубочайшего уважения; про ее странности, капризы и деспотический характер ходили в городе бесчисленные рассказы.

Однажды, говорят, ее родной племянник, известный генерал, увешанный знаками отличий, приехал к ней с визитом. Она сидела в своей маленькой гостиной на своем старинном вольтеровском кресле и с своей неразлучной табакеркой в руке. Племянник раскланялся, поцеловал ее руку, она указала ему на кресло против себя, он сел и в жару какого-то рассказа, забывшись, облокотился о спинку кресел и положил ногу на ногу. Старушка долго смотрела на него и на его ноги с вниманием, которое не обещало ничего доброго, и наконец вдруг прервала его речь.

— Что это такое? — вскрикнула она.— Посмотрите на себя, батюшка, как вы сидите передо мною? вы забываетесь! Я вас прошу выйти вон.

И три месяца после этого не пускала к себе генерала на глаза.

Пользоваться покровительством такой особы удавалось не всякому и было не так легко. Виктор Александрыч принадлежал к немногим счастливцам. Почетная старуш-

ка, которая в последнее время почти никуда не выезжала и изредка только удостоивала чести своим посещением немногих избранных, сама вызвалась быть посаженой матерью Виктора Александрыча. О такой высокой чести кричал с удивлением весь город, и это обстоятельство значительно подняло Виктора Александрыча во мнении света. Посаженый отец, конечно, выбран был под пару посаженой матери. Свадьба, совершившаяся в церкви одного аристократического дома, была вообще необыкновенно блистательная и наделала в свое время большого шуму в городе.

— Vous savez la grande nouvelle, mon cher?* искатель богатых невест и накрахмаленный господин достиг-таки своей цели,— сказал князь Драницын адъютанту, только что вернувшемуся из какой-то поездки, с которым он встретился на Невском,— мы его вчера обвенчали на богатой невесте. Я был его шафером, а княгиня Анна Васильевна посаженой матерью... сама княгиня Анна Васильевна!

— Bah! — воскликнул адъютант, разинув рот от удивления при этом имени и остановившись на этом bah.

IV

Через полтора месяца после брака Виктора Александрыча супруга его вручила ему полную и неограниченную доверенность на управление всем ее имением. Через год он купил дом на собственное имя и начал устроивать его с великолепием, не уступавшим первым домам столицы. Дом этот, отделанный снаружи в растреллиевском стиле, вроде дома князей Белосельских, считался теперь одним из лучших домов в Петербурге.

Первые месяцы после своего замужества Лизавета Васильевна, так звали супругу Виктора Александрыча, казалась совершенно счастливою: ее все радовало, все занимало, все удивляло, и вследствие своего живого характера она обнаруживала свое удивленье и свою радость прямо, с добродушием и искренностию. Лизавете Васильевне не приходило в голову, что благовоспитанные светские женщины не высказывают своих внутренних движений и что в свете всякое увлечение считается отсутствием такта и неприличием. Лизавета Васильевна

* Знаете ли вы большую новость, мой дорогой? *(фр.)*

иногда вдруг, в порыве своего чувства, бросалась на шею к своему супругу, обнимала его и объяснялась ему в любви.

— Я не хочу, Victor,— говорила она ему,— чтобы ты был такой мрачный, серьезный, неподвижный... Мне все кажется, что ты сердишься на что-нибудь или чем-нибудь недоволен. Если ты любишь меня, ты должен быть теперь так же весел и счастлив, как я. Ведь ты любишь меня? ну, скажи мне, любишь?.. да?..

Эти вопросы о любви, с которыми приставали к нему, производили на него самое неприятное впечатление... Но в устах жены они казались ему еще неприятнее, чем в устах сестры.

— Что за объяснения! — возражал он со своим обычным холодным достоинством.— Ты знаешь, что я тебя люблю, я знаю, что ты меня любишь. Любовные фразы говорят только в романах и на театре... Порядочные люди любят молча...

— Какой ты несносный, Victor,— перебивала она полушутя, полусерьезно,— что мне за дело до твоих порядочных людей... Бог с ними! Я знаю, что я непорядочная, потому что я не могу скрывать того, что чувствую.

При слове *непорядочная* Виктора Александрыча как-то всего невольно передернуло, и брови его вдруг сдвинулись.

— Это дурно, очень дурно,— возразил он, сдерживая себя.— Ты не девочка уж, не пансионерка какая-нибудь... Ты имеешь положение в свете.

Лизавета Васильевна от нетерпения хлопала ножкой...

— Ах, как это скучно, мораль! — говорила она, нахмурив брови, но улыбаясь в то же время,— ты меня убиваешь... Отчего ты такой холодный, Victor, скажи мне?

— Ты смотришь на все как-то странно,— отвечал Виктор Александрыч,— для тебя радость должна непременно выражаться смехом, любовь — нежными объяснениями, фразами и ласками, печаль — слезами, и я тебе кажусь холодным потому только, что умею владеть собой; это необходимо, ты скоро сама поймешь это... Людей, которые не умеют владеть собой в свете, называют неблаговоспитанными.

— Положим,— возразила Лизавета Васильевна,— надо уметь владеть собой в свете, положим, что смешно и неприлично обнаруживать свои чувства перед людьми посторонними, но зачем мы будем скрывать друг от

друга свои чувства, впечатления, мысли, когда мы вдвоем, когда мы наедине? Я не понимаю этого.

Такого рода разговоры обыкновенно оканчивались замечаниями Виктора Александрыча, что вместо того, чтобы рассуждать, гораздо лучше вести себя так, как ведут все.

Один раз Лизавета Васильевна, которая старалась заметно, с некоторого времени, сдерживать свои внутренние ощущения (она уж не так часто бросалась на шею к супругу), после обыкновенного с ним разговора на минуту задумалась и потом вдруг обратилась к нему:

— Я давно хотела тебя спросить,— сказала она, делая некоторое усилие над собою,— но я не знаю, меня что-то останавливало... у тебя, говорят, есть сестра, а я ничего не знала об этом.

В голосе, которым она произнесла это, было более грусти, чем упрека.

Надобно было пройти сквозь все искусы высшей школы, чтобы не обнаружить при этом неожиданном вопросе ни движением, ни взглядом, ни восклицанием ни малейшего волнения. Вопрос этот кольнул Виктора Александрыча в самое больное место, но он отвечал на это равнодушным и спокойным тоном:

— Кто тебе сказал?..

— Для чего тебе это знать? Впрочем, это мне было передано не за тайну, и я могу тебе сказать кто... но скажи мне прежде, правда это или нет?

Виктор Александрыч отвечал, что у него, точно, была сестра и что она, может быть, жива еще, но вследствие ее ужасного поступка для него она уже более не существует. И он рассказал всю историю ее: как она бежала из родительского дома, убила отца и мать и прочее.

Лизавета Васильевна не могла скрыть своих ощущений при этом рассказе; сдерживаемые слезы крупными каплями выступали на ее глазах и лились по ее смуглым щекам.

— Отчего же ты мне не сказал об ней прежде? — спросила она с горячностию и волнением,— от меня ты, казалось бы, не должен был скрывать этого...

— Для чего бы я стал говорить об этом! — отвечал он.— Между ею и мною все сношения прерваны; ни я, ни ты, надеюсь, никогда ее не увидим.

Лизавета Васильевна вздрогнула.

— Но если она сделала дурной поступок,— сказала

она через минуту,— то это было по увлечению, по страсти. И бог прощает,— неужели же ты никогда не простишь этого сестре?

— Я тебя прошу *никогда* более не говорить мне об этом,— сказал Виктор Александрыч твердо.

Лизавета Васильевна повиновалась его воле, но этот разговор оставил в ней тяжелое и горькое впечатление, и мысль об этой отверженной долго преследовала ее.

Виктор Александрыч, вначале останавливавший легкими замечаниями порывы и увлечения своей супруги, противоречившие совершенно великосветскому понятию о благовоспитанности, видел, что против этого надобно принять меры более серьезные. Он сознавал опасность этих порывов, если им дать полную волю, необходимость охладить горячность ее сердца, затушить ее *идеальные, романтические* стремления и не дозволить им развиваться... Виктор Александрыч все глубокие человеческие чувства, все горячие убеждения сердца называл идеальными и романтическими стремлениями... Он понимал необходимость дисциплинировать ее, дать ей практическое направление, перевоспитать на свой манер, подвергнуть ее всем пыткам высшей школы, чтобы сделать из нее настоящую светскую женщину, достойную носить фамилию Белогривовых. Все это было, конечно, не совсем легко, но он успокоивал себя мыслию, что такие характеры, каков был у Лизаветы Васильевны, имеющие много горячности, но мало твердости, легко вспыхивающие, но скоро охлаждающиеся, должны без больших препятствий подчиняться постороннему влиянию, особенно если действовать на них постепенно и не слишком резко.

Виктор Александрыч приступил к своей цели с осторожностью и ловкостью и не сомневался в успехе. Он знал, что Лизавета Васильевна имела наклонность к чтению, и хотя сам был убежден, что книги, исключая весьма немногих, приносят более вреда, нежели пользы, но он не вооружался против ее наклонности: напротив, сам взялся устроить ей библиотеку, исключив из нее современные романы, которые, по его мнению, были наполнены нелепыми фантазиями и утопиями, располагающими к пустому идеализму и вредной экзальтации... Особенным презрением его пользовалась Жорж Санд, произносить имя которой он считал даже неприличным; о классических писателях Виктор Александрыч отзывался, напротив, с большою благосклонностию и особенно

о Корнеле, которого называл не иначе, как le grand Corneille*, и замечал, что он внушает высокие, героические чувства. Из боязни, однако, чтобы в библиотеку его супруги не попало что-нибудь проникнутое безнравственным современным направлением и не вполне полагаясь в этом случае на себя, он прибегнул к совету одного очень известного в свете пожилого господина, глядевшего исподлобья, но с выражением сладким и вкрадчивым, пользовавшегося репутацией человека необыкновенно умного, многосторонне образованного и глубоко нравственного и состоявшего при многих великосветских барынях в качестве директора их совести. Говорили, что этот господин вел сначала жизнь довольно беспутную, промотался, потерял всякое значение в свете и превратился в утонченного лицемера и ядовитого ханжу, для того чтобы восстановить свою репутацию. Но Виктор Александрыч не верил этим толкам, очень уважал его и питал полную доверенность к его душевным качествам.

Дамский руководитель принял с большою радостию предложение Виктора Александрыча и деятельно занялся составлением библиотеки для Лизаветы Васильевны. Это обстоятельство сблизило его с нею, и он, после первых неудач, незаметно начал вкрадываться в ее душу и приобретать ее доверенность. Виктор Александрыч не только не препятствовал этому, напротив, был очень доволен. Он знал, что этот господин преследовал с неутомимым упорством всякого рода увлечения и порывы и проповедовал о необходимости для женщины нравственной дисциплины, состоявшей в полном смирении, безусловной подчиненности и покорности перед мужем, каков бы он ни был, и перед светом и его уставами. Виктор Александрыч знал, что всякий протест, малейшее проявление воли были, по мнению этого почтенного лица, преступлением; что он придавал словам своим еще бо́льшую силу слезами на глазах и дрожанием в голосе, что, как известно, очень сильно действует на женские нервы и на впечатлительные и слабые натуры.

Но в то время как дамский руководитель употреблял все усилия для того, чтобы дисциплинировать душу Лизаветы Васильевны,— Виктор Александрыч, с своей стороны, предпринимал все меры, чтобы придать своей супруге безукоризненную великосветскую наружность и подчинить

---

* великий Корнель *(фр.)*.

ее всем условиям высшей школы. Каждый шаг ее, каждое слово, каждый взгляд, каждое движение подвергались его утонченнейшему контролю. Он дошел до того, что останавливал ее иногда на полслове одним едва заметным движением своей брови.

Бедная женщина не без внутренней борьбы, не без тайных страданий покорялась своим нравственным великосветским руководителям. Все ее благородные инстинкты восставали против этого нестерпимого деспотизма. Она понимала посягательство на свою свободу, чувствовала, что в ней убивают все живое, все искреннее, все человеческое во имя каких-то законов и условий неумолимого и беспощадного приличия, и, вырываясь от своих наставников, втайне, наедине, облегчала несколько боль притесненной души рыданиями, свободно вырывавшимися из груди, и потоками слез.

Привязанность ее к Виктору Александрычу начала колебаться подозрениями, что он не любит ее и не любил, что он женился не на ней, а на ее богатстве, что он человек холодный, эгоист,— и, в порывах своего негодования на него, в отчаянии, она кокетничала с каким-то офицером, который особенно ухаживал за ней. Иногда, впрочем, она старалась оправдывать Виктора Александрыча и утешать себя мыслию, что ее подозрения несправедливы, что все это ей так только кажется, что он любит ее и в самом деле желает ей добра,— и тогда она обвиняла себя в непростительной и преступной подозрительности, в безнравственном кокетстве; находила, что ей действительно нужно перевоспитать себя для света, что ее нельзя любить так, как она есть. Дамский руководитель казался ей то лицемером и шпионом, приставленным к ней мужем; то человеком, в самом деле достойным полного уважения за свои нравственные правила. Все понятия, мысли, взгляды, убеждения, которые начинали зарождаться в ней,— все это было поколеблено; она чувствовала хаос внутри себя. То, что она считала нравственным, называли безнравственным, то, в чем она видела благородные стремления, от чего радостно билось ее сердце, во что она желала горячо верить, называлось опасным заблуждением, ложным и пустым идеализмом, и так далее. Все любимые ее писатели, которыми она увлекалась прежде и которых читала с жадностию, предавались неслыханным обвинениям, считались растлителями нравов, посягающими на все высокое и прекрасное. Лизавета Васильевна совершенно потерялась, в ней все перепу-

талось и смешалось, она не знала, где добро и где зло, что нравственно и что безнравственно. Ее веселость и живость пропали, у нее обнаружились нервические припадки; ей было тяжело, как человеку, вдруг ослепнувшему и бродящему ощупью.

Виктор Александрыч видел в ней наружную перемену, но не подозревал, какие внутренние муки переносила она, потому что сам никогда не испытывал их; он был доволен тем, что она держала себя серьезнее, приличнее и с большим достоинством. Но от дамского руководителя не укрылось то, что совершалось в душе Лизаветы Васильевны. Это была самая удобная для него минута, чтобы действовать на нее. Она стояла на распутии, в недоумении, по какой дороге идти,— и ей надо было указать эту дорогу и поддержать ее. С необыкновенною вкрадчивостию и во всеоружии он приступил к своему подвигу... Для убеждения ее в ход было выпущено все: красноречие, цитаты из книг, слезы на глазах, дрожание в голосе и проч.

Против всего этого слабой женщине устоять было невозможно; борьба была слишком неровная, и Лизавета Васильевна после долгих сопротивлений и колебаний должна была признать себя побежденной и покориться.

— Благодарю вас,— сказала она однажды своему наставнику, после долгой беседы с ним,— вы успокоили мою душу и примирили меня с самой собою.

— Это самая лучшая минута в моей жизни,— произнес он, приподнимая зрачки к потолку,— но вы должны прежде всего благодарить не меня,— я только слепое орудие высшей воли...

Спокойствие, точно, возвратилось в душу Лизаветы Васильевны, но прежняя веселость, простота и искренность уже не возвращались к ней. Зато, к совершенному удовольствию Виктора Александрыча, она начинала усвоивать себе понемногу все приемы великосветских дам. В ней и следов не осталось тех порывов и увлечений, которые так оскорбляли тонкое чувство приличия в ее супруге: она уж не ласкалась к нему и не говорила ему о своей любви. Лизавета Васильевна дошла до того, что не знала, любит ли она его или нет, да и не старалась анализировать свое сердце,— он был ее муж, и она склонялась перед авторитетом мужа, сохраняя, впрочем, свое внешнее достоинство. Первый искренний пыл любви и молодости исчез в ней, уступив место суровому и непреклонному долгу. Более ничего и не требовал от нее Виктор

Александрыч. Она начинала осуществлять его идеал жены. Но этот внутренний перелом, которому подверглась Лизавета Васильевна, не мог остаться без последствий, потому что он совершился не без борьбы. Она чувствовала первое время после своего обновления страшную пустоту, томленье и тоску, которые всячески старалась подавлять в себе. В этом положении она обратилась к общественной благотворительности и сделалась попечительницей какого-то приюта. Приют этот, процветавший под ее бдительным и неусыпным надзором, скоро достиг до такого совершенства, что обратил на себя внимание всех известных в городе благотворителей и благотворительниц. Его ставили в образец. В свете заговорили об Лизавете Васильевне как об женщине, достойной уважения и истинной христианке.

— Вот что значит иметь хорошего мужа,— говорили про нее в один голос все люди, известные в Петербурге своей неоспоримою благонамеренностию и нравственностию,— что она была такое, когда выходила замуж? — ничтожная девочка, дурно воспитанная, пустая вертушка, не умевшая себя вести прилично,— а теперь во всех отношениях примерная женщина,— и кому всем этим обязана? мужу!

Когда отношения Виктора Александрыча с женою определились и приняли именно тот великосветский приличный характер, который они должны были иметь, Виктор Александрыч, в свою очередь, для развлечения (потому что он немного скучал дома), начал посещать довольно часто одну даму, которая известна была в Петербурге под именем Дарьи Васильевны. Вскоре после этого Дарья Васильевна переехала на новую, прекрасно меблированную квартиру. Несмотря, однако, на то, что Виктор Александрыч не подавал ни малейшего повода к каким-нибудь неблаговидным заключениям относительно сношений своих с этою дамою, многие уверяли, что новая квартира Дарьи Васильевны была будто бы меблирована на его счет и что за ее лошадей платил будто бы его секретарь — г-н Подберезский, известному Пахомову, который для некоторых дам поставляет, вместе с экипажами, разодетых детей. Рассказывали, между прочим, будто Виктор Александрыч держит очень строго Дарью Васильевну и не позволяет ей слишком выставляться. Все эти слухи большею частию распространял князь Драницын. Я им никогда не верил, потому что строго нравственные правила Виктора Александрыча совершенно противоречили этим слухам...

Но если и допустить справедливость их, то и тогда нельзя все-таки не заметить, что Виктор Александрыч вел себя как истинный джентльмен, как достойный представитель высшей школы: он не щеголял своею безнравственною связью, не пускал пыль в глаза экипажами и нарядами своей возлюбленной, не показывался вместе с нею на публичных гуляньях, как это делают те, которые считают себя безукоризненными джентльменами. Виктор Александрыч мог и в этом служить образцом для многих великосветских господ с громкими именами.

Карьера Виктора Александрыча быстро двигалась вперед. Он уже имел значительное звание. Через четыре года после своей женитьбы он переехал в свой новый дом и открыл свои великолепные салоны. Он давал роскошные, тонкие обеды и блистательные вечера, на которые съезжалось самое избранное общество, начиная с княгини Анны Васильевны.

Княгиня, смотря однажды на хозяйку дома, которая с необыкновенною приветливостию и любезностию, соединенною с достоинством, принимала своих блестящих гостей, подозвала ее к себе.

— Ну, Lise, признаюсь тебе,— сказала она,— я не узнаю тебя. Ты переродилась. Поздравляю тебя. Я любуюсь тобой, мой друг. Вот что значить иметь такого мужа, как твой. Ты должна уметь ценить его.

Старушка понюхала табаку и продолжала:

— Немногим выпадает на долю такое счастье, как тебе... очень немногим...

Старушка при этом покачала значительно головой, которая у нее и без того качалась от старости.

— Чувствуешь ли ты это... а?.. Ну, скажи мне, мой друг, ведь правда... ты очень счастлива? — прибавила она, улыбаясь.

— Очень,— отвечала Лизавета Васильевна с спокойным достоинством и с холодною улыбкою,— и в ту же минуту обратилась к только что вошедшему в комнату какому-то старому военному генералу, с грудью, украшенною орденами и звездами.

V

В одно утро Виктор Александрыч сидел в своем кабинете в особенно приятном расположении духа. Он выпускал изо рта благовонный дым гаванской сигары, следил за синеватою струйкою дыма и с приятностию

потягивался в своих креслах. Душевное спокойствие его было так полно, что оно придавало в эту минуту его лицу, обыкновенно строгому и даже несколько суровому, совершенно несвойственное ему выражение, мягкое и кроткое. Он был доволен всем — своим положением в свете, своею служебною карьерою, своим здоровьем, своим аппетитом, своими доходами, своим новым домом, своим выигрышем (он накануне выиграл в Английском клубе 8000 руб.), своей женою и, может быть, Дарьею Васильевною, если допустить городские сплетни...

Но так как самый счастливейший человек в мире, которому, по-видимому, не остается уже ничего желать, все еще непременно желает чего-нибудь,— то и Виктор Александрыч, несмотря на свое совершенное довольство, желал получить одно довольно видное место, которое ему было обещано.

В ту самую минуту, когда он погрузился в размышления об этом месте, перед ним вдруг как будто выскочил из-под пола ливрейный лакей с серебряным подносом, на котором лежало письмо. Шагов лакея нельзя было слышать на мягком и толстом ковре. Лакей стоял, несколько минут не замечаемый Виктором Александрычем, и наконец решился слегка кашлянуть. Виктор Александрыч сделал движение головою, причем кроткое выражение его лица мгновенно исчезло и приняло свое обычное, строгое достоинство.

Он молча взял письмо с подноса и сделал движение головою. Лакей вышел. Виктор Александрыч взглянул на конверт... На нем был штемпель городской почты, почерк женский и как будто знакомый ему; он оборотил письмо и посмотрел на печать; на сургуче была одна буква Б. «Что это такое? Откуда это?» — подумал Виктор Александрыч. Он надломил печать, вынул письмо не без любопытства (оно было писано по-французски) и начал читать:

«Я долго не решалась писать к тебе,— в продолжение двух месяцев каждый день я бралась за перо и бросала его, и только страх голодной смерти заставляет меня прибегать к тебе...»

Виктор Александрыч побледнел немного и, остановившись на этих первых строках, взглянул на подпись. Письмо было от его сестры. Брови его невольно надвинулись на глаза. Он продолжал читать:

«Страх смерти! когда я сознаю, что мне ничего не остается, кроме смерти, но слабая человеческая природа

подвержена таким странным противоречиям... Я хочу умереть, я знаю, что умру скоро, и между тем боюсь голодной смерти... Я чувствую, что я унижаюсь, прося милостыни и подаяния, и в то же время упрекаю себя за гордость и утешаю себя мыслию, что прошу не у постороннего, а у брата... Ты все-таки брат мне, и, несмотря на бездну, которая нас разделяет теперь, несмотря на то, что ты совсем бросил меня, забыл обо мне, несмотря на то, что между нами нет ничего общего, я все-таки люблю тебя, как брата. Этой любви, о которой ты, верно, не заботишься, ничто не могло искоренить во мне... Но я люблю тебя не в теперешнем твоем богатстве и блеске... Мы теперь и не узнали бы друг друга при встрече... сколько лет мы не видались!.. Ты мне все представляешься тем Виктором, с которым мы выросли вместе, с которым мы играли в куклы... Я люблю в тебе прежнего Виктора, моего маленького брата... Но, может быть, в тебе изгладились все воспоминания прошедшего и я тревожу твое счастие, твое спокойствие напоминанием о себе. Прости мне!.. Я чувствую, что мне не следовало бы писать к тебе. Я знаю, что богатые не любят докучливости бедных... Ты можешь мне сказать, что я терплю должное наказание за мой поступок и что я не заслуживаю сострадания. Ты можешь подумать, что я вижу теперь безрассудность этого поступка и раскаиваюсь в нем... О нет... нет! Клянусь тебе, я не могу раскаиваться, я была счастлива настолько, насколько может быть счастлива женщина, любимая благородным, прекрасным человеком, который делал все, что только может делать человек для доставления ей довольства и спокойствия. При нем я ни в чем не нуждалась. Он жил мной и трудился для меня. Я гордилась его любовью, я была счастлива так, как может быть счастлива женщина,— я повторяю тебе... Два года как его уж нет. Может быть, отнимая его у меня, бог наказывал меня за то, что я вышла замуж без благословения отца и матери... Может быть, я не знаю этого,— я знаю только, что я страдаю, и с терпением, какое только может иметь слабая женщина, переносила до сей минуты это наказание. До сих пор я не прибегала ни к чьей помощи. Я молча несла свою нищету до последней возможности. Муж мой не мог мне оставить ничего, потому что у него ничего не было; то, что он приобретал, доставало нам только для безбедной жизни. После его смерти я кое-как поддерживала себя своей работой и тем, что продавала кое-какие вещи, оставшиеся от нашего прежнего хо-

зяйства... в сию минуту мне уже продавать нечего, я так слаба и больна, что не могу работать, а умереть голодною смертию все-таки страшно!.. Спаси меня и помоги мне, если не из сострадания к бедной сестре, то из чувства христианского сострадания. Мне остается не долго жить,— я больна... Если бы не моя болезнь, которая лишила меня возможности работать, я не прибегала бы к помощи... но что же мне делать? — я не знаю... Я еще что-то хотела сказать тебе, но я не могу, я ничего не помню... мысли мои путаются, голова моя так слаба! О, если бы ты знал, чего мне стоило написать это письмо и чего мне стоило решиться послать его к тебе...»

В конце письма был адрес.

Прочитав письмо, Виктор Александрыч опустил голову, которую, как известно, он всегда держал прямо, и задумался.

Через минуту он встал, подошел к своему письменному столу, выписал адрес из письма, а письмо бросил в топившийся камин и дернул за звонок.

— Послать ко мне сейчас Подберезского,— сказал он вошедшему лакею.

Через четверть часа г. Подберезский явился.

Это был белокурый молодой человек, с румянцем на щеках, с маленькими глазами, с сладкой улыбкой и с подобострастными ужимками. Он вошел в комнату с такой осторожностью, как будто пол был под ним хрустальный.

— Любезный Викентий Станиславич,— сказал Виктор Александрыч своему секретарю, который в знак глубочайшего внимания почтительно вытянул шею несколько вперед и сжал губы,— вот вам адрес одной дамы, которой нужна скорая помощь. Поезжайте к ней сейчас и отвезите ей пятьсот рублей, кроме того, распорядитесь, чтобы каждый месяц ей выдавали по полутораста рублей. Вы не должны говорить ей, от кого эти деньги и не должны упоминать при ней моего имени. Вы просто отдайте те деньги, не вступая ни в какие объяснения. Вообще я вас прошу, чтобы это было между нами. Слышите?

При этих словах Викентий Станиславич опустил веки, раскрыл рот, как будто хотел что-то произнести, но не произнес ничего, а только приложил руку к сердцу.

— Поезжайте сейчас,— прибавил Виктор Александрыч.

— Слушаю-с. Я сейчас же это с точностию исполню,— произнес секретарь тихим и вкрадчивым голосом, покло-

нился и вышел из кабинета своего принципала с такою же почтительною осторожностью, с какою вошел.

Через час Викентий Станиславич возвратился и доложил, что отвез деньги.

— Вы не говорили от кого? — спросил Виктор Александрыч.

— О нет, помилуйте! я буквально исполнил ваше приказание...

— Вы ее видели? отдали ей самой эти деньги?

— Я все исполнил так, как вы приказали, в точности... Она спросила от кого, но я сказал ей так глухо, что от неизвестного благотворителя...

— Ну хорошо, хорошо! — нетерпеливо перебил Виктор Александрыч, останавливая дальнейшие объяснения своего секретаря.

Виктора Александрыча беспокоила несколько мысль, чтобы секретарь не узнал каким-нибудь образом о том, какие отношения связывают его с этою дамою, и когда секретарь явился к нему с ответом, он посмотрел на него пытливым взглядом; но в лице Викентия Станиславича было столько простодушия и тупоумной подчиненности, что Виктор Александрыч совершенно успокоился; а между тем Викентий Станиславич тотчас же все разузнал в подробности и думал, смеясь внутренне и глядя на своего принципала: «Ну ты, конечно, хитер, но я все-таки буду похитрее тебя!»

Обеспечив существование Софьи Александровны по чувству долга, Виктор Александрыч успокоил свою совесть и думал, что этим он совершенно отделался от своей сестры, как вдруг был встревожен новым письмом от нее — месяца через четыре после первого. В этот раз он не хотел беспокоить себя неприятным впечатлением и, не распечатывая, бросил его на стол.

Софья Александровна начинала нарушать гармоническое настроение духа Виктора Александрыча. При мысли, что каким-нибудь образом дойдут до света слухи о том, что его сестра содержала себя трудами рук своих, как какая-нибудь швея, что она жила в нищете,— холодный пот выступал на его лбу.

Беспокойство его продолжалось, впрочем, недолго, потому что через неделю после не прочитанного им письма г. Подберезский, являвшийся к нему каждое утро за приказаниями, доложил ему, что дама, пользовавшаяся его благотворительностию, та самая, которой, по его приказанию, выдавалось по полутораста рублей в месяц,

в эту ночь скончалась, что он утром был у нее для того, чтобы отвезти ей следуемые деньги, и застал ее уже на столе.

Г-н Подберезский произнес это с почтительною осторожностию, с потупленными глазами, с печальным выражением и прибавил со вздохом, что эта дама была очень нездорова последнее время.

Виктор Александрыч выслушал своего секретаря так хладнокровно и спокойно, как будто он донес ему о самом обыкновенном вседневном происшествии, несмотря на то, что внутренне был сильно взволнован двумя совершенно противоположными ощущениями: смерть эта пробудила в нем что-то похожее на участие к бедной женщине, так много страдавшей, и в то же время ему было как будто приятно, что все его беспокойства и опасения уничтожаются этою смертию.

— Очень жаль,— сказал Виктор Александрыч своему секретарю голосом спокойным,— я вас прошу распорядиться насчет ее похорон... Я желаю, чтобы все было устроено прилично и чтобы на могиле был поставлен памятник. Эти дни вы можете отложить все другие дела и заняться этим. Я вас не удерживаю. Вам сейчас же надобно отправиться туда.

Секретарь еще раз вздохнул, поклонился и вышел.

Оставшись один, Виктор Александрыч вспомнил о письме к нему сестры и распечатал его. В нем заключалась последняя ее просьба — приехать с ней проститься.

Виктор Александрыч не сжег этого письма, он положил его в тот ящик стола, где хранились самые важные его бумаги. Несколько минут он просидел, облокотившись на стол.

«Да простит ее бог, как я ее прощаю! — подумал он.— Она искупила своими страданиями свой поступок. Ей ничего не оставалось, кроме смерти, потому что она избавила ее от укоров совести и прекратила ее страдания».

И Виктор Александрыч при этом перекрестился...

Печальное известие это не помешало, однако, обыкновенным занятиям Виктора Александрыча. В этот день он, напротив, обнаружил бóльшую деятельность: утром был в министерстве, перед обедом сделал несколько визитов, обедал в Английском клубе, а вечером появился вместе с своей супругою в своей ложе в Опере. Он казался в этот день еще торжественнее обыкновенного, как будто боясь,

чтобы кто-нибудь не открыл его семейную тайну и не проник в его сокровенные мысли.

На следующее утро он проснулся ранее обыкновенного, не мог заниматься ничем и до девяти часов вечера не выезжал никуда. Несмотря на все его уменье скрывать свои внутренние ощущения, можно было заметить, что его несколько тревожит что-то, но этого никто не заметил, кроме г-на Подберезского.

В девять часов он сел в свои сани и приказал кучеру ехать на Пески, к церкви Рождества. Близ рождественской церкви, на углу одной из улиц этого глухого и бедного квартала, он приказал кучеру остановиться у будки и спросил у часового, где дом Савельева.

— Вон маленький такой деревянный домишко, за фонарем-то,— отвечал часовой,— второй будет от угла,— и указал алебардою в ту сторону, где находился дом.

Было темно, редкие фонари на улице не освещали ее, а только едва мерцали, распространяя кругом себя печальный красноватый блеск; начинал падать снег большими и мокрыми хлопьями.

Кучер остановился у домика, на который показал часовой. Виктор Александрыч вышел из саней, споткнулся о деревянные мостки, которые покоробило в этом месте, и чуть не упал. Он открыл калитку, наклонился и вошел в нее, едва отыскав в темноте крылечко дома, и постучался в дверь. Дверь отворилась. Перед ним, с сальной свечкой в медном подсвечнике, явилась старуха с заплаканными глазами.

— Кого вам? — спросила она.

— Я хочу проститься с покойницей,— сказал Виктор Александрыч, всунув в руку старухи два золотых.

Она посмотрела на него с удивлением и пропустила его. Он сбросил с себя шинель и спросил, куда идти.

— Вот сюда, сюда, батюшка,— сказала старуха, указывая ему дорогу.— Сюда пожалуйте,— и, качая головой и всхлипывая, заговорила о том, как бедная барыня страдала, как она неслышно заснула, как праведница, и как она ей, голубушке, закрыла глазки...

Она провела его через узенький коридор и отворила дверь комнатки, в которой лежала Софья Александровна.

Он переступил порог и остановился, опустив голову и закрыв глаза, как будто не решаясь вдруг взглянуть на лицо умершей.

Небольшой катафалк, обтянутый черным истертым сукном, закапанным воском, стоял поперек бедно убран-

ной, но чистой комнатки, в переднем ее углу. Свечи в больших церковных подсвечниках, обтянутых флером, довольно ярко освещали комнатку. Старичок чтец в очках читал псалтырь звучным, внятным голосом, нараспев, и эти звуки, печально и торжественно раздаваясь в тишине, производили глубокое, потрясающее действие.

Когда Виктор Александрыч вошел в комнату, старичок чтец на минуту остановился, снял свои очки, протер их, снова надел, взглянул на него, и скорбные звуки раздались снова. Он читал:

«Что хвалишися во злобе силне, беззаконие весь день, неправду умысли язык твой: яко бритву изощрену сотворил еси лесть. Возлюбил еси злобу паче благостыни, неправду, неже глаголати правду. Возлюбил еси вся глаголы потопныя, язык льстив. Сего ради бог разрушит тя до конца: исторгнет тя и переселит тя от селения твоего, и корень твой от земли живых. Узрят праведнии, и убоятся, и о нем воссмеются, и рекут: се человек, иже не положи бога помощника себе, но упова на множество богатства своего и возможе суетою своею...» (Псалом 51, ст. 1-9.)

Виктор Александрыч приехал поклониться телу сестры, примириться с ее прахом, проститься с ней и простить ее. Это была, по его мнению, христианская обязанность, и он был очень доволен, выполняя ее, и придавал своему поступку большую цену. Всю дорогу он был спокоен — и только ощутил небольшое внутреннее волнение, подъезжая к домику, где жила она. Но когда он переступил за порог его, когда он увидел бедность лицом к лицу, когда он подумал, что в этой гнили, сырости и нищете жила его сестра, он почувствовал такое тяжелое, болезненное ощущение, которого никогда в жизни не испытывал. Подавляемые и забитые великосветскою, высшею школою, утонченною comme il faut'ностию, тщеславием, эгоизмом и суетностию, его совесть и человеческое чувство вдруг с воплем вырвались на свободу и заговорили в нем так громко, что потрясли на минуту до основания все существо его. Торжественные слова святой книги, поразившие слух его: *Се человек, иже не положи бога помощника себе, но упова на множество богатства своего и возможе суетою своею*,— показались ему голосом свыше, осуждавшим его. Он почувствовал, что голова его кружится, что туман застилает его глаза, еще минута, и он упал бы без чувств, но вдруг слезы потоком хлынули из глаз его; он зарыдал и закрыл лицо руками... Груди его стало легче, он вздохнул свободнее, сделал робко несколько шагов

вперед и, еще все не смея взглянуть на ту, которая лежала в гробу, упал на колени перед гробом и смиренно приник головою к ступеням катафалка... Это был уж не человек, *пришедший прощать, а просивший о прощении.* Он взошел на ступеньки катафалка и взглянул на усопшую. На ее исхудалом и осунувшемся лице было выражение полного спокойствия и как будто улыбка на губах. Он склонился головой к ее холодному лицу, поцеловал его, сошел со ступенек, опять стал на колени, помолился, встал и быстро вышел из комнаты...

Он не помнил, как вышел на улицу и как сел в сани, и когда кучер подвез его к дому, спросил:

— Зачем ты остановился?

— Вы приказали ехать домой,— отвечал кучер.

Тут только Виктор Александрыч совершенно пришел в себя, взял верх над собою и принял ту гордую и спокойную осанку, которая так шла к нему.

Он прошел прямо на свою половину, послал своего камердинера просить у Лизаветы Васильевны извинения, что не зашел к ней, потому что чувствует себя не совсем здоровым; тотчас разделся и лег в постель. Он долго не мог заснуть, и сон его был беспокоен; всю ночь его преследовала сестра. То являлась ему она в том виде, как была девушкой, с гладко зачесанными густыми, волнистыми напереди волосами, в белом платье; она сидела возле него на скамейке в каком-то саду и смотрела на него своими бледно-карими глазами; взгляд этот производил на него приятное и не испытанное им впечатление, как будто лучи этого взгляда проникали его насквозь, разливали теплоту по всему его телу, заставляли биться его сердце, и призывали его к новой, лучшей жизни, о которой ему никогда не грезилось. То ему казалось, что она в гробу и что в то время, когда он подходил к ней и наклонялся, чтобы поцеловать ее, она приподнималась, обнимала его и так крепко сжимала в своих холодных объятиях, что он задыхался. То она гонялась за ним на бале, среди великолепно разубранной и блестящей толпы, при ослепительном освещении, в лохмотьях и рубище и кричала всем: «Я сестра его!» — и он не знал, куда скрыться от нее, и его преследовали всеобщий ропот, негодование, язвительные насмешки и презрительные взгляды...

Он проснулся в сильном волнении, свет уже проникал сквозь темные шторы и двойные занавески его спальни, встал, выпил стакан воды и начал ходить по комнате.

Через час он совершенно успокоился, пришел в свое нормальное состояние, и никто не заметил в лице его ни малейшей перемены. Он упрекал себя за непростительную слабость и употребил все усилия, чтобы задушить в себе окончательно человеческое чувство, которое так неожиданно и дерзко обеспокоило его накануне...

Он не поехал на похороны сестры. За ее гробом шли до кладбища несколько старушонок и женщин из того околотка, где она жила, и сзади в карете ехал г. Подберезский.

Спустя два дня после этих похорон Виктор Александрыч был на одном рауте. Он встретил там своего главного начальника, который поздравил его с получением того места, о котором он так мечтал.

Это известие окончательно изгладило все неприятные впечатления Виктора Александрыча.

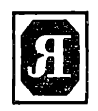
О новом его назначении только с месяц назад тому было напечатано в газетах — и потому мне ничего не остается сказать более.

ОЧЕРКИ ИЗ ПЕТЕРБУРГСКОЙ ЖИЗНИ

ДАМА ИЗ ПЕТЕРБУРГСКОГО ПОЛУСВЕТА

(Demi-Monde)





Я человек вполне образованный, потому что одеваюсь, как все *порядочные* люди, умею вставлять в глаз стеклышко, подпрыгиваю на седле по-английски, я выработал в себе известную посадку в экипаже, известные приемы в салоне и в театре; читаю Поль де-Кока и Александра Дюма-сына, легко вальсирую и producing полькирую, говорю по-французски; притворяюсь, будто чувствую неловкость говорить по-русски; знаю, кому и как поклониться при встрече на улице, и проч.

Я живу, как все *порядочные* люди: у меня мебели Гамбса, ковер на лестнице, лакей в штиблетах и в гербовой ливрее, банан за диваном, английские кипсеки на столе и проч.

Петербург удовлетворяет меня совершенно: в нем итальянская опера, отличный балет, французский театр (в русский театр я не хожу и русских книг не читаю), *дамы с камелиями,* которые при встрече со мною улыбаются и дружески кивают мне головою. Я на *ты* со всеми *порядочными* людьми в Петербурге: об остальных я мало забочусь. Я счастлив. Чего же мне больше?..»

Людей, так думающих, такого рода счастливцев, в Петербурге множество... «Петербург — это Париж в миниатюре,— сказал мне недавно один из таких.— Знаете

ли, что в Петербурге заводится нечто вроде парижского Demi Monde?.. Мы начинаем не шутя развиваться».

Действительно, Петербург быстро идет по пути такого развития. Мы очень ловко воспользовались внешнею стороною европейской цивилизации и развили в высшей степени все ее безобразие. Петербургская жизнь с каждым годом становится требовательнее, блестящее и дороже. Мы почти не можем обходиться без роскошной мебели; нам как-то неловко, если у нас в гостиной не торчит хоть маленький бананчик, если на полу не натянут ковер или что-нибудь подобное. Нам непременно хочется, чтобы наши комнаты, наша квартира были хоть слабым подобием великолепных салонов княгини К* или Б*... «Не могу же я принимать моих знакомых (даже хоть бы у меня их было очень мало) в плохо меблированной комнате и сажать их на жесткие кресла с деревянными спинками: что скажут обо мне?..» И все мы, смертельно боясь этого *что скажут*? тянемся изо всех сил для того, чтобы придать себе сколько можно внешнего лоску и блеску. Господин М* ездит к графине К*, заражается ее роскошью и подражает ей в образе жизни; господин Р* ездит к господину М*, он заражается его роскошью и подражает ему; господин Ф* подражает господину М*, и так далее, и так далее. Все мы беспощадно завидуем друг другу, тянемся друг за другом и заражаемся друг от друга нелепым тщеславием, и все мы — не то, что есть, да и не то, чем хотим казаться. Роковое *что скажут?* связало нас по рукам и по ногам и не дает нам жить и дышать свободно. Жалкие рабы тщеславия, мы сами создаем себе мучения и страдания, на каждом шагу сами себе подставляем баррикады и все более и более удаляемся от нормальной человеческой жизни...

К чему все это приведет наконец, я не знаю. Мое дело только отметить факт... Если развитие общественной жизни заключается в экипаже, в мебелях, в туалетах, в умножении публичных увеселений, ресторанов, в расположении дам, называемых *камелиями*, и прочее, то мы точно развиваемся быстро и по наружности не уступаем даже парижанам. В самом деле, чего нет в Петербурге в сию минуту? Нам даже нечего завидовать парижскому Demi Monde... У нас образуется тоже нечто вроде этого *полусвета*, начинают появляться женщины, занимающие середину между прославленными камелиями и теми, которых французы зовут femmes-honnêtes...*

Я вас познакомлю с этим новым явлением, с этою

* порядочными женщинами *(фр.)*.

странною дамою, для которой Париж еще не придумал названия.

Она не вдова, потому что муж ее жив; но она почти вдова, потому что он не живет с нею или, вернее, она не живет с ним. Отчего они разошлись, мы увидим. Я думаю, виноват скорее он, чем она: я в таких случаях всегда на стороне женщин. Она была отдана замуж почти ребенком, он женился на ней слишком молодым, оба они получили в наследство от своих родителей огромное тщеславие и маленькое состояние. Тщеславие быстро поглотило состояние. Они остались ни с чем — и в этом положении в первый раз серьезно взглянули друг на друга; затем мгновенно обнаружилась разность их характеров, начались упреки, ссоры, сцены и проч. Жена обвиняла мужа, муж — жену. Разобрать их было трудно. Дело дошло до того, что жена, характера более смелого, первая оставила мужа; муж был убит первое время, он все думал: «Что скажут?» Но когда говорить перестали, он совершенно успокоился и очень легко примирился с своим положением; она, с большими инстинктами к независимости, успокоилась на мысли, что презирает свет и общественное мнение. Она в сущности хорошенько еще не знала, что такое свет и общественное мнение. С этими словами она была только несколько знакома по французским романам. Родители ее, к счастию, сошли в могилу — слез, упреков и морали ждать было не от кого. И вот она одна, одна в целом мире, в небольшой квартирке в 4-м этаже, плохо меблированной, с небольшим пенсионом от мужа, который еще, притом, платит его неаккуратно, с горничной и кухаркой, даже без *человека*... Это ужасно!.. Ей, которую в детстве вывозили четверней на вынос; ей, у которой были экипажи на лежачих рессорах и лакей со штиблетами; ей, которая привыкла вставать в двенадцать часов и ничем не заниматься в течение дня, кроме как туалетом и чтением романов; ей, дочери старого *генерала*; ей, которая воспитывалась в аристократическом заведении вместе с княжною П* и графинею Л*, которые вышли потом замуж за генерал-адъютантов и теперь украшают собою Двор; ей, носящей известную дворянскую фамилию, унизиться до того, чтобы жить в голой комнатке, не иметь экипажа и человека; ей дойти до того, чтобы убедиться, что и горничную держать нельзя, что надобно остаться с одной кухаркой и содержать себя трудами рук своих, не привыкших ни к какой работе!.. Можно с ума сойти

при такой мысли!.. Ей, в двадцать семь лет, с недурным личиком, с внешним блеском — с отличным французским языком, с некоторыми музыкальными способностями, с грацией и ловкостью в танцах, с уменьем и со вкусом одеваться, прозябать где-нибудь в неизвестности, на чердаке, за шитьем, подобно какой-нибудь швее! Ей убить свою молодость на этом чердаке среди блеска и шума столичной жизни, не слыхать ни Марио, ни Лаблаша, не видать m-me Плесси, не танцевать с кавалергардским офицером; шелковый чулок променять на бумажный; ботинку Соболева на ботинку какого-нибудь Кароваева на Загородном проспекте!.. Это безумие!.. Но что же делать?.. Проходит год страшных терзаний, лишений и слез. Она сошла бы с ума, если бы не одно обстоятельство... К ней ездит офицер, гусар — один из ее светских знакомых, который некогда робко приволакивался за нею и на которого она обращала также внимание. Он начинает теперь волочиться за нею посмелее; она начинает кокетничать с ним: то приближает его к себе, то отталкивает, играет с ним, как кошка с мышкой, сама еще не зная, куда поведет эта игра, которая ее развлекает. Гусар решительно влюбляется в нее, раздражаемый кокетством и препятствиями; она увлекается им невольно и незаметно и свое увлечение принимает за истинную любовь. «Вот тот, которому я должна бы была принадлежать»,— думает она. Страсти с обеих сторон усиливаются crescendo, и при этом музыка, пение, дуэты. У гусара очень приятный тенор... Кончается тем, чем обыкновенно кончается всякая любовь, начинающаяся совершенно платонически; затем слезы, минутное раскаяние, легкая ссора, примирение и проч., и проч.

Гусар присылает цветы, привозит браслет со своим портретом... Цветы принимаются как вещь невинная, браслет — потому только, что он с его портретом; но когда гусар намекает о перемене квартиры, о мебели и о прочем, она вспыхивает от негодования, она потрясена и взволнована... «Ah, vous me traitez comme une femme perdue!»* — восклицает она, зарыдав. С ней делается нервический припадок. Гусар никак не ожидал такой сцены. Он поражен такою чистою, бескорыстною, восторженною любовью. Она три дня не принимает его, он в отчаянии, наконец они примиряются, и через месяц после примирения она переезжает на новую квартиру, меблиро-

* Ах, вы со мной обращаетесь, как с падшей женщиной *(фр.)*.

ванную без роскоши, но со вкусом, удобно и изящно. Она поняла, что Бальзак прав, что, живя в Париже или Петербурге, нельзя любить на чердаке или в хижине, что любовь охлаждается в комнате с крашеным полом, к которому прилипает подошва ботинки, с голыми стенами и на диване с деревянным задком. Она убедилась, что Бальзак величайший сердцеведец, потому что в будуаре, меблированном Гамбсом, в шелковом чулке и в соболевской ботинке, на мягких коврах любишь тоньше, и изящнее, и горячее. Мало-помалу она начинает выезжать в театры, особенно в оперу. Театры и маскарады заменили ей свет с его балами и вечерами, о которых она теперь нисколько не сожалеет; она начинает отзываться о свете и о светских дамах с презрительной иронией, а о дамах на рысаках и с *камелиями* — с неудержимым негодованием и ненавистью. Вся кровь ее бросается ей в лицо при встрече в театрах и на гуляньях с какой-нибудь *Армансе, Эрмини, Формозой,* не оттого ли, что внутренний голос говорит ей, что ее положение походит несколько на положение этих дам?

Между ею и ими завязывается кровная, непримиримая вражда: они нагло измеряют ее с ног до головы, с насмешливою улыбкою,— не оттого ли, что видят в ней тайную соперницу, с которой им сойтись нельзя и которая может со временем отбивать у них хлеб?..

От гусара она заимствует некоторые привычки, не совсем идущие к женщине... Она начинает курить папироски, впрочем, еще немного, как будто шутя, и с большой грацией. После медового месяца гусар представляет ей своих друзей и товарищей, потому что гусару хочется прихвастнуть ею, заставить товарищей завидовать ему; к тому же надобно какое-нибудь развлечение обоим: никакая любовь не выдержит месяца глаз на глаз... Однажды вечером, в присутствии своих гостей, она оживлена более обыкновенного, ее нервы раздражены, глаза горят, она подходит к роялю, берет аккорды и поет:

Уймитесь, волнения страсти,
Засни, безнадежное сердце...

Гости в восторге. Все рукоплещут ей... Один из гостей, адъютант, влюбляется в нее... Вечер оканчивается жженкой... Она любуется синим пламенем, фантастическим светом, которым огонь жженки освещает лица. Сахар, растопляясь, падает в кипящую серебряную чашу с

треском, пламя вспыхивает ярче... Она не спускает глаз с чаши, с любопытством следя за огнем: она радуется, как дитя... Огонь тухнет, жженку разливают в стаканы, адъютант подносит ей маленькую рюмку, она улыбается, обмакивает свои губки, морщится, удивляется, как можно пить этот спирт, однако еще отпивает... Жженка ей нравится. Она выпивает всю рюмку. Глаза ее еще ярче разгораются, щеки пылают, голова немножко кружится, сердце бьется чаще, какая-то приятная теплота разливается по всему телу... Воздух в комнате пропитывается тонким и душистым запахом спирта; дым от папирос ходит волнами; в тумане мелькают перед нею раскрасневшиеся лица... адъютант сидит возле нее, он так странно смотрит на нее. Ей бы хотелось встать и уйти; но между тем ей лень пошевелиться: ни руки, ни ноги не повинуются ей... Одна ее ножка полуоткрыта; шелковый чулок обрисовывает ее прекрасные формы, и она не замечает положения этой ножки. Адъютант просит ее спеть что-нибудь, наклоняется к ее руке и прикасается к ней горячими губами... Она вздрагивает, делает усилие над собою, встает и подходит к роялю, и опять из груди ее несутся звуки, еще горячее прежних... После пения один из гостей садится за фортепиано и начинает играть польку... К ней кто-то подходит и обвивает ее талию... она полькирует в этом чаду, переходя из рук в руки... и наконец, утомленная, бросается на диван... Сквозь двойные занавесы прорывается уже дневной свет...

Проходит более года. Гусар ездит реже; между ним и ею начинаются охлаждения, сцены; она убеждается, что не любила гусара, а была только увлечена им... Адъютант пользуется размолвкой, он делается сначала ее поверенным, ее другом... Гусар уезжает совсем из Петербурга, и адъютант начинает являться к ней всякий день... общество ее увеличивается, она приобретает знакомство в маскарадах... ее смелость, любезность и кокетство с каждым маскарадом умножают число ее поклонников... Она в моде... Известная молодежь считает за необходимость быть ей представленной... Она держит салон; после театра избранные являются к ней пить чай... Все в восхищении от нее, все смотрят на нее с надеждою — она кокетничает со всеми; но к кому она особенно благосклонна, никто не знает... Некоторые подозревают адъютанта; но он не имеет никакого состояния, к тому же он последнее время реже показывается у нее... Носятся неясные

слухи даже о каком-то богатом купце; но можно ли верить городским клеветам и сплетням? И кто же распускает эти слухи — Арманс или Эрмини, которые не упускают случая злословить ее всячески, хотя бы они почли за величайшее счастие, если бы она изъявила желание познакомиться с ними; хотя каждая из них с ума бы сошла от восторга, если бы она решилась показаться с нею в публике, если бы она вздумала появиться в ее ложе... Но этого никогда не будет. Эти Арманс и Эрмини — самая больная сторона ее: она более всего боится, чтобы ее не смешивали с ними, но она знает подробно историю каждой из этих дам; она исподтишка смотрит на них с величайшим любопытством. Когда же при ней заходит речь о них, она очень ловко прикидывается, будто не имеет о них никакого понятия...

Какая же, собственно, разница между нею и ими?

Она ведет себя несравненно скромнее. У нее нет и она не хочет иметь экипажей и рысаков, бросающихся в глаза, и вы редко можете встретить ее на Невском проспекте, тогда как эти дамы ежедневно выставляют себя, свои экипажи, свои туалеты и своих рысаков. Квартира ее меблирована нероскошно. Она даже немножко щеголяет простотою — не потому, говоря откровенно, что простота ей нравится, а потому, чтоб не иметь ничего общего с этими дамами, которые обивают стены свои шелками и не щадят позолоты и бронзы. Она отлично образована... сравнительно с этими дамами; она имеет понятие обо всем, читает и даже любит читать; она поддерживает разговор с ловкостью и тактом. Если бы у нее было блестящее имя и тысяча душ, она была бы светской львицей. В маскарадах она одета всегда в черном; она не бросается в глаза, как эти дамы, голубыми и розовыми домино, неслыханными кружевами, тысячными браслетами и приводящими в изумление букетами; она никогда не позволит себе укоротить свое домино, чтобы обнаружить свою изысканно обутую ножку, как часто делают эти дамы. В театрах вы никогда не увидите ее в бель-этажах или бенуарах на выставке. Оттого она не пользуется такой известностью, как эти дамы. Она показывается иногда даже в домах среднего круга; в ее ложу во втором ярусе, без боязни быть замеченными, входят многие известные господа, которые бы скорее решились умереть, чем публично показаться в великолепных ложах этих дам. Ее тщеславие не так резко и грубо, как у них; но, несмотря на это, она суетна и тщеславна в высшей сте-

пени. В ее разговоре с вами она непременно несколько раз упомянет, что ее отец был генерал, что у него была анненская лента, что к ним в дом ездило самое лучшее петербургское общество, и заметит вам, что она могла бы, если бы хотела, ездить в общество, но независимость предпочитает всему на свете, и что у нее такой характер, что она никак не может подчиняться общественным условиям и предрассудкам. К этому она наверно прибавит:

— Вот вы знаете графиню Язвинскую — Катрин, жену генерал-адъютанта, урожденную графиню Линовскую? Мы с нею вместе воспитывались. Она всякий раз, когда встречается со мною на улицах или в театре, зовет к себе; но с какой стати я поеду к ней — я, которая прервала все связи со светом, хотя признаюсь вам, я очень люблю Катрин: c'est un ange de bonté!..* Княгиня Рахманова, Адель, также одного со мною выпуска.

Вся разница между нею и ими в том, что они продают себя, а она *увлекается*, хотя, в сущности, основа их жизни одна — основа шаткая и неопределенная. И она и они живут настоящим: сегодня в довольстве и роскоши, завтра, может быть, без куска хлеба. И она и они скорее умрут с голоду, чем расстанутся с своими саксонскими куклами и коврами и решатся поддержать свое существование трудами рук своих. Многие из подобных ей, и именно такие, которые имеют беспечный характер и доброе сердце, кончают свое поприще очень печально; другие с наклонностями практическими заводятся богатыми и надежными старичками, выманивают себе капиталы, на склоне дней занимаются торговлей, отдачей меблированных квартир внаймы, приобретают дома, выходят замуж довольно выгодно за людей чиновных, и прочее.

Я не знаю, как кончит моя дама среди этого сплетения интриг, кокетства, суеты и тщеславия; но будущность ее начинает тревожить меня: она слишком последнее время злоупотребляет своими глазами и заметно прибегает к косметическим средствам, в которых, впрочем, еще не слишком нуждается. По уверению Арманс, она даже пьет жженку, как мужчины; но клеветы Арманс я не принимаю серьезно.

Чтобы читатель, не видавший в действительности такого рода дам, мог получить более наглядное и определенное понятие о моей даме, я передам здесь ему о моем знакомстве с нею.

Несколько лет назад я жил на даче, окруженной со

---

* это ангел доброты!.. *(фр.)*

всех сторон парками и лесами, и гулял почти с утра до вечера. Раз вечером я возвращался из лесу, и когда подходил к большой дороге, совсем уже смерклось. Месяц еще не показывался. Вдруг, среди мрака и тишины, раздался женский крик, такой, какой обыкновенно издают женщины, испугавшиеся лягушки. Я вышел на большую дорогу и увидел две женские тени: одна из них была в шляпке и в шали, другая в бурнусе с платочком на голове. Они, заметив мою тень, обе в одно время прокричали маскарадным пискливым голосом мою фамилию с французским акцентом и ударением. Это меня несколько удивило. Я схватил тень в шляпке за руку — тень вскрикнула, вырвалась от меня, и обе они побежали по большой дороге. Я бросился за ними. Они кричали: «Петр! Петр!» В нескольких стах шагах от того места, где я нашел их, стояла карета. Я нагнал их в ту минуту, когда они бросились в карету. Карета двинулась. Тень в шляпке высунулась из окна и закричала мне, смеясь: «Au revoir!» Я вернулся домой, ничего не понимая, и на другой же день забыл об этом происшествии. Дней через десять после этого, гуляя, я отошел версты две от своей дачи и очутился в парке, через который проходил часто. Впереди меня по дорожке шли две дамы. Я поравнялся с ними и взглянул на них. Одна стройная, высокого роста, лет под тридцать, с густыми черными волосами, на которые накинут был белый газовый вуаль, с черными небольшими, но очень выразительными глазами. Другая — маленькая, белокурая и полная. Когда я посмотрел на них, брюнетка улыбнулась и взглянула на блондинку, которая также отвечала ей улыбкою.

— Я тебе говорила, Nadine,— сказала брюнетка довольно громко, так, чтобы я слышал,— что нам надобно было взять часы. Мы можем этак опоздать; а нам надобно быть к 9 часам на пароходной пристани. Который теперь может быть час?

— Еще только четверть восьмого,— сказал я, вынимая часы и обращаясь к гулявшим дамам.

Брюнетка взглянула на меня, как бы удивляясь моей дерзости.

— Благодарю вас,— сказала она.— Нам вперед, ma chère, наука брать с собою часы,— продолжала она, обратясь к блондинке.

Несмотря на это колкое замечание в сторону, я пошел с ними рядом и продолжал разговор:

— Вы, верно, изволите жить здесь недалеко на даче?

— Да.

— А какие прекрасные места здесь... сады, леса, море... это лучшие из петербургских окрестностей. Не правда ли?

— Может быть.

После этих кратких и холодных ответов я хотел было удалиться; но брюнетка вдруг обратилась ко мне.

— Знаете ли,— сказала она,— что мы вам завидуем?

Я посмотрел на нее вопросительно.

— Не шутя,— продолжала она,— мы желали бы жить в вашем домике. Он так хорош в зелени и в цветах. Ведь это вы живете на даче Б*, в швейцарском домике у моря?

— Я. Так вам этот домик нравится?

— Пожалуйста, вы не удивляйтесь, *почему* мы вас знаем. Это очень просто. Ваш домик давно нас интересует, и один раз, гуляя в вашем парке, мы встретили управляющего и спросили у него, кто живет в этом домике. Он нам сказал и к этому прибавил, указывая на вас... вы сидели на крайней скамейке у моря: «Да вот и они сами...» Однако ж, Nadine, нам пора вернуться домой.

Я вернулся вместе с ними. Проходя мимо одной дачи, я заметил брюнетке:

— Кажется, эта дача не занята.

— Отчего ж вы думаете?

— Да оттого, что никого не видно; цветов нет на балконе.

— Это еще ничего не доказывает,— возразила брюнетка,— вот я очень люблю цветы, а у меня нет цветов на балконе.

— Почему же?

— Потому что я нахожу, что это лишняя издержка.

В это время мы спускались под гору, и брюнетка, приподняв платье, обнаружила маленькую ножку, хорошо обутую.

— Если вы так расчетливы, в таком случае вы бы приказали кому-нибудь украсить ваш балкон...

— Кому же я могу приказать? — перебила она, взглянув на меня строго.

— А му... мужу? — возразил я.

Она улыбнулась.

— Мой муж далеко отсюда. Да притом разве мужья угождают женам?..

В эту минуту мы остановились перед небольшою дачею, проезжая мимо которой я почти всякий раз слышал

пение. Вороты на двор были отворены, двери сарая открыты, а из дверей высовывалось дышло кареты.

— Петр! закладывай карету! — закричала брюнетка.

— Ах, вашего кучера зовут Петром? — вскрикнул я невольно.

Она взглянула на меня со спокойным удивлением.

— Да-с, Петром. Что же это вас удивляет?

— Нет, но...

— Но,— прибавила она,— теперь мы должны с вами проститься и поблагодарить вас за вашу любезность.

Я поклонился.

— Позвольте мне,— сказал я,— иметь честь поднести вам букет из моего сада. Я не смел отнестись к вам с этой просьбой, если бы не был уверен, что букет этот вам, как охотнице до цветов, может понравиться. У меня есть цветы очень редкие.

Она проговорила что-то невнятное, улыбнулась, очень приветливо кивнула мне головой и исчезла.

Я понятия не имел, кто такая эта госпожа. Спросить о ней было не у кого. Однако, несмотря на это, на другой день утром я отправился к ней с огромным букетом. Подъезжая к даче, я, к счастью, увидел на балконе блондинку, которая на мой поклон отвечала мне сладкою улыбкою, как старая знакомая.

— Могу я видеть...— начал я — и не знал, как продолжать.

— Александру Николаевну? — продолжала за меня блондинка,— милости просим. Она сейчас войдет.

Минут через пять Александра Николаевна явилась в очень изящном утреннем туалете. Я поднес ей букет. Она поднесла его к носу, поблагодарила меня с очень приятной улыбкой и отдала блондинке с приказанием тотчас поставить его в вазу с водой. Александра Николаевна была очень любезна со мной и в разговоре, между прочим, заметила, что она послезавтра будет на музыке в Петергофе. Я не сомневался, что одержал победу. Просидев минут двадцать, я встал. Александра Николаевна просила меня о продолжении знакомства и прибавила, что она почти всегда по вечерам дома.

Не без некоторого самодовольствия я отправился в Петергоф на музыку. У вокзала стояло несколько экипажей: гуляющих дам и мужчин было много. Я искал ее глазами, как вдруг один из моих знакомых спросил меня:

— Не знаешь ли ты, кто эти дамы в карете с серыми лошадьми, вот с которыми разговаривает Ипат?

Ипат был один из наших приятелей, знавший весь Петербург наизусть.

Я взглянул в ту сторону, где стоял Ипат, и ахнул. Дама, сидевшая в карете, с которой разговаривал он, была моя брюнетка.

— Все, что я могу тебе сказать,— отвечал я моему знакомому,— эту даму зовут Александра Николаевна. Я знаком с нею, я был у нее; но *что* она такое и *кто*, я понятия не имею.

Когда Ипат отошел от кареты, мы отвели его в сторону и стали расспрашивать об Александре Николаевне. Он назвал нам ее фамилию и рассказал нам ее историю, которую я передал в начале, и в заключение прибавил:

— Тут, господа, взятки гладки... Вакансия занята!..

После того я был у нее несколько раз и убедился, что Ипат прав. Всякий раз встречал я у нее адъютанта, того самого адъютанта, о котором упомянуто выше. С адъютантом она ездила то верхом, то в кабриолете и оставляла меня с блондинкой, всякий раз извиняясь и уверяя, что возвратится через полчаса. Блондинка была ее старая приятельница, в которой она принимала большое участие. Она сама впоследствии призналась мне, что несколько рассчитывала на меня в отношении к блондинке.

— Покорно вас благодарю; да она ужасно дурна,— сказал я.

— А вы, мужчины, отвратительны,— отвечала она,— вам непременно нужно хорошенькое личико... Но если бы вы знали, какое у нее чудесное сердце! какие у нее прекрасные чувства!

И, произнося это, она сама захохотала первая...

КАМЕЛИИ



Знакомство с *камелиями* еще легче. Есть много способов знакомиться с ними, и тот, который я расскажу вам сейчас, еще не из легчайших.

Волнение и нетерпение моего иногороднего друга и непреодолимое желание разгадать, кто его маска, возрастали в нем с каждою минутою по мере приближения маскарада, в котором тайна должна была открыться. Он подозревал ее в каждом хорошеньком личике,

которое встречал на улицах, и преследовал беспокойным и подозрительным взглядом каждую женщину, одетую со вкусом. Однажды в опере (мы сидели рядом) он долго смотрел в свой бинокль на даму с белокурыми, пушистыми локонами, которую он увидел в первый раз, в платье белого дама́ с черными кружевами, потому что в ней он по какой-то причине более всего подозревал свою маску.

И вдруг он обратился ко мне:

— Ты хорошо знаком с этою госпожою? — спросил он меня, указывая на ложу.

— Ну, так что ж?..

— Ты можешь меня представить к ней?

— Хоть сию минуту. Отчего же ты прежде мне не сказал об этом? Я бы давно тебя представил.

— Так, мне не хотелось, а теперь я бы желал.

Только что занавес, после первого действия, опустился, мы отправились наверх.

Мы вошли в маленькую комнату перед ложей, в которой стояли диван, несколько стульев и над диваном зеркало. *Луиза*, дама с пушистыми локонами, известная всему Петербургу под этим именем, сидела на диване, обмахиваясь веером и улыбаясь на любезности какого-то офицера, который сидел рядом с нею. Другой, статский, разговаривал стоя с ее наперсницей — с девицей или дамой, столько же дурной, сколько бойкой...

Когда мы вошли, статский взглянул на нас с беспокойством и вопросительно посмотрел на наперсницу.

Луиза протянула мне руку. Я представил ей моего иногороднего друга.

— Очень, очень рада,— произнесла Луиза тем ломаным русским языком, каким обыкновенно говорят немки, несколько растягивая слова,— давно вы приехали в Петербург?.. Здесь весело вам?

При этих звуках мой иногородний друг смешался и даже взглянул на меня с недоумением...

— Заметили вы, какой браслет у Бозио? Мне очень нравится,— продолжала она, обращаясь любезно ко всем нам.

— Вам, кажется, нельзя завидовать чужим браслетам,— сказал военный,— таких браслетов нет ни у кого, как у вас. Например, вот этот...

И он взял руку Луизы с драгоценным браслетом, поднял ее и взглянул на нас.

Мы начали рассматривать браслет и восхищаться им.

— Этот браслет хорош. Он стоит три тысячи... Послушайте, граф,— Луиза обратилась к статскому, разговаривавшему с ее наперсницей,— что вы там делаете? Принесите мне стакан воды.

Тот, которого называла она графом, вышел из ложи и через минуту принес на подносе стакан воды.

— Погодите, граф, немножко подержите... Мне еще жарко... можно простудиться...

— Ах, нет, не беспокойтесь! это вода не холодная,— перебил граф,— я не принес бы вам холодной воды...

— Все равно погодите... А знаете, граф, что я влюблена в него.— Она указывала на офицера, улыбаясь.— Ах, боже мой, как я о нем страдаю!

Граф все держал поднос со стаканом. Он принужденно улыбался.

— Ну, что ж! я вас поздравляю с этим...

— Право, ей-богу... влюблена.

Луиза захохотала.

Потом еще минут пять продолжала она разговор в этом роде, а граф все стоял перед нею с подносом. Между тем наперсница говорила с моим иногородним другом по-французски очень ловко и бойко. Наконец мы раскланялись.

Луиза снова протянула мне руку.

— Приезжайте ко мне... Пожалуйста... привозите вашего приятеля.

И она приятно улыбнулась моему иногороднему другу.

Граф все стоял с подносом.

Мы вышли в коридор.

— Боже мой! Что это такое? Я не верю своим ушам! — воскликнул мой иногородний друг,— я не могу прийти в себя, объясните мне...

— Что такое?

— Ведь я воображал, что ваши петербургские камелии имеют хоть какое-нибудь внешнее образование, хоть говорить умеют... а это... да неужели они все в таком роде?

— Нет... Есть такие, которые умеют держать себя лучше и говорят довольно прилично.

— И я мог подозревать, что это моя маска! И с чего мне этакая глупость пришла в голову?.. Ну, а этот граф-то что такое?..

— Граф имеет тысяч полтораста доходу, он влюблен в Луизу, как безумный, страшно ревнует ее и всегда там,

где она... Ну, а Луиза все больше и больше завлекает его. Вы не смотрите на нее, что она такая простенькая на вид: она прехитрая!..

— Но как же может завлечь такая женщина? Что в этом личике? с ней слова сказать не о чем. Даже эта госпожа, которая с ней выезжает,— гений ума и образования перед нею!.. И на таких женщин тратят сотни тысяч!.. Ничего не понимаю!..

В маскараде Дворянского собрания я хотел было подвести моего иногороднего друга к Арманс, чтобы примирить его несколько с петербургскими камелиями. Арманс — француженка, и, несмотря на то, что ее образование немного выше образования Луизы, Арманс умеет бросать пыль в глаза своею болтовнею и поддерживать разговор. Она очень весела, жива и находчива на ответы; она может принимать на себя какие угодно роли — разыгрывать недоступную даму и вдруг превращаться в самую разгульную и отчаянную лоретку. Она отлично поет: Un soir a la barrière...* канканирует изумительно и вообще очень забавна; но познакомить с нею моего иногороднего друга я не мог, потому что он уже был занят своею маской.

Я сидел в маленькой угольной комнате и смотрел на известного читателю господина с соболями вместо бровей и с нахальным носом, который держал какую-то маску за руку и кричал ей, поводя своими соболями:

— Поверь мне, бо-маск**, что я не пожалею тысячи целковых. *Пароль д'онер****. Деньги — вещь наживная... Надобно иметь только немножко здесь.

И он тыкал пальцем в свой узенький лоб...

В эту минуту мой иногородний друг очутился передо мной и схватил меня за руку.

— Я тебя ищу везде. Поздравь меня,— сказал он мне, улыбаясь,— я наконец знаю, кто моя маска, и ты ее знаешь...

— Неужели?

Он наклонился к моему уху и шепнул:

— Александра Николаевна...— и к этому прибавил фамилию, о которой я умолчу из скромности.

— Александра Николаевна! — воскликнул я, стараясь выразить как можно более удивления.

---

* вечером у калитки *(фр.)*.

** прекрасная маска (от *фр.* beau masque).

*** Слово чести (от *фр.* parole d'honneur).

— Она, она! Пойдемте к ней; она мне велела привести тебя, она ждет нас.

Когда мы подошли к Александре Николаевне, она взяла меня за руку и сказала:

— Знаете ли, что мы очень сошлись с вашим приятелем?.. Но я только сейчас узнала, что вы знакомы друг с другом. Вы, верно, будете так добры, что возьмете на себя труд привезти его ко мне завтра... Не правда ли? тем более, что вы очень давно у меня не были и я на вас сердита. Если вы хотите заслужить прощение, исполните то, о чем я вас прошу... Итак, à demain, messieurs!..*

Она пожала нам руку, кивнула головой и скрылась.

Через десять минут она снова расхаживала по залам, только в другом домино, не узнаваемая моим иногородним другом. Она подошла ко мне.

— Что ж, ты завтра привезешь его ко мне? — спросила она.— А знаешь ли, он премилый и преумный...

— В самом деле?.. Да ты уж не начинаешь ли чувствовать к нему некоторого влечения?

— А почему же нет?.. Он еще такой молодой сердцем, у него еще кровь кипит... Не к вам же чувствовать влечение... все вы противные, бездушные эгоисты, вы уже отжили, в вас нет искры жизни!.. Скажи, ты его хорошо знаешь?

— Довольно. Да говори прямо: тебе хочется знать, богат он или нет?.. Он имеет хорошее состояние. Влюбиться в него полезно, я советую тебе.

— Гадкий! — произнесла Александра Николаевна, ударив меня пальчиком по носу.

На другой день в два часа утра мы явились к ней... В комнате царствовал полусвет... Кружевные занавески на окнах были опущены; сквозь них виднелись цветы. Камин пылал довольно ярко. Александра Николаевна сидела в самом темном углу комнаты. Ее утренний туалет, ее поза, высунувшаяся из-под платья ножка, ручка с блестящими кольцами на одном пальце, беспокойно передвигавшаяся, ее взгляды, каждый поворот головы и проч.,— все, что приводило моего иногороднего друга в упоение, было в моих глазах одним расчетом.

И как ловко избегала она яркого дневного света!..

Когда мы уселись против нее, она сказала, обращаясь к моему иногороднему другу:

---

* до завтра, господа!.. *(фр.)*

— Прежде всего я должна просить у вас прощения. Вы, верно, не ожидали этого?.. Не удивляйтесь: именно *прощенье* — c'est le mot*, потому что мы были против вас в заговоре. Ваш приятель — мой старый знакомый (она указала на меня) — упросил меня развлечь вас, сказал мне, что вы приезжие, что у вас в Петербурге нет знакомых. Я живо вообразила ваше положение, как вы должны будете скучать одни: ведь наши дамы интригуют только знакомых кавалеров,— а эти господа (она снова указала на меня) так вялы и скучны, что я, признаюсь, с удовольствием взяла на себя роль развлекать нового, живого человека, не похожего на них... (я хотела доставить вам несколько приятных минут... не знаю, успела ли я в этом?..

Она бросила на него проницательный взгляд.

— Что касается до меня я никогда не забуду тех приятных часов, которые вы мне доставили: мне никогда не было так хорошо в маскарадах.

Она снова взглянула на моего иногороднего друга и продолжала:

— Если я в маске могла сколько-нибудь быть вам приятной, занять вас хоть на минуту, развлечь вас... я желала бы, чтобы эти впечатления я сумела поддержать в вас теперь, когда без маски. Вы видели перед собой вымышленную женщину, теперь вы видите настоящую. Мне было бы очень приятно, если бы вы с настоящей были так же откровенны и прямы, как с вымышленной...

Она остановилась на минуту и прибавила, протягивая к нему свою руку:

— Знакомство, которое началось шуткой, может продолжаться серьезно. Не правда ли?..

Он поцеловал ее руку...

ШАРЛОТА ФЕДОРОВНА

(Вовсе не детский рассказ)





Я шел по Невскому проспекту утром на второй день масленицы. Молодой, только что выпущенный гусар, еще без усов, сын одной моей старинной знакомой, за которым ехали сани парой с крутозавив-

* именно так *(фр.)*.

шейся на отлете пристяжной, на которую он беспрестанно оглядывался, остановил меня восклицанием:

— Charmé de vois voir!*

— Здравствуйте,— отвечал я.

— А что, вы будете,— продолжал гусар, вставляя в глаз стеклышко и смотря на меня, хотя он мог видеть меня легко простым глазом, потому что мы стояли лицом к лицу,— будете завтра на пикнике, который устраивает Шарлота Федоровна?

— Что такое? — спросил я.

Он повторил свои слова.

— Шарлота Федоровна! А-а! Так Шарлота Федоровна дает пикник?

— Да завтра, батюшка, весь город там, все *наши!*

— Весь ваш полк?

— Нет, quelle idée!** я разумею все наши, то есть все порядочные люди... Сережа Бельский, Саша Гребецкой...

— Вот что! Ну прощайте, желаю вам веселиться,— сказал я.

Пройдя несколько шагов, я был опять остановлен, но на этот раз моим старым приятелем.

— Очень рад, что я тебя встретил,— сказал я ему,— мне ты нужен. Я хотел зайти к тебе завтра вечером, чтобы переговорить об одном деле.

— Завтра?.. пожалуй...— отвечал он нерешительно и как будто припоминая что-то.— Ах нет, завтра не могу. Я совсем забыл, завтра я на пикнике у Шарлоты Федоровны...

Опять Шарлота Федоровна!

— Да что это за пикник? — спросил я.

— Я ничего не знаю, мне навязали билет, и я заплатил за него двадцать пять рублей. Заплатив такие деньги, нельзя же бросить билет в печку; к тому же мне любопытно посмотреть, что это такое; говорят, там будут все известные хорошенькие петербургские женщины. Поедем-ка. Это, право, любопытно.

— Не знаю, может быть,— отвечал я, простившись с моим приятелем.

В этот день я обедал у Донона.

Против меня сидели два молодых человека, неизвестных мне. Они разговаривали очень громко, смешивая русскую речь с французскими фразами, пересыпали раз-

* Рад вас видеть! *(фр.)*

** Здесь: что вы! *(фр.)*

говор блестящими аристократическими именами, одеты были франтовски, называли всех лакеев по именам, обращались к самому Донону с дружескою фамильярностью, несмотря на то, что Донон оказывал им совершенное хладнокровие, и посматривали на меня и на других обедавших в этой комнате с таким выражением, как будто хотели сказать: «Что вы за люди? откуда вы?» Нетрудно было догадаться, что эти джентльмены средней руки принадлежали к тому многочисленному классу петербургских праздношатающихся, для которого беспечное стремление к comme il faut есть цель всей жизни, а величайшее счастие и благо — достижение чести пройтиться по Невскому проспекту или посидеть в театре в первом ряду кресел с каким-нибудь князем, графом и вообще великосветским господином. Джентльмены эти кушали блины с икрой и запивали их холодным шампанским.

— А я с нетерпением жду завтрашнего дня,— сказал один из них так, чтобы все мы слышали.— Я уверен, что будет чудо как весело. Уж если за это взялась Шарлота Федоровна, я уверен, что все будет устроено отлично. Ah! Elle a du chic, cette femme, cher ami!* Прелесть что за женщина! Я вчера был у нее целое утро с Сережей Бельским...

— Арманс приготовила для этого пикника удивительный туалет,— возразил другой.

— Но все-таки,— перебил первый,— Шарлота Федоровна будет la reine du bal... Il n'y a pas de doute...**

Пикник и Шарлота Федоровна преследовали меня целый день.

Пикник этот, как я слышал на другой день, действительно удался. Все самые *ценные* петербургские камелии участвовали в нем... Туалеты их были блистательны, кринолинные юбки поражали своими размерами: дамы эти, несмотря на их изящный вкус, любят немного преувеличивать моду. Вся великосветская молодежь, военная и штатская, присутствовала на этом пикнике со своими двойниками и подражателями. Для пикника этого нанята была одна из больших меблированных дач Лесного института, ужин готовил Дюссо, конфекты и мороженое были от Сальватора, оркестр конногвардейский. Танцевали до шести часов утра. Царица бала была

---

* Ах! Друг мой, в этой женщине есть шик! *(фр.)*

** царицей бала... Несомненно... *(фр.)*

действительно, по общему сознанию, Шарлота Федоровна. Ее туалет убил все туалеты, и, в самом деле, он отличался неслыханным вкусом и удивительно шел ей к лицу. Все дамы, даже те, которые считались самыми близкими ее приятельницами, кипели, как следовало ожидать, против нее в этот вечер непримиримою враждою и мучительною завистью. Арманс отпускала на ее счет разные колкости. Успех Шарлоты Федоровны злобно одушевлял ее. Она пустила в ход всю свою французскую любезность и живость и в контрадансах так ловко и беззастенчиво канканировала, что многих привела в восторг и возбудила самые энергические рукоплескания. Но такая безграничная веселость Арманс привела в негодование Шарлоту Федоровну. Шарлота Федоровна была оскорблена неприличным поведением этой француженки, потому что Шарлота Федоровна корчила, говорят, великосветскую даму и танцевала с необыкновенным чувством достоинства.

Что такое Шарлота Федоровна, читателю, даже иногороднему, объяснять, я полагаю, не нужно. К тому же я представлял несколько очерков такого рода дам, и если я снова обращаюсь к *этим* дамам, то это не оттого, чтоб я питал к ним особенную нежность; не потому, чтоб я слишком увлекался ими и находил особенное удовольствие говорить о них... Но нельзя не обратить внимания на то, что в последнее время *эти* размножающиеся с каждым днем *дамы* начинают играть роль довольно заметную, выходят иногда из своей сферы и приобретают вне ее силу и значение. С этими прелестными Луизами, Бертами, Армансами и Шарлотами Федоровнами, которые бросаются в глаза всем роскошью, выходящею из всех границ, соединяются, быть может, вопросы весьма серьезные. Эти госпожи — явление не случайное, и рассказы об них могут быть не одною пустою и праздною болтовнею, потому что из этих рассказов читатель, наблюдающий и размышляющий, может извлечь некоторые данные, не лишенные любопытства, о жизни и о степени нравственного состояния некоторого класса общества.

Шарлота Федоровна в сию минуту львица между всеми этими дамами. На нее обращено великосветское внимание, об ней толкуют во всех кружках петербургского общества, ее знают все... по крайней мере по имени. Она самая модная из всех камелий; об ее роскоши рассказывают баснословные анекдоты даже на Петербургской стороне, и я теперь передам моим провинциальным читателям (для петербургских все это уже неинтерес-

но) некоторые самые любопытные черты из ее жизни.

Шарлота Федоровна появилась в Петербурге лет восемь тому назад. Она вывезена была из какого-то немецкого городка и первое время после своего приезда называлась *Иоганной.* Под этим именем она была известна всему богатому и веселящемуся Петербургу. Иоганне было тогда девятнадцать лет. Она не могла не обратить на себя особенного внимания знатоков. Они приходили прежде всего в восторг от ее ручки и ножки. Иоганна в этом случае была исключением из немок, потому что немки вообще не отличаются красотою ног и рук. Потом знатоки приходили в восторг — и совершенно справедливый — от ее гибкой и тонкой талии, от изящной формы ее плеч, сквозь прозрачную белизну которых виделись тоненькие голубоватые жилки, от ее удивительно тонкого профиля, от особенно симпатического выражения ее лица, оживленного синими продолговатыми глазками, в которых иногда сверкали какие-то искры, и от густой, падавшей до колен косы пепельного цвета. Те, которым этот портрет покажется преувеличенным, могут посмотреть в сию минуту на Шарлоту Федоровну в опере, на гуляньях или, наконец, быть ей представленными, чтобы убедиться, что я не прибавил к нему ни одной черты, потому что с тех пор она мало изменилась. Несмотря на это, прежнюю Иоганну нельзя почти узнать в настоящей Шарлоте Федоровне. Иоганна одевалась или, вернее сказать, ее одевали без всякого вкуса, волосы причесывали какими-то безобразными колечками и завитками. Иоганна совсем не умела держать себя и, ломаясь, повторяла своим неотвязчивым поклонникам: «Lassen Sie mich»*. Превращаясь постепенно из Иоганны в Шарлоту Федоровну, она обнаружила удивительную наблюдательность и необыкновенную способность воспринимать весь наружный блеск, все внешние условные формы со всеми их тонкими и неуловимыми для простого глаза оттенками. Через три года после своего приезда в Петербург, когда она под покровительством какого-то господина, влюбившегося в нее, обзавелась своим маленьким хозяйством и квартиркой,— ее нельзя было узнать. Она сделалась развязною, начала болтать довольно порядочно по-русски, перестала говорить *Lassen Sie mich,* обнаружила вкус в выборе своих туалетов и вела себя с таким тактом и с такою скромностью, что на улице или в театрах ее

---

* «Оставьте меня» *(нем.).*

можно было бы принять за порядочную женщину, если бы не сопровождавшая ее толстая наперсница очень странного вида, в желтых, довольно грязных перчатках и в поношенной французской шали, которая бросала на нее невыгодную и подозрительную тень. По мере того как средства Шарлоты расширялись, жажда блеска и роскоши росла в ней, раздражаемая примерами Берты, Луизы и других, которые еще обращались с нею тоном покровительства и допускали ее только иногда, в те часы, когда у них никого не было, в свой блестящий круг. Экипажи Фребелиуса, туровские и гамбсовские мебели, лакеи со штиблетами не давали ей покоя. Но она смотрелась в зеркало, задумывалась на минуту, синие глазки ее загорались искрами, и, лукаво улыбаясь, она почти вслух говорила самой себе: «У меня непременно будет все это!»

И действительно, не прошло года, как в один прекрасный солнечный день на Дворцовой набережной, в час гулянья, промчалась темная коляска безукоризненного вкуса, запряженная парою темно-серых рысаков, с толстым кучером на козлах, с огромной черной бородой, и с тоненьким лакеем в гороховом сюртуке и штиблетах, с небольшою кокардою на круглой шляпе и со сложенными накрест руками,— коляска, в которой сидела, прислонившись к одному углу с очаровательной небрежностью, прелестнейшая женщина с пепельными волосами, в восхитительном туалете.

Все глаза, стеклышки и лорнеты обратились на эту коляску...

— Кто это? Что это такое? Quelle jolie femme! Charmante!* Просто чудо! — посыпались вопросы и восклицания со всех сторон.

— А я знаю, кто это,— сказал с некоторым торжеством один из гулявших.

— Ну, да говорите же кто! — воскликнуло несколько голосов с нетерпением.

— Шарлота.

— Какая Шарлота?

— Ну, просто Шарлота. Она, говорят, живет с каким-то купцом.

Имя Шарлоты начало переходить от одного к другому, и известность ее в эту минуту была уже упрочена. Никому и в голову не приходило, что эта прелестная

---

* Какая хорошенькая женщина! Она очаровательна! *(фр.)*

женщина была некогда известна многим из них под именем Иоганны.

Целую неделю после этого великосветская петербургская молодежь только и толковала о Шарлоте. Вслед за тем Шарлота начала являться в абонированной ложе в опере и во всех бенефисах в балете, производя неописанный эффект. Вся блестящая молодежь уже увивалась около нее.

Совершенное невежество и неуменье говорить выкупалось в ней природной хитростью и ловко усвоенными ею грациозными движениями и живописными позами, которые она принимала в известные минуты с величайшим искусством и необыкновенно привлекательною улыбкою, во время которой лицо ее имело такое выражение, которое так невольно и влекло к ней... Безграмотность и невежество (Шарлота с трудом подписывала свое имя) нимало, впрочем, не вредили ей; все эти блестящие господа, окружавшие ее, не были прихотливы на этот счет, потому что сами они от Шарлоты отличались только тем, что свободно болтали по-французски и читали романы Фудра и Дюма, о которых Шарлота, разумеется, никогда не слыхала.

Хотя Шарлота одинаково, по-видимому, кокетничала со всеми, но наблюдательный глаз мог заметить, что она начинает обращать особенное внимание на одного из них... я назову его хоть князем Езерским, потому что надобно же хоть как-нибудь назвать его. Он и она как-то уж слишком часто поглядывали друг на друга, и между им и ею начались уже *телеграфические знаки*. Шарлота чувствовала к нему влечение прежде всего потому, что он носил громкое имя и очень основательно считался тончайшим цветом великосветскости и образчиком военного comme il faut. Действительно, никто не привешивал с таким искусством аксельбанта, никто так ловко не пристегивал эполет, ни у кого не было сюртука такого покроя, никто так ловко не носил своей сабли, ни у кого из-под широких рукавов сюртука не выглядывало белье такой удивительной белизны и тонкости, ни у кого не было таких изящных запонок и английского пробора, расчесанного с таким искусством; никто не был так смел с женщинами и никто не танцевал ловче и лучше его. Он породил тьму подражателей; к тому же весь город кричал об его неслыханных успехах между женщинами и особенно о его победе над одной великосветской барыней, которая почему-то преимущественно обращала на себя

внимание Петербурга. Шарлота очень хорошо понимала, что близость ее отношений к этому человеку придаст ей еще более блеску и что Берта, Луиза, Арманс с ума сойдут от зависти, узнав об этом, потому что и Берта, и Луиза, и Арманс наперерыв друг перед другом употребляли всевозможные ухищрения кокетства, чтобы завлечь князя в свои сети. Замечательно то, что все эти дамы не имели относительно его никаких корыстных целей, потому что состояние его (это знали все) было очень расстроено и ограничено. Каждая из них, соблазненная единственно блеском его имени, его светскими успехами и тою ролью, которую он играл между великосветскою молодежью как утонченнейший представитель comme il faut, руководилась одною только соблазнительною мыслию иметь его своим другом, своим *Артюром*, как говорят французы, своим amant de coeur*, потому что эти дамы не могут обходиться без Артюров. Отдаться бескорыстно человеку незначительному и темному нет никакой выгоды. Необходимо, чтобы Артюр удовлетворял по крайней мере хоть тщеславию, чтобы частицу своего блеска он уделил своей возлюбленной, чтобы он был или модный художник, или необыкновенный артист, или безукоризненный comme il faut; чтоб он был непременно героем в каком бы то роде ни было, чтобы об нем везде и все кричали, чтобы ему удивлялись, завидовали, подражали и рукоплескали...

Князь был один из самых привлекательных Артюров, потому что он в этом случае удовлетворял всем условиям. Великосветскость для этих дам все-таки выше всех талантов, и они всегда предпочтут сценическому герою — героя салонного. Но независимо от всего, князь был так хорош собой, черты лица его были так тонки, темные волосы так мягки и густы, усы, оканчивающиеся одним волоском, так красивы, небольшие карие глаза так хитры и привлекательны, что если бы он даже не был тем, чем был,— он и тогда, я в этом уверен, мог бы подействовать на впечатлительную Шарлоту. Шарлота, как все немки, была при этом немножко сентиментальна и в патетические минуты говорила несколько нараспев.

В то самое время, как князь начал ухаживать за Шарлотой, к ней начал ездить очень богатый и уважаемый всеми господин. Он знал князя с той минуты, как тот вышел из пеленок, и был всегда особенно расположен к нему.

---

* другом сердца *(фр.)*.

но ему было неловко встретиться с ним у Шарлоты; к тому же к этой неловкости примешивалась ревность. Шарлота все это тотчас смекнула. Она устроила так, чтобы всеми уважаемый господин никогда не мог встретиться у нее с князем, нарочно отзывалась о князе, когда о нем заходила речь, с совершенным равнодушием и была до такой степени мила и внимательна с уважаемым всеми господином, так пристально смотрела на его лысину в свой бинокль в театре, с такою непритворною радостью встречала его, так соблазнительно ласкалась к нему, что уважаемый всеми господин, не отличавшийся никогда большою твердостью, совсем ослабел...

Через полгода после знакомства с ним Шарлота переехала на новую квартиру, о баснословной роскоши которой закричал весь город. Еще до ее переезда многие приезжали посмотреть на отделку этой квартиры. В особенности всех приводил в восторг ее будуар во вкусе Помпадур и столовая из резаного дуба, в которой, начиная от огромного буфета, на котором была вырезана звериная травля горельефом, до самой маленькой вещицы, все было самой утонченной артистической работы. Ее туалеты сделались еще роскошнее, экипажи еще блестящее (они выписывались из Лондона)... Шарлота затемнила окончательно всех своих соперниц, явилась во главе их и с тех пор называется не иначе, как Шарлота Федоровна.

Новоселье свое Шарлота Федоровна праздновала великолепным балом. Это был счастливый день в ее жизни. Она явилась перед всеми своими завистницами и соперницами в неслыханном блеске, и те, которые года три назад тому едва допускали ее к себе,— теперь невольно преклонились перед нею, в величии ее обстановки. Даже Арманс — ядовитая Арманс — ее непримиримый враг, смирилась перед этою роскошью и, с жадным и беспокойным любопытством рассматривая различные драгоценные украшения и вещи на каминах и зеркалах Шарлоты Федоровны, вдруг вскрикнула, обращаясь к окружавшим ее дамам, которые были крайне удивлены этим восклицанием: Ah!.. mais savez vous, mesdames, que c'est une femme de beaucoup d'esprit... beaucoup!* На бале Шарлоты Федоровны, кроме этих дам, были многие известные актрисы — немки и француженки. Общество мужчин было самое

* Ах!.. да знаете ли вы, сударыни, что это женщина большого ума... большого! *(фр.)*

избранное, в смысле великосветском. Шарлота Федоровна вела себя с величайшим тактом и была со всеми одинаково любезна и предупредительна, даже с своими заклятыми врагами и завистницами. Она была в этот вечер счастлива и нарочно показывала всем свое особенное расположение к князю Езерскому. Ей как будто хотелось сказать: «Смотрите, я его люблю и он меня любит. Чего же наконец недостает мне?»

О бале Шарлоты Федоровны и о ее великолепном ужине говорили в городе несколько дней. Великосветские дамы начинали интересоваться Шарлотой Федоровной: они расспрашивали об ее бале и, встречая ее на улице, не только измеряли ее с ног до головы, даже оглядывались. Женское любопытство пересиливало чувство аристократического достоинства...

Уважаемый господин — виновник всего этого блеска, который окружал Шарлоту Федоровну, никогда не показывался на ее великолепных вечерах, но изредка, говорят, устраивал у нее особые вечера, на которые приглашал только своих коротких приятелей и сверстников. Шарлота Федоровна имела над ним власть неограниченную, которая усиливалась с каждым днем. Несмотря на это, домашние сцены и бури бывали довольно часто. Причиною их по большей части была ревность.

Уважаемый господин ревновал Шарлоту Федоровну ко всем, но менее всех к князю Езерскому,— так хитро и ловко она вела себя. Сцены эти обыкновенно оканчивались полным торжеством Шарлоты Федоровны. Все подозрения разбивались в прах. Ее невинность выступала во всем блеске, и уважаемый господин испрашивал у нее прощения со слезами и на коленях.

Между тем Шарлота Федоровна, сблизившись с князем Езерским из тщеславия, начала привязываться к нему не на шутку. Не было дня, в который бы они не виделись хотя на минутку... Встречи эти назначались в Английском магазине, у Елисеева, во время устриц, и в других местах; а продолжительные свидания — в квартире одной из самых верных приятельниц Шарлоты Федоровны. Князь совсем не ездил к ней и только появлялся — и то не всегда — на ее званых вечерах. Эти свидания у приятельницы скоро оказались неудобными, и князь нанял для этой цели небольшую квартиру в одной из уединенных улиц, недалеко, впрочем, от центра города, меблировал ее просто, но со вкусом, поселил там преданного ему человека и завел маленькое хозяйство...

Когда Шарлота Федоровна в первый раз приехала на эту квартиру в условленный час, тайком, одна и в наемной карете, камин уже горел в маленькой гостиной и на столе зажжен был карсель под длинным бумажным колпаком. Князь в нетерпеливом ожидании сидел у камина с развернутою книгою на коленях... Здесь я кстати замечу мимоходом, что князь, считавшийся в свете очень образованным человеком, никогда никакой книжки, даже Поль-де-Кокова романа, не мог дочесть до конца... Он брал обыкновенно книгу, прочитывал две или три страницы — и задумывался. Один из его приятелей, с которым он жил вместе, сказал ему однажды, когда он лежал в таком созерцательном положении с открытою книгою, опрокинутою переплетом вверх:

— Сознайся, что не можешь прочесть двух страниц сряду. Скажи, пожалуйста, неужели тебе веселее так лежать, ничего не делая?

— А ты полагаешь,— отвечал ему князь, улыбаясь,— что я ничего не делаю? ты ошибаешься,— *я думаю,* и это для меня гораздо важнее и полезнее всяких книг.

Приятель засмеялся...

— О чем же ты думаешь? — спросил он.

— Я мысленно,— отвечал князь очень серьезно,— ставлю себя в различные положения относительно разных лиц в обществе и делаю планы, как я должен и как буду вести себя в таком или в другом положении. Эта игра очень забавная, и она занимает меня гораздо более ваших романов,— прибавил князь, улыбаясь...

В ожидании Шарлоты Федоровны князь, сидевший у камина с развернутою книгою, занят был, вероятно, этою остроумною игрою. Шарлота Федоровна вбежала в комнату в салопе и с муфтой... При виде пылающего камина она кинула муфту и захлопала в ладоши. Князь вскочил и бросился к ней, уронив книгу с колен. Он и не заметил, как вошла она, потому что Шарлота Федоровна не звонила и, не зная входа, прошла через заднюю лестницу... Князь расстегнул ей салоп, снял с нее шляпку... Шарлота Федоровна бросилась осматривать квартиру... Она была в восторге от всего, хотя приходить в восторг было не от чего; она резвилась, радовалась, прыгала, как дитя,— и беспрестанно обнимала своего *Сашу* — так называла она князя... Она сама разливала чай, болтала без умолку ужаснейший вздор, передавала ему все сплетни, которые плели Арманс, Берта, Луиза и другие, опутывая друг друга. И князь слушал все это с величайшим лю-

бопытством и принимал во всем этом живое участие. Шарлота Федоровна начинала немножко говорить по-французски и вмешивала в разговор французские фразы... Князь смеялся над ее ошибками. Время летело незаметно. Было уже половина двенадцатого.

— Мне не хочется домой,— сказала Шарлота Федоровна, лениво потянувшись и заложив руки к косе, которая чуть-чуть держалась, слегка поддерживаемая небрежно воткнутой гребенкой.— Я бы здесь хотела остаться.

— Что ж? оставайся,— возразил князь.

Шарлота Федоровна вздохнула.

— Разве мне можно? — произнесла она печально,— он такой несносный *мой,* такой ревнивый — беда. Он с ума сойдет, а я, Саша, хотела бы остаться с тобой долго, долго, до утра.

И Шарлота Федоровна, говоря это, с нежностью разглаживала густые и глянцовитые волосы князя.

— Ты не умеешь держать его в руках,— заметил князь.

— Неправда, ты меня не знаешь, у меня есть характер, у-у, какой характер! он рассердится и сейчас просит у меня прощенья, да еще на коленях; но нельзя же мне делать все, что я хочу. Я все-таки от него завишу. Ах, Саша, как мне скучно с ним! После театра он у меня сидит долго, все говорит, как меня любит; я задремлю, а он, я чувствую это и сквозь сон, все глаза с меня не спускает, все смотрит мне в лицо, а я думаю — вот если б вместо него ты был тут...

— Ну, а если бы тебе вместо двадцати тысяч,— перебил князь,— дали, например, полную свободу и тысячи четыре в год, так, чтобы ты не нуждалась, ты бы бросила его?

Шарлота Федоровна задумалась.

— Скажи только правду.

Шарлота Федоровна молчала.

Князь, улыбаясь, смотрел на нее в ожидании ответа.

— Может быть...— начала она и остановилась.— Нет, Саша, нет!.. я скажу всю правду. Я не могу, я привыкла много издерживать. Не сердись на меня, Саша... уж я такая, что ж мне делать? Я зато правду говорю тебе.

Князь засмеялся. Шарлота Федоровна также начала смеяться и потом поцеловала князя. Она беспрестанно переменяла свои позы на низеньком диване, стоявшем перед камином; то ложилась на плечо к князю, то обвивала его рукой, усаживалась на диване совсем с ножками,

то протягивала эти ножки, обутые в бледно-розовый чулок и туфли с каблучками, к камину. Часы пробили двенадцать.

— Ах, мне пора! — воскликнула Шарлота Федоровна, быстро вскакивая с дивана.

Она сделала два шага и вдруг остановилась.

— Знаешь что? Мне захотелось ужинать, Саша,— сказала она.— Я еще хочу остаться с тобой. Ты хочешь со мной ужинать?.. Ты хочешь, чтобы я осталась немного?

(Нельзя не заметить, что у этих дам всегда прекрасный аппетит.)

— Прекрасно,— отвечал князь,— только весь наш ужин будет состоять из холодной пулярки и сыра.

— Это чудо! Лучше ничего не надо! — закричала Шарлота Федоровна.

Ужин был принесен. Шарлота Федоровна скушала почти половину пулярки и выпила три стакана шампанского. Щеки ее разгорелись, развившиеся волосы падали на лицо. Она была очень хороша в эту минуту, и князь, глядя на нее, был очень доволен собой. Он любил ее в эту минуту, хотя, как истинный comme il faut, считал неприличным слишком обнаруживать свои чувства. Он держал себя с нею постоянно одинаково прилично и несколько равнодушно.

Часу в третьем князь сам довез ее до дома и выпустил, не доезжая до ее подъезда дома за два.

Такие свидания бывали раза два в неделю. Шарлота Федоровна была действительно привязана к князю, и эта привязанность выражалась очень наивно. Один раз из кармана ее платья посыпались какие-то бумажки. На вопрос князя: «Что это?» — она отвечала, что это билеты в лотерею; что одна ее знакомая (промотавшаяся камелия) разыгрывает свою турецкую шаль.

— Я взяла много билетов и много раздала,— прибавила Шарлота Федоровна,— мне очень жаль ее!

— А почем билет? — спросил князь.

— По двадцати пяти рублей.

— Дай мне четыре билета.

— Ни за что! — вскрикнула Шарлота Федоровна,— я знаю, кому отдать. У меня много таких... А я не хочу, чтобы ты попусту тратил деньги... у тебя денег мало. Зачем брать! не нужно.

Князь иронически улыбнулся.

— Что ж, ты воображаешь,— сказал он,— что я не в состоянии бросить ста рублей, если захочу?

Князь насильно взял у нее билеты и бросил деньги на стол.

Но Шарлота Федоровна-таки поставила на своем: она не взяла этих денег и отняла у него билеты, несмотря на его гнев.

Она не хотела подвергать его ни малейшим издержкам и даже упрекала его за то, что он много издержал на квартиру и слишком хорошо меблировал ее.

— Нам было бы довольно одной комнаты и одного дивана, Саша! — говорила она.

Князь подарил ей браслет с часами, и она не расставалась с ним, она постоянно носила его и берегла все его письма, как драгоценность. На эти письма Шарлота Федоровна отвечала раздушенными записочками на отличном французском языке, которые обыкновенно писала ей одна из ее приятельниц, та самая, в квартире которой князь имел свидания.

— Ты мне скажешь правду? — спросил он у Шарлоты после получения одной из ее записок, поразившей его уж слишком сильной изящностью слога.

— Ну, конечно, а разве я лгу когда-нибудь? — возразила она, нахмурив брови.

— Ну, так скажи мне, кто тебе писал эту записку?

— Я писала сама,— отвечала Шарлота Федоровна оскорбленным тоном.

— Нет, не ты,— отвечал князь спокойно.— Ты двух слов не напишешь правильно ни по-каковски.

Шарлота Федоровна клялась, что это писала она; наконец рассердилась, надулась и заплакала, но чрез минуту призналась во всем и, с беспокойством глядя в глаза князю, спрашивала его:

— Саша, ведь ты не будешь меня меньше любить оттого, что я безграмотна?

Она, точно, была привязана к князю и привязана бескорыстно, в этом нельзя было сомневаться, но в то же время она кокетничала и водила за нос одного молодого, очень богатого русского купчика, который из тщеславия готов был разориться на нее в пух, и другого известного почтенного старичка из немцев, нажившего мильоны посредством золотых промыслов. Почтенный старичок был влюблен в нее до безумия. Он таял при одном взгляде на нее и чуть не заплакал, когда она в первый раз позволила поцеловать ему руку. Шарлота Федоровна нежно смотрела на почтенного старичка, называла его «папашей» и, пользуясь его слабостью, обирала его

самым беспощадным образом, показывая ему в отдалении только слабый луч надежды. Она была даже у него два раза, и почтенный старичок чуть не помешался от этого счастия. Он показал ей все свои драгоценности: старое серебро, китайский и саксонский фарфор, мраморы и бронзы, и, кроме серебра и мраморов, все эти вещи вскоре перешли к Шарлоте Федоровне... А почтенный старичок все жил только слабым лучом надежды. Говорили, что молодой купчик был счастливее его, но что счастие его было кратковременно и обошлось ему недешево: он заплатил по векселям Шарлоты Федоровны около двадцати тысяч рублей серебром, и после этой уплаты дверь Шарлоты Федоровны заперлась для него навсегда. Темные слухи обо всем этом давно ходили между великосветскою молодежью, которую очень занимали скандальные похождения всех этих дам за неимением других интересов,— и, вероятно, дошли до князя Езерского. Князь спросил ее о купчике и о старике-золотопромышленнике. Шарлота Федоровна вспыхнула, начала клясться и божиться, что о купчике не имеет никакого понятия, что она слишком дорожит собой и таких... (она произнесла при этом: *фи!* и сделала гримасу) не пускает на порог своего дома, что с старичком-золотопромышленником она действительно встречается у своих приятельниц и что он строит ей куры, но что никаких вещей он никогда не думал дарить и что она ни за что не приняла бы от него в подарок даже букета цветов, что он ей гадок, противен, и прочее. Затем Шарлота Федоровна начала жаловаться, что Саша слушает про нее всякие гадкие сплетни и верит им, что он ее не любит, и прочее. Все, впрочем, окончилось благополучно, слезами и поцелуями.

Летом Шарлота Федоровна переехала на дачу на острова, а уважаемый всеми господин, вследствие расстроенного здоровья, по настоянию докторов, должен был уехать за границу. Прощание его с Шарлотой Федоровной было, говорят, истинно трогательно, так что все присутствующие прослезились. Он целовал ее руки и ноги, кряхтя и охая становился перед нею на колени, рыдал на ее груди, взял с нее торжественную клятву оставаться ему верной до возвращения, поручил своему управляющему выдавать ей все так, как выдавалось при нем, и, кроме того, положил на ее имя в ломбард довольно порядочную сумму с тем, чтобы она только пользовалась процентами. Шарлота Федоровна последним распоряжением не была, впрочем, довольна. Она, несмотря на все, сумела каким-то образом

задолжать огромные деньги своей модистке и в различные магазины.

На другой же день после отъезда уважаемого господина Шарлота Федоровна переехала на дачу, которая вся была уставлена цветами, — и в тот же вечер явился к ней князь Езерский, который просидел у нее до утра. Никогда она не чувствовала себя более счастливой: она была почти свободна. Почтенный старичок из немцев нанял также дачу на островах. Шарлота Федоровна принимала его к себе, не скрывая этого от князя, и заставляла делать почтенного старичка страшные дурачества, что, между прочим, очень забавляло и развлекало князя. Старичок в угодность ей носил соломенную пастушескую шляпу; она постоянно украшала его бутоньерку цветком, устраивала у себя маленькие танцевальные вечера и заставляла его танцевать, делать соло во французском кадриле и прочее.

Несмотря на все эти и еще более существенные пожертвования, дела старичка не подвигались. Прошло лето, наступила осень, и Шарлота Федоровна переехала на свою городскую квартиру. Стала зима. Старичок, мучимый ревностью, терял всякое терпение и решился обратиться к приятельнице Шарлоты Федоровны, к Лине Карловне, той самой, которая писала для Шарлоты Федоровны изящные записки на французском языке.

Лина Карловна не отличалась красотою, но имела ум вкрадчивый и проницательный; она получила довольно хорошее воспитание в каком-то пансионе за границею и развила себя чтением. Лина Карловна не увлекалась тщеславным внешним блеском, она была невзыскательна, экономна, кротка и тиха. Покровителем ее был, говорят, простой русский купец, с бородкой, но очень богатый, который привязался к ней сильно, плененный ее добродетелью, скромностью, аккуратностью и чистоплотностью. Лина Карловна жила тихо, откладывала деньги в ломбард и брала их оттуда для того, чтобы отдавать за огромные проценты своим приятельницам, разумеется, скрывая от них, что это ее деньги. Лина Карловна каждое воскресенье с своей книжечкой ходила в церковь, любила рассуждать о предметах нравственности и вообще более походила на сестру милосердия, чем на лоретку. Злые языки говорили, впрочем, что у Лины Карловны есть также свой *Артюр* — первая скрипка в опере.

Она встретила почтенного старичка, занимавшегося золотыми промыслами, без удивления и с большим уча-

стием и вниманием выслушала исповедь его долготерпеливой любви. В продолжение его речи, не совсем складной и с запинками, Лина Карловна по временам испускала глубокие вздохи, а в местах слишком щекотливых застенчиво потупляла глаза. Когда он кончил, прося ее совета, она отвечала:

— Все, что я могу вам сказать,— это то, что Шарлота Федоровна очень вас уважает и любит. Она немножко легкомысленна, но, я могу вас уверить, очень умеет ценить людей солидных,— вы это увидите; будьте покойны.

Лина Карловна говорила тихо, скромно, однозвучно и убедительно, вставляя иногда в разговор очень кстати нравственные сентенции, и привела в совершенное восхищение почтенного старичка, который высоко ценил скромность и добродетель.

С этого дня он очень часто прибегал за советами к Лине Карловне. Лина Карловна действовала в его пользу; к тому же поле действия с некоторого времени было очищено. Князь выехал на несколько времени из Петербурга по делам службы...

После долгих совещаний и переговоров решено было, что почтенный старичок для достижения своих целей должен был заплатить самые беспокойные и важные долги Шарлоты Федоровны.

Он согласился на все, просиял, сделал какой-то драгоценный подарок Лине Карловне и составил в голове своей восхитительную пасторальную фантазию совершенно в немецком вкусе, которая должна была разыграться в счастливый для него день.

Условились так, чтобы накануне Нового года ужинать втроем у Донона. Старичок заказал великолепный ужин. После ужина он должен был отвезть Шарлоту Федоровну домой; но так как он приготовлял для нее различные сюрпризы, то Лина Карловна пригласила Шарлоту Федоровну на целый день к себе. Старичок послал к ней на квартиру целый лес деревьев и камелий в цвету и роскошно разубранную корзинку, вроде corbeille de noce*, которая была доверху наложена различными дорогими галантерейными вещами: брошками, браслетами, кольцами и на дно которой были положены два ломбардных билета, по 5000 рублей каждый.

Шарлота Федоровна с утра явилась к Лине Карловне.

---

* свадебной корзинки *(фр.)*.

Шарлота Федоровна была в некотором волнении. Она показала своей приятельнице два письма, которые только что получила: одно от всеми уважаемого господина, который писал ей, что здоровье его значительно поправилось, что он совершенно посвежел и помолодел, надеется возвратиться скоро в Петербург, ждет с ней минуты свидания, как величайшего блаженства, и надеется вполне, что она сдержала клятву, данную ему при расставаньи; другое письмо — от князя. Это не было так длинно и нежно, как первое: князь просто уведомлял, что он кончил свое дело неожиданно скоро и надеется возвратиться в Петербург гораздо ранее того, чем предполагал...

— Знаешь ли, Лина, у меня есть предчувствие,— сказала Шарлота Федоровна,— что Саша приедет сегодня, и я знаю, что он прямо приедет ко мне, в котором бы это часу ни было... Нельзя ли как-нибудь отделаться от этого противного и сладкого старичишки?

— Это нехорошо,— отвечала Лина Карловна,— вспомни, Шарлота, какой он благороднейший человек... Надо быть внимательнее к такого рода людям; ты уж зашла с ним слишком далеко. Сколько денег и вещей ты перебрала у него!

— Ах, я несчастная! — вскричала Шарлота Федоровна.— Я безумная, я не знаю, зачем я это все сделала. Я возвращу ему его вещи, его деньги...

— Ты говоришь неправду, это пустяки,— перебила Лина Карловна,— ты этого не сделаешь и не можешь сделать; ссориться с ним и оскорблять его тебе не следует. Подумай, что он может пригодиться тебе. На твоего покровителя рассчитывать долго нельзя. Он еле дышит, хоть и рассказывает, что помолодел; князь же твой... ну, это что такое? каприз, больше ничего — он более, я думаю, стоит тебе, нежели ты ему... Если же ты дала слово, так и должна сдержать его... Он свое сдержал...

Шарлота Федоровна надулась. Лина Карловна подошла к ней с истинно материнскою нежностью и поцеловала ее...

— Знаешь ли, Шарлота,— продолжала она с таинственной вкрадчивостью,— он приготовил тебе такие сюрпризы... ты уж никак не ожидаешь — и все это будет послано к тебе сегодня. Видишь ли, какой человек!.. И ты, дурочка, не ценишь своего счастья...— прибавила она с нежностью,— а знаешь ли, что я не встречала женщины такой счастливой, как ты...

При слове «сюрпризы» глаза Шарлоты Федоровны засверкали.

— Что такое, душенька Линочка, какие сюрпризы? скажи мне! — вскрикнула она, оживляясь.

— Ты увидишь...

— Но скажи, в каком роде? Что такое?.. Какой-нибудь браслет!.. но они уж мне надоели... У меня их столько! — произнесла с гримасою и как бы думая вслух Шарлота Федоровна и потом обратилась к Лине Карловне.— Послушай, Лина,— сказала она,— я слово свое сдержу, я тебе клянусь, но только не сегодня, пожалуйста, не сегодня... Милая Линочка, спаси меня, помоги мне...

— Что же я могу тебе сделать?

— Ты только не оставляй меня одну с ним... я прошу тебя об этом...

Лина Карловна несколько минут колебалась, но потом согласилась, расцеловала Шарлоту и сказала:

— Ну, смотри, Шарлота, только сдержи свое слово.

Почтенный старичок явился на ужин раздушенный и завитой. Продолговатое и рябоватое лицо его лоснилось от счастия. На нем был фрак, тончайшая рубашка, застегнутая солитером, и желтые перчатки. Он точно нарядился на свадьбу, недоставало только белого галстуха. Ужин был сервирован великолепно, комната затоплена светом по его приказанию. На столе стояли, между прочим, две вазы с редчайшими букетами цветов.

Ужин, однако, не мог назваться одушевленным. Шарлота Федоровна была не то задумчива, не то рассеяна. Лина Карловна не отличалась вообще большою живостью. Она говорила, как всегда, очень умно, рассудительно и серьезно, стараясь развлечь старичка, который все с беспокойством посматривал на Шарлоту Федоровну. Раздавался только стук ножей и вилок о тарелки и мерный, несколько монотонный голос Лины Карловны. Самые свечи горели как-то тускло и цветы в вазах опустили головки и начинали вянуть преждевременно.

Что, если б каким-нибудь образом за этим ужином вдруг очутилась Арманс? Я убежден, что с ее появлением все воскресло бы и одушевилось, шампанское заиграло бы сильнее в бокалах, цветы подняли бы головки, свечи загорелись бы ярче, комната огласилась бы криком, песнями и хохотом. Француженки удивительны в таких случаях!

Когда после ужина почтенный старичок обратился

к Шарлоте Федоровне с предложением довезти ее, Лина Карловна сказала ему: «Я надеюсь, что вы будете уж так любезны, что и меня довезете. Мы как-нибудь усядемся втроем». Почтенный старичок невольно скорчил гримасу и с недоумением посмотрел на Лину Карловну, которая не хотела заметить этого взгляда...

Квартира Шарлоты Федоровны была ближе, и потому надобно было завезти ее первую. Дорогою все трое молчали; старичок целовал кисть руки Шарлоты Федоровны у самой пуговки перчатки. Карета повернула в ту улицу, в которой жила Шарлота Федоровна. Шарлота Федоровна с беспокойством выдернула свою руку из руки почтенного старичка и начала глядеть в окно...

— Папаша, милый папаша! — сказала Шарлота Федоровна,— вы на меня не сердитесь, я прошу вас...

Карета подъезжала к дому. Шарлота Федоровна с нетерпеливым волнением опустила стекло, взглянула наверх и увидела свет в окне своей маленькой гостиной... «Саша приехал! Саша здесь!» — промелькнула у нее мысль. Ее предчувствие сбылось.

— Я не могу,— продолжала она,— не могу сегодня... Клянусь, не могу!.. Лина скажет вам почему... не браните меня.

Карета остановилась в это мгновение — и Шарлота Федоровна так быстро выскочила из кареты, так быстро исчезла в дверях подъезда, что почтенный старичок не скоро мог опомниться. Лина Карловна высунулась из окна и закричала кучеру, чтобы он ехал к ней. Карета двинулась.

Все очаровательные фантазии старичка вдруг разрушились. Вся идиллия, придуманная им заранее, разлетелась в прах: поднесение корзинки с вещами и ломбардными билетами, лес камелий, через которые они должны были проходить,— все эти сюрпризы, от которых, конечно, Шарлота Федоровна должна была прийти в восторг; наслаждение этим восторгом, когда она при нем стала бы рассматривать эти вещи, ее благодарность, ее нежные взгляды на него,— все, все исчезло, как сон... Почтенный старичок вдруг очнулся, терзаемый гневом и отчаянием.

— Что же это все значит? — сказал он задыхающимся голосом, обращаясь к Лине Карловне.— Разве так поступают с порядочными людьми? Это гадко, подло... я не позволю вертеть собой, как пешкой... я...

— Успокойтесь и выслушайте меня, будьте рас-

судительным,— произнесла Лина Карловна своим кротким и убедительным голосом.

— Но нельзя же так поступать... Надо знать совесть, стыд; она водит меня больше года...

— Любите ли вы ее или нет? — перебила его Лина Карловна...

— Люблю ли я ее! — вскрикнул он, разрывая перчатки и бросая их,— я с ума схожу, я умираю от любви к ней... У меня жена, дети, я отец семейства — и для нее я забыл все; я компрометирую себя, я не щажу для нее ничего... Люблю ли я ее!.. А она смеется надо мной!

— Прекрасно. Если вы любите ее, так выслушайте меня и будьте рассудительны. Она вас не обманывает, она не смеется над вами,— за это я вам отвечаю, а я в жизнь свою еще никому не сказала неправды. Знаете ли, что она борется между долгом к своему покровителю и расположением к вам? Мы все обязаны исполнять наш долг. Это первое. Положим, она не любит его, но она всем ему обязана и она чувствует это. Это ее убивает; она сегодня целый день проплакала у меня. Она говорит, что она должна вести себя так, чтобы он не имел права ни в чем упрекать ее. Если вы любите ее, вы должны оценить в ней эти похвальные, прекрасные черты. Благодарность показывает хорошее сердце. Сегодня она особенно расстроена, потому что получила от него письмо... Но это пройдет, она обдумает все и поймет, что вам она обязана такою же благодарностью. Я ей повторяю это беспрестанно; она, впрочем, сама это чувствует. Она имеет к вам, я вам скажу, даже какую-то особенную нежность... Успокойтесь, ради бога, мой добрый друг! — прибавила Лина Карловна в заключение, пожав с участием руку старичка,— будьте рассудительны.

Слова эти действительно произвели на него успокаивающее действие, и он нашел, что чувства благодарности Шарлоты Федоровны к своему покровителю точно делают ей величайшую честь, а самолюбие заставляло его верить, что Шарлота Федоровна питает к нему особенную нежность, но все еще какое-то неопределенное сомнение тревожило его.

— А князь Езерский? — спросил он, повернувшись к Лине Карловне всем туловищем.

— Об этом и говорить не стоит. Это увлечение в ней совсем прошло; к тому же его теперь нет в Петербурге и она совсем забыла об нем.

Когда карета подъехала к дому, где жила Лина

Карловна, она еще раз взяла его за руку и своим вкрадчивым голосом сказала:

— Не сердитесь на нее, не показывайте ей, что вы огорчены. Это ее ужасно расстроит,— я знаю. Дело ваше будет устроено — и скоро — в этом я вам отвечаю, а я никогда напрасно не говорю... Слушайтесь только во всем меня. Потерпите немного и будьте рассудительны.

Почтенный старичок расцеловал ручки Лины Карловны и простился с нею...

Когда Шарлота Федоровна выскочила из кареты, она так нетерпеливо дернула ручку звонка, что все люди в доме всполошились.

— Кто здесь? — спросила она у лакея.— Отчего огонь наверху?

— Вас дожидаются князь Александр Кириллыч,— отвечал человек,— они уже больше часа здесь...

Шарлота Федоровна сбросила с себя салоп и взбежала наверх с биением сердца и, запыхавшись, бросилась на шею своему Саше.

Князь холодно прикоснулся к ее лбу и спросил:

— Откуда так поздно?..

Князь уже успел после приезда видеться с некоторыми своими приятелями, которые передали ему, разумеется, с преувеличениями, все похождения его возлюбленной. К тому же князь, начинавший в это время ухаживать за одной знаменитой певицей, искал, кажется, только предлога, чтобы расстаться с Шарлотой.

— Я была у Лины,— отвечала Шарлота Федоровна, нимало не задумавшись,— она, бедная, нездорова... Ах, как я рада тебя видеть, Саша!.. Мое сердце предчувствовало, что ты сегодня приедешь!..

— В самом деле,— перебил князь,— я вижу по всему, что ты ждала меня..

— Да что с тобой, Саша? Полтора месяца не видал меня и хоть бы сколько-нибудь обрадовался мне!..— жалобным голосом простонала Шарлота Федоровна...

— Что, ты замуж выходишь? — спросил князь, не обращая внимания на ее слова.

— Ты с ума сошел!.. Что с тобой?..

Князь взял со стола свечу и пригласил с собою Шарлоту Федоровну в большую гостиную, которая была решительно превращена в сад, и подвел ее к столу, стоявшему посредине комнаты, заваленному различными книжками

в раззолоченных переплетах, на которых поставлена была корзинка, убранная цветами и лентами.

— Это что такое? — спросил он.— Кто этот счастливец, который на тебе женится?

Шарлота Федоровна поняла, что лес камелий и эта корзинка — сюрпризы почтенного старичка... Ей смертельно захотелось открыть корзинку и посмотреть, что в ней, но она удержалась и произнесла с гримасой:

— Я и не знаю, что это такое... Это глупости, о которых я и не подозревала. Я уверена, что это прислал мне этот поганый старичишка (она назвала фамилию почтенного старичка, занимавшегося золотыми промыслами); он мне надоел с своими подарками — и я завтра же отошлю ему все это назад.

— Ты лжешь,— сказал князь, приподнимая крышку корзинки, вытаскивая оттуда поодиночке браслеты, брошки и проч. и бросая их,— такие вещи не дарят *так*, даром, и ты не отошлешь их...

Князь дорылся до ломбардных билетов, взглянул на них, показал ей и спросил, засмеявшись:

— И это тоже *так*?.. Он все это посылает тебе только за одни твои прекрасные глазки? Ты лжешь нагло. Это противно. Я знаю все твои проделки, ты меня не обманешь...

Князь вышел из себя, несмотря на свою утонченную деликатность, и наговорил тысячу разных оскорблений бедной Шарлоте Федоровне.

Она молчала. Она стояла несколько минут бледная, как смерть, не шевелясь, и вдруг схватила себя за голову, зарыдала и упала на стул.

Князь холодно произнес:

— Пожалуйста, без сцен. Это напрасно.

И вышел из комнаты.

Шарлота Федоровна с криком: «Саша! Саша! выслушай меня!» бросилась за ним, но князь уже сбежал вниз. Она несколько времени простояла на одном месте с помутившимися и остолбеневшими глазами, потом вдруг начала судорожно дергать снурок звонка и кричать: «Дайте мне салоп и шляпку... Извощика!.. (Она хотела догонять его.) Скорей, скорей!» Горничная в испуге прибежала на этот крик... Но Шарлота Федоровна так ослабела, что упала на руки горничной почти без памяти. Ее кое-как раздели и уложили.

На следующее утро она встала очень бледная и расстроенная, что не помешало, однако, ей рассмотреть в под-

робности все вещи, присланные почтенным старичком, и спрятать в шкатулку ломбардные билеты. Это занятие несколько развлекло ее — и она велела закладывать коляску, чтобы проехаться.

В этот же день она получила от князя очень вежливое и сухое письмо. Он извинялся, что оскорбил ее, не имея на то никакого права, и вместе с этим посылал ей три тысячи рублей. Мысль, что он был *Артюром* этой женщины, не давала покоя его великосветскому самолюбию, и посылкою этих трех тысяч рублей он думал расквитаться с нею и несколько успокоить себя. Шарлота Федоровна тотчас же отослала ему назад эти деньги при следующей записке, которую она сама кое-как нацарапала: «Я не ждала это от вас. После этого все между нами кончено, а я любила вас и не продавала вам себя,— денег ваших мне не нужно».

Две недели после этого она была неутешна, плакала и жаловалась на судьбу и не виделась ни с кем, кроме Лины Карловны. Через две недели она начала опять показываться в публике и принимать к себе почтенного старичка, занимающегося золотыми промыслами... Через полтора месяца она совсем утешилась и свела, говорят, очень короткую приязнь с каким-то знаменитым приезжим артистом. Артист этот поступил на очистившуюся вакансию *Артюра*.

Вот что такое Шарлота Федоровна, распоряжавшаяся пикником в Лесном институте в среду на масленице. Она, как видно, процветает до сей минуты и окружена толпою поклонников.

ПРИМЕЧАНИЯ

За два года до смерти Панаев произвел отбор прозы, созданной им почти за четверть века, и подготовил два издания, в которые вошли наиболее значительные, на его взгляд, произведения. Беллетристика была собрана в «Сочинениях И. И. Панаева» (т. I—IV. Спб., 1860; далее сокращенно: *Сочинения*), а очерки, фельетоны и зарисовки, публиковавшиеся в «Современнике» под псевдонимом «Новый поэт», составили «Очерки из петербургской жизни Нового поэта» (ч. 1—2. Спб., 1860; далее сокращенно: *Очерки*). Наиболее полно прозаическое наследие Панаева представлено в двух посмертных изданиях (Первое полн. собр. соч., т. 1—6. Спб., 1888—1889; Собр. соч., т. 1—6. М., 1912), которые, однако, не притязали на научный характер.

В советское время — если не считать двух изданий «Литературных воспоминаний», подготовленных Р. В. Ивановым-Разумником (Л., 1928) и И. Г. Ямпольским (Л., 1950; далее сокращенно: *Лит. воспоминания*),— проза Панаева лишь однажды была собрана под одной обложкой: Панаев И. И. Избр. произведения. М., 1962 (составление, вступительная статья и примечания Ф. М. Иоффе; далее сокращенно: *Избр. произведения*); и хотя в этот объемистый том входит четырнадцать повестей и очерков, за его пределами, разумеется, остался целый ряд сочинений, не утративших и поныне своего художественного и историко-литературного значения.

В настоящее издание включено семь произведений Панаева, написанных с 1840 по 1857 г; шесть из них не переиздавались с начала XX века.

В примечаниях — в необходимых случаях — приводятся разночтения первопечатного и окончательного текста. Упоминающиеся в тексте имена общеизвестных исторических деятелей (Екатерина II), писателей, художников и композиторов (Крылов, Корреджио, Глюк) не аннотируются.

БЕЛАЯ ГОРЯЧКА

Впервые: Отечественные записки, 1840, № 5, отд. III, с. 5—93. Подпись: Ив. Панаев. При жизни автора не переиздавалось. Печатается по тексту первой публикации.

Как указывалось в редакционном примечании, эта повесть «имеет близкое <...> отношение» к повести Панаева «Дочь чиновного человека» (Отечественные записки, 1839, № 4): в обоих произведениях одним из главных героев является «живописец Средневский — имя, разумеется, вымышленное» (Отечественные записки, 1840, № 5, отд. III, с. 11). О дилогии Панаева, а также о прототипе Рябинина, персонажа «Белой горячки», см. вступ. ст. (с. 9—11).

С. 21. *«С кого они портреты пишут...»* — Цитата из стихотворения Лермонтова «Журналист, читатель и писатель» (1840), опубликованного в «Отечественных записках» за месяц до появления «Белой горячки».

...одна изображала Ревекку у колодца <...> синеватою дымкою; с. 25—27.— *Ведь это покойница <...> и отдала богу душу*; с. 34—35.— *Проклятая чиновница! <...> знакомство с нею.*— Здесь излагаются или упоминаются эпизоды из повести «Дочь чиновного человека» (см.: *Избр. произведения,* с. 74—138).

С. 22. *Верне Гораций* (1789—1863) — французский живописец, работавший в России в 1836 и в 1842—1843 гг.

С. 35. *...и он, как у Шиллера <...> золотым кубком.*— Реминисценция из стихотворения «Кубок» (1806; рус. пер. В. А. Жуковского — 1820).

С. 37. *«Мейстер Фло»* (1822) — сказка Э.-Т.-А. Гофмана, печатающаяся ныне под заглавием «Повелитель блох».

С. 49. *...с ключами старого Кремля.*— «Евгений Онегин», гл. седьмая, XXXVII.

С. 56. *...слова, слова...*— «Гамлет», действие 2, сцена 2.

Как величавая луна...— «Евгений Онегин», гл. седьмая, LII.

С. 69. «Feuilles d'automne» («Осенние листья») — поэтический сборник В. Гюго, вышедший в 1831 г.

«Как до звезды небесной далеко...» — Цитата из стихотворения В. А. Жуковского «Утешение в слезах» (1817).

С. 77. *Румянцев молньи дхнет сугубы...*— Цитата из стихотворения Г. Р. Державина «На смерть графини Румянцевой» (1788): «Терпи! — Самсон сотрет льву зубы, А На́вин потемнит луну; Румянцев молньи дхнет сугубы, Екатерина тишину». Возможно, что Панаев, дальний свойственник Державина, в данном эпизоде опирался на какие-то семейные предания, однако по свидетельству современников поэт избегал декламировать собственные стихи.

С. 78. «Méditations Poétiques» — поэтический сборник А. де Ламартина, вышедший в 1820 г.

С. 80. *Палки* — карточная игра.

Мальтийское командорство <...> красный мундир.— В 1798 г. великим магистром Мальтийского ордена (ордена Св. Иоанна Иерусалимского) был избран Павел I, который тогда же издал манифест о его распространении «в пользу российского дворянства». Красный мундир отличал носителей высшего орденского звания — командоров. В 1817 г. Александр I отказался от звания великого магистра, и с этого времени орден в России более не существовал.

С. 82. *...остановишься невольно...*— цитата из стихотворения Пушкина «Красавица» (1832).

С. 92. *Непредвиденные обстоятельства <...> с русскими журналистами...*— Формулой «по непредвиденным обстоятельствам» («по независящим от редакции обстоятельствам» и т. п.) в русской печати пользовались для обозначения цензурного вмешательства.

С. 102. *«Что умирать <...> и вдохновенье...»* — цитата из «Моцарта и Сальери» (монолог Сальери).

С. 106. *...«что живое, внешнее побуждение <...> к искусству».* Цитата из новеллы «Артусова зала»; см.: Гофман Э.-Т.-А. Серапионовы братья./Пер. И. Бессомыкина. М., 1836, ч. II, с. 146—147.

ОПЫТ О ХЛЫЩАХ

Великосветский хлыщ

Впервые: Современник, 1854, № 11, отд. I, с. 9—122. Подпись: Иван Панаев. Печатается по изд.: *Сочинения*, т. III, с. 3—161.

В облике одного из персонажей — Алексея Афанасьевича Грибанова — отразились некоторые черты известного живописца, академика Николая Аполлоновича Майкова (1796—1873). В ноябре 1854 г. литератор и библиограф Г. Н. Геннади отметил в записной книжке: «Майков радушный и беззаботный хозяин, и у них всегда много гостей, особенно молодежи. Он сам всегда в своем старом пальто, без галстуха, иногда небрежный, нечесаный и с ремешком на голове. В 11 книжке «Совре-

менника» <...> Панаев вывел его в своих «Хлыщах» и сделал его художником, лепящим из воску. Это гнусная карикатура, даже не карикатура, какой-то слепок нескольких смешных черт. Непростительно было это сделать Панаеву, который был всегда хорошо принят в доме» (ОР и РК ГПБ, ф. 179, № 8, л. 25—25 об.). Панаев действительно был вхож в дом Майковых с конца 1830-х гг. и посвятил этой семье вполне сочувственные строки в своих позднейших мемуарах (см.: *Лит. воспоминания*. с. 105—106). Есть основания предположить также, что в образе младшего Грибанова — стихотворца Ивана Алексеевича — Панаев высмеял поэта Аполлона Николаевича Майкова: именно в 1854 г. тот написал стихотворение «Коляска» (панегирик Николаю I), которое хотя и не было опубликовано, но получило распространение в литературном мире, заметно подорвав репутацию поэта. Подробнее об этой семье см.: Деркач С. С. И. А. Гончаров и кружок Майковых.— Ученые записки ЛГУ, № 355, серия филолог. наук, вып. 76, 1971, с. 18—38.

С. 110. *Поль-потеровская коровка-то!* — Поттер Паулус (1625—1654) — голландский живописец, прославившийся изображением животных.

С. 113. *Я видел деву на скале* — романс Н. С. Титова (1830) на стихи Пушкина «Ты видел деву на скале» (1825); *Цветок* («Минувшая краса полей...») — романс А. Е. Варламова (1838) на стихи Жуковского (1811), *Сто красавиц черноокив* — романс М. И. Глинки (1834) на стихи Жуковского («Сто красавиц светлооких...», 1822); *Любила я твои глаза* — романс М. Ю. Виельгорского (1852) на стихи неизвестного автора.

С. 115. *Цветок засохший, безуханный...*— романс начала 1840-х гг. на стихи Пушкина (1828); *Коварный друг, но сердцу милый...*— романс Н. А. Титова на стихи М. А. Офросимова (1835).

С. 119. *Карсель* — старинная лампа, снабженная особым механизмом для подъема масла.

С. 129. *Хотя полька <...> еще новостью.*— Мода на польку пришла в Россию в сезоне 1844—1845 гг. См. кн.: Столпянский П. Н. Старый Петербург. Музыка и музицирование в старом Петербурге. Л., 1925, с. 79—80.

С. 156. *Балаганы на Адмиралтейской площади* (в Петербурге) сооружались на время гуляний, происходивших дважды в год: на масленой и пасхальной неделях; балаганы *под Новинским* в Москве, в районе Садового кольца, сооружались для гуляний, происходивших 1 мая.

С. 170. *Рамбулье* Екатерина (1588—1665) — хозяйка и душа знаменитого парижского салона, в котором собиралась интеллектуальная элита Франции.

Малек-Адель — герой романа французской писательницы М. Коттен «Матильда, или Кровавые походы» (1805).

С. 173. *Так говорил <...> к раменам преклонивши.*— «Илиада», песнь XIII, стихи 487—488.

С. 179. *Лоделаван* — ароматическая вода.

С. 180. *...лупит чистоганом из не люба не слушай...*— Намек на пословицу «Не любо не слушай, а врать не мешай».

С. 191. *«Сомнамбула»* — опера В. Беллини (1829).

С. 195. *На заре ты ее не буди...*— романс А. Е. Варламова на стихи Фета (1842).

С. 196. *Горные вершины...*— романс Варламова на стихи Лермонтова (1840); *Мы живем среди полей...*— песня из оперы А. Н. Верстовского «Пан Твардовский» (1828) на стихи М. Н. Загоскина (1827).

С. 199. *Фрикасе* — нарезанное и варенное в кастрюле мясо; *финьзерб* — мелконарубленная трава; *плом-пудинг* — сливовый пудинг.

Провинциальный хлыщ

Впервые: Современник, 1856, № 4, отд. I, с. 141—216. Подзаголовок: «Очерки нравов». Подпись: Иван Панаев. Печатается по изд.: *Сочинения*, т. III, с. 165—274.

В кругу «Современника» этот очерк считался несомненной удачей Панаева и едва ли не лучшим во всем цикле о хлыщах. В письме С. Д. Полторацкому от 30 августа 1856 г. М. Н. Лонгинов просил передать Панаеву: «...я очень доволен его вторым «Хлыщом»; он выдержаннее и полнее первого. <...> Вообще, во всем живость, правда; пусть не слушает крикунов, а следует личному призванию, лучше его в этом роде никто не пишет» (цит. по примеч. Ф. М. Иоффе в кн.: *Избр. произведения*, с. 678—679; см. также вступ. ст., с. 15—16).

С. 226. *«Киа-Кинг»* — пантомимический «китайский» балет (музыка Д. Россини, Г. Спонтини и П. Романи); поставлен в Петербурге А. Титюсом в 1832 г.

С. 227. *«Бронзовый конь»* — комическая опера Д. Обера (либретто Э. Скриба), премьера которой в Петербурге состоялась в 1837 г.

С. 231 *«Катарина — дочь разбойника»* — балет Ч. Пуни; поставлен в Петербурге Ш. Перро в 1849 г.

С. 232. *«Коро и Алонзо, или Дева Солнца»* — балет Ф. Антонолини, поставлен в Петербурге Ш. Дидло в 1820 г. *«Пажи герцога Вандомского»* — балет В. Гировеца, поставлен в Москве Ж. Ришаром в 1825 г.

С. 235. *«Восстание в Серале»* — балет Т. Лабарра; поставлен в Петербурге Ф. Тальони в 1837 г. Ведущую роль в спектакле исполняла французская танцовщица Мария *Тальони* (1804—1884).

С. 243. *...и запел из Роберта: «Обидное сомненье!»* — Имеется в виду ария из оперы Дж. Мейербера «Роберт-Дьявол» (1830).

С. 265. *Греведон* Пьер-Луи (1882—1860) — французский живописец и литограф.

Пиго-Лебрёнь (наст. имя и фамилия — Пиго де Лепинуа Антуан; 1755—1835) — французский писатель, сочинения которого в ту эпоху считались фривольными.

С. 270. *...к этим блумеристкам...* — Блумер Амелия (1818—1894) — американская суфражистка; в 1849 г. предложила новую форму женской одежды — короткую юбку поверх широких брюк.

С. 275. *...такого рода людей!* — В первопечатном тексте далее следовал монолог Скулякова:

«Когда мы вошли в комнату и зажгли свечи, я заметил волнение и беспокойство на лице Скулякова. Он несколько раз прошелся по комнате, не говоря ни слова, потом вдруг круто повернулся ко мне и произнес с горячностью, сжимая свои кулаки:

— А это все вы снабжаете нас такого рода господами! Они только могут зарождаться у вас, в этих огромных городах, где кишат суетность, корыстолюбие, тщеславие, эгоизм... также в огромных размерах. Хороша сфера, вырабатывающая таких господ, как Летищев! Этот человек, мягкий по натуре, который по настоящему и мухи не в состоянии обидеть, все посты соблюдающий, всегда подающий нищему,— пускает по миру сотни людей, которые трудятся для удовлетворения его безумия в поте и крови, и делается бессознательным убийцею: отравляет медленным ядом несчастную женщину, да еще корчит перед нею сентиментальные рожи и плачет. А до всего этого довело его проклятое тщеславие!.. Ах, господа! вы его всасываете с молоком матерей, а потом всюду разносите с собой эту общественную проказу... Я не бросаю камня в Летищева. Он гадок; но виноват не столько он, сколько среда, из которой он вышел. Она изуродовала и обезобразила его, да еще и издевается над ним... Честь,

долг, совесть, убеждение — все приносится в жертву тщеславию! Люди, которые очень хорошо понимают, что такое бескорыстие, честное служение отечеству, служат между тем из одних личных выгод, только из того, чтобы выдвинуться вперед, чтобы получить разные украшения и чтобы наслаждаться потом, как вся эта мелочь будет кувыркаться перед ними. Это еще, впрочем, невинные, а есть и такие, которые на службу смотрят просто, как на средство к приобретению: эти хапуны-то!.. ну, эти уж не церемонятся: берут все, что подсунут им под руку, и наживаются, составляют капиталы — и все для того, чтобы потом тянуться за богатыми, щеголять своими обедами, удивлять своими экипажами и любовницами — все-таки из тщеславия! Негодяи везде есть, и — слава богу! — у нас еще их мало; но дурно, господа, то, что такого рода люди пользуются значением, что им приятно улыбаются, жмут им крепко руки — эти руки, которые нахапали-то! ездят к ним, объедаются их обедами и ужинами; дурно то, что общественное мнение вместо того, чтобы карать такого рода людей, покрывать их позором и презрением, преклоняется перед всяким богатством, не разбирая, как оно нажито, и отворачивается от бедности потому только, что она ходит в честных лохмотьях; дурно то, что общественное мнение на стороне тщеславия; что оно допускает его развиваться свободно и проникать во все классы общества... Я, впрочем, дикарь, я живу в захолустье и смотрю, может быть, на все слишком мрачно... Весь мой мир заключается в этих сорока душах; но я делаю для них все, что могу, по совести. Я исполняю свой долг.

Никогда Скуляков не говорил так много. Видно, что у него была потребность высказаться: каждое слово его было прочувственно и выходило из потрясенной души». (Современник, 1856, № 4, отд. I, с. 214—216.)

Хлыщ высшей школы

(De la haute école)

Впервые: Современник, 1857, № 4, отд. I, с. 149—195. Подпись: Иван Панаев. Печатается по изд.: *Сочинения*, т. III, с. 277—346.

С. 277. *Барнум* Финеас Тейлор (1810—1891) — американский антрепренер, возивший по Европе цирковую группу, в которую входил карлик *Том Пус*.

С. 278. *Рубини* Джованни (1795—1854) — итальянский певец (тенор); в 1840-х гг. выступал в России, где прославился исполнением партии Эдгара в опере Г. Доницетти «*Лючия* ди Ламмермур» (1835).

С. 280. ...*«наши общественные раны»*...— Из «Театрального разъезда после представления новой комедии» (Гоголь Н. В. Полн. собр. соч. в 14-ти т., т. 5. Л., 1949, с. 152).

С. 285. *Генрих* V (граф Шамбор; 1820—1883) — внук Карла X, французского короля, свергнутого в 1830 г.; последний отпрыск старшей ветви Бурбонов. В 1830—1850-е гг. роялисты провозглашали Генриха V «законным» наследником престола.

С. 286. *Готский альманах* — ежегодное издание на немецком и французском языках, выходившее в г. Готе с 1763 г.; здесь содержались важнейшие сведения по генеалогии аристократических фамилий всей Европы, а также отмечались дипломатические назначения.

С. 290. ...*вступали в клику театралов*...— см. очерк «Провинциальный хлыщ».

С. 299 *Гизо* Франсуа Пьер Гийом (1787—1874) — историк и политический деятель; в 1840—1847 гг.— министр иностранных дел, в 1848 г.— премьер-министр Франции при короле Луи-Филиппе. *Палаты* — французский парламент, состоявший из двух палат.

ОЧЕРКИ ИЗ ПЕТЕРБУРГСКОЙ ЖИЗНИ

Приступая к публикации регулярных обозрений «Петербургская жизнь», Панаев ориентировался преимущественно на читателя, «который живет вдали от Петербурга и желает иметь по возможности полную картину петербургской жизни»: «Я буду водить вас по петербургским улицам, водить и возить с утра до ночи. Мы с вами будем посещать петербургские театры, клубы, концертные залы, рестораны, публичные лекции, выставки картин и прочее. <...> Я хочу познакомить вас, мой читатель, со всеми петербургскими достопримечательностями, со всеми его новостями, сплетнями и толками, с его обычаями, привычками и нравами» (Современник, 1855, № 12, отд. V, с. 245). В публикуемых очерках Панаев описывает и анализирует различные модификации очень характерного для середины прошлого века социального типа. Непосредственным предшественником Панаева в разработке этого тематического пласта был Александр Дюма-сын, автор романа «Дама с камелиями» (т. 1—2, 1848), сценическая переделка которого пользовалась бурным успехом как в Париже (1852), так и в Петербурге (1855), а также драматической комедии «Полусвет» (1855). Названия указанных произведений Дюма варьируются в заголовках двух публикуемых очерков «Нового поэта», причем в журнальном тексте первого из них это специально оговаривалось (см.: Современник, 1856, № 3, отд. V, с. 49—50).

ДАМА ИЗ ПЕТЕРБУРГСКОГО ПОЛУСВЕТА
(Demi-Monde)

Впервые: Современник, 1856, № 3, отд. V, с. 49—60. Печатается по изд.: *Очерки*, т. 1, с. 87—106.

С. 320. *Банан* — мягкая диванная подушка; *кипсек* (англ. keepsake) — роскошно изданный альбом гравюр.

С. 323. *Марио* Джованни (1810—1883) — итальянский певец (тенор); в 1849—1853 гг. выступал в России в составе итальянской оперной труппы. *Лаблаш* Луиджи (1794—1858) — итальянский певец (бас); выступал в России в 1852—1857 гг. Арну-*Плесси* Жанна Софи (1819—1897) — французская актриса; в 1844—1855 г. состояла во французской труппе Михайловского театра.

С. 324. *Бальзак прав <...> или в хижине...* — Ср. в романе «Отец Горио» — Бальзак О. Собр. соч. в 24 томах. М., 1960, т. 2, с. 469—470.

Уймитесь, волнения страсти... — Романс М. И. Глинки (1838) на стихи Н. В. Кукольника («Сомнение»).

С. 327. *Анненская лента* (красная с желтой каймой) отличала кавалеров ордена святой Анны первой степени; носилась через левое плечо.

КАМЕЛИИ

Впервые: Современник, 1856, № 3, отд. V, с. 60—65. Печатается по изд.: *Очерки*, т. 1, с. 107—114.

С. 331. *Волнение и нетерпение моего иногороднего друга...* — Этот персонаж представлен в очерке «Прошедшее и настоящее»: «у меня есть иногородний друг — человек, только что приехавший из провинции и уже успевший влюбиться в какую-то маску, которая интриговала его в маскараде Дворянского собрания» (*Очерки*, т. 1, с. 34). В очерке «Шпиц-бал за городом» эта линия была продолжена: «Мой иногородний друг — влюблен, окончательно влюблен в таинственную маску. Он полагает, что она должна принадлежать к самому высшему петербургскому обществу, потому что с ней переходили в маскараде все петербургские знаменитости» (Там же, с. 63).

С. 332. *Дама́* (дамаск) — шерстяная ткань.

Бозио Анджолина (1830—1859) — итальянская певица (сопрано); выступала в России в 1853—1856 гг.

С. 334. *Дворянское собрание* с 1839 г. размещалось в доме на углу Ново-Михайловской ул. (ныне ул. Салова) и Михайловской площади (ныне площадь Искусств). «...Балы, соединенные в последние годы с маскарадами, составляют главную прелесть Дворянского собрания для столицы: великолепная обширная зала, освещенная изящными хрустальными люстрами, представляет всевозможные удобства для этих блистательных торжеств» (Г р е ч А. Весь Петербург в кармане. 2-е изд. Спб., 1851, с. 185).

Лоретка — термин, введенный в употребление в 1840 г., когда многие «прелестные грешницы» Парижа поселились вблизи церкви Нотр-Дам де Лоретт.

...и смотрел на известного читателю господина с соболями вместо бровей... — Имеется в виду персонаж очерка «Шпиц-бал за городом» — «небольшой, довольно полный человек лет под тридцать <...> с крошечным, немного вдавленным лбом <...>, с глазами, карие зрачки которых поднимались, опускались и ворочались, как на пружинах, под навесом бровей, которые по своей ширине и густоте походили более на подкрашенные соболиные хвосты. <...> Вся фигура эта была покрыта самодовольствием и грубо светилась, как картина, замазанная густым слоем лака...» (*Очерки*, т. 1, с. 64—65).

С. 336. *Он поцеловал ее руку...* — В первопечатном тексте далее следовала цитата из «Евгения Онегина» (глава восьмая, XLVIII): «И здесь героя моего, В минуту, злую для него, Читатель, мы теперь оставим...» (Современник, 1856, № 3, отд. V, с. 65).

ШАРЛОТА ФЕДОРОВНА

(Вовсе не детский рассказ)

Впервые: Современник, 1857, № 3, отд. V, с. 126—148. Печатается по изд.: *Очерки*, т. 1, с. 367—404.

С. 337. *В этот день я обедал у Донона.* — Это заведение, пользовавшееся особой популярностью у современников Панаева, подробно описано в одном из его обозрений: «Ресторан Донона помещается очень оригинально. Он в самой модной части города — у Певческого моста <через р. Мойку>, в самом центре столицы, а между тем в совершенном уединении. Этот ресторан приютился в старинном деревянном доме, в глубине двора. <...> Передний фас этого деревянного дома выходит в небольшой, но густо разросшийся сад с старыми липами. Прямо против выхода в сад широкая аллея, оканчивающаяся павильоном. <...> Ресторан этот, особенно привлекательный летом, даже и зимой имеет что-то заманчивое по своему исключительному положению. Если вы случайно подойдете к окну и посмотрите в него, вы не увидите ни вечных каменных зданий с освещенными внизу магазинами, ни газовых фонарей, ничего напоминающего вам о Петербурге, — вы сначала ничего не увидите во мраке вечера или ночи, и только пристально вглядываясь в этот мрак, различите в нем остовы деревьев и прутья кустов, опушенные снегом. Это, может быть, перенесет вас на мгновение далеко от Петербурга, от его света, от его шума, от его суеты и тщеславия, и в душе вашей пробудится мечта об иной, более спокойной, жизни. <...> Вас вдруг потянет вон из Петербурга» (Современник, 1856, № 1, отд. V, с. 98—99).

С. 338. *Лесной* и Межевой *институт* (ныне Лесотехническая академия) располагался близ Выборгской заставы.

С. 339. *...я представлял несколько очерков такого рода дам...*— См. очерки «Дама из петербургского полусвета...» и «Камелии».

...об ее роскоши <...> даже на Петербургской стороне.— В 1840-х — начало 1850-х гг. Петербургская сторона напоминала «именно захолустный заштатный городишко, а не уголок европейской столицы. Обыватели Петербургской стороны и сами не считали себя столичными жителями; отправлялись за Неву, говорили: «едем на ту сторону, в город». <...> Это был своеобразный мирок отставных и заштатных чиновников <...>, убогих кумушек-салопниц <...>, горемычных домовладельцев. <...> Все это вместе взятое, разумеется, не имело ничего общего с кипучей столичной жизнью, с шумом и гамом, роскошными салонами и блестящими магазинами» (Скабичевский А. М. Литературные воспоминания. М.— Л., 1928, с. 24—25).

Фудра Август де (1810—1872) — французский писатель, автор романов из великосветской жизни.

С. 342. *...я назову его хоть князем Езерским <...> хоть как-нибудь назвать его.*— Стилистический контекст этой фразы позволяет предположить, что фамилия князя заимствована из незаконченной поэмы Пушкина «Езерский», которую в середине прошлого века воспринимали как ранний набросок поэмы «Медный всадник». По мнению П. В. Анненкова, «Иван Езерский обратился просто в Евгения», и этому усечению соответствует строка из «петербургской повести»: *«Прозванья нам его не нужно»* (см.: Анненков П. В. Материалы для биографии А. С. Пушкина. Спб., 1855, с. 382).

С. 343. *...своим Артюром, как говорят французы...*— Начиная с 1830-х гг. Артюрами называли любовников, находящихся на содержании у богатых куртизанок.

С. 359. *...и окружена толпою поклонников.*— В первопечатном тексте далее следовала тирада:

«Чем кончит Шарлота Федоровна?

Рассказывают, что такого рода дамы во время оно <...> кончали, по большей части, свое поприще очень печально — в больнице и в нищете. И таким образом порок был достойно наказываем... В наше время, напротив, все эти Шарлоты Федоровны, Берты, Луизы, Арманс и так далее кончают свое поприще прекрасно. Они приобретают каменные дома и мужей... не молодых, но солидных <...> и превращаются в коллежских советниц. <...> Они наслаждаются жизнью, они самые счастливейшие из женщин: для них разрываются семейные узы; честные, но слабые люди превращаются в негодяев и взяточников. Тысячи душ идут с молотка; по их милости целые семейства доходят иногда до нищеты» (Современник, 1857, № 3, отд. V, с. 148).

СОДЕРЖАНИЕ

Повести и очерки Ивана Панаева. *В. Тушманов* 3
Белая горячка 21
Опыт о хлыщах
Великосветский хлыщ 107
Провинциальный хлыщ 207
Хлыщ высшей школы (De la haute école) 276
Очерки из петербургской жизни
Дама из петербургского полусвета (Demi-Monde) 320
Камелии 331
Шарлота Федоровна *(Вовсе не детский рассказ)* 336
Примечания 360

Иван Иванович Панаев

ПОВЕСТИ
ОЧЕРКИ

Редактор **Т. М. Мугуев**
Художественный редактор **Г. В. Шотина**
Технические редакторы **Г. О. Нефедова, И. И. Павлова**
Корректоры **А. З. Лазуткина, Н. В. Бокша**

ИБ № 4580
Сдано в набор 09.01.86. Подп. в печать 16.05.86. А02330. Формат $84 \times 108^1/_{32}$. Бумага типографская № 1. Гарнитура обыкновенная новая. Печать высокая. Усл. п. л. 19,32. Усл. кр.-отт. 20,16. Уч.-изд. л. 21,11. Тираж 400 000 экз. (4-й завод 350 001—400 000 экз. в переплете). Заказ 1307. Цена в переплете 1 р. 90 к. Изд. инд. ЛХ-64.

Ордена «Знак Почета» издательство «Советская Россия» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 103012, Москва, проезд Сапунова, 13/15.

Книжная фабрика № 1 Росглавполиграфпрома Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 144003, г. Электросталь Московской области, ул. им. Тевосяна, 25.

Отпечатано с фотополимерных печатных форм «Целлофот»